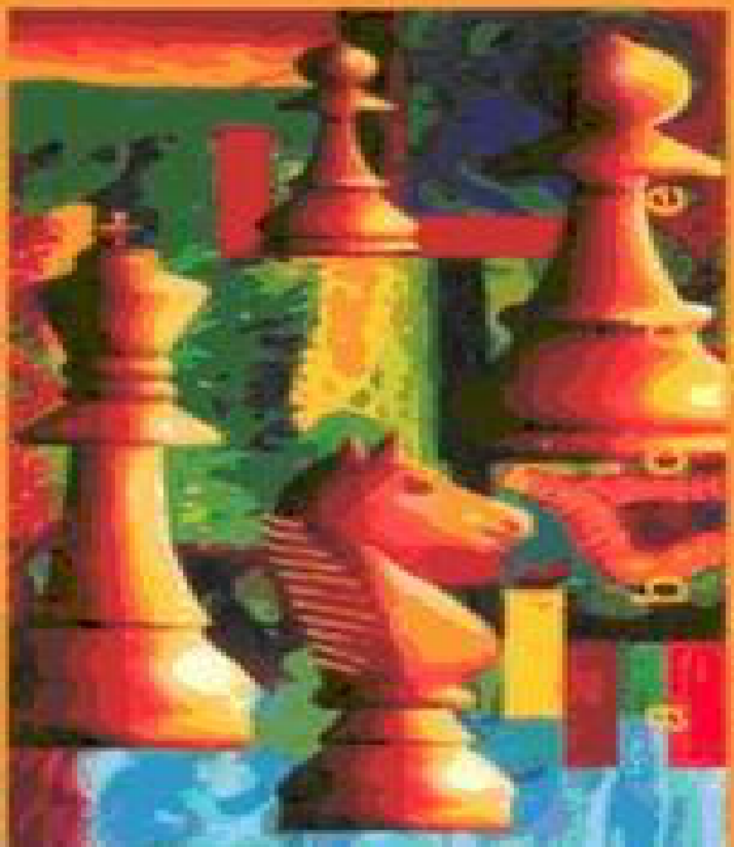
ИСКУССТВО ШАХМАТ

Генна Сосонко

МОИ ПОКАЗАНИЯ



ПОРТРЕТЫ ЛЮДЕЙ УШЕДШЕЙ ЭПОХИ


SHOUT
SHARE
IT

- Мои показания
  -
  - Гарри Каспаров ОДА СВОБОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ
  - Генна Сосонко К РОССИЙСКОМУ ЧИТАТЕЛЮ
  - Часть 1 ПОДВОДЯ ИТОГИ
    -
    - Две жизни
    - Мой Миша (М.Таль)
    - Путь в бессмертие (М. Ботвинник)
    - «Работать, надо работать...» (Л.Полугаевский)
    - Шахматный король Одессы (Е.Геллер)
    - Я знал Капабланку
    - Учитель (В. Зак)
    - Страсть (С. Фурман)
    - Маэстро (А.Кобленц)
    - Прыжок (А.Витолиньш)
    - Подводя итоги (Г.Левенфиш)
  - Часть 2 ДОСТОВЕРНОЕ ПРОШЛОЕ
    -
    - Docendo discimus (В.Багиров)
    - Одержимость (В. Корчной)
    - Профессор (М.Эйве)
    - Достоверное прошлое (Р.Ваганян)
    - Кот, гулявший сам по себе (Э.Майлс)
    - Тимоха (Я.Тимман)
    - Лука (А.Лутиков)
    - Эссиг флейш (С.Флор)
    - Улыбка Джоконды (Э .Гуфельд)
    - Клуб на Гоголевском
    - Мои показания (В.Батуринский)
  - Фотографии
  - СОДЕРЖАНИЕ
  - Научно-популярное издание Серия «Искусство шахмат»
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8

- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18

Мои показания

Голландский гроссмейстер Генна Сосонко — талантливый литератор, один из лучших авторов знаменитого журнала «New in Chess». После успеха вышедшей в 2001 году в Санкт-Петербурге книги «Я знал Капабланку» его имя, прежде знакомое лишь любителям шахмат, стало известно тысячам российских читателей.

Новая книга продолжает и значительно дополняет первую. Наряду с портретами Таля, Ботвинника, Капабланки, Левенфиша, Полугаевского, Геллера в нее вошли эссе об Эйве, Майлсе, Тиммане, Флоре, Корчном, Лутикове, Ваганяне, Багирове, Гуфельде, Батуринском...

Генна Сосонко



РИПОЛ
КЛАССИК

МОСКВА
2003

Гарри Каспаров ОДА СВОБОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Не секрет, что многие известные шахматисты, уехавшие в советское время на Запад, смогли реализовать себя там гораздо полнее, нежели это им удалось бы на родине (самый яркий пример — Корчной): Но они уезжали, как правило, уже гроссмейстерами, а Генна Сосонко, покинувший СССР чуть ли не первым, в 1972 году, был «всего лишь» простым питерским мастером. Поселившись в Голландии, он тут же занялся любимым делом: начал сотрудничать с шахматными журналами и с головой окунулся в турнирную жизнь.

Резкий рывок в шахматах, совершенный им в 30 лет, производит большое впечатление. Сосонко вырос в гроссмейстера мирового класса, в сильного практика и очень неплохого теоретика, шахматиста творческого, ищущего новых путей и имеющего самостоятельные идеи. Чувствуется ленинградская школа!

В эти годы он раскрыл свой талант и на поприще шахматной журналистики и особенно публицистики. Этот жанр привлекал его издавна. Генну, человека широкой гуманитарной эрудиции и острого критического ума, очень интересует мир шахмат, его люди и прошлое (что по нынешним временам редкость). Встречаясь в конце 80-х, мы часто говорили на эти темы, обсуждали и наболевшие проблемы шахматной жизни.

В 90-е годы многие его мысли, звучавшие в наших беседах, вылились в прекрасные публицистические статьи. Они в свою очередь трансформировались в книгу «Я знал Капабланку» (2001), которую я читал и перечитываю с превеликим удовольствием. И вот перед нами новый сборник неподражаемых шахматно-литературных эссе Генны Сосонко — «Мои показания».

Взору читателя предстает галерея замечательных портретов, написанных с любовью и пиететом к шахматам, с должной мерой объективности и отстраненности. Смотрите — это и есть шахматный мир, его герои со всеми их достоинствами и недостатками! В этот своеобразный пантеон попадают самые разные люди — те, кто составлял основу и смысл существования шахмат. Автор тонко чувствует психологическую подоплеку и скрытые пружины событий. И в каждой строке ощущается его желание сделать наш шахматный мир хоть чуточку лучше, чище и светлее.

На фоне упадка русскоязычной шахматной журналистики и

публицистики Сосонко видится мне сегодня бесспорным пишущим шахматистом «номер один». Признаться, его подвижническое творчество помогло мне в работе над книгой «Мои великие предшественники». Мне захотелось показать процесс развития шахматной игры именно через судьбы героев прошлого, донести до читателя не только ходы и варианты, но и саму атмосферу тех времен.

Но как же Генна достиг такого уровня внутренней свободы? Вот его собственное признание: «Мое настоящее стало таковым во многом благодаря прошлому, которое я хотел отмести... Для того чтобы ощутить Россию, мне надо было уехать из нее, увидеть ее на расстоянии».

Да, ему посчастливилось уехать в том возрасте, когда советские комплексы еще не успели захватить его целиком. Ведь шахматная элита и поныне преимущественно советская по своей ментальности; даже многие из уехавших в 80-90-е годы остались душою в советских шахматах. Не говоря уже о журналистах. Читая многие нынешние статьи, то и дело чувствуешь какое-то политиканство, «поправку на ветер». У Генны этого нет и в помине! Он смог стать по-настоящему свободным человеком, подняться над схваткой, над условностями шахматного мира. Очень важно, что он превосходно знает этот мир и сам является его неотъемлемой частью, однако именно занятая им позиция независимого наблюдателя, зорко подмечающего и хорошее, и плохое, делает его рассказы такими насыщенными и увлекательными. Его портреты - это не журналистика, а литература. Нравится вам или нет — было так! И его не очень заботит, что скажут по этому поводу какие-нибудь видные шахматные деятели.

Генну Сосонко смело можно считать достойным продолжателем лучших традиций шахматной литературы первой половины 20-го века, развитых, в частности, в довоенной русской эмиграции и почти полностью уничтоженных в СССР, поскольку с началом советской гегемонии в шахматах игра сильно политизировалась и пропала малейшая возможность говорить о людях всю правду, давая им всесторонние и объективные характеристики. Хвала Генне за то, что он сумел возродить этот жанр и создать стиль повествования, доставляющий подлинное наслаждение даже самому взыскательному читателю.

Хочу пожелать автору этой книги как можно дольше продолжать делать то дело, которое он делает лучше всех в мире. Ибо каждый новый его рассказ — сохранение крупицы нашего шахматного бытия. Мне кажется это очень важным, и я надеюсь, что Генна сумеет сохранить для будущих поколений еще немало

характеров и судеб. Как бы ни изменялись шахматы, их история всегда будет интересна людям как часть человеческой культуры.

Москва, май 2003

Генна Сосонко К РОССИЙСКОМУ ЧИТАТЕЛЮ

В предисловии читатель и писатель смотрят в разных направлениях. Для читателя книга лежит в будущем. Для писателя — в прошлом. Но и книга эта — о прошлом. О прошлом шахмат и о людях шахмат.

Если для миллионов любителей шахматы остаются только игрой, то на высоком уровне они стали спортом и наукой, а от искусства осталось фактически только одно: искусно пользоваться новейшими достижениями науки. Пройдя путь длиной в столетия, шахматы совершенно утратили свой первоначальный имидж забавы, развлечения для скучающего раджи. Девизом Королевского театра в Копенгагене было: «Не для забавы одной». Те же слова применимы и для современных шахмат.

Но разницу между шахматами прошлого и настоящего не определишь так просто, как это делали индейцы пури, у которых было только одно слово для обозначения вчера, сегодня и завтра и разница заключалась лишь в том, что для обозначения вчера указывали рукой назад, для сегодня — вверх и для завтра - вперед. Если понятие времени заменить шахматами, то можно себе представить, какими они были, оглядываясь назад, спорить о том, чем они стали сегодня, указывая вверх — на нынешних чемпионов, но можно ли угадать, какими они станут, если мы протянем руку вперед?

Когда я переигрываю партии мастеров старого времени и сравниваю их с сегодняшними, мне кажется порой, что руины красоты даже более красивы, чем сама красота. Как бы ни впечатляли монументальные здания из стекла и бетона, есть не меньшая прелесть и в развалинах Помпеи. Так же как нельзя утверждать, какая музыка лучше — старинная или современная, нельзя сказать, и чьи партии приносят большее удовольствие: Греко, Морфи, Стейница, Капабланки, Таля или Каспарова. К счастью, шахматы многогранны и есть любители и на то, и на другое, и на третье.

Во многих областях — музыке, литературе, политике — можно жить за счет своей репутации. Шахматы — другое дело: здесь всё на виду и за былые заслуги не спрячешься. В этой игре нет дутых авторитетов. Ибо невозможно представить себе открытие новых имен, незаурядного таланта, жившего во времена Капабланки, но просмотренного современниками, или

развенчание выдающегося игрока: визитной карточкой шахматиста являются его партии и его результаты. Шахматы требуют постоянного успеха, постоянного подтверждения титула, реноме, класса. Поэтому шахматы высших достижений всегда были трудным, а порой и жестоким занятием.

Прошлое, о котором идет речь в этой книге, уже никогда не повторится. Мы живем в расколдованном мире шахмат, и я сомневаюсь, можно ли заколдовать его обратно. Очень трудно сделать события двадцати-, тридцати-, сорокалетней давности, правду того времени — правдой сегодняшнего дня. Правда жизни преходяща и изменчива. Особенно когда это касается советского периода: мироощущения, обычаев, законов — писаных и неписаных — тех лет.

Вспоминая о советских шахматах, о понятиях, с каждым годом делающихся всё более расплывчатыми, а то и вовсе непонятными для новых поколений, спрашиваешь себя: имеет ли вообще смысл хранить память о таком сравнительно узком участке культуры? Мне кажется, что ответ на этот вопрос может быть только утвердительным. Любой человеческий опыт достоин осмысления и анализа, в том числе тот особый, из которого выросли все шахматы второй половины ушедшего века и на котором базируются шахматы наших дней. Изучение этого опыта позволяет сделать важные выводы не только о развитии самой игры, но и о системе, способствовавшей ее развитию.

Герц, изучая электромагнитную теорию света, писал о том, что в математических формулах есть своя собственная жизнь. То же можно сказать и о шахматах. Об их красоте и логике. Шахматы умнее нас, умнее даже, чем их автор.

Современные шахматы невозможны без использования классических лекал прошлого. Я хотел рассказать о людях, которые создавали эти лекала. Попытаться написать на морском песке их имена, прежде чем набежавшая волна смоет их окончательно и растворит в истории компьютерных шахмат нового века.

Многих героев книги я встретил, когда еще жил в Ленинграде, но фактически уже эмигрировал на Запад. Поэтому фразы, которые вы прочтете, написаны мною, конечно, во второй половине моей жизни, но неясные ощущения были уже тогда, только я не мог их выразить.

Покинув три десятилетия назад Советский Союз, мне хотелось поскорее оставить всё позади, но разницу между тем, от чего я ушел, и тем, от чего мне грустно было уходить, я понял только, когда ушел. Для тех же, кто остался, я перестал тогда вписываться даже в печальный вздох Саади, став одновременно и

тем, кого нет, и тем, кто далече.

Мои ленинградские годы разматывались бесконечной лентой, но сейчас время получило удивительное ускорение, знакомое всем, вышедшим на последний виток. Совсем как в песочных часах, долгое время бывших в употреблении: поистерлась «талия» стеклянного сосуда, и песок просыпается скорее, чем когда инструмент был новым. На этом финальном отрезке дистанции чувствуешь, что не столь стареешь сам, сколь мир вокруг тебя молодеет. И шахматный — в первую очередь. Парадокс: шахматы становятся всё более сложной игрой, а шахматисты — всё более простыми личностями. Может быть, оттого, что профессиональные шахматы требуют всё большей затраты энергии и времени и не терпят рядом с собой других занятий и увлечений.

Все герои моей книги — из совсем недавнего прошлого, кажущегося сегодня далеким и загадочным, особенно для молодого поколения шахматистов, которое смотрит на своих великих предшественников как на некую однородную массу, где Ботвинник является современником Стейница, а Таль — Морфи. Рассказывая о них, я отнюдь не претендовал на полноту изображения. Я знаю о несовершенстве инструмента, называемого памятью, о том, что зачастую она подсовывает нам вовсе не то, что мы хотим или выбираем, а то, что хочет она сама. Человеческая память устроена как прожектор: освещает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак.

В книге есть и портреты тех, с кем я впервые встретился уже на Западе. Мне хотелось показать этих людей не только сквозь призму шахмат, но и в отношениях с другими людьми, на фоне общества, столь отличного от того, в котором довелось жить большинству моих героев, равно как и — первую половину жизни — мне самому. Говоря о других, я открывал тем самым и собственное «я», стараясь преодолеть в себе стыд, знакомый каждому, кто вынужден говорить о себе.

Колеся по распахнувшемуся нараспашку и сделавшемуся сейчас таким маленьким миру, бывая снова в тех местах, где я встречался с героями моей книги, я отмечаю нелепое противоречие между возможностью возврата в пространстве и невозможностью возврата во времени. Ведь всё осталось на своем месте: дом на Парк-авеню в Нью-Йорке, где жила Ольга Капабланка, кафе в Амстердаме, где я еще вчера пил кофе с Сало Флором, статуя Будды в Боробудуре, у которой стоял Тони Майлс, и шахматный клуб в Аничковом дворце Петербурга, помнящий меня маленьким мальчиком. Но время, чудесное, неуловимое время - ушло навсегда. Вся прелесть прошлого и

заключается в том, что оно прошло, занавес опустился, на сцене декорации для другого спектакля.

Часть эссе, составивших книгу, была уже напечатана, причем публикации на русском и на других языках не совпадают. В текстах, вышедших по-английски, страницы, посвященные проблемам и явлениям, понятным только российскому читателю, к тому же знавшему советское время не понаслышке, были порой сокращены, а то и вовсе опущены. В то время как публикация на русском языке встречала зачастую возражения у редакторов, полагавших, что отдельные строки, а главное — концепции могут кому-то не понравиться. Воспитанные при советской власти, эти редакторы не могли смотреть на текст иначе, чем с конъюнктурных позиций, без самоцензуры, даже если она, видоизменившись, затрагивала не само государство, а интересы конкретных людей.

Эссе, выходящие сейчас без сокращений и передержек, на языке, на котором они были написаны, наиболее полно представляют сделанное мною за последнее десятилетие.

Амстердам, ноябрь 2002

Часть 1 ПОДВОДЯ ИТОГИ



Две жизни

18 августа 2001 года моя жизнь разделилась на две равные половины. Первая прошла в Петербурге, который тогда назывался Ленинградом. Вторая — в Амстердаме.

Хотя оба эти города похожи, Петербург и Амстердам не накладываются у меня один на другой. Нева и Амстел для меня разные реки, и, если мне случается идти по амстердамской Царь Петерстраат или по Невскому проспекту мимо голландской церкви в Петербурге, второе зрение регистрирует этот факт, но разницу между обоими городами я вижу очень хорошо. Так, ребенок, растущий в двуязычной семье, знает, с кем и на каком языке говорить.

Пятый номер трамвая не изменил своему маршруту и останавливается возле моего дома в Амстердаме так же, как он делал это в моей прошлой жизни в Ленинграде, но и здесь путаницы у меня не возникает.

Номер моего дома в Басковом переулке был 33. Первые десять лет в Амстердаме я жил в доме под номером 22, последующее десятилетие — 11. Несколько лет назад, пытаясь уйти от судьбы, я переехал в дом с мало что говорящим номером 16.

Иностранцы, приезжавшие в Советский Союз, обычно находили самым привлекательным в Ленинграде - Санкт-Петербург. Сейчас Ленинград вновь стал Санкт-Петербургом, оставшись Ленинградом разве что для немолодых обитателей его, проживших большую часть жизни в Ленинграде и привыкших к этому названию. И еще в шахматах: ленинградский вариант голландской защиты удивительным образом сплел в себе оба места моего проживания.

Хотя звуки от порывов ветра и барабанящего дождя на Неве или на Амстеле мало отличаются, переезд из Ленинграда в город, где я живу сейчас, явился для меня большим, чем географическое перемещение в пространстве. Этот переезд означал для меня начало новой жизни.

Слово «голландский» вошло в мою жизнь рано, фактически с тех пор, как я себя помню. Вглядываясь в прошлое полувековой давности, хорошо вижу маму, декабрьским вечером сорок восьмого года греющую руки у печки-голландки. Рядом с голландской печью стояла оттоманка, на которой я спал. Мы жили тогда вчетвером — с бабушкой и сестрой - в двадцатипятиметровой комнате коммунальной квартиры, но эта комната совсем не казалась мне маленькой. Кроме нас в этой

квартире жили Канторы, Гальперины и Левин-Коганы. Единственной русской была молодая женщина — Люда, но и та носила фамилию Саренок. В первые месяцы в Голландии, когда я рассказывал о своем жилье, меня почти всегда спрашивали: «А сколько спален у вас было?» Я быстро понял, что правдивый ответ никак не вписывается в представления моих слушателей, и отвечал по настроению: когда - две, когда - три.

Помню себя мальчиком в гастрономе на углу улиц Некрасова и Восстания в очереди у кассы, чтобы пробить чек на покупку голландского сыра. Вижу себя и в роли советчика в магазине «Военторг» на Невском, рядом с кинотеатром «Художественный», где мама долго примеряла шляпку, которую почему-то называла голландкой. Кокетливая, с искусственными цветочками, она была возвращена в магазин через несколько часов после покупки, а мне было выговорено: «Как же ты мог посоветовать такое, я ведь уже не девочка».

В студенческие годы я ходил пять лет кряду в университет мимо треугольного островка Новая Голландия с его замечательной аркой строгой серой красоты. На островке размещалась одна из резиденций Петра Первого, и царь всегда останавливался здесь, когда посещал Галерную верфь, на которой работало немало голландских мастеров. Он думал об Амстердаме, когда основал свой город почти триста лет назад.

Петр Первый взял с собой из Голландии в русский язык множество слов, связанных главным образом с морем, оставив голландцам только два русских. Голландский «doerak» далеко не так добродушен, как русский Иванушка-дурачок, в то время как веселый глагол «pierevaaien» означает в голландском скорее «кутить напропалую», чем русское «пировать», от которого он произошел. Долгие застолья молодого русского царя и сопровождавшего его многочисленного посольства, стоявшего в Амстердаме несколько месяцев, произвели на голландцев сильное впечатление.

В августе 1972 года в разгаре был матч Фишер - Спасский, один из самых интригующих за всю историю игры, но мне в тот момент было не до шахмат: я уезжал из Советского Союза.

Голландия представляла интересы Израиля, не имевшего тогда дипломатических отношений с СССР, и выездную визу я получал в голландском посольстве в Москве. Оно было расположено совсем близко от Центрального шахматного клуба, дорога в который была мне знакома еще со времен юношеских турниров.

Оказавшись вне пределов Советского Союза, я ощутил себя в положении только что родившегося младенца: привычное

окружение исчезло, и большой неизвестный мир лежал передо мной. Мне было двадцать девять лет. Уезжая, я полагал, что для того, чтобы начать новую жизнь, нужно накрепко забыть старую. Это оказалось невозможным. Прерогатива «считать не бывшим» принадлежала только русскому царю, и еще Персей знал, что если собака после долгих усилий рвет наконец свою привязь и убегает, то на шее у нее болтается большой обрывок цепи.

Мое настоящее стало таковым во многом благодаря прошлому, которое я хотел отмести. На самом деле оно отложилось в памяти и выкристаллизовалось. Но и обратно: прошлое не было бы вызвано из памяти без этого западного периода моей жизни. Более того, если бы не было этой второй, голландской половины жизни, Россия для меня не была бы открыта. Для того чтобы ощутить Россию, мне надо было уехать из нее, увидеть ее на расстоянии. Чтобы взглянуть на всё по-другому, нужны были новые глаза, потому что старые могли видеть только то, что приучились видеть.

Хотя голландская половина жизни резко отличается от первой, проведенной в России, она покоится на старой — как слон на черепахе в индийской притче, и их невозможно отделить друг от друга, так же как невозможно услышать хлопок только одной ладони.

В шахматы меня научила играть мама. В центре комнаты прямо напротив печки-голландки стоял обеденный стол, покрытый выцветшей клеенкой. Иногда вечером после ужина на ней появлялась старая картонная доска, и мы играли в шашки или шахматы. Доску эту вижу очень хорошо: она была протерта во многих местах, особенно досталось полю g2. Психоаналитик легко установит связь этого факта с моим пристрастием к фианкеттированию королевского слона на протяжении всей профессиональной карьеры. Мама всегда открывала партию ходами обеих центральных пешек на два поля. Я, разумеется, следовал ее примеру. Вероятно, этим объясняется моя любовь к пространству и центральной игре, сохранившаяся у меня до сих пор.

Шахмат у нас не было, мы играли бумажками, на которых мама написала названия фигур. Однажды за этим занятием нас застал мамин брат дядя Володя и купил комплект шахмат. Голова одного из белых коней вскоре отклеилась от основания, и при игре ее просто клали плашмя на доску. Другой мамин брат, Адольф, умер в начале 1941 года. С таким именем ему было бы нелегко во время войны.

Маму научил играть в шахматы ее отец, мой дедушка, которого я никогда не видел: он умер от голода в блокадном

Ленинграде за год до моего рождения, в январе 42-го. Зима тогда была очень холодная, и в помещении было ненамного теплее, чем на улице. Дедушка Рувим лежал в комнате, в которой я прожил всю первую половину моей жизни, больше недели, до тех пор пока бабушке, самой передвигавшейся с трудом, не удалось отвезти его на санках на кладбище, где он и был похоронен в братской могиле.

Хорошо вижу бабушку Тамару, раскачивающуюся перед зажженными свечами и говорящую что-то на непонятном языке. «Бабушка, — спрашивал я ее, — бабушка, ты молишься богу? Почему же ты не идешь тогда в церковь?» — «Вырастешь — поймешь», — отвечала она без затей. Когда я немного подрос, бабушка иногда говорила со мной на идише, но она умерла, когда мне было шесть лет. Мой немецкий — это мой голландский, разбавленный идишем бабушки Тамары с редким вкраплением немецких слов.

У отца была другая семья, и, когда у меня спрашивали о нем, я говорил: «Отец с нами не живет». Отношений не было никаких. При заполнении анкет или специальных граф в классном журнале, где требовались сведения о родителях, я всегда испытывал неловкость и завидовал мальчикам, которые говорили об отце с гордостью: «Погиб на фронте». Я видел отца считанное число раз. Последний — в переполненном автобусе на Невском, когда, дав утвердительный ответ на вопрос, выхожу ли на следующей остановке, я обернулся и увидел его. Отец меня не узнал — он был очень близорук. На следующий год он умер.

Играя в футбол в Таврическом саду летом 1954 года, я сломал руку. Приговоренный к ношению гипсовой повязки в течение месяца, я стал играть в шахматы. Увлечение это зашло далеко, и сложные последствия его я испытываю по сей день. Сейчас, почти полвека спустя, когда я уже не играю в шахматы или почти не играю, у меня, случается, болит рука в том месте, где она была сломана тогда. Доктор говорит, что это плод моего воображения и что этого не может быть.

После окончания школы я поступил на географический факультет университета. Учеба была необременительной, и для занятий шахматами оставалось много времени. Я специализировался по экономической географии капиталистических стран. Как замечает шахматная энциклопедия, изданная в Англии, «уже тогда готовя себя к будущей жизни на Западе».

Хотя я был мастером, сам играл редко, больше занимаясь тренерской работой. Одно время помогал Талю, последний год перед отъездом — Корчному. Мое решение покинуть страну не

понравилось властям. На стенде в фойе Чигоринского клуба, уже после того как я уехал, в течение длительного времени висели два объявления. На одном под списком команды Ленинграда можно было прочесть: тренер — мастер Г. Сосонко, другое было приказом Спорткомитета о моей дисквалификации в связи с изменой Родине. Они мирно уживались друг с другом до тех пор, пока кто-то не догадался снять первое.

Моя настоящая профессиональная шахматная карьера началась на Западе. Для краткости я обрубил свое имя, для твердости прибавил в него второе «н». Заманчиво было оставить свое полное имя, особенно после того, как журналист одной голландской газеты разбил его на две части, придав аристократическое итальянское звучание: Генна ди Сосонко. Еще более эффектным было на китайский манер написанное Со-сон-ко на программке сеанса одновременной игры, который я давал где-то в Бельгии весной 1974 года. В обоих случаях я решил, что это будет чересчур.

Гена, который жил в России, и Генна, появившийся на Западе, носят одну и ту же фамилию, но во многом очень разные люди, чтобы не сказать — совсем разные. Недавно полученный автограф на книге от друга первого периода моей жизни: «Генне, которого помню еще Геной» — я совсем не воспринимаю как шутку, и от России я отделен чем-то большим, чем годы и версты.

Через два месяца после приезда в Голландию я начал работать в «Schaakbulletin». Журнал этот был предшественником «New in Chess», в котором появились почти все эссе, составившие эту книгу. Работу в журнале я совмещал с игрой в турнирах. По мере того как росли успехи, главное место заняла практическая игра.

Весной 1973 года со мной разговаривал подполковник Z. Он предложил мне работу — преподавание русского языка на курсах в Гар-дервейке. На этих армейских курсах учились закончившие высшие учебные заведения молодые люди; курс языка вероятного противника был ускоренным и интенсивным. Сам подполковник превосходно говорил по-русски. Я отказался, объяснив, что мое хобби окончательно стало моей профессией, чем его немало удивил. Взамен зыбкого существования шахматного профессионала он предлагал весьма респектабельное, но даже и такое оно ограничивало бы что-то, ради чего я и уехал из Советского Союза. Прощаясь, он протянул мне визитную карточку: «На случай, если вы передумаете». Перебирая недавно старые бумаги, я нашел ее и не сразу определил, к какому периоду жизни она относится. Навряд ли она пригодится мне теперь.

Не знаю, как сложилась бы моя жизнь, прими я тогда его предложение. Очевидно одно: я не увидел бы мир в такой степени, в какой увидел его благодаря моей профессии.

Игра в шахматы на профессиональном уровне требует предельной концентрации, напряжения, полного погружения в другой, искусственный мир. Переход от обычного состояния в мир турнирных шахмат всегда давался мне с трудом, и те, кто знает меня в этих двух состояниях, утверждают, что знают двух разных людей.

Шахматы дали мне очень многое. Этот игрушечный мир - жизнь в миниатюре. В шахматах тоже нельзя взять ход назад, и время на партию тоже ограничено.

Глядя на шахматы сегодняшнего дня, можно сказать, что их настоящее неопределенно, будущее тревожно и только прошлое — блистательно навсегда! Хотя и знаю, что не от большого ума мысли о том, что в старое время небо было голубее, девушки краше, жертвы ферзей эффектней, наконец, люди, бывшие в шахматах, интереснее, не могу отрешиться от мысли — было, было...

«Золотыми шахматными временами» назвал свою книгу о шахматах первой половины 20-го века Милан Видмар, но не был ли золотым по отношению к ним весь ушедший век? Не испытали бы великие игроки прошлого, глядя на шахматы начала нового века, нечто сродни чувствам Лоренца, создателя классической теории строения атома, который сожалел, что дожил до триумфа квантовой механики и увидел, как зашаталось всё сделанное в науке, в том числе и им самим.

Из мира романтики, грез и неопределенности шахматы перенесены в суровую правду жизни. Так балерина, оттанцевавшая партию Золушки, попав после спектакля на операционный стол по поводу острого аппендицита, переходит в мир реальности.

Шахматы прошлого с их ореолом таинственности могут показаться наивными и полными ошибок. Но не покажутся ли таковыми во второй половине 21-го века шахматы начала его? Мы приблизились к раскрытию последней тайны игры: достаточно ли преимущества выступки для победы, что утверждал Филидор, или при идеальном ведении партии получается все же ничья? Но кто может дать гарантию, что эта последняя истина в шахматах окажется интересной?

К счастью, у шахмат есть сильные аргументы в свою защиту. Слова Одена: «Поэзия — штука совершенно необязательная. И оправдывает сам факт ее существования только то, что совершенно не обязательно ее знать» — относятся к шахматам в

не меньшей степени.

Начиная с 1974 года я играл за команду Голландии против Советского Союза на Олимпиадах и первенствах Европы. Нечего говорить, что эти партии имели для меня совсем другую окраску, чем в матчах против, скажем, Мексики или Исландии. На Олимпиаде в Буэнос-Айресе (1978) мы встречались в заключительном туре, и от исхода нашего матча зависело, выиграет ли Советский Союз Олимпиаду. В ночь перед туром руководители советской команды уговаривали меня не играть в матче. Разговор велся в разных плоскостях, от «возможности получения въездных виз у нас не ограничены» до «не забудь, что у тебя еще есть сестра в Ленинграде», но убедить меня им не удалось.

«Я играю за Голландию, а не против Советского Союза», — повторял я не вполне искренне. Короткая газетная строка: «В матче СССР — Голландия партия Полугаевского на второй доске закончилась вничью» — была мне наградой: после отъезда мое имя не могло появляться в советской печати. Спортивную газету Ленинграда с сообщением о том, что 1—3-е места в чемпионате Голландии 1973 года поделили Энклаар и Зюйдема, я храню до сих пор.

Турнир в Вадинксвейне в 1979 году открывал премьер-министр Голландии ван Ахт. Там же присутствовал и советский посол Толстиков, бывший в мое время партийным боссом Ленинграда.

Знаете голландское выражение: «Держите вымпел»? - спросил премьер-министр, желая мне успеха в турнире.

Ну вы, ленинградец, марку держите. Марку, говорю, нашу держите, ленинградец, — с нарочитой грубостью вторил ему посол — хрущевского вида, полный, небольшого роста человек. Я не знал, кого слушать, и в расстроенных чувствах начал первую партию с Карповым. Слова: «Держите вымпел, ленинградец» — еще долгое время преследовали меня.

На Олимпиадах, первенствах Европы и просто в международных турнирах я регулярно встречался с шахматистами из СССР не только за доской. Большинство из них я знал еще по тому времени, когда сам жил там, некоторые были моими друзьями. Общение с эмигрантом не могло быть одобрено руководителем делегации, почти всегда присутствовавшим на зарубежном турнире, в котором принимали участие советские шахматисты. Встречались мы поэтому, как правило, в квартале или двух от гостиницы, а для прогулок выбирали по возможности отдаленные улицы. На страницах советских газет тогда можно было встретить выражение «внутренний эмигрант». Под это

определение, без сомнения, подходили мои друзья. Для некоторых из них внутренняя эмиграция оказалась слишком тесна, они покинули Советский Союз и живут сейчас в разных странах.

При выезде на межзональные и другие официальные турниры советским гроссмейстерам вручались досье на иностранных участников. Досье составлялись обычно студентами шахматного отделения Института физкультуры. В них подробно анализировались как положительные стороны шахматиста, так и его слабости. Получив от моих друзей, я прочел пару раз характеристики на самого себя. Написаны они были толково, и читал я их с большим интересом: всегда ведь любопытно знать, что думают о тебе другие, тем более те, кого ты не знаешь вовсе.

Почти вся эмиграция первой волны рассматривала себя скорее Россией, временно выехавшей за границу, чем окончательно оставившей страну. Уезжая из СССР, я знал, что уезжаю навсегда. Таковы были тогда правила игры: государство с трудом и нехотя давало разрешение на эмиграцию (если давало вообще), но эмиграция эта должна была быть полной и окончательной; любая попытка посещения страны после нее была заранее обречена на провал. Я знал, что никогда не увижу ни своих близких, ни моего родного города. С таким чувством — навсегда! — я и прощался с ними. Когда в западный период жизни у меня спрашивали, рассчитываю ли я когда-нибудь приехать в Россию, я отвечал обычно: «Только если Ленинград снова станет Санкт-Петербургом», и даже самые отчаянные фантазеры понимали однозначный смысл ответа.

В конце 1974 года маме не разрешили приехать ко мне в гости в Амстердам, а полгода спустя я даже не предпринял безнадежной попытки проститься с ней в Ленинграде.

Во второй половине августа 1982 года у меня дома раздался телефонный звонок, и деловой голос, сообщив, что на круизном корабле будет проведен показательный шахматный турнир, предложил мне принять участие в нем. Это не входило в мои планы: для подготовки к турниру в Тилбурге — сильнейшему в мире в то время — времени оставалось немного. Я отказался, но, перед тем как повесить трубку, поинтересовался маршрутом. «Балтийское море, — сказал менеджер, — маршрут обычный: Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки». — «А потом?» — спросил я. «Потом — Ленинград», — равнодушно ответил он. Я посмотрел на календарь, было 18 августа — десятилетняя годовщина моего отъезда. Я сказал, что подумаю.

Друзья и знакомые отговаривали меня от поездки, а чиновник из министерства иностранных дел в Гааге, куда я

позвонил для консультации, резонно заметил: «Конечно, у вас голландский паспорт, но, неровен час, всё может случиться, вам ли не знать этого». Я сказал себе, что они правы...

Что-то екнуло в груди, когда утром 12 сентября молоденький пограничник у трапа корабля «Леди Астор» бросил мой паспорт в глубокий ящик, выдав мне, как и остальным пассажирам, отправляющимся на экскурсию в Эрмитаж, документ красного цвета. Раскрыв его, можно было прочесть правила поведения для пассажиров круизного судна, и одним из первых пунктов был как раз тот, ради которого я и предпринял поездку: запрещается совершать какие-либо индивидуальные действия, не имеющие отношения к экскурсионной программе.

Интуристовский автобус остановился намертво на Дворцовом мосту, увязнув в густой массе бегущих людей, одетых в спортивную форму. Позже я узнал причину этого: день бегуна был одним из самых массовых спортивных праздников в Советском Союзе.

Был чудный сентябрьский день, Нева сверкала на солнце, и, оглянувшись, я мог увидеть слева здания университета и Кунсткамеры, а справа — Ростральные колонны и Петропавловскую крепость. Гид в автобусе не теряла времени даром: «Прямо перед нами — Эрмитаж. Музей располагает одним из крупнейших собраний картин в мире. Эрмитаж был основан...» У здания Эрмитажа меня должна была ждать оповещенная заранее сестра.

Сетчатка глаза, отвыкшая за десятилетие от знакомых с детства контуров, легко впитывала их. Удивительное заключалось в звуках: окна в автобусе были открыты, и все люди переговаривались на бегу на языке моей молодости. Через четверть часа людская масса схлынула, и автобус тронулся...

Пространство измеряется временем. Оно отделяет сейчас Амстердам от Петербурга тремя часами лёта. В Петербурге, как и в Амстердаме, у меня есть свои маршруты для прогулок. Я иду по Невскому проспекту, всегда держась одной стороны, так же, как делал, когда был жителем этого города. Дойдя до пересечения Невского с улицей Восстания, я на мгновение останавливаюсь. На этом месте я стоял с мамой и сестрой в неподвижной толпе холодным мартовским днем 1953 года. Люди стояли всюду — на тротуарах, проезжей части, выступах здания строящейся станции метрополитена, многие плакали. Время было без пяти минут двенадцать, и вдруг яростно заревели сирены и клаксоны неподвижно застывших машин. Все мужчины сняли шапки, и мама стала развязывать тесемки на моей. Был день похорон Сталина.

Я сворачиваю налево, прохожу несколько кварталов, и вот на углу — дом. Я поднимаюсь на второй этаж. Ступени лестницы стерты до такой степени, что даже не верится, что они каменные. Квартиры нашей больше не существует. Ее заняли бухгалтерские курсы. Они были там и в мое время — дверь напротив, и на лестничной площадке во время перемен всегда курили повышающие квалификацию бухгалтеры. Кухня нашей квартиры — теперь классная комната. На месте большой плиты, на которой стояли керосинки и примусы и Циля Наумовна обычно тушила вымя, купленное на Мальцевском рынке, — несколько компьютеров. Комната, где я жил, — директорская, на двери табличка с часами приема. Из тех, кто жил когда-то в этой комнате, в живых я один.

Я совершенно спокоен, когда думаю о них, и не потому, что знаю: на погосте живучи, всех не оплачешь. Даже тех, для кого ты был частью жизни, и немалой, а для кого-то и жизнью самой. Воспоминания плотно пригнаны в памяти друг к другу, как огромные камни Стены плача. Я скорее радуюсь, когда вдруг возникает еще одно, казалось бы, погребенное навсегда: собрание жильцов квартиры и яростные дебаты по поводу необходимости кастрации общего кота Барсика, ничего не подозревающего и играющего тут же на кухне, или выражение лица Полины Сауловны, глубокой старухи, с чувством продекламировавшей мне, шестилетнему, басню «Стрекоза и муравей».

Два блистательных русских писателя 20-го века жили в этом городе. Оба они покинули Россию. Один в апреле 1919 года кораблем из Севастополя, другой — в мае 1972-го аэрофлотовским рейсом Ленинград — Вена, обычным маршрутом к свободе в то время для тех, кто жил в городе на Неве. Три месяца спустя этот же маршрут проделал и я.

Ни Владимир Набоков, ни Иосиф Бродский никогда больше не вернулись в Петербург. Набоков не внял совету друга, князя Качу-рина, приехать туда инкогнито и послал вместо себя свое alter ego в одном из стихотворений. Бродский так и не собрался приехать, хотя его и приглашали. Раз увидев настоящую Венецию, он навсегда предпочел ее Северной. Как и Набоков, Бродский тоже часто возвращался в свой город в стихотворениях и эссе, хотя и сознавал, что «по безнадежности все попытки воскресить прошлое похожи на старания постичь смысл жизни».

Глядя из сегодняшнего дня в прошлое, понимаю, что его восприятие претерпело изменения. Я отдаю себе отчет в том, что прошлое стареет с каждым днем, тонет в настоящем и с трудом поддается воскрешению. В действительности мы пишем о том, каким стало это прошлое в настоящем. Писать о прошлом гораздо

легче, чем находиться в нем. Несбывшееся, утраченное, то, что могло осуществиться и не осуществится никогда, делает любое прошлое печально-щемящим. Для того чтобы принять прошлое, требуется мужество примирения с ним, умение увидеть всё таким, каким это прошлое является на самом деле, без прикрас, покровов и иллюзий.

Знаю, что память оптимистична: некоторые сцены кажутся мне сейчас более идиллическими, чем они были в реальности, или, во всяком случае, менее окрашенными эмоциями момента. Известно, что память не только умеет размывать темные тона дурного или вообще забывать его, но и обладает способностью это дурное скрашивать: даже прошедшие печали совсем не кажутся нам такими в воспоминаниях.

«Обходя дворцы и галереи памяти», как говорил святой Августин, я натыкаюсь иногда на смешное или малозначительное. Мне-мозина то и дело уклоняется от магистральных путей, но иногда какой-нибудь ничтожный поступок, шутка или слово, брошенное невзначай, говорят не меньше, чем нотариально заверенные документы.

Бертран Рассел на склоне лет вспоминал Гладстона, которого видел в 1889 году, - тот был глубокий старик. После обеда они - единственные мужчины — остались за столом. Рассел, которому было тогда семнадцать, ожидал услышать что-нибудь божественное. «Это очень хороший портвейн. Интересно, почему они дали его мне в бокале для бордо?» — сказал Гладстон, и этот портвейн, налитый в бокал для бордо, для меня ближе, чем все изречения великого англичанина.

«Для переписки», — ответил мне мальчик на турнире в Индонезии в 1982 году, и лукавую улыбку его я помню до сих пор. Я только что дал ему автограф, и он попросил написать рядом с ним мой адрес.

Вижу Мишу Таля, закуривающего очередную сигарету и нервным движением зачеркивающего уже записанный было на бланке ход. Вижу излом бровей Лёвы Полугаевского и его жалобный взгляд перед тем, как он нанес решающий удар в одной из наших партий. От самой партии в памяти остались только расплывчатые контуры, и недавно для того, чтобы восстановить ее, мне пришлось обратиться к помощи компьютера.

Я принадлежу к людям, которые крепки задним умом, и слишком часто в жизни, равно как и в шахматах, полагался на русское авось: как-нибудь вспомнится, образуется. Сейчас я испытываю досаду оттого, что многие разговоры с героями книги оказались забытыми. Сожалею и о том, что вопросы, ответы на которые могли бы быть интересны читателю, попросту никогда не

были заданы. Вопросы эти тогда не приходили мне в голову: мелкая суета дня казалась более важной. Редкие записи тех времен являются неважным подспорьем памяти, а старые фотографии могут только спугнуть воспоминания. Известен парадокс: чем дольше вглядываешься в знакомые черты на фотографиях из далекого прошлого, тем бледнее становится сам образ.

Многих из тех, о ком я написал, нет больше. Как сказать. Я хорошо вижу их лица, жесты и манеру говорить. Я слышу их голоса. Обращение к ним означает: назад по реке Лете, туда, где нет будущего, а есть только минувшее. Туда, где всё раз и навсегда расставлено по своим местам: на сухумский пляж к молодому Лёве Полугаевскому, к Мише Талю, выпытывающему у смеющегося Маэстро о том, как именно началась гражданская война з Испании, к Сёме Фурману, низко склонившемуся над транзисторным приемником, к Ольге Капабланке, разглядывающей медальон с изображением последнего русского царя в витрине антикварного магазина на 5-й авеню Манхэттена.

Я помнил, что время творит с людьми то же, что пространство — с памятниками: став слишком близко или слишком далеко, рискуешь ничего не увидеть — и те, и другие можно оценить только на расстоянии, со специально выбранной точки. Я старался найти такую точку.

Понимая всю трудность задачи, мне хотелось хотя бы приблизиться к такому изображению, где «последняя правда высвечивается траурной рамкой», потому что хрестоматийный, глянцевый образ этих людей был бы недостоин их самих и далек от действительности.

Большинство из тех, о ком идет речь в этой книге, были так или иначе связаны со страной, в которой я прожил первую половину жизни, — Советским Союзом. Так же, как невозможно, не повредив фронтона здания 19-го века, удалить эмблему с серпом и молотом, нанесенную на него в советское время, невозможно представить себе и этих людей вне того времени, когда на карте мира преобладал красный цвет несуществующего теперь государства. Шахматы в Советском Союзе, находясь под неослабным вниманием и контролем властей, были тесно сплавлены с политикой, как и всё в той удивительной стране. Закрытость общества, изолированность его от свободного мира явились причиной того, что талант и энергия зачастую выплескивались в относительно нейтральные области. Эта закрытость и изолированность общества только способствовали развитию шахмат, создав целый пласт культуры — огромный мир советских шахмат.

Тот мир состоял из многочисленной армии профессиональных игроков, официальных и камуфлированных под любителей, тренеров и организаторов. Из того ушедшего навсегда времени — толпы болельщиков, следящих за ходом партий матча на первенство мира по огромным демонстрационным доскам, вывешенным в центре Москвы на здании театра, потому что в зале свободных мест нет. Из того мира — пенсионеры, склонившиеся над шахматной доской на скамейках парков в двадцатиградусный мороз, и бабушки, терпеливо ожидающие внуков с теоретического занятия, где впервые был показан мат Легаля. Из того мира и времени — матчи за мировую шахматную корону, где события вне доски были вынесены на первые страницы газет и сама жизнь диктовала либретто для мюзикла «Чесе», годами шедшего с аншлагом в лучших театрах Лондона и Нью-Йорка.

Из того мира — финалы чемпионатов страны, игравшиеся в переполненных концертных или театральных залах. Участие в них было достижением само по себе, и для многих сильных мастеров так и осталось неосуществимой мечтой. Публика, тонко чувствовавшая игру, нередко награждала аплодисментами красивую победу или эффектную комбинацию. По нескольку часов кряду можно было обмениваться мнениями о позициях на сцене с совершенно незнакомым человеком, расставшись с ним после окончания тура навсегда или, наоборот, став другом на всю жизнь. В пресс-центре можно было встретить мастеров и гроссмейстеров, имена которых явились бы украшением любого международного турнира. За бюллетенями, посвященными каждому туру, надо было дежурить у киосков «Союзпечати», а радиорепортажи с чемпионатов передавались по первой программе в спортивном выпуске последних известий.

Имена людей того мира были у всех на устах, и по популярности они не уступали звездам кино. Было бы жаль, если бы имена эти ушли безвозвратно.

Разрозненные детали я складывал бессознательно в копилку памяти. Они сплавились воедино, создав портреты людей, с которыми мне посчастливилось встретиться. Собранные вместе, эти портреты неожиданно стали для меня итогом и моих личных переживаний за последние годы.

Всякий раз после того, как те, о ком идет речь в этой книге, уходили из жизни, мне хотелось прочесть о них. Позже я понял, что я хочу прочесть о них то, что знаю сам. Более того — то, что знаю только я. Лишенный этой возможности, я решил написать о них. Отсюда — эта книга.

Август 2001

Мой Миша (М.Таль)

«*С* олнцем полна голова» — первые слова двадцатитрехлетнего Миши Таля в переполненном зале в Москве сразу после блистательной победы на турнире претендентов в Югославии в 1959 году. Его ответ на вопрос, как он начнет борьбу за корону, прозвучал точно знаменитое «Иду на вы»: «В первой партии матча с Ботвинником мой первый ход будет e2-e4!»

В мир строго позиционных шахмат середины 50-х годов ворвался молодой человек, фактически мальчик, с горящими черными глазами и с манерой игры, которая изумляла одних и шокировала других. То, что писала одна из голландских газет, было характерно для реакции всего шахматного мира: «Для шахматиста мирового класса Таль играет удивительно бесшабашно, чтобы не сказать отчаянно и безответственно. Пока успех сопутствует ему, потому что самые опытные и испытанные защитники не выдерживают этого террора на шахматной доске. Он стремится в первую очередь к атаке, и в его партиях нередки жертвы одной или даже нескольких фигур. Об этой отчаянной манере игры мнения резко расходятся. Некоторые видят в нем не более чем авантюриста, которому просто улыбается фортуна, другие — гения, который открывает неизвестные области шахмат».

Хотя Таль был уже претендентом, с чемпионом мира он виделся только однажды, во время Олимпиады в Мюнхене 1958 года (история о том, как маленький Миша с шахматной доской под мышкой не был принят отдыхавшим на Рижском взморье Ботвинником, конечно, выдумана журналистами). Прогуливаясь между столиками, пока его соперник думал над ходом, Михаил Моисеевич спросил у юного коллеги по команде: «За что вы пожертвовали пешку?» И получил, по собственному Мишиному выражению, хулиганский ответ: «Она мне просто мешала». Он любил это словечко и нередко за анализом, предлагая какую-нибудь неясную жертву, добавлял: «А не похулиганить ли немножко?»

Я познакомился с Мишей осенью 1966 года. Он приехал на несколько дней в Ленинград, и в маленькой комнатке одного общего друга мы сыграли огромное множество блицпартий, из коих мне удалось выиграть одну и сделать пару-тройку ничьих. После этого он приезжал еще несколько раз, мы подружились, и уже не было неожиданностью, когда он пригласил меня в Ригу, в его город, чтобы поработать вместе: ему вскоре предстоял матч с Глигоричем. Конечно, для меня это было лестное предложение.

Думаю, что, учитывая этот и последующие приезды в Ригу, я пробыл рядом с ним примерно с полгода.

Я приходил к одиннадцати в большую квартиру в центре города, и уже через полчаса мы сидели за шахматной доской. Сейчас, спустя четверть века, я понимаю, что варианты — а мы занимались, разумеется, только дебютами — ему были особенно и не нужны. Самое главное (здесь я полностью согласен со Спасским) для него было создать такую ситуацию на доске, чтобы его фигуры жили, и они действительно жили у него, как ни у кого другого. Ему необходимо было создать напряжение и захватить инициативу, создать такую позицию, где бы духовный момент — дать мат! - преобладал и даже смеялся над материальными ценностями.

Мы тратили массу времени на острые, но не вполне корректные варианты ферзевого гамбита и на жертву пешки в новоиндийской защите, которую он применил в малоизвестной партии тренировочного матча с Холмовым. Но смотрели и защиту Нимцовича, и испанскую — дебюты, оказавшиеся основными в его матче с Глигоричем.

Довольно часто приходил Мишин постоянный тренер Александр Кобленц, для друзей - Маэстро. Так его почти всегда называл и Миша. За их своеобразной шутливо-ироничной манерой разговора просматривалась давняя и искренняя привязанность. «На сегодня достаточно, — говорил Миша. - Блиц, блиц». Жертвуя нам поочередно фигуры (большей частью некорректно), приговаривал: «Неважно, сейчас я ему уроню флаг...» А в острейших ситуациях, когда у самого оставались считанные секунды, свое излюбленное: «Спокойствие — моя подружка». Я не помню случая, чтобы он играл блиц без видимого удовольствия. Были ли то партии чемпионатов Москвы или Ленинграда, во множестве выигранные им, чемпионат мира в Сент-Джонсе в 1988 году или просто пятиминутка с поймавшим его в фойе гостиницы любителем.

До компьютерного века было далеко, партии Глигорича были разбросаны в разных бюллетенях; в поисках их Миша часто натыкался на какой-нибудь журнал среди тех, что присылали ему из разных стран мира, и, остановив взгляд на диаграмме, предлагал: «А не посмотреть ли нам вместо этого партии последнего чемпионата Колумбии?»

«Может быть, передохнете немного?» — раздавался голос Мишиной мамы Иды Григорьевны, энергичной, импозантной женщины. Она была старшей из сестер буржуазной еврейской семьи из Риги, которых судьба разбросала по всему свету. В августе 1993-го должно исполниться девяносто ее сестре Риве,

живущей с конца 30-х годов в Гааге, с которой Миша почти всегда виделся во время своих частых приездов в Голландию. Молодой девушкой она уехала на полгода в Париж, чтобы совершенствоваться во французском, но судьба повернулась по-другому... Впервые тетя Рива увидела своего знаменитого племянника в 1959 году в Цюрихе, узнав о предстоящем там шахматном турнире. «Он был весь полон энергии, такой искрящийся, — вспоминает она, - и этот худой высокий американец, мальчик совсем, прямо ловил каждое Мишино слово...» Только на два года младше другая ее сестра, Ганя, которую хорошо помню еще по Риге, а сейчас она живет в Бруклине.

Фамилия у Мишиной мамы, умершей в 1979 году, была Таль, как и у его отца: она вышла замуж за своего двоюродного брата. В огромной (по моим тогдашним понятиям) квартире жили: мама Миши, его старший брат Яша, ненадолго переживший мать, сам Миша с подругой, которая эмигрировала в 1972 году и живет, насколько я знаю, в Германии, первая жена Миши - Салли, уехавшая в 1980-м и живущая сейчас в Антверпене, их сын Гера — прелестный мальчик с вьющимися кудрями, сейчас отец троих детей и зубной врач в Беэр-Шеве, в Израиле.

Вспоминаю, как в начале 80-х Миша встречался несколько раз у меня дома в Амстердаме с сыном, приезжавшим к отцу из Германии. Время тогда было не такое вегетарианское, и открытая встреча с сыном-эмигрантом, даже в присутствии одних только коллег-гроссмейстеров, могла иметь неприятные последствия, например, запрещение выезда за границу на год-два или более (что и пришлось испытать Мише в свое время).

Почти каждый день приходил дядя Роберт, как все его называли, друг отца Миши, замечательного врача, по отзывам всех, кто знал этого человека, умершего в 1957 году. Дядя Роберт, шофер такси в Париже в 20-х годах, потерявший всю семью во время войны, сам довольно слабый игрок, мог часами следить за нашими анализами и блицпартиями, глядя на Мишу влюбленными глазами. Иногда он выговаривал ему за что-нибудь, тот слабо защищался, и Ида Григорьевна, всегда занимая сторону дяди Роберта, говорила: «Миша, ты можешь отвечать нормально? Не забудь, что в конце концов это твой отец». Это было семейным секретом: в действительности дядя Роберт был отцом Миши... Сейчас, когда никого из них уже нет в живых, вижу хорошо дядю Роберта с неизменной сигаретой в пожелтевших от никотина пальцах, часто и с рюмкой коньяку, и Мишу, особенно последних лет, и впрямь так похожего на него обликом, манерой говорить, держаться.

Я во время этих пикировок смущенно отводил глаза, но на меня никто не обращал внимания, считая за своего.

Но вот наступал вечер, и надо было идти куда-нибудь ужинать. Вызывалось такси, и мы ехали в один из ресторанов, где Мишу, конечно же, всегда узнавали. Когда Таль стал чемпионом мира, ему подарили «Волгу» — лучшую советскую машину того времени. Но он отдал ее брату. К технике любой относился совершенно равнодушно, и, разумеется, у него и в мыслях не было учиться вождению. Только в последний период жизни у него появилась электробритва, и следы ее вмешательства можно было заметить там и сям на его лице. В мое же время процедуре бритья подвергал его старший брат, чаще же, как и всегда вне дома, он отправлялся в парикмахерскую. Галстуков не любил и носил, только если к тому принуждали обстоятельства. Надо ли говорить, что завязывать их он так и не научился. И часов не носил никогда. «Вот еще — тикает что-то на руке!» Время в общепринятом смысле для него не существовало. Помню не один упущенный поезд, а к дням его молодости относится достоверная попытка догнать самолет на такси (пользуясь трехчасовой промежуточной посадкой), завершившаяся, по словам очевидцев, полным успехом.

В такси нередко играли в игру, о которой я впервые услышал от него: из четырех цифр номера идущей впереди машины сделать 21 (используя каждую цифру только один раз). Мне было трудно проверить, но в сложных ситуациях он с триумфальным видом оперировал корнями, дифференциалами и интегралами.

За ужином и часто после — пили. Миша не любил и не пил вин, предпочитая крепкие напитки — водку, коньяк, ром-колу... Чтобы не быть неправильно понятым, скажу сразу: это не было медленное потягивание через соломинку. Лицо бармена в Вейк-ан-Зее при нашей первой встрече вне России в январе 1973 года, когда он должен был налить в один бокал пять рюмок коньяку, я помню до сих пор. Несколько лет тому назад Миша, уже плохо державший удар, просто заснул в конце банкета в Рейкьявике. С ним, особенно в последние годы, это случалось чаще и чаще. Корчной и Спасский, тоже игравшие там, были тогда в натянутых отношениях. Но делать было нечего, они посмотрели друг на друга. «Понесем, что ли?» - спросил один. «Понесем», — ответил другой. Дорога была неблизкой, но соперники его юности справились со своей задачей превосходно, а ошарашенному портье гостиницы было объяснено, что вот шахматист — долго думал, сильно устал...

Помню прекрасно его искрящийся, всегда мягкий юмор, его смех, заразительный, часто до слез, его мгновенную реакцию в

разговоре, его фирменное, обычно за полночь: «Официант! Смените собеседника!» Кажется, Шеридан говорил, что истинное остроумие куда ближе к добродушию, чем мы предполагаем. Мишино остроумие было всегда истинным.

Несмотря на физический ущерб — на его правой руке было только три пальца, - играл на фортепиано, и неплохо. Салли вспоминает, что в тот вечер, когда они познакомились, Миша играл этюды Шопена. За несколько месяцев до своего первого матча с Ботвинником он спросил у известной пианистки Бэллы Давидович, с которой был особенно дружен, есть ли у нее в репертуаре «Элегия» Рахманинова. Узнав, что нет, сказал: «Обещайте, что после моей победы над Ботвинником вы будете играть эту вещь на заключительном концерте». Тогда в Советском Союзе был обычай после официальной церемонии открытия или закрытия шахматных турниров или матчей устраивать большие сборные концерты. Вечером после 17-й партии, когда счет в матче стал 10:7 в пользу Таля, в квартире Давидович раздался телефонный звонок: «Можете начать разучивать "Элегию"...» И сейчас, тридцать два года спустя, Бэлла Давидович, уже давно живущая в Америке, играя «Элегию» Рахманинова, всегда вспоминает Мишу Таля и тот вечер в Пушкинском театре, когда она играла ее впервые. И композиторами его любимыми были Чайковский, Шопен, Рахманинов.

Летом, уже во время других моих приездов в период подготовки к матчу с Корчным, часто отправлялись на Рижское взморье, где ему была выделена дача, вернее — три комнаты на втором этаже домика рядом с пляжем. Сейчас в это трудно поверить, но хорошо вижу Мишу на пляже в солнечную погоду в створе импровизированных ворот (майка и пляжная сумка), азартно, как и всё, что он делал, отражающего мои попытки забить гол. Он играл вратарем в университетской команде и привязанность к футболу сохранил навсегда.

Здоровьем он не блистал никогда: и тогда в Риге, и на взморье у него бывали почечные приступы, нередко вызывалась «скорая помощь». Он часто бывал в больницах, за свою жизнь перенес двенадцать операций. На лбу его были заметны шрамы — следы жуткого удара бутылкой по голове в ночном баре Гаваны во время Олимпиады 1966 года (известна шутка Петросяна: «Только с железным здоровьем Таля можно было перенести такой удар»). Именно на конец 60-х приходится период в жизни Миши, когда он приучился к морфию. Вижу, как сейчас, его исколотые, как в муравьиных укусах, вены на руках и сестер, тщетно пытающихся найти еще нетронутое место. Знаю, что и позже, уже в Москве, «скорой помощи» было запрещено приезжать на вызовы Таля.

Слухи об этом носились тогда по городу. Помню и вопрос на одной лекции: «Правда ли, что вы морфинист, товарищ Таль?» И его молниеносную реакцию: «Что вы, что вы, я чигоринец». Я думаю, что этот период длился у Миши пару лет. Как он избавился от морфия, я не знаю (догадка: когда получение наркотика грозило перейти легальные границы, нечеловеческая сила его духа и воли сама положила этому конец).

Почему он так играл и почему он выигрывал? Конечно, легко спрятаться за словом «гений». Толуш после партии с ним на финише своего лучшего в жизни турнира в 1957 году сказал Спасскому: «Ты знаешь, Боря, я проиграл сегодня гениальному игроку». Другой уважаемый гроссмейстер на межзональном турнире в Таско уверял меня без тени кокетства: «Мы все не стоим Мишиного мизинца». И сам Петросян, скупой на похвалы, говорил, что в шахматах он знает только одного живого гения. Но дело не в этом. Или, во всяком случае, не только в этом. Я не склонен объяснять всё корчновским: «Помню, как-то в ресторане он сказал мне: ну, хочешь — посмотрю на того официанта, и он подойдет к нам». Или недостаточной защитой темных очков Бенко на турнире претендентов 1959 года. Но то, что весь его облик, особенно в молодые годы, излучал какую-то ауру, ~~ это точно. И здесь мы подошли к разгадке, как мне видится, феномена Михаила Таля.

Это склоненное над доской лицо, этот взгляд горящих глаз, пронизывающих доску и соперника, эти шевелящиеся губы, эта улыбка, появляющаяся на одухотворенном лице, когда найдена комбинация, эта высшая концентрация мысли, я бы сказал, напор мысли -создавали нечто, чего не выдерживали слабые духом. Когда же этот дух соединялся с энергией молодости, он был непобедим! «Ты, Ми-шик, — говорил ему покойный Штейн в Риге в 1969-м, — сильнее духом всех нас». Он был силен духом, как никто. Даже тогда, когда его организм был разрушен, дух его до конца, до последних дней оставался непреклонен.

В 1979 году после выигрыша вместе с Карповым «Турнира звезд» в Монреале сорокатрехлетний Таль, уравновешенный и много лучше понимающий шахматы, чем в годы своего чемпионства, сказал: «Сейчас я бы разнес того Таля под ноль». Я сомневаюсь в этом. И не потому, что его любимые поля e5, d5, f5 стали охраняться много строже. Дело в том, что академическому и всё понимающему Талю пришлось бы выдержать концентрацию мысли и напор молодости, которых не выдерживали лучшие из лучших.

Вспоминается летняя Москва 1968-го. Я был тогда секундантом Миши на его матче с Корчным, очень неудобным

для него противником, матче, который Таль проиграл - 4,5:5,5. Помню последнюю партию, где Миша черными в голландской создал сильную атаку, мог выиграть, но промедлил, и отложенная позиция не сулила больше ничьей. Бессонная ночь анализа, доигрывание, закрытие, долгое блуждание по Москве, где у него было так много друзей. Его энергия, его неиссякаемая энергия... Помню деревянный домик в самом центре Москвы, неподалеку от Главпочтамта. Там жил покойный теперь уже давно художник Игин, друг многих шахматистов, заглядывавших к нему в любое время дня и ночи. Художники, поэты, молодые актрисы, богемная Москва 60-70-х годов, сам живописный хозяин, говоривший о себе коротко: «Я — старый коньячник». Наконец, последний самолет Москва — Рига, нет билетов, но Мишу узнали, и вот в кабине у пилотов летим в Ригу. Ночь, квартира Миши, и вот я, уже ничего не чувствуя, засыпаю. Когда я проснулся утром, комната была сиза от сигаретного дыма, и где-то в отдалении с дивана на меня смотрел Миша, и толстая книга в его руках была почти прочитана. Читал он исключительно быстро, и я, находясь уже в западном сегменте моей жизни, знал, что, отправляясь куда-нибудь на турнир, надо взять с собой побольше книг, запрещенных тогда в СССР. На Олимпиаде в Ницце (1974) я дал ему вечером только что вышедший «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и свежий номер русской эмигрантской газеты. Наутро, возвращая мне всё, сказал: «Вот в кроссворде не мог найти одного слова». — «Ну а книга-то, книга?» — «Очень уж зло пишет». Тогда мне, пораженному ответом, явилось смутно объяснение, еще один аспект, раскрывающий личность Михаила Таля. Дело в том, что по большому счету его это не интересовало, он от этого как бы отстранялся.

Не интересовали его и материальные ценности. Вспоминаю, как после одного из турниров в Тилбурге разделял с ним так им нелюбимую процедуру покупок. Пятигульденовые бумажки лежали в его карманах (надо ли говорить, что кошелька у Таля никогда не было) вперемешку с тысячными, и помню его искреннее удивление, когда он обнаружил еще одну такую в одном из боковых карманов. А сколько было потерянных призов, сколько паспортов, оставленных в гостиницах или попросту забытых где-то... Помню его поверх меня направленный взгляд, когда на межзональном турнире в Таско я выговаривал ему после того, как он заплатил 70 долларов за трехминутный разговор с Нью-Йорком. Вряд ли доходили до него мои слова, что в некоторых странах следует избегать телефонных разговоров из гостиниц. Белявский рассказывал мне, что, когда он распекал Мишу за отдачу почти всего многотысячного приза за выигрыш

чемпионата мира по блицу в Спорткомитет, тот отвечал просто: «Ну, меня попросили, я и отдал...»

Его, конечно, не интересовали звания и награды. Думаю, и звание чемпиона мира его по большому счету не интересовало. И уж совсем не интересовали карьера, власть или выгода (или то, что понимают под этим словом его коллеги по чемпионскому званию последних лет). И в отличие от них его невозможно представить членом какой-либо партии вообще...

Хотя он в последнее время бывал в Израиле, думаю, что и его еврейство интересовало его постольку-поскольку. Вспоминаю, как перед одной из Олимпиад «Правда» писала, что в команде Советского Союза играют представители разных национальностей: армянин Петросян, русский Смыслов, эстонец Керес, рижанин Таль...

Даже он сам, его здоровье, его внешний вид интересовали его мало, так же мало, как и то, что о нем подумают другие. Он был человеком с другой планеты, и единственное, что его интересовало по-настоящему, были шахматы.

Он принадлежал к той редкой категории людей, которые как нечто само собой разумеющееся отмели от себя всё, к чему стремится большинство, прошли по жизни легкой походкой, - избранники судьбы, украшение Земли. Сжигая жизнь, он знал, что это — не генеральная репетиция, что другой — не будет. Но жить по-другому не хотел и не умел.

В январе 1973 года я играл свой первый турнир после отъезда из России — в резервной мастерской группе в Вейк-ан-Зее. Миша, игравший в главном турнире, появлялся каждый день в общем зале и, изучив мою позицию, переходил к другим партиям, а частенько и к партиям других групп (со средним рейтингом где-то в районе 1900). Мы говорили тогда нередко — было о чем — до глубокой ночи, и иногда я отправлялся пешком из Вейк-ан-Зее в Бевервейк (бывалые игроки Хоговен-турнира поймут, что я имею в виду), потому что автобусы уже не ходили или, правильнее будет сказать, еще не ходили. В свободный день был большой блицтурнир для всех желающих, который длился целый день и который Миша выиграл (к сведению современных профессионалов: первый приз был 100 гульденов).

Одним из его любимых выражений было: «Он играет во вкусные шахматы». И сам играл в такие. В комментариях к собственным партиям преобладали так редко встречающиеся теперь добродушие, уважение к партнеру и самоирония. Писать комментарии не любил, предпочитая показывать, наговаривая текст на магнитофон. А раньше просто диктуя. Так он познакомился со своей женой Гелей осенью 1970 года, когда его

не пустили по каким-то формальным причинам в чемпионат страны, который проводился в Риге. Она печатала его комментарии.

Записывал ход только краткой нотацией, всегда перед тем, как его сделать. В редких случаях, когда соперник попадался уж слишком любопытный, открыто заглядывавший в его бланк, закрывал ход ручкой. Если ход не нравился, то зачеркивал и писал новый. В последние годы, увы, всё чаще говорил: «Я даже записал на бланке выигрывающий ход, но перечеркнул в последний момент».

Часа за полтора-два дср партии что-то ел, но больше для проформы, говорил уже мало, уходил в свой мир. Так было, например, во время его матча с Корчным, и я понимал: в такие моменты его лучше не трогать. Обедали в разных местах: до матчей, где всё выверено до минуты и калории, еще было далеко... Обожал, разумеется, всё, что было ему нельзя: острое, соленое, печеное. Миша, каким я его помню, курил всегда очень много, обычно две-три пачки сигарет в день (предпочитая «Кент»), но, когда играл, к ним приплюсовывались еще две.

В последний раз я видел Мишу осенью 1991 года в Тилбурге. Он приехал из Германии, где жил тогда с женой и дочерью Жанной, которую очень любил. Выглядел он ужасно, много старше своих лет, но оставался самим собой. Отвечая на приветствие одного из знакомых, сказал: «Спасибо». — «За что?» — «За то, что вы узнали меня». Он сидел обычно в пресс-центре турнира с неизменной сигаретой, говорил мало, но каждое его замечание по части шахмат было всегда по существу. Оживился несколько, когда в своей обычной манере показал слушателям Академии Макса Эйве одну из своих недавних партий — против Панно из турнира в Буэнос-Айресе. Молодые люди смотрели на него, как на Стаунтона или Цукерторта. Чудом было не то, что он живет, а то, что он не умер ранее.

Он играл еще в последнем чемпионате Союза и написал потом (вместе с Ваганяном, с которым был особенно близок в эти годы) большую статью для нашего журнала. В феврале, когда я был в Каннах, меня попросили позвонить ему. «Слушай, - сказал Миша, - я сейчас читаю о матчах на мировое первенство, которые я сам видел вблизи. Всё было не так, всё было по-другому. Приезжай, напишем что-нибудь вместе». Обещал. Но как-то всё откладывалось и откладывалось...

Последний свой турнир Миша играл в Барселоне. Были молодые и многообещающие. Шутил в свое время о подающих надежды: «Я в таком возрасте был уже экс-чемпионом мира». Полтурнира играл совсем больным, с температурой. В

заключительном туре, полагая, что будет быстрая ничья, сыграл в сицилианской защите 3.Cb5, предложил ничью, получил отказ. В проигранной позиции, уже под атакой, его молодой соперник сам предложил ничью. Эта была последняя выигранная Мишей турнирная партия.

Мы перезванивались довольно часто, а за пару дней до моего отъезда на Олимпиаду в Манилу получил Мишино письмо. Вот оно:

«Дорогой Гена! К сожалению, обещанного рассказа о турнире пока не сделал — очень неважно себя чувствовал. В понедельник лечу в Москву на повторное свидание с медиками. Скорее всего, будет операция. Как бы там ни бьихо, свободного времени, а также записывающих устройств будет достаточно... Во всяком случае, желаю всяческих успехов тебе и всей вашей наименее русифицированной (скажем так) команде.

С сердечным приветом. Миша».

Это был последний привет, который я получил от него. Перед тем как лечь в больницу, уже совсем больным играл в блицтурнире в Москве и выиграл партию у Каспарова и занял третье место после Каспарова и Бареева, но опередил и Смыслова, и Долматова, и Выжманавина, и Белявского. Несколько дней спустя, 28 июня 1992 года, Миша Таль умер в московской больнице. Официальная причина его смерти: кровотечение в пищевод. Но фактически отказывался функционировать весь его организм. Его похоронили в Риге, городе, где он родился, на еврейском кладбище Шмерли, рядом с могилами его близких. Ему было пятьдесят пять лет. Он выглядел в последние годы старше своего возраста, но никогда не ассоциировался у меня с пожилым человеком, оставаясь всегда Мишей.

Иногда я спрашиваю себя: откуда у этих мальчиков из пристойных европейских еврейских семей, похожих друг на друга даже внешне - Модильяни, Кафки, Таля, - откуда эта всепоглощающая страсть к самовыражению? Где здесь тайна? Я не знаю ответа.

За несколько лет до своей смерти Вильгельм Стейниц сказал: «Я не историк шахмат, я сам кусок шахматной истории, мимо которого никто не пройдет». Тот, кто когда-либо касался или коснется удивительного мира шахмат, не пройдет мимо светлого имени: Миша Таль.

Я знаю, есть большая разница между гением в искусстве и гением в повседневной жизни. Я, кому выпала привилегия видеть Мишу Таля вблизи, попытался немного рассказать об этом. А за гения шахмат Михаила Таля говорят его партии.

Август 1992

Путь в бессмертие (М. Ботвинник)

Единственную партию с Ботвинником я играл весной 1989 года. Он был тогда в Голландии с целью покупки нового, более сильного компьютера, необходимого для работы, и всё это время я был рядом с ним. В один из дней Ботвинника попросили выступить на закрытии юношеского чемпионата страны, который проходил в Хилверсуме. Были, конечно, и фотографы, и телевизионные съемки. В какой-то момент режиссер телепередачи попросил: «Если господин Ботвинник не возражает, нам бы очень хотелось снять его во время игры». - «Но я давно уже не играю». - «Очень просят, Михаил Моисеевич. Вы же сами знаете — телевидение, от них не отвяжешься». — «Ну, если так...»

Расставили фигуры, мне достались белые. «Начинаем, начинаем», — подал команду режиссер. Я решил не оригинальничать и двинул вперед ферзевую пешку. Стрекот камеры, где-то голоса детей. Ботвинник не отвечал некоторое время, и я вопросительно посмотрел на него. Изменился весь его облик, он как бы выпрямился, затвердел на стуле, наконец, глядя на доску, поправил очки, галстук и сделал ответный ход. К сожалению, тогда в суете момента я не записал партии, но течение ее помню очень хорошо. Он разыграл голландскую, вариант «каменная стена», по старинке со слоном на e7.

Я делал все известные ходы, Ботвинник отвечал, не торопясь, всегда немного подумав. Но после пятнадцати ходов по какой-то странной причине моя позиция потеряла эластичность, был утерян генеральный план: я стоял несколько хуже. «Этого достаточно?» — спросил я у режиссера. — «Более чем». Ботвинник думал над своим ходом. «Михаил Моисеевич, он говорит, что наснимал достаточно».

Ботвинник все еще смотрел на доску и наконец поднял голову. На меня не мигая и жестко смотрели синие, выцветшие уже глаза с астигматично расставленными зрачками, которые глядели так же в глаза Ласкера, Капабланки и Алехина, и он знал хорошо оценку позиции на доске и знал, что я тоже знаю.

«Он говорит, Михаил Моисеевич, что всё получилось очень хорошо». Что-то растаяло в его лице, и уже режиссеру с легким полупоклоном: «Alstublieft meneer. Tot u dienst»[1]. Бывая часто в Голландии - в первый раз в 1938 году, - Ботвинник знал несколько выражений по-голландски; его английский и немецкий были довольно слабы.

Я познакомился с Ботвинником весной 1988 года, когда он приехал по приглашению Бессела Кока на один из первых СВИФТ-

турниров в Брюссель. Мы виделись каждый год во время его частых тогда посещений Амстердама или Брюсселя или в Москве, в последний раз во время Олимпиады в декабре 94-го, за полгода до его смерти. Теперь я жалею, что не было у меня эккермановских задатков и я не записал всех бесед с Ботвинником, но многое еще свежо в памяти и, к счастью, на магнитофонной ленте.

В один из его первых приездов в Амстердам, в гостях, женщина-москвичка, по возрасту где-то уже в середине четвертого десятка, увидев перед собой живого Ботвинника, представилась растерянно: «Оля». — «Ну, если вы Оля, я — Миша», — в тон ей ответил Ботвинник. Сказал ему через несколько минут в шутку: «Ну, Миша, пора уже, засиделись...»

На следующий день он подарил свою книгу с надписью, сделанной дрожащим, но ясным почерком: «Гене Сосонко — Миша Ботвинник в день рождения. Амстердам. 18.5.89». Так и называли друг друга несколько дней, но шутка не перешла в привычку, и скоро вернулись к Михаилу Моисеевичу и Геннадию Борисовичу. И только в некоторых случаях он возвращался к «Гена», когда хотел сказать что-то доверительное или особое. Я же - при прощаниях и тогда, когда пытался (всегда безрезультатно, впрочем) снять налет многих советских десятилетий, навсегда устоявшихся понятий, представлений, пытался добраться до чего-то... При прощании с ним во время его последнего приезда в Тилбург в сентябре 94-го показалось - дрогнуло что-то у старика - по интонации, по глазам, и после обычных слов сказал, наклонясь близко: «Миша, держаться, держаться надо», и уж совсем почти бестактно: «Ну, не знаю, когда и увидимся теперь», пытаясь задеть философскую струну. Прервал строго: «Ну, отчего же. Вот вы, Гена, в Москву, может быть, приедете...» — «Да и то — правда ваша. Ну, еще раз...»

Я провел с ним десять дней кряду летом 1988 года, когда приехал в Москву с молодым Пикетом для занятий с Патриархом. Вижу хорошо Гроссмейстерскую комнату в клубе на Гоголевском, пятнадцатилетнего Широва с Багировым, тоже присутствовавших на занятиях, самого Михаила Моисеевича, всегда несколько думавшего перед тем, как задать вопрос или сделать замечание. Осталось в памяти почему-то сформулированное им как «китайское» обязательное правило сделать первые 15 ходов в партии за полчаса, дабы избежать Цейтнота. Помню также и его «Стоп» во время анализа и вопрос к Пикету: «У меня такое впечатление, что вы не знаете моей партии с Юрьевым из чемпионата Союза металлистов 1927 года?» Я: «Ну откуда же Йеруну, Михаил Моисеевич, знать вашу партию с Юрьевым из

чемпионата Союза металлистов 27-го года?» — «Нет, вы все-таки спросите, переведите...»

Там же я понял, что его целенаправленная, не знающая сомнений, во многом догматичная манера мышления вкупе, разумеется, с высочайшим классом является идеальной для занятий с молодыми шахматистами, и педагогом он был, конечно, замечательным.

Стоял жаркий июнь, и в соседней комнате играл бесконечные тренировочные партии совсем маленький худенький мальчик, на которого Ботвинник советовал обратить серьезное внимание. Это был Володя Крамник.

В его последний приезд в Голландию, где он читал лекцию студентам экономического факультета в Тилбурге, говорили подолгу несколько дней подряд, и не только о шахматах. Я бы даже сказал, не столько о шахматах, сколько о его родителях, жене, книгах и музыке, Сталине и Молотове, всегда все же возвращаясь к шахматам. Говорил он точным, сжатым языком, зачастую простым до банальности, слегка картавя, разумеется, с его, ботвинниковской, интерпретацией и видением событий и фактов.

«...Отец мой из Белоруссии, из деревни Кудрищино, это в 25 километрах от Минска, недалеко от Острошицкого городка. Его отец, мой дедушка, был арендатором; так вообще редко бывало, чтобы еврей занимался сельским хозяйством, но так было. Все его сыновья, а их было пятеро, в том числе мой отец, у него работали. Отец бьш 1878 года рождения. Обладал огромной физической силой, хватал за рога быка из стада и валил на землю. И характер у него был жесткий, если казалось что-то справедливым, то стоял на этом до конца. Да, наверное... Наверное, и конституция моя, и черты характера от него. По-русски он говорил без акцента и писал очень хорошо, помню, и почерк имел очень красивый. Говорил, конечно, и на идише, вот не знаю, ходил ли в хедер, но дома у нас запретил говорить на жаргоне, только по-русски. В двадцать пять лет он уехал в Минск, потом началась революция 1905 года, работал в подпольной типографии. Там из-за отравления потерял зубы и решил стать зубным техником.

Два других его брата уехали в Америку еще в прошлом веке, туда же уехала сестра Раиса, моя тетя. Но она уехала позже, уже в 1914 году. Я помню, как она приезжала проститься к нам в Петербург, я был маленький совсем, болел, стоял в кроватке и размахивал деревянной саблей. Ею и стукнул тетю Раису по голове, когда она подошла. После моей победы в Ноттингеме она прислала мне из Америки поздравительную открытку. Я, конечно, на нее не ответил — тогда это было ужасно опасно, и она не

случайно прислала поздравление не в письме, а открыткой, чтобы все видели, что нет секретов. Л отец уехал в Берлин учиться на зубного техника, но немец ему не понравился, и он приехал в Петербург и поступил учеником к зубному технику Василию Ефремову. Я видел его на похоронах отца, был он такой маленький, с огромной седой бородой. Отец у него выучился, получил диплом и право на жительство в Петербурге.

Сначала он снял квартиру на Пушкинской улице, там познакомился с моей мамой Серафимой Самойловной Рабинович. Она была дантисткой. Судьба ее тоже была очень интересной. Мама старше отца на два года, родом из Креславки Витебской губернии в Белоруссии. Дедушка мой с материнской стороны — частный поверенный в делах графа Плотера. Имел большой дом на берегу Двины, я помню этот дом на фотографии, он сгорел во время войны. Мама рассказывала, что, когда в Креславку приезжал старший сын деда Исаак, в честь которого назвали моего старшего брата, убитого на войне, они ночами напролет резались в шахматы, но в какую силу они играли — неизвестно. Потом в Двинске мама получит диплом дантиста, тоже участвовала в революции 1905 года, была даже в РСДРП, но меньшевиков, ее выслали в Сибирь на два года. Потом приехала в Петербург и работала в медицинском пункте Обуховского завода. Тогда туда ходил от Николаевского вокзала паровичок. Я помню его очень хорошо. Так вот, она ездила на нем и давала заказы зубному технику на Пушкинской. Там она познакомилась с моим отцом. Они поженились, она оставила завод, переехала к нему, родился мой брат Исаак. Отец был очень хороший техник, дела его пошли на лад, и мы переехали на Невский проспект, где жили во дворе дома ***88.*** *Там была большая солнечная квартира из семи комнат на четвертом этаже, лифт, внизу стоял швейцар. Были кухарка, горничная, у меня с братом одно время была даже бонна. Потом 1917 год, февральская революция; помню очень хорошо — на улице стреляли, мама сажала нас с братом за платяной шкаф, мы ведь жили на Невском, в самом центре города. В 1920 году отец увлекся другой женщиной, ушел от нас. Он женился на бывшей дворянке. У него появилась другая семья, две дочери. С одной из них — она младше меня на десять лет — у меня сейчас хорошие отношения.*

Научил меня играть в шахматы приятель моего брата Лёня Баскин. Мне было тогда двенадцать лет. Жил он в следующем дворе того же дома на Невском, а родители этого Лёни имели небольшой бакалейный магазинчик тоже на Невском. Вы помните этот дом, где сейчас кинотеатр «Хроника»?

Я вообще был в синагоге два раза. В первый раз с Лёней и его Родителями. Был какой-то еврейский праздник, и они взяли меня с

собой. Тогда на Троицкой находилась большая хоральная синагога, но мне там не понравилось. Вообще, хотя дедушку с материнской стороны я и видел в ермолке, отец и мать были интернационалисты.

Во второй раз это было в 64-м году, после Олимпиады в Израиле, когда у нас состоялась экскурсия в Иерусалим. Потом я выступал в одном кибуце недалеко от ливанской границы. Там у меня спросили о моем еврействе. Я ответил так. «Мое положение сложное, потому что по крови я — еврей, по культуре — русский, а по воспитанию — советский». Больше вопросов не было. В народе, знаете, в 20—30-х годах антисемитизма не было, это потом пришло сверху. Ну, была, конечно, подоплека, когда я против Смыслова играл — еврей против русского, нет, антисемитских возгласов в зале не было, уши у меня очень хорошие, но по телефону звонили, особенно во время матча-реванша, и была антисемитская брань. Это — было. Ну я, конечно, позвонил в милицию от соседей — звонки и прекратились.

Вообще после 1920 года мы жили очень бедно, мама болела, отец давал нам 120 рублей в месяц, что было очень-очень скромно. Нет, отец с матерью не виделись, хотя отношения сохранялись. Мать болела довольно часто, и, когда она лежала в больнице, хозяйство вел мой брат. Студентом я стал в 1928 году, он давал мне рубль в день на проезд до института, обед и ужин. В школе я учился в Финском переулке у Финляндского вокзала и ходил туда пешком по Литейному проспекту через весь город. Там были замечательные педагоги, и вообще школе я обязан очень многим. В девять лет я прочел уже почти всю русскую классику. Книги были тогда очень дешевые. Прочел Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева. Толстого уже позже. «Война и мир» — это, знаете, да! - здесь Толстой выложился весь, а «Анна Каренина» и остальное слабее уже. Но выше всех Пушкин, конечно, уж не знаю, когда он будет превзойден, если будет. Он ведь такой жизнелюб, оптимист, лаконичен. У него ведь воды никогда не было, а у других писателей вода была. А из современных писателей люблю Зощенко. Я познакомиться с ним в 1933 году. Он пришел тогда на последний тур чемпионата СССР. Выглядел очень грустно. Он сказал мне тогда удивительную фразу: «Вы многого добьетесь, и не только в шахматах». Я ему понравился. И Евгения Шварца я тоже очень высоко ставлю.

Читал ли я Солженицына? Читал «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор» и стал относиться к нему отрицательно. Почему? Так Иван Денисович — это плагиат. Это он всё у Толстого из «Войны и мира» взял, это же Платон Каратаев, перенесенный в современность. Написано, конечно, ловко,

но надо и содержание какое-то давать, а «Матренин двор» - это призыв к реакционному крестьянскому прошлому России. Нет, больше я ничего его не читал — достаточно.

Что касается музыки, то здесь два фактора сыграли роль. Во-первых, уроки музыки в школе, во-вторых, моя жена. В школе уроков пения, как сейчас, не быт, был урок слушания музыки, и преподавательница или сама играла, или приглашала студентов консерватории, и мы учились слушать и понимать музыку. Поэтому и русскую, и мировую музыку я знаю достаточно хорошо, мы с Гаянэ Давидовной ходили в оперу, но меньше, а вот в балет много чаще.

Я познакомился со своей женой 2 мая 1934 года и помню этот день очень хорошо. Ганочка была на три года моложе меня. Девичья фамилия ее — Ананова, была она стопроцентная армянка, но родилась в Петербурге. Отец ее из пригорода Ростова, а мать — из Ейска. В семье говорили только по-русски, хотя, когда родители хотели, чтобы дети не поняли, говорили между собой по-армянски. Была она удивительно приветливая, добрая, очень верующая, эта вера ее очень поддерживала. Слава Рагозин о ней говорил: «Ганочка — человек обязательный». Капабланка сказал о ней: «Et bonne et belle». Часть моего успеха принадлежит ей, конечно. Во всем, чем я занимался, она меня поддерживала. По профессии была балерина, учишись у знаменитой Вагановой. Танцевала сначала в Маршинском (Кировском) театре, а после войны — в Большом. Танцевала в общей сложности двадцать четыре года, до 1956-го. В Большом танцевала в массовых танцах, но иногда и в отдельных партиях, например, в цыганском танце в «Травиате» или в «Гаянэ», где танцевала в четверном танце. Память у нее была феноменальная, ведь тогда не было видео, но она помнила почти все постановки. Я ходил, конечно, всегда, когда она танцевала. Ну, потом — дочка, внуки. Она им всю жизнь отдавала и мать мою тоже очень поддерживала. Вот сейчас правнучка моя Машенька — ей шестой годик идет — очень на нее похожа, такая же приветливая, симпатичная, и называет меня «дедушка Миш». И общительная такая, а вот Гаянэ Давидовна всегда немного грустной была.

Еще о музыке. Помню, как осенью 34-го слушал Козловского в «Евгении Онегине», был он фантастический певец, блистательный голос, я его выше итальянцев ставлю. И на следующий год слушал его в «Риголетто». Я в театр часто ходил. Ленинград тогда был просто потрясен моими успехами, и у меня был бесплатный пропуск в ложу дирекции во все театры. Нет, с Шостаковичем знаком не был, а вот с Сергеем Сергеевичем Прокофьевым мы были друзья, и с дирижером Хайкиным тоже. Помню, выбрали нас обоих депутатами Ленинградского городского совета, и это было дико

скучно, так мы сидели рядом и беседовали о том о сем, потом я с ним еще в Москве виделся. С Прокофьевым я познакомился в Москве во время Третьего международного турнира. Шахматы он очень любил, и сам играл, и был другом Капабланки. Я шел тогда на полочка сзади Капы, после того как проиграл ему совершенно выигранную позицию, да-а... Помните эту партию? Я тогда очень хорошо играл. И вот в конце турнира я должен был играть черными с Левенфишем, а он белыми с Элисказе-сому и Левенфиш пустил провокационный слух, что его заставляют мне проиграть, и сообщил об этом Капабланке. Прокофьев тоже узнал об этом, был он человек горячий и порвал со мной всякие отношения. Капа легко выиграл у Элисказеса, а я имел преимущество в «драконе», даже выиграл пешку, но — разноцвет, получилась ничья. Прокофьев всё понял и, когда мы поделили с Капой 1—2-е места в Ноттингеме, прислал нам обоим поздравительные телеграммы. Потом мы с ним были друзья, но в чемпионате 1940 года он болел все же за Кереса, а не за меня...

Люблю ли я его музыку? Помню, в школе еще играли его пьесу «Отчаяние», и она мне очень нравилась. Потом, когда он умер, меня попросили написать о нем. И музыковеды очень удивились, так как никогда не слыхали о таком произведении. Эта вещь очень сильная, а вообще же музыка у него какая-то искусственная была. Вот в своих воспоминаниях он пишет, что музыку надо писать так, как не писали до тебя. А Капа как учил? Надо всегда играть по позиции. Но у него есть, конечно, очень сильные вещи. Вот Шостакович мне как-то ближе, музыка его более живая, озорная. Бьи ли Прокофьев сшьным игроком? Да нет, королевский гамбит, жертвы, все вперед, поэтому Ойстрах легко у него выигрывав Ойстрах имел выжидательный стьиь — главное, ошибок не делать. Мы с нам тоже бьш очень дружны. А вообще я фортепиано люблю — там можно больше сказать.

Записывал ли я свои самые первые партии? Да, конечно, в такой тетрадочке, по-моему, она сейчас у Батуринского. Помню, записывал туда гастрольные партии Ласкера, партии из второго чемпионата школы, где занял первое место. Все партии записаны и прокомментированы почти все.

Родители мои были категорически против того, чтобы я играл в шахматы. Помню, шли мы с отцом по Владимирскому проспекту мимо игорного клуба, где на последнем этаже две комнаты занимало Петроградское шахматное собрание, и я ему сказал: «Папа, ты видишь, я там играю». И он резко отрицательно отозвался о том, что я играю в шахматы, его страшно волновало, что я прохожу все комнаты этой игроцкой богемы. Он думал, что это меня засосет, а меня это совершенно не интересовало, я

стремился на последний этаж, где можно было играть в шахматы. Даже когда пришли успехи, появилось имя в газетах, не было большого восторга. Когда же в 26-м году мне нужно было в первый раз ехать играть в Стокгольм, мать помчалась в школу и говорила с воспитателем нашего класса. И он ей так иронически сказал: «Для того чтобы в таком возрасте мир посмотреть, можно и десять дней в школе пропустить». Она и до этого ездила и тайком жаловалась директору школы на мое увлечение. Так он ей ckoЗ0ji: «Ваш сын книжник, оставьте его в покое». Ну, потом они, конечно, примирились, они ведь были против оттого, что шахматы тогда не были профессией. Ну а я, я не мог не играть.

На следующий год во внекатегорном турнире я играл уже будь здоров, хорошо играл. Нет, никакого тренера не было, всё брал из книг, сам анализировал очень много. Все в Ленинграде были тогда учениками Романовского, а я в тот клуб не ходил, за это Романовский меня возненавидел. Вообще отношения с ним были сложные, но, конечно, это внешне никак не отражалось, здоровались, разумеется, и все приличия соблюдали...

Первым, с кем я прекратил всякий контакт, был Бронштейн: во время нашего матча он вел себя безобразно. В зале прямо напротив сцены быига ложа КГБ, «Динамо», там сидели все его болельщики. Так если он жертвовал или, наоборот, выигрывал пешку, там всегда аплодисменты были. А сам он делал ход и быстро уходил за сцену, а потом вдруг выскакивах и снова скрывался. В зале смех, а мне это мешало играть. А то, что он говорит, что во время 23-й партии думал больше о судьбе своего отца, так это Вайнштейном подсказано — его злым гением. Тот был страшный человек, просто страшный, меня ненавидел, он не хотел, чтобы я стал чемпионом мира. Когда обсуждался мой матч с Мехиным, то, несмотря на решение Сталина, он, пользуясь тем, что был начальником планово-финансового отдела КГБ, использовал свои связи, чтобы мешать моим переговорам с Алехиным. Во время войны он агитировал за то, чтобы объявить Алехина преступником и лишить его звания чемпиона мира, и давил на меня, чтобы я выступил инициатором этого. Ясно, что это было самое простое, чтобы Алехин вообще не играл матч. После матча, хотя мы с Бронштейном и здоровались, он для меня перестал существовать. Последние годы я стал относиться к нему нормально, но он меня до сих пор ненавидит.

И с Левенфишем отношения были очень острые. Вообще он был очень интеллигентным человеком, окончил Технологический институт в Петербурге еще до революции, и шахматист высокого таланта, но шахматам все время не уделял, хотя обладал высокой шахматной культурой. Но был он всегда как одинокий одичалый

волк. Действительно, он был в 1917 году уже взрослым человеком, а я еще ребенком, но нет, не думаю, как вы говорите, что мы по-разному воспринимали происходящее. Не думаю, что он был антисоветчик, в конце концов ему уж и не так плохо жилось в Советском Союзе, а то, что выезжать за границу не мог, так я не уверен, так ли уж это важно. Я вот в свое время Гулько с женой говорил, что тоже мог остаться в 26-м году в Стокгольме, да не остался, и неплохо получилось. И Романовский не был антисоветчик. А вот Богатырчук — тот ненавидел советскую власть. Нет, книгу его не читал, но знаю его хорошо. Талантливый и позицию понимал хорошо, считал хорошо, пользовался ласкеровским принципом: если хуже — еще не проиграно. Но человек был нечистоплотный. Я ему в 27-м году партию проиграл, а потом еще две, но что поделаешь, вот был такой лесничий в Сибири — Измайлов, так я ему тоже две партии проиграл — одну в Одессе в 29-м году, другую в полуфинале — в 31-м, едва в финал попал...

Ну и с Петросяном не было отношений после того, как он вел себя во время нашего матча совершенно неприлично. Что значит? Надо было подписать регламент матча, и, не помню уж какой, совсем ничтожный пункт ему не нравится — подписывать не хочет. Я говорю: хорошо, я позвоню в ФИДЕ Рогарду. Мне говорят в федерации: подождите пару дней. Петросян сог/шшается. Потом снова отказывается. И так несколько раз. Ясно: решили потрепать мне нервы. А когда Петросян поднимался по лестнице Театра эстрады, армяне перед ним святую землю из Эчмиадзина посыпали. Ну что это такое ? А он воспринимал как должное. Если бы передо мной посыпали святую землю из Иерусалима — что бы я сделал? «Подметете — пройду», — сказал бы.

И со Смысловым у меня тоже были острые отношения, но такого не было. Сейчас у нас с Василием Васильевичем отношения нормальные. С Эйве быт острые отношения, когда мы с ним конкурировали, например в Гронингене в 1946 году: тогда было ясно, что если он этот турнир выигрывает, то никакого матч-турнира в 48-м году не будет. Ну, а потом, когда спортивный элемент отпал, мы с ним друзья стали самые настоящие. С Карповым были добрые отношения, но потом они ухудшились, когда он стал утверждать, что советской шахматной школы нет. И потом, когда он притеснял Каспарова, я взял сторону Каспарова, так как считал, что они должны быть в равных условиях. Ну и эта жуткая история, когда прекратили матч, здесь приняли участие все — и ЦК, и Спорткомитет, и федерация, и Кампо. Ведь Гарик с 73-го по 78-й посещал мою школу, потом она была закрыта, и мы встречались с ним просто вдвоем, я поддерживал

его всячески. Я ведь добился для него участия в Мемориале Сокольского, который он выиграл легко и стал мастером, то же самое и турнир в Баня-Луке, где он стал гроссмейстером.

Гарик сейчас играет слабее, чем десять лет тому назад, и стиль его изменился. Раньше он играл, как Капабланка, как я его учил, по позиции, но несколько лет назад я заметил, что в интересах безопасности он идет на упрощения и после того, как позиция упростится, применяет свой тактический талант. Нет, я не думаю, что это возраст, он просто понял, что ему в первую очередь не надо проигрывать. Вы ведь знаете, что каждый тенор может взять в своей жизни определенное количество верхних «си». Но, может быть, и шахматист способен сыграть только определенное количество хороших партий, а остальное время он просто передвигает фигуры? Думаю, что единственное спасение его — это бросить галиматью, которой он сейчас занимается. Но это уже бывало, что ко мне поворачивались спиной, я в конце концов помогал Каспарову не из-за его человеческих качеств, а потому, что он замечательный шахматист.

Кого я выше оцениваю, Каспарова или Карпова? Конечно, они оба выдающиеся таланты, но более разносторонний талант — у Карпова. Вы видели мою книгу «Три матча Анатолия Карпова»? Так вот, он играл фантастически в этих матчах. Как он выиграл у Спасского! А тот ведь был еще очень силен — Спасский за несколько месяцев до этого, в 73-м, выиграл чемпионат Союза, и какой! Так Карпов его в матче прямо разгромил. Ну а потом Карпов перестал играть в полную силу. Почему — не знаю. Может быть, в сочетании «деньги — шахматы» деньги стали более важны? Но то, что он показал недавно на турнире в Линаресе, говорит о том, что он сохранил еще свой талант. С кем из них я хотел бы остаться вдвоем на необитаемом острове? У меня сейчас достаточно хорошие отношения с Карповым. Но если бы я мог выбирать между Карповым времен его чемпионства и Каспаровым — его чемпионства, я бы предпочел остаться в одиночестве на необитаемом острове.

Из молодых? Помню, когда Крамнику было двенадцать лет, играл он очень осторожно, очень правильно. Он быстро усиливался и сейчас играет смелее, но просто с неуважением относится к себе: толстый, пьет, курит. Камскому проиграл позорно, да и Гельфанду. Он и меня теперь избегает, обходит стороной. Широв — очень своеобразный талант, мне чем-то Корчного напоминает. Но у него, я думаю, нервная система не в порядке — то хорошо, то плохо. Он резкий такой, импульсивный, кого угодно может критиковать. Нет, как чемпион мира он мне не видится.

Прежде чем о будущем чемпионе говорить, надо порядок

навести в шахматном мире. Скоростные турниры всякие, все шлеп да шлеп — издевательство над шахматами. Вы видели, как Каспаров компьютеру проиграл? Бесцветная партия! Компьютер играл бесцветно, Каспаров просто жутко. Но я это еще перед матчем в Лондоне понял, когда мама со мной говорила, что деньги для них — это всё.

Нет, шахматы не изменились, не стали другими — это всё сказки для маленьких детей. Это только первоначальную информацию теперь легче добыть, а процесс анализа остался прежним. Шахматист должен анализировать сам и много, и ничто не может заменить анализа.

Лучшая из моих аналитических работ ? Думаю, написал ее во время войны, когда прокомментировал все партии турнира на звание абсолютного чемпиона СССР. Я ведь тогда, в 43-м, написал письмо Мо-лотову, что теряю свою шахматную квалификацию. Вот он и начертал резолюцию: «Надо обязательно сохранить товарищу Ботвиннику боеспособность по шахматам и обеспечить должное время для дальнейшего совершенствования». Так у меня образовались два свободных дня в неделю, тогда и книгу писал.

Помню, привел ко мне Быховский Белявского — тому тогда семнадцать лет было — посмотреть, как играет. Бышо видно: способный, но ничего не знает, просто играет как бог на душу положит. Так я ему дал эту книгу, чтоб научился анализировать. Через несколько месяцев он ее вернул и сказал, что искал в анализах хотя бы одну ошибку, да так и не нашел.

Когда я сам играл сильнее всего? Ну, конечно, в 48-м году играл я хорошо. Готовился от всей души и показал, на что способен. И чемпионат СССР в 45-м играл хорошо, когда набрал 16 из 18-ти. Да и матч-реванш с Толем, хотя было мне уже пятьдесят. Подготовился очень хорошо и всех удивил, и Таля удивил. Вы вот о Таге хорошо написаш, а стиль его определили неправильно. Я же показал во втором матче, как с ним надо играть. Когда фигуры у него прыгаги по доске — не было ему равных, а когда крепкая пешечная структура в центре — тогда позиционно он был слаб, поэтому надо было его ограничивать, ограничивать. Да, Таль... Помню, в Мюнхене в 58-м была трамвайная остановка Таль-штрассе. Мы всё шутшли: в честь Миши названа. Был болен, вы говорите? Но он же всю жизнь болел. А как было дело? Вызывает меня Романов и говорит: матч опыожен — Таль болен. Есть ли официальное заявление от врача? Да нет, говорит, болен он. Я: но есть правила, должно быть удостоверение. Перешли на крик. Вечером Романов мне позвонил и сказал: матч играется. Оказывается, позвонили Толю в Ригу, чтобы он официально освидетельствовался, но Таль отказался.

Вообще говоря, и Бронштейн, и Смыслов, и Таль после матчей со мной уже не показывали бшой игры. Этот грех на моей душе, так как я их раскрыл и все поняли, как с ними надо играть.

Нет, не курил никогда, за исключением двух месяцев в молодости, алкоголя не употреблял, ел всегда за полтора часа до игры, потом лежал, но не спал, просто лежал, потому что, когда лежишь, никто не лезет с пустыми разговорами. Сначала брал с собой на игру черную смородину с лимоном, жена сама выжимала. Потом стал пить кофе. Одно время ел шоколад во время игры, думаю — это неплохо. Для себя заметил так: если поправляюсь во время турнира, значит, плохо играл, и если прихожу после партии не усталый — тоже плохо. Ну а если измочаленный — тогда полный порядок. После партии с Капаб-ланкой в Амстердаме со стула не мог подняться.

Сон, конечно, важное дело. Что вам Спасский говорил в отношении сна? Чепуху, наверное. Но был великий шахматист, великий. Это продолжение линии Ласкера: его мало интересовало, что делают другие, он имел свое мнение. Свой первый матч с Петросяном он играл уже очень хорошо, но, я думаю, ему Бондаревский голову заморочил. Ну а второй матч с Петросяном — просто великолепно. Думаю, что Фишеру он проиграл матч по жупости. Переоценил себя. А то, что с ним произошло, — так вы же сами знаете, что творчество и деньги сопутствуют друг другу. Здесь вопрос — что важнее? Или деньги — для того, чтобы играть в шахматы, или шахматы — для того, чтобы зарабатывать деньги. Ну, он перешел на вторую систему и потерял интерес к шахматам. Ему сейчас еще повезло, что он сыграл этот идиотский матч с Фишером и обеспечил себя.

Так вот о сне: я спал хорошо до московского турнира 36-го года. Но тогда такая страшная жара стояла, да еще шум постоянный на улице, что я потерял сон. Но был молодой и с бессонницей играл хорошо, заставлял себя играть. Потом как-то восстановился, но полного порядка так и не было.

Без всякого сомнения, машина будет играть сильнее человека, и бояться здесь нечего, шахматы станут еще популярнее. Бегают же люди на стадионах, хотя и велосипед, и тем более машина намного быстрее. Нет, здесь бояться не надо, но дело это непростое. Знаете, что я вчера на лекции понял ? Составить программу для управления экономикой легче, чем для шахмат, потому что игра двусторонняя, антагонистическая — игроки мешают друг другу, это же черт знает что такое, а в экономике этого нет, там всё проще.

Нет, Сталина не видел, с Поскребышевым, помощником его, по телефону разговаривал, а Сталина не видел. Но у меня есть

телеграмма. Получил я ее в январе 1939 года, после того как послал Молотову письмо насчет моего матча с Алехиным. Телеграмма такая: «Если решите вызвать шахматиста Алехина на матч, желаем Вам полного успеха. Остальное нетрудно обеспечить. Молотов». Я всегда думал — Молотов писал, но как-то прочел это с кавказским акцентом и понял — сталинский стиль, особенно «остальное нетрудно обеспечить». Ну, и потом у меня в Центре висит распоряжение J950 года за сталинской подписью. Сталин ведь был не только негативной фигурой, его роль двойственна. Он укреплял государство, и, хотя люди жили бедно, большинство его поддерживало. Десятки миллионов жизней, вы говорите? Знаете, я в это не очень верю. Лагеря были, конечно, но многие из лагерей возвращситсь, очень многие, и друзья мои возвращались. Так что цифрам я не очень верю. Хотя Сталин очень ловко камуфлировал свои злодейства. Впервые я почувствовал, что это брехня, в 1952 году, когда объявили о процессе врачей — врачи-убийцы. Я тогда и не поверил.

Был на приеме у Вышинского. Еще тогда, до войны, я отстаивал идею, что шахматные турниры надо проводить, как музыкальные конкурсы, что шахматы не хуже скрипки. Я ему прямо сказал об этом, а Вышинский говорит: у нас денег нет. А я ему: а на конкурсы есть? Так он ничего и не ответил... Вышинский был, конечно, приспособленец, но человек способный. В каком смысле? Юрист хороший, талантливый, но беспринципный. А вот Крыленко — это другое дело: добрый, справедливый, принципиальный и шахматы любил безумно, но, конечно, партийная дисциплина и указания ЦК были для него законом.

Хрущева видел однажды на приеме, помню — идет, живот у него был огромный, фотографы кричат ему: «Фотографию, Никита Сергеевич!» А он говорит: «А где же?» Тут Брежнев, он рядом с ним шел, опустился на зешю, подставил колено, вот Хрущев на него и сел. Так и на фотографии они вместе. Брежнев мне в 1961 году орден вручал после матча-реванша с Толем. Говорил он очень тепло и вообще мне понравился, это он потом больной стал.

Сожалею ли о чем-нибудь, что сделал не так в жизни? Делал какие-то ошибки, но я их больше не повторял. Какие?.. Ну, так трудно сказать. Иногда я по мелочам принимал глупые решения, но это меня учило, а так вообще — нет, не жалею».

Он замолчал, комната была полна заходящим солнцем сентября 1994 года, и в соседней церкви часы уже били шесть. Было видно, что он устал.

Видите меня, Михаил Моисеевич? — спросил я.

Только контуры.

Вы так и не были у Федорова? Вот Василий Васильевич...

— Да что Василий Васильевич, у него зрение в три раза лучше, чем у меня.

В прошлый свой приезд грозился всё пойти к Федорову, да выжидал, полагая, что профессор должен сначала прочесть его статью в историческом журнале, написанную еще в 1954 году, из которой было ясно, что он уже и тогда был за демократию.

Да был я у Федорова. Так тот прямо сказал, что клетки стареют.

Что же получается, медицина бессильна?

— Да, вот именно. Он, правда, предложил операцию сделать, но я отказался.

Я снова посмотрел на него. Старческие руки, астигматический взгляд из-за толстых стекол очков, седые, аккуратно зачесанные волосы. Он говорил о людях, большинство из которых умерло, так, как будто его самого на девятом десятке не касаются понятия времени и возраста. Его лекция на экономическом факультете и пресс-конференция в Тилбурге, посвященная шахматам, были фактически одним и тем же — яростной, страстной попыткой утвердить свою правоту, часто резкую и нетерпимую, не считающуюся с мнением собеседника или оппонента. Очень часто он брал за основу факт, далеко не очевидный, а иногда даже весьма сомнительный, и делал из него выводы с железной последовательностью и неумолимой логикой. Помню на той лекции удивленные лица студентов, когда он сказал: «Как вы сами знаете, всю экономику Голландии определяют три концерна - Philips, Hoogovens, Unilever». Добившись вследствие своего огромного таланта и железной воли наивысших успехов в одной области, он под влиянием этого полагал, что может чувствовать себя на таком же уровне и в других, где был значительно менее компетентен. Поэтому его суждения часто выглядят наивными и банальными, а иногда даже нелепыми. Нет, впрочем, никакого сомнения в искренности и абсолютной вере в то, что он говорил. Очевидно, что в этом немалую роль сыграла и страна, в которой он прожил всю свою сознательную жизнь, страна, считавшая только одну идею правильной, а остальные — реакционными или ошибочными. Его оценки людей и событий совмещали в себе нередко глубокое проникновение в характер человека и догматическое упрямство в объяснении его мотивов и намерений. Надо отдать ему должное: он развивал свои теории и гипотезы, построенные на этих предпосылках, с исключительной ясностью и целеустремленностью.

«Мышление у Михаила Моисеевича, - сказал мне однажды Смыслов, — сугубо материалистическое, я бы даже сказал —

машинное. Впрочем, всё суета сует и всяческая суета, суета и томление духа, а вот у Михаила Моисеевича и томления духа нет». Поэтому так неожиданно щемяще звучит фраза, едва ли не единственная из всего, написанного Ботвинником: «В последние годы я понял, что такое старость: когда друзья уходят, а новые не появляются, остается лишь помнить тех, кто ушел».

Раз приняв какое-то решение, он следовал ему твердо, не сворачивая в сторону. Я думаю, что это качество - вера в себя, в правильность избранного плана, собственной идеи — крайне важно для шахматиста высокого уровня. Уверенность эта каким-то образом передается и шахматным фигурам. Все чемпионы мира, которых я видел вблизи, обладали в той или иной степени этим качеством. Просчитав варианты и сыграв g2-g4, следует верить только в лобовую атаку, а не сокрушаться по поводу того, что поле f4 сдается навсегда и что будет, если туда придет черный конь. Сомнения, накапливаемые с опытом, увы, порождают неуверенность и ничего хорошего не приносят.

Как-то в разговоре, чтобы посмотреть на его реакцию, вспомнил наполеоновское: «Нужно всегда оставлять за собой право смеяться завтра над тем, что утверждаешь сегодня». — «Наполеон вам мог и не то сказать. Это когда он сказал, после 1812 года, что ли?»

Обидчиков своих и в жизни, и за шахматной доской помнил крепко. Как-то в Брюсселе в пресс-центре турнира ГМА, обсуждая одну дебютную позицию, сказал ему: «Это, кажется, идея Джинджихашвили?»

«Джинджихашвили, вы сказали? Как же, как же, помню, не к ночи будет помянут. На командном первенстве СССР 1967 года совсем выиграно было, так расслабился, пропустил удар, даже ничьей не сделал...»

Вижу хорошо его в пресс-центре турнира. Анализировал он, разумеется, всегда вслепую, в последние годы, увы, почти буквально. Седая, низко склоненная голова, которой покачивал иногда из стороны в сторону, переспрашивая: «Пешка где, вы сказали, стоит, на d5?»

О шахматах он знал что-то, чего другие не знали. Слова греческого поэта Архилоха: «Лиса знает множество вещей, а еж знает одну большую вещь» — относятся прямо к нему. В шахматах 30-х, 40-х и 50-х годов было много замечательных лис, но он, конечно, был из разряда ежей.

В своем последнем турнире в Лейдене в 1970 году стоял на выигрыш во многих партиях, но, впервые в жизни разделив последнее место, понял, что дело здесь не только в шахматах. Он понял прекрасно, что на шахматы распространяется тот же

жестокий обычай, который существовал у жителей Огненной Земли: молодые, подрастая, убивают и съедают стариков.

Увидев как-то имена двух людей, о которых он писал в свое время, сказал ему: «Михаил Моисеевич, вы знаете, однажды Эйнштейн получил телеграмму от одного бруклинского раввина: правда ли, что он безбожник? В тот же день Эйнштейн по телеграфу ответил: «Я верю в Бога Спинозы, проявляющегося в гармонии всего сущего, а не в Бога, занимающегося судьбами и поступками людей». Помолчал немного и начал что-то говорить о «брут форсе», которым не добьешься прогресса в шахматных программах. Он не верил, конечно, ни в Бога Спинозы, ни тем более в Бога бруклинского раввина, хотя, сам того не подозревая, жил по мудрости Талмуда: жизнь — не страдание и не наслаждение, а дело, которое нужно довести до конца.

Его религией стало мировоззрение нового государства, вместе с которым он рос. Его заповедями были лозунги и идеалы молодой страны. Этим идеалам, таким красивым на бумаге и неосуществимым в действительности, отброшенным сейчас вместе с самой системой, он оставался верен (пусть с самоочевидными коррективами) до конца. Он и себя рассматривал как «казенное имущество» партии и государства. Отказаться от этих идеалов — значило для него перечеркнуть всю свою жизнь. Так и в шахматах: выработав еще в молодые годы свои методы подготовки и принципы ведения борьбы, он оставался им верен до конца творческого пути. В партии четырнадцатилетнего Миши Ботвинника, которую он выиграл в 1925 году в сеансе одновременной игры у Капабланки, уже ясно проглядывают черты его будущих лучших образцов.

В Брюсселе в августе 91-го он получил телеграмму от Горбачева по поводу своего восьмидесятилетия. На следующий день, когда спал первый ажиотаж, спросил его, шагнувшего в девятый десяток, о жизни и смерти. Подумав немного, отвечал: «Еще Фридрих Энгельс говорил, что вся жизнь есть фактически подготовка к смерти...»

Мне показалось, что-то похожее говорил не Энгельс, а Марк Аврелий, но не стал спорить по мелочам. «А смерть? Смерти я не боюсь. У меня только одно желание — завершить работу над программой».

Детищем последнего периода жизни была его программа. Ей посвящал он всё свое время и энергию. Знал, конечно, что большинство математиков скептически относится к его идее создания программы по подобию мышления человека, но твердо верил в свою правоту.

Он был живой реликвией, частью эпохи, и невозможно

оторвать или рассматривать его вне этой эпохи и вне ее контекста. «Сцепление всего со всем» - эта замечательная по простоте формула Толстого более чем любая другая применима к стране и ко времени, когда он жил. Невозможно понять некоторые поступки Шостаковича или Пастернака, например, вне того времени, когда они жили, и вне той удивительной, жестокой, ни на что не похожей страны. Но была и разница. Начиная с двадцатилетнего возраста, когда он впервые стал чемпионом СССР, его имя стало не просто популярным, оно превратилось в символ шахмат в Стране Советов, так же как имя Маяковского - в поэзии, Улановой - в балете или Шолохова — в литературе. Фотографии и статьи в газетах, автографы и восхищенные взгляды болельщиков, постоянное внимание людей, по выражению Салтыкова-Щедрина, «на заставах власть имеющих», — всё это вместе с врожденными качествами, характером и талантом сформировало феномен Михаила Ботвинника.

Расскажу еще о двух случаях, мне кажется, очень типичных для него. Как и большинство чемпионов мира по шахматам, Ботвинник вырос без отца и с детства был приучен к формуле, которая стала формулой жизни. Вот она. Свое восьмидесятилетие, которое совпало с окончанием претендентских матчей, он встречал в Брюсселе. Был большой банкет, и сам юбиляр выступал с речью. Я переводил, как мог, и, когда он под аплодисменты стал спускаться по лестнице, попытался взять его, почти ничего не видящего, под руку. «Нет, - сказал он твердо, — я сам, я — сам». Это было нежелание смириться, зависеть от чужой воли, остановить часы, сдаться. Всё, что он делал в шахматах и в жизни, все решения, которые он принимал, он принимал сам и, приняв однажды, следовал им неукоснительно.

Другой случай, из Тилбурга, когда он решил купить несколько авторучек для своих сотрудников и попросил меня помочь ему в этом. «Но только, чтобы обязательно были с черными чернилами, Геннадий Борисович, чтобы непременно с черными». В магазине, когда я сказал об этом девушке, она стала переспрашивать. Михаил Моисеевич прислушивался к нашему разговору и вдруг, отстранив меня, чтобы всё и окончательно разъяснить, решительно произнес: «Schwarz, understand?»

В последний раз видел его в декабре 94-го в Москве, в клубе на Гоголевском, где он работал еще каждый день. Был обычный снежный московский день, у кого-то из сотрудников — день рождения, пили чай с тортом, и всё казалось: так будет всегда, с ним ничего не может случиться, он переживет всех нас. Он, с его постоянной температурой 35,7°, как бы законсервировался,

казалось, он вечный. И действительно, был крепок физически. Получив в детстве в подарок книгу Мюллера, всю жизнь делал гимнастику по его системе. Помню, как в 88-м, при самом первом знакомстве, в лифте гостиницы спросил: «А вы такое можете?» — и, опершись руками на металлические выступы, сделал «угол».

Но как-то нездоровилось, отправился в больницу, которую активно не любил (в последний раз был ровно полвека назад по поводу аппендицита), был поставлен диагноз — гнойный плеврит. Но введенный гамма-глобулин организм не принял, ему стало хуже. И в таком состоянии оставался Ботвинником, сам говорил врачам, какие препараты нужно ввести, чтобы нейтрализовать реакцию.

Все процессы в его организме пришли в движение, и рак поджелудочной железы в конечном итоге явился причиной смерти. Он умирал мужественно, превосходно понимая, что умирает, при ясном уме и твердой памяти, его, ботвинниковском, уме и его, ботвинни-ковской, памяти.

Василий Смыслов: «Помню, был с ним на Новодевичьем, так он сказал: «Я вот спокоен — буду здесь рядом с Ганочкой, и место уже есть». И протирал место, где теперь стоит урна с его прахом».

Он был спокоен в самом конце, сознательно приняв формулу древних: нам легче быть терпеливыми там, где изменить что-либо не в нашей власти. Хотя знал я его фактически только на самом последнем витке жизни, был он для меня всегда с заботами и мыслями конкретными, сегодняшнего дня, очень живым, деятельным человеком и никогда — мертвецом, еще не приступившим к своим обязанностям. Мало кто может сказать, умирая: «Я жил так, как считал правильным». Я думаю, что он мог так сказать.

Он был дома, в кругу своих близких, и совершенно сознательно отдавал последние распоряжения о морге, кремации, ненужности пышных похорон. Сам в последние годы принципиально не ходил на похороны. Объяснение этому, полагаю, не только в желании избежать отрицательных эмоций, с практической стороны дела бессмысленных. Мне думается, что скорее здесь имело место раздражение и неприятие факта, что кто-то (или в его случае правильно сказать, конечно, что-то), несмотря на то, что всё делалось правильно и игралось по позиции, по Капабланке, самым нелепым (а часто и неожиданным) образом кладет конец всему.

Гарри Каспаров в последнее время воевал со своим бывшим учителем. У них были разные взгляды на будущее шахмат, да и на жизнь вообще. Но они, такие разные, были в чем-то и похожи друг на друга непримиримостью, верой в собственную,

единственную правоту. Через несколько дней после смерти Ботвинника Каспаров играл турнир в Амстердаме. Я увидел его через час после открытия при выходе из гостиницы, о чем-то оживленно разговаривающим со своим секундантом.

— Понимаешь, мы сейчас проверили, дошли до турнирного зала — отнимает все же двадцать минут.

Но если так пойти, будет короче, мне кажется, - заметил я.

Нет, это уж очень шумная улица.

Михаил Ботвинник с его идеями более чем полувековой давности сквозь размолвки и ссоры, годы и смерть строго смотрел на своего ученика. Его жизнь вместила в себя важнейшие события этого жестокого уходящего века: обе мировые войны, выход человека в космос, наконец, образование и распад одного из самых удивительных государств, шахматным символом которого он являлся.

— И о чем же вы, Гена, собираетесь со мной говорить? — спросил он, когда я включил магнитофон.

— Как о чем? О жизни, о жизни.

— М-да. А для чего же это?

Зная, что он не любит таких определений, отвечал все же:

Для бессмертия, Михаил Моисеевич.

Эк, куда хватили. Да вы воспоминания, батенька, собираетесь писать, так бы сразу и сказали...

Пятого мая на телетексте — невозможные, безжалостные слова. И — звонок Смыслову и подтверждение этих слов. И долгое хождение по комнате, и мечущиеся мысли, что нет больше Трои, и медленное понимание того, что некому сказать теперь, не прячась за иронию или шутку, что-то, что так и не успел сказать. Но привыкающая ко всему душа переносит того, кто жил, в другие измерения и категории, и жизнь продолжается уже без него, и понимаешь, что есть немалый смысл в том, что настоящее присутствие человека начинается лишь после его смерти, так же как обязательным условием бессмертия является сама смерть.

Пятого мая 1995 года Михаил Моисеевич Ботвинник начал свой путь в бессмертие.

Июль 1995

«Работать, надо работать…» (Л.Полугаевский)

Полу-гаевский? Полу-гаевский? Нет, такой фамилии не может быть», - смеясь, утверждала загорелая дама, случайная посетительница шахматного турнира, жарким сентябрем 1965 года. «Да, но моя фамилия действительно Полугаевский», - смущенно повторял Лёва — пышная шевелюра, выразительные черные глаза из-под мохнатых бровей, быстро льющаяся речь — почти осязаемая энергия тридцатилетней молодости. Тогда я и познакомился с ним, той далекой уже осенью 65-го года в Сухуми, где мы играли в финале «Буревестника», который являлся одновременно полуфиналом первенства СССР. Хотя Лёва был уже признанным гроссмейстером, в финал персонально допускались тогда единицы, и ему, как фактически и всем, надо было начинать с полуфинала. Я не был еще даже мастером (выполнил норму на том турнире), разница в классе была огромной, и Лёва шутя выиграл у меня. Турнир был долгий - почти целый месяц, и в памяти остались не только отдельные партии, но и море, пляж, где собирались днем почти все участники, сам Лёва, его общительность, приветливость с нами, совсем еще молодыми: Альбуртом, Гулько, мной самим...

Интересно, что самые последние чисто шахматные воспоминания о нем тоже связаны с морем, солнцем, пляжем. На Арубе весной 1991 года оба мы играли матчи с сестрами Полгар, он — с Юдит, я -с Софией, и виделись на протяжении трех недель ежедневно и говорили много и о многом. Но были, конечно же, многочисленные встречи на турнирах и Олимпиадах в Тилбурге, Буэнос-Айресе, Пловдиве, Вейк-ан-Зее, Стокгольме, Салониках, наконец, у меня в Амстердаме, у него в Париже и последняя - в Монако в апреле 95-го, за несколько месяцев до его смерти. Попробую рассказать об этих встречах и о замечательном гроссмейстере Льве Абрамовиче Полугаевском.

Все, кто знал Лёву в детстве, вспоминают маленького для своих лет, неимоверно худого мальчика с быстрой речью и живыми глазами.

Борис Спасский: «Прекрасно помню день, когда я впервые увидел Лёву в Ленинграде на детских соревнованиях в 1949 году. Было мне двенадцать лет, ему на пару лет больше. Я замечательно тогда играл в щелбаны (не слишком трудная игра, смысл которой — в выбивании щелчком при помощи указательного пальца шашек соперника с доски). Привели тогда

ко мне Лёву Полугаевского, так он меня просто разодрал в эту игру. А несколькими днями позже мы сыграли нашу первую партию. И ее помню тоже. Я начал l.d4, Лёва ответил 1...f5. Я сыграл 2.g4, и тут такая каша на доске заварилась, что мы, перепугавшись, уже через несколько ходов на ничью согласились».

Вижу хорошо лицо сияющего Лёвы после выигрыша одной из самых его известных партий на чемпионате СССР 1969 года у Таля, когда я был секундантом потерпевшей стороны. Вариант, который встретился в партии, мы анализировали с Мишей еще в период подготовки к его матчу с Корчным, и, как нам казалось, довольно тщательно. Позицию, возникающую после 20-го хода черных, мы не стали рассматривать особенно подробно: в самом деле у черных уже лишняя фигура, у белых под боем и ладья, и конь, прямых угроз у них не видно. Лёва, однако, проанализировал дальше и глубже, нашел продолжение атаки и красиво выиграл. Геллер вспоминал позднее, что вечером, накануне этой партии, он зашел в номер Полугаевского и увидел расставленную на доске какую-то позицию. Та же самая позиция (после 25-го хода!) стояла на следующий день на доске в партии Полугаевский — Таль. Оказывается, в период подготовки Спасского к матчу с Петросяном они анализировали вместе этот вариант, Лёва же в своих разработках пошел еще дальше. Не исключаю, задержись Геллер в комнате Лёвы еще минут на десять, он мог бы увидеть позицию не после 25-го, но и после 30-го, а то и далее хода! Здесь, как мне кажется, нашли свое отражение два момента: замечательные аналитические способности Лёвы, попытка докопаться до истины, высчитать всё до конца, с одной стороны, и некоторая неуверенность в себе — с другой. Эта неуверенность в сочетании с чрезмерным уважением к действительно гигантам шахмат и переоценкой очень многих, которых он сам был выше на голову, мешала Лёве в течение всей его карьеры, и особенно в молодые годы. «Самый трудный мой противник — я. Во время игры я часто невольно делаю из кандидата в мастера чемпиона мира», — сказал как-то он сам.

Во всеобъемлющем дебютном исследовании Полугаевский, стараясь низвести роль случайности до минимума, пошел во многом дальше Ботвинника. В методе подготовки и анализа, взятом сейчас на вооружение молодыми шахматистами, и в первую очередь Каспаровым, ясно прослеживается направление Полугаевского. Метод, при котором соперник обкладывается новинками, как, по выражению Фурмана, флажками на зимней охоте обкладываются волки. В основе этого метода тотальной дебютной подготовки лежит труд. Где истоки этого у Лёвы? Было

ли это его индивидуальной особенностью? Впиталось ли с генами еще со времен, когда бедному еврею из провинции для того, чтобы учиться или просто жить в Петербурге или Москве, чтобы попасть в процентную норму, нужно было все время доказывать, что он лучше других? Или следует искать объяснение еще глубже, в строках Мандельштама: «Пусть это оскорбительно, поймите: есть блуд труда и он у нас в крови»? Ответить на эти вопросы непросто. Но он и школу окончил с золотой медалью, и учился в трудном техническом институте, и работал несколько лет, совмещая всё с шахматами. Кто еще из гроссмейстеров его поколения и уровня может сказать о себе такое?

В фундаменте его шахматных побед наряду с выдающимся талантом, энергией и напором лежит неустанный аналитический труд. Знаменитые тетради Полугаевского, куда он скрупулезно заносил результаты своих дневных и ночных бдений! Очевидцы рассказывают, как совсем молодой Лёва шел с распростертыми руками и горящим взором навстречу начавшему уже двигаться поезду с забытыми там тетрадями - плодами многолетних анализов: «Не пушу!!!» Много лет спустя, весной 1991 года, оказался в аналогичной ситуации, когда, приехав поездом в аэропорт «Схипхол», откуда мы вместе вылетали на Арубу, обнаружил, что забыл в вагоне все тетради с анализами и разработками. Поругивая для порядка за нерасторопность жену, был огорчен, конечно, но уже не так, уже не так. Не знаю, кстати, удалось ли остановить поезд в годы его молодости, но эти тетради благополучно обнаружились через месяц в бюро находок, сданные нашедшим их проводником.

Его тетради времен становления — это не только огромный аналитический труд, это и безжалостная критика по отношению к самому себе:

«Отказали нервы, не хватило выдержки...»

«Плохо разыгрываю позиции, в которых надо что-то жертвовать...» «Слабо реализую преимущество...»

«Сильно волнуюсь и испытываю трусость при ведении атаки в неясных обоюдоострых позициях...»

Думаю, что на всех почти стадиях развития шахматиста такое беспощадное самобичевание способствует устранению недостатков — совершенствованию, кроме самого последнего этапа - борьбы за звание чемпиона мира, когда такая критика, подчеркивая негативные моменты, становится тормозом для того, кто собирается стать выше всех и лучше всех.

Среди его дневниковых записей есть и такая: «Часто попадаю в Цейтнот...» Действительно, в молодости нередко играл в цейтнотах. Они были, конечно, следствием того же самого:

желания высчитать всё до конца, найти в позиции единственно правильное решение. Но несмотря на жалобный взор из-под нависших бровей, играл в Цейтноте, как правило, сильно. Вспоминаю, как Вячеслав Оснос, регулярно выступавший в 60-х годах в чемпионатах СССР, говорил: «Чем жалобнее смотрит Лёва, тем сильнее и смертельнее его ходы». Но после того как перевалил за пятьдесят, стал менее удачлив при игре в условиях недостатка времени. Огорчался ужасно просмотрам в Тилбурге десять лет назад: «Ты можешь объяснить, ты же опытный тренер, почему, почему, ведь бывали же цейтноты и раньше, но почему теперь - в каждой партии, куда уходит время?» Отвечал мягкими банальностями: «Лёва, ты слышал, что когда стареешь...» Не давал договорить, горячился: «Знаю, знаю, но почему же я?»

«Сицилианская любовь» - так называется его последняя книга. Эта защита с детских лет вошла в дебютный репертуар Полугаевского и оставалась в различных модификациях фактически его единственным оружием на 1.e4. Рискну дать объяснение этому. Думаю, что по природе своего понимания игры, где главенствовала логика, он в глубине души полагал, что право выступки дает серьезное преимущество. Поэтому классические дебюты, в которых черные борются за постепенное уравнение, казались ему пресными, а может быть, даже опасными. Отсюда — сицилианская, дебют, в котором сдается или, правильнее сказать в унисон с его фамилией, полусдается центр, в котором малейшая ошибка может привести к непоправимым последствиям, зато и пассивная, недостаточно энергичная игра белых карается беспощадно. Не могу себе представить Полуга-евского, играющего классические варианты испанской или защищающего чуть худший эндшпиль в русской партии: он слишком хорошо знал сам, как реализуется маленькое преимущество. Признанием глубоких познаний Лёвы в этом дебюте был первый ход Фишера 1.c4 в их единственной партии, сыгранной в 1970 году и закончившейся вничью. Но Полугаевский — это не только сицилианская, не только ходы или форсированные варианты. До сих пор не потеряли значения его монументальные стратегические концепции при игре белыми против староиндийской защиты, а как он разыгрывал каталонскую, Нимцовича, дебют Рети! Все выигранные белыми партии Полугаевского как будто выпечены из одного теста, замешенного на глубоком проникновении в позицию и на логике игры.

Нельзя, впрочем, выиграть множество турниров, опираясь только на дебют, а один только список турниров, которые он выиграл или в которых по крайней мере попал в первую тройку,

занимает около трех страниц. Молодым людям, которые застали Льва Полугаевского уже на излете, в тяжелых цейтнотах иногда и подставлявшим фигуры, уходившим от теории белыми на втором, на третьем ходу (Лёва? от теории?) и думающим, что он всегда так играл, — мой совет: переиграйте его партии! Им, переезжающим с одного опена на другой, или даже героям линаресов, им, которые при помощи удара по клавише следят в основном за партиями своих сверстников-соперников и считающим рейтинг после каждой партии и каждого хода, — мой совет: переиграйте, переиграйте лучшие партой Льва Полугаевского!

Василий Смыслов: «Я помню Лёву еще подростком. Потом мы и семьями дружили, и в гости друг к другу ходили. Лёва был приятный и остроумный собеседник. Помню, как в 1962 году играли мы с ним вместе в Мар-дель-Плате — его первый большой международный турнир, который он и выиграл. Я видел уже тогда, что он блестяще, просто блестяще анализировал, и не случайно на межзональном турнире 1964 года в Амстердаме Лёва помогал мне, и консультант он был тоже превосходный. Мышление его было очень конкретным, он был замечательный счетчик и шахматист дарования незаурядного. Недавно играл я в Праге, и плохо играл, стоял «минус два». Знал я, что Лёва в Париже болен сильно, но не предполагал, что настолько. Дал ему телеграмму с пожеланием здоровья и написал еще: «Дорогой Лёва, выручай, я плохо играю, помоги...» Вот после такого слезного прошения сразу две партии и выиграл. Смерть Лёвы для меня — это большая личная утрата: хотя он в последнее время в Париже жил, мы не забывали друг друга».

Вспоминает голландский мастер Берри Витхауз, у которого Полугаевский жил во время того межзонального турнира в Амстердаме: «У нас почти каждый вечер бывали в гостях шахматисты — приходил Барендрехт или ван ден Берг, и мы засиживались далеко за полночь, анализируя или играя бесконечные партии блиц. Лёва был, конечно, сильнее нас и, хотя давал нам фору во времени, выигрывал почти всегда». Каждое утро в девять часов он спускался вниз, чтобы посмотреть на собаку Витхаузов по кличке Фиде, которая выпивала в это время примерно литр черного кофе. Подивившись на животное, Лёва подымался к себе — досыпать, чтобы к одиннадцати быть у Смыслова. У жены Витхауза, Яни, до сих пор осталась единственная, но без всякого акцента произносимая по-русски фраза: «Сегодня хорошая погода», говорившаяся обычно Лёвой.

Владимир Багиров был его секундантом на протяжении многих лет: «Хотя мы были в ссоре в последние годы, скажу

прямо — это был грандиозный шахматист, и тем, что я - гроссмейстер, и всеми моими достижениями в шахматах я обязан Льву Полугаевскому».

Борис Спасский: «Лёва был как бы в тени других, другие его заслоняли, но понимал шахматы лучше многих из тех, кто добился больших успехов, чем он. Понимал он их так хорошо оттого, что **Много** анализировал и проникал в позицию исключительно глубоко. Он ведь продолжал усиливаться и после сорока и подошел к своему пику годам к сорока пяти - сорока семи, когда достиг гармонии между счетом и интуицией. Этим он и отличался от меня, например, или Алехина и Капабланки, которые быстро распустились, но и довольно быстро отцвели. Вообще из группы шахматистов одной волны - Петросяна, Таля, Штейна, меня, Корчного и Полугаевского — только два последних стоят особняком. Они продолжали развиваться и в зрелом возрасте благодаря неустанной аналитической работе, и Корчной достиг своего пика в Багио, когда ему тоже уже было сорок семь. Я думаю, что во втором матче в Буэнос-Айресе Полугаевский был не слабее Корчного, а может быть, даже и превосходил, но вся обстановка, созданная Корчным на матче, на Лёву действовала угнетающе. И тренером он был замечательным, отходили в сторону всякие другие вещи, и оставалось лишь его чистое, тонкое понимание игры».

Виктор Корчной: «У нас были сложные отношения. Да, счет у меня с Полугаевским действительно большой, но был период, примерно 60—66-й годы, когда он регулярно выигрывал у меня. Он довольно яркий шахматист, и, безусловно, его имя останется в шахматной теории. Он мог бы всерьез бороться за мировое первенство, если бы не остался навсегда тем пятнадцатилетним мальчиком, каким пришел в большие шахматы».

Смысл определенный в жестких словах Корчного есть, но что поделать, если не было у него этого злобного бугорка и ненависть была ему чужда. Что поделать, если до конца своих дней Лёва действительно сохранил и детскость, и наивность, когда и с оттенком провинциальности, мягкость, нежелание обидеть, добродушие - качества, не способствующие борьбе за высший шахматный титул. И кто знает, может быть, компенсацией за эти качества явился вариант, его вариант в сицилианской защите - один из самых острых, вызывающих и рискованных.

Нельзя не согласиться со Спасским, что вся обстановка на матче Корчной — Полугаевский в Буэнос-Айресе в 1980 году: непожатие рук, мелкие конфликты и столкновения — всё это повлияло на Полугаевского в неизмеримо большей степени, чем на Корчного, привыкшего к такой атмосфере еще со времен матча

с Петросяном (1974), который явился для него своего рода полигоном для последующих серьезных сражений. И неизвестно, как бы закончился тот матч в Буэнос-Айресе, если бы борьба велась только на шахматной доске.

Сам Лёва, впрочем, был достаточно сдержан, говоря о своих шансах в борьбе за звание чемпиона мира: «Действительно, по сравнению с другими игроками у меня нет этого «инстинкта убийцы», наличие которого могло бы придать другой оборот некоторым моим матчам, и кто знает, я, возможно, мог бы достичь еще больших успехов. Без сомнения, у меня нет характера чемпиона. У меня нет этой воинственности Каспарова, Карпова или Фишера. Но, с другой стороны, у Эйве, Смыслова и Петросяна тоже отсутствовала эта разрушающая энергия».

Трудно здесь не согласиться с Полугаевским. У него и впрямь не было холодного блика Карпова, вонзающего в своего соперника сталь клинка. Ни его манеры анализировать, когда поиски истины после окончания партии нередко подменяются доказательствами собственного превосходства, часто уже приведенными во время игры, но еще и еще... Не было этого «Я», «Я», «Я», с чего начинается каждая вторая фраза Каспарова, и анализа после партии с ударами фигур по доске и эго противника. Не было и той колоссальной, сфокусированной на себе и выплескиваемой на партнера энергии Фишера. Но в момент, когда турнирная судьба припирала к стенке, когда требовалась только победа, мог и концентрироваться, и играть с удивительным напором. Соболезнования участников межзонального турнира 1973 года по поводу почти невозможности выиграть по заказу в последнем туре у Портиша вызвали у Лёвы крик души: «В конце концов я и у чемпионов мира выигрывал!» И выиграл партию, с которой началось его непосредственное участие в борьбе за первенство мира.

На Западе я впервые встретился с Полугаевским в Голландии в 1973 году. Он играл там в Хилверсуме вместе с признанными асами — Сабо, Геллером и Ивковым, молодыми талантами: взрывным, уже тогда легко переходящим с одного языка на другой Любоевичем, блестящим техником Андерссоном, опасным тактиком Саксом, худым, с длинными до плеч волосами Тимманом. Мы гуляли с Лёвой после игры и разговаривали о многом, но очень часто это был его монолог с задаваемыми время от времени вопросами. Иногда, не дожидаясь моей реплики, он сам же и отвечал на них, но мне, прошедшему уже кой-какую доннеровскую школу, это было не в диковинку. Думаю, что Лёва и сам впоследствии, уже переехав в Париж, понял, что ответы эти и сформулированные им положения (а мы говорили в основном о

жизни на Западе) не всегда соответствуют действительности. В своих вопросах он как бы примерялся, как и почти каждый советский человек, оказывавшийся тогда по эту сторону железного занавеса (пусть созерцательно и теоретически): интересно, а что, если бы я вдруг очутился здесь? Двадцать лет спустя непредсказуемая жизнь, тасующая судьбы, как карты, перенесла его в Париж. Эта новая жизнь с другими понятиями, отношениями, новым языком (как непросто в конце шестого десятка) с нелюбимыми так артиклями, неизвестно кем и зачем придуманными, не убавила забот — они просто стали иными.

За эти почти два десятилетия я сыграл с Лёвой с десяток партий, проиграв одну и не выиграв ни разу. Среди ничьих было и немало памятных. Одна — в Винковцах в 1976 году, когда я второй раз выполнил гроссмейстерскую норму: помню, чудом ушел черными. Другая — на Олимпиаде в Буэнос-Айресе в 1978-м, когда сборная СССР впервые осталась без золотых медалей. Советская команда играла тогда с Голландией в последнем туре, и ей обязательно нужно было выиграть с крупным счетом, чтобы догнать лидировавших венгров. Помню, как Лёва нервничал и до партии, и в конце ее, когда я не сразу согласился на предложенную ничью. Знаю, что его, набравшего «плюс пять» на своей доске и выступившего лучше всех в команде, сделали одним из козлов отпущения после проигранной Олимпиады (а именно так расценивалось в то время второе место Советского Союза). Впрочем, эта роль была в каком-то смысле уже знакома Лёве, который с юных лет стал объектом шуток, подтрунивания, розыгрышей. Фраза «Лёва из Могилева» напрашивалась сама собой, тем более что он действительно родился в Могилеве. О фамилии уж и говорить не приходится: половинка, полуизвестен, полугроссмейстер — как только она не обыгрывалась шахматными поэтами и журналистами. Из веселых историй, связанных с молодым Полугаевским, его сверстник Гуфельд мог бы составить маленькую книжку. Часто Лёва и сам смеялся вместе со всеми, но кто знает, не возникало ли у него порой в душе чувство гоголевского Акакия Акакиевича: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?»

В 84-м, на Олимпиаде в Салониках, ему исполнилось пятьдесят (за день до этого наша шестичасовая партия закончилась вничью). «Не понимаю, — удивлялся Лёва, — как это мне — полтинник? Я же вчера еще играл в юношеском первенстве СССР, а сейчас вдруг -полтинник. Нет, ты можешь сказать, как это может быть?..»

Он тогда еще не понимал, что талант — в сущности не что иное, как способность обрести собственную судьбу, и что он, Лев

Полугаевский, обрел свою судьбу. В непрерывных сборах, подготовке к полуфиналам, финалам, межзональным турнирам, кандидатским матчам, в заботах о семье, квартире, машине, даче мчалась жизнь. В погруженности в быт, в заботы сегодняшнего дня - он был по-своему очень земной человек.

Вспоминает Спасский: «Были как-то мы — целая группа гроссмейстеров - в 70-м, что ли, году на приеме у Тяжельникова (в те годы — заведующий отделом агитации и пропаганды при ЦК КПСС). Он долго говорил о важности нашего вклада в стройки коммунизма, о наших поездках туда. Не помню уж, что отвечали другие, я же сразу сказал, что стройки коммунизма не для меня. Лёва же начал что-то спрашивать о суточных в пути». Но членом партии в отличие от некоторых коллег не был, а когда предлагали, предпочитал отмалчиваться. Помню, как в середине 80-х у меня дома он стал рассматривать пластинку Вилли Токарева, певшего в ресторанах на Брайтон-Бич и модного тогда в Москве. «Тебе он нравится?» — спросил я. «Да как тебе сказать, но в Москве все имеют». В Москве Лёва принадлежал к кругу людей, считавших за правило не отставать от жизни, всё иметь первыми, будь то маленький транзистор в 60-х или видео в 80-х, тоже выезжающих за границу, тоже добившихся успеха. В ту же высокую категорию престижности где-то к началу 90-х годов вошло: выехать за границу - не эмигрировать, а просто выехать, посмотреть-пожить — или послать туда на учебу детей. Лёва стал подолгу бывать в Париже - ведь заграницей он был отравлен уже давно, а в 91-м окончательно поселился там.

Когда его не стало, подумалось: если бы не завертела и не ускорила всё до невероятия парижская круговерть, от которой голова пухла, может быть, и жил бы еще — он ведь из породы долгожителей: и отец, и мать легко перешагнули восьмой десяток. Сказал об этом очень осторожно Ире — его вдове. «Да что ты, — отвечала, — разве ты Лёву не знаешь: он в Москве был бы еще более беспокоен». Трудно было с ней не согласиться, ведь формула «Ubi bene — ibi patria»[2] в конце концов придумана не им. И вряд ли сиделось бы ему спокойней в Москве или на даче, думая, что где-то — в Нью-Йорке! Лондоне! Париже! - настоящая жизнь проходит без него. Вспомнился невольно вздох старика Сократа о ком-то, вернувшемся из дальних странствий: «Как же он мог измениться, если всё это время таскал за собой самого себя».

После его переезда в Париж мы довольно часто говорили по телефону, иногда и виделись. Помню его длинный монолог о совсем других теперь шахматах, об их будущем, о компьютерах. Говорил о том, что поколению, созревшему без компьютера,

перестроиться очень трудно, что сам он пользуется компьютером только при подготовке статей, что длительные занятия с ним иссушают, гасят игровой момент, утомляют, лишают свежести, необходимой во время игры. Полагал, что чрезмерные занятия с компьютером отрицательно влияют на игру Белявского, в какой-то степени — Юсупова. Он всегда был полон идей, иногда чудных и нереальных, нередко логичных и воплощавшихся на практике. Излагая их, переспрашивал: «А ведь неплохо? Скажи, ведь, правда, неплохо?» Сейчас мало кто помнит, но и турнир «Леди против сеньоров», и знаменитые турниры в Монако, проводимые под патронатом ван Остерома, с которым Лёва был дружен в последние годы, — это тоже во многом его идеи.

Но сам стал играть и реже, и хуже. Сказывались, конечно, и возраст, и новые заботы. Но в еще большей степени - болезнь, начавшаяся провалами в памяти и обернувшаяся опухолью мозга. Сказал как-то жене во время турнира: «Знаешь, Ира, я не вижу центра доски». Впрочем, операция, сделанная за полтора года до смерти, прошла вроде успешно, и восстанавливался уже, и строил планы: «Понимаешь, в анализе я уже хорош и вижу многое, почти совсем как раньше, но играть, играть еще трудно...»

Я видел Лёву в последний раз на турнире в Монако за несколько месяцев до смерти. Болезнь и операция смели остатки волос с его головы - раньше он характерным движением обеих рук ловко камуфлировал двумя-тремя прядями обширную лысину. Быстро уставал, но глаза и улыбка были прежними, и с удовольствием следил за течением партий на мониторах в пресс-центре. Разве что речь не лилась таким водопадом, как прежде, и впервые услышал от него, раньше такого далекого от религии, слова «Бог», «вера» и «я ничего никому не сделал в жизни дурного». При расставании, теплом очень, обнялись и уговорились, что я при первой же возможности приеду в Париж, чтобы сыграть несколько тренировочных партий, которые помогли бы ему снова вернуться к практике. Помню, еще сказал ему неосознанно: «Прощай!» — замечательное по смыслу русское слово. Здесь и грусть расставания, и одновременно прощай-прости — прости, если я тебя чем обидел. Но уже через несколько дней по возвращении в Париж у него снова начались боли. По традиции страны, в которой Лёва прожил почти всю свою жизнь, доктора не говорят пациенту о безысходности его болезни. Считается правильным также и близким скрывать от него жестокую правду. Так было и в Лёвином случае: ему говорили, что это - вирус и что всё должно обойтись. Догадывался ли он сам о возвращении страшной болезни, в большинстве случаев означающей смерть?

Конечно, жизнь не всегда тем лучше, чем дольше, но смерть всегда — чем дольше, тем хуже. Был затронут самый тонкий, удивительный орган — мозг, и тяжело умирал Лев Полугаевский. Это из замечательного русского писателя, тоже умиравшего в Париже: «Легкой жизни я просил у Бога, легкой смерти надо бы просить».

В минуты просветления плакал, видя свою беспомощность, говоря: «Как же так, ведь надо же работать, работать...» И беспокоен был очень, и каждое утро брал бумагу, относя ее к воображаемому факсу, повторяя снова и снова: «Работать, надо работать...» Сказал как-то сестрам в больнице: «Вы знаете, я, кажется, вчера не узнал собственную жену». Сестры, любя его и зная, как доставить ему удовольствие, стали играть партию в шахматы друг с другом. Смеялся очень, глядя на их невозможные ходы, повторяя все время: «It's bad, it's bad...»

На следующем витке его болезни медленно угасавшее сознание отбросило чужие языки: английский, с грехом пополам выученный французский, оставив один — родной. Из сознания ушла уйма вещей: квартира и страховки, франки и доллары, контракты и обязательства — всё, чему посвящалась масса времени и что казалось таким важным и неотложным. И уже не надо было тревожиться о том, что скажут в комитете и федерации, как и что скажет или подумает кто-либо вообще. Осталось одно — то, что захватило худенького десятилетнего мальчика в далеком военном Куйбышеве, что сделало его имя известным миллионам — любителям древней, замечательной и иногда такой жестокой игры. Шахматы дали ему всё: мир, который он видел собственными глазами, материальное благополучие, популярность, наконец, самое главное — возможность выразить самого себя. Они не дали ему старости — не такого уж плохого отрезка человеческой жизни, если только не знать, чем она является по отношению к началу. Не могу, однако, представить себе Лёву стариком, он и умер-то молодым: ведь юность — это не пора жизни, а скорее свойство души.

Мозг его, отягощенный быстро растущей опухолью, сплетал удивительные сочетания, откликаясь только на одно - шахматы. Доска с фигурами всегда была рядом с его кроватью, и иногда он начинал партию с воображаемым противником, и хмурил брови, и морщил лоб, и поправлял несуществующие волосы, и смотрел испытующе-жалобно, надевая шахматное выражение лица, знакомое всем, кто играл с ним. В самом конце не мог и этого, и жена едва ли не до последнего дня стучала фигурами по доске, вызывая звуками чудесные, навсегда вошедшие в душу ассоциации. Или вдруг давал характеристики коллегам-

гроссмейстерам, по словам жены, удивительно меткие, иногда и безжалостные, высказывая всё, что копилось где-то в глубине души и что никогда не решался сказать или написать.

Говорил жене не раз: «Корчной — мой любимый шахматист, ты даже не можешь себе представить, какой это колоссальный шахматист». И не менял мнения, как бы Корчной о нем плохо ни говорил или писал, и продолжал здороваться, даже когда тот отворачивался в сторону. И незадолго до смерти, когда остальные имена ушли даже из подсознания, осталось одно, которое он повторял шепотом: «Корчной» - и поднимал вверх большой палец в знак оценки его игры. В один из уже последних дней жена сказала: «Знаешь, через два месяца будут играть матч Пикет и Полгар. И ты будешь секундантом у Юдит, а Корчной у Пикета, и вы таким образом сыграете матч...»

Идея эта привела его вдруг в хорошее настроение и даже развеселила, и повторял: «Да, мы сыграем еще, мы сыграем...»

В психологии считается доказанным парадокс: заложник, жертва вдруг начинает испытывать теплые чувства по отношению к своему мучителю. Было ли похожее чувство у Лёвы по отношении к Корч-ному, дважды вставшему у него на пути к званию чемпиона мира, — не знаю, сказать не берусь. Не могу согласиться с объяснением Корчного, что в Полугаевском заговорила больная совесть из-за того, что он, по словам Корчного, писал неправильные корреспонденции для советской прессы во время его матча с Карповым. Не думаю также, что дали выход сожаления по поводу отсутствия у себя жесткости, являющейся почти синонимом грубости и бестактности, резкости, или того, что в Советском Союзе называли спортивной злостью. Полагаю, что это было просто чувство радостного изумления перед тем, чего не хватало в шахматах самому Лёве: игроцкого элемента в этой, казалось бы, такой логичной игре, применения неожиданного для соперника варианта, пусть не всегда корректного, но выводящего того из привычного состояния, умения вдруг резко изменить характер позиции, решимости сказать «нет» на висячем флажке в обоюдоостром положении в ответ на предложенную ничью.

Через несколько дней, когда Лёву покинули и эти последние видения, когда ушли шахматы, ушел и он сам. Лев Полугаевский умер 30 августа 1995 года в Париже, городе, где жили и другие шахматисты, родившиеся в России: Осип Бернштейн, Савелий Тартаковер и Александр Алехин. Он похоронен, как и Алехин, на кладбище Мон-парнас, и могилы их совсем недалеко друг от друга.

Сентябрь 1995

Шахматный король Одессы (Е.Геллер)

Второе августа 1974 года было выходным днем перед заключительным туром традиционного тогда ИБМ-турнира в Голландии. Только что закончился последний сеанс в кинотеатре «Тушинский», и вот я стою вместе с Владимиром Тукмаковым на улице вечернего бурлящего Амстердама. «Ты думаешь, лучше предложить ничью прямо сейчас или все же дождаться завтрашней партии?» — спрашивает Володя. У него прекрасное настроение - он лидировал весь турнир и, опережая конкурентов на целое очко, практически обеспечил себе первое место. Партия с Геллером не должна принести много волнений: у соперника турнир сложился не очень — только 50 процентов очков, ему не на что претендовать, да и вообще - оба одесситы, не говоря уже о том, что и отчитываться обоим придется в Спорткомитете СССР. «Я не решился постучать к нему, - вспоминал Тукмаков на закрытии турнира, в котором он поделил 1—3-е места, — полоска света выбивалась из-под двери, на ручке которой висела табличка: «Не беспокоить», и я явственно слышал стук шахматных фигур по доске». Хотя партия и длилась 40 ходов, из дебюта Тукмаков не вышел: он стоял безнадежно уже с 15-го хода.

Хорошо вижу Геллера того времени: немногословного, с характерной мимикой, нередко с покачиванием головы, сопровождаемым скептическим поднятием бровей, клетчатый пиджак, который он аккуратно вешал на спинку стула, пепельницу, наполненную окурками, всегда стоявшую рядом с ним. В то время разрешалось курить прямо за доской, а курил он очень много. Упрямый, с ямочкой подбородок, медлительная походка вразвалочку — всем своим видом Геллер напоминал скорее бывшего боксера или немолодого боцмана, сошедшего на берег, чем гроссмейстера мирового класса.

Этой же самой походочкой он поднялся на сцену Центрального Дома железнодорожников в Москве в далеком 1949 году, чтобы остаться в элите мировых шахмат на несколько десятилетий. Все эти годы он стоял на самой вершине шахматной пирамиды несуществующей теперь страны, о которой профессионал Запада Ханс Рей говорил: «Когда я бываю в СССР, мне кажется, что любой кондуктор трамвая играет в шахматы лучше, чем я». Тогда же была сенсация — выигрыш в последнем туре белыми у Холмова давал молодому одесситу, только что ставшему мастером, золотую медаль чемпиона страны. Испанская, редкий вариант Берда, избранный противником, к которому Геллер оказался неподготовленным, и — проигрыш. Это

случится с ним еще не раз - проигрыш в последнем туре, нередко и в важнейших партиях, как, например, Кересу в матче или Саксу в последнем туре межзонального турнира в Москве... Перехлест эмоций? Игроцкий азарт? Игра на максимум?

Во время московского дебюта Геллеру было двадцать четыре года, гроссмейстеры-профессионалы сегодняшнего дня нередко отыграли к этим годам уже сотни партий на самом высоком уровне. У Геллера же на лучшие для роста шахматиста годы пришлась война, а тогда было не до шахмат. Гроссмейстером он стал только через три года после войны, а в 1953-м играл уже свой первый турнир претендентов в Цюрихе. Таких турниров набралось у него за всю карьеру шесть, в одном из них, в 62-м году, отстал от победителя — Петросяна - только на пол-очка. Победы во многих международных турнирах, с десяток Олимпиад, участие в 23 первенствах СССР — сильнейшей тогда шахматной державы мира. Он выигрывал эти чемпионаты дважды: первый раз в 1955-м, второй — в 1979-м, в пятьдесят четыре года - удивительный рекорд. Но дело не только в регалиях и званиях — Ефим Геллер оставил свой яркий след в шахматах.

Василий Смыслов: «Был он настоящим классиком шахмат, стоял на передовых позициях в те времена, когда шахматы были в расцвете в нашей империи, и побеждал всех без исключения выдающихся шахматистов. А что чемпионом мира не стал, так это свыше дается, для этого надо звезду особую иметь в судьбе — значит, не дано ему было этой звезды, а шахматист был замечательный, яркий, динамичный».

Борис Спасский: «Когда Геллер был в своем ключе, он разбивал кого угодно. Под его цельностью и продуманностью даже Фишер часто ломался. И я всегда восхищался этой вот его цельностью, продуманностью - не только прекрасно поставленным дебютом, это само собой, но именно продуманностью последующей игры, игровыми планами. Он был гроссмейстер очень высокого класса и играл одну-две партии в год, которые определяли направление в том или ином дебюте. Такой, например, была его партия со Смысловым в защите Грюнфельда из матча 1965 года, та, где он несколько раз жертвовал ферзя».

Анатолий Карпов: «Идеи у Геллера были глубокие, хотя мне еще Ботвинник говорил в свое время: все идеи Геллера нужно трижды проверить. И действительно, увлекшись, мог и пропустить кое-что в анализе, но идеи бывали очень глубокие. Ну и, конечно, упрямый был в анализе безумно, но, может, в шахматах это иногда и неплохо — отстаивание своих идей, вот и Фурман был тоже упрямый. Но в тренерском коллективе Геллер

был человек тяжелый, старался вытеснить остальных, поэтому я в какой-то момент и прекратил с ним работу».

Марк Тайманов: «Геллер имел свое ярко выраженное творческое кредо, обладал большой стратегической фантазией, был беззаветно влюблен в игру. Он всегда был настроен на максимум. Помню мемориал Алехина в Москве в 1956 году, сейчас сказали бы «супертурнир». Играли и чемпион мира, и все сильнейшие гроссмейстеры: Смыслов, Бронштейн, Керес, Глигорич, Найдорф, Сабо, Унцикер. Сам Геллер в турнире не играл. «Ну, место пятое — было бы нормально», — ответил ему на вопрос, как думаю сыграть. Усмехнулся в ответ характерно: «А я без мыслей о первом месте просто играть бы не мог». Вообще говоря, всё наше поколение: Авербах, Геллер, я, в меньшей степени Бронштейн и Петросян — было приучено к постоянной и глубокой аналитической работе, но в этом отношении, думаю, Геллер выделялся среди нас».

Глубокая аналитическая работа Геллера над шахматами всегда имела одну цель: найти лучший ход в позиции, не просто хороший, а лучший, определяющий саму сущность позиции. Он был полностью погружен в шахматы, полностью сконцентрирован на них. Лев Альбурт, помнящий Геллера по Одессе конца 50-х годов, отмечает в нем редкое сочетание усидчивости и изобретательности, полное отсутствие легковесности: «Если есть выражение "Down to earth", то о Геллере определенно можно сказать "Down to chess"».

«Причем здесь ничья? Разве в этом дело? — выговаривал он мне после проигранной Янсе партии в Амстердаме в 1974 году. — У вас же лучше было. Где? Ну, покажите, покажите. Мне же за позицию обидно». Это «за позицию обидно» слышу, как сказанное вчера. «Каждое утро в Крыму, где мы готовились к матчу с Фишером, — вспоминает Спасский, — я видел Геллера за одной и той же позицией: сицилианская с ферзем черных на b2. Он пробовал ее и так, и этак, и с ладьей на b1, и по-другому, хотя я ему и говорил, что правильная идея — Kb3. Но он всё стоял на своем — упрямый был очень, мне потом и Карпов говорил, что упрямый, очень упрямый... Но усидчивость была в нем необыкновенная. Можно сказать, что он развил свой талант задницей, а задница в свою очередь развивалась посредством таланта...» Сам Геллер говорил: «Вот разнервничаюсь или просто неприятности какие, посижу за шахматами часов пять-шесть — постепенно приду в себя...» По свидетельству тех, кто знал его близко, мог днями находиться в таком состоянии. Очевидно, что время, проведенное Геллером за анализом, во много раз превышало то, когда рядом тикали шахматные часы, а напротив

сидел соперник. Шахматы не отпускали его ни днем, ни ночью. «Иногда во сне Шептал шахматные ходы, — вспоминает его вдова Оксана, — или, просыпаясь ночью, подходил к столу, чтобы записать пришедший вдруг в голову вариант».

На Олимпиаде в Люцерне (1982) говорил с ним как-то о расширении дебютного репертуара. Геллер советовал мне включить в него закрытый чигоринский вариант испанской. Помню, спросил его: «И сколько времени потребуется, чтобы освоить это?» Он задумался ненадолго: «На вашем уровне? (Я играл тогда регулярно в Тилбурге и в Вейк-ан-Зее — сильнейших турнирах той поры.) Всё собрать, обработать, понять, наиграть? Ну, года полтора...» Дело было, разумеется, еще в докомпьютерные времена, но характерен сам подход к вопросу.

Он рано понял старую истину, что удача ждет того, кто к ней хорошо подготовился. Знания его в дебюте были исключительно глубоки, и известны слова Ботвинника, что «до Геллера мы староиндийскую защиту по-настоящему не понимали». В дебютной теории всегда есть понятие «что носят». Так, сейчас «носят» вариант со Сс5 в испанской, систему с b4 и Ле1 в староиндийской или с Лb1 в Грюнфельде. Так было и в его время. Геллер никогда не обращал на это внимания — он сам был законодателем мод, следуя собственным идеям и принципам. Бронштейн, избрав на межзональном турнире в Петрополисе (1973) тяжелый вариант защиты Алехина и проиграв Геллеру фактически без борьбы, отвечал, оправдываясь, на вопрос одного из коллег: «А что мне было с ним играть, ведь он же всё знает». Превосходно ставя начало партии, сам Геллер прекрасно понимал, что дебют является только прелюдией борьбы, подчеркивал, что надо уметь играть всё — и острый миттельшпиль, и скучный эндшпиль, уметь вести и пассивную защиту, и темповую игру. Говорил молодому Дорфману об уже вышедших на всесоюзную арену Белявском и Романишине: «Вы не берите с них пример, они ведь — однорукие шахматисты», подчеркивая пристрастие обоих к определенному типу позиций. По многим партиям Геллера можно учиться высочайшей технике игры, технике, которая, по определению Владимира Горовица, является не чем иным, как «иметь совершенно ясное представление о том, чего вы хотите, и обладать полной возможностью для совершенного выполнения этой задачи». Думаю, что это определение техники применимо не только к музыке, но и к шахматам и что Ефим Геллер обладал такой техникой.

Виктор Корчной: «В своих лучших партиях Геллер приближался к гениальности, хотя это его я имел в виду, когда

писал в своей автобиографии, что гений и злодейство — вещи совместимые. Все эти его вместе с Петросяном козни и заговоры против меня... Был он, конечно, блистательный игрок и внес много нового в теорию дебюта. Его трактовка, например, невзрачного хода Се2 в сицилианской заставила по-другому взглянуть на весь комплекс этих позиций. В молодые годы был он преимущественно тактиком, но потом возмужал и начал по-своему трактовать и дебют, и шахматы вообще».

Действительно, начинал Геллер как тактик, хотя сам, оглядываясь назад уже в зрелом возрасте, говорил: «Важность стратегической постановки партии я понимал даже в те годы, когда выводил ладьи вперед пешек и бросался в лихие фигурные атаки. Но все же на рубеже 50-60-х годов во мне произошел, на мой взгляд, внутренний сдвиг. Неверно считать, что это переход от тактики к стратегии. Если попытаться сформулировать, в чем он заключался, то речь может идти лишь о непрерывном, постоянном переходе к более глубокой игре. Лентяем я никогда не был, но именно в 1958-60 годах стал по-настоящему много заниматься».

Он был замечательный аналитик. Один из наиболее известных примеров — красивая ничья в отложенной и казавшейся безнадежной позиции из партии Ботвинник — Фишер на Олимпиаде в Варне (1962). Ботвинник вспоминал потом, что Геллер нашел парадоксальную идею глубокой ночью: две разрозненные пешки успешно борются против двух связанных проходных вопреки, казалось бы, всем законам ладейного эндшпиля. Идея, оказавшаяся полной неожиданностью для Фишера.

Но есть большая разница между анализом и самой игрой. Шахматная партия — не теорема, и далеко не всегда выигрывает в ней самый логичный и последовательный, но нередко — наиболее выносливый, практичный, хитроумный или просто удачливый. Звучит парадоксально, но глубина замыслов Геллера, поиски лучшего, единственного хода зачастую оборачивались против него, и его недостатки являлись прямым продолжением его достоинств. Раздумья по часу и более, бывало, вели к цейтнотам, и порой здание, выстроенное с таким тщанием и любовью, разлеталось в несколько минут. Не случайно, что количество партий, проигранных просрочкой времени, у Геллера довольно высоко. В такие минуты на лице его появлялась полная отрешенность, а рука просто не поднималась сделать плохой или первый попавшийся ход. Таль заметил как-то, что число одноходовых зевков у Геллера больше, чем у любого другого гроссмейстера его класса. Объяснение здесь очевидно. Забираясь

мыслью высоко, Геллер не замечал иногда того, что лежало на поверхности. «Не может узреть, что у него под ногами, а воображает, что разглядит, что на небе», — хохотала фракиянка над провалившимся в яму мудрецом более двух тысяч лет тому назад.

«Сделав этот ход, я сразу заметил другой, лучший, - вспоминал как-то сам Геллер, - после чего я просто уже не мог играть эту партию». Чувство, уверен, совершенно незнакомое, например, Карпову, который невозмутимо продолжал бы бороться в новой, изменившейся ситуации. Стремление к логике и законченности играло, к сожалению, иногда негативную роль для Геллера — практического игрока.

Но было у него еще одно уязвимое место, была у него, по выражению Спасского, «стеклянная челюсть»: Геллер, бывало, терялся при неожиданной встречной игре. «Когда начиналась такая игра, ему было трудно, поэтому он так и не мог ко мне приспособиться».

На претендентском матче Геллер — Корчной в 1971 году я был секундантом Корчного. Решающей оказалась восьмая партия. Она была отложена и должна была доигрываться на следующий день. Хотя позиция Корчного и была лучше, прямого выигрыша найти никак не удавалось. Был взят даже тайм-аут перед доигрыванием, что было возможно в те сравнительно недавние, но теперь кажущиеся почти библейскими времена. Но и целый день анализа не принес ничего конкретного, и тогда был принят план, предложенный Вячеславом Осносом: немедленно после начала доигрывания вместо длительного позиционного лавирования пожертвовать фигуру, что Корчной и сделал. При правильной защите жертва эта должна была привести к ничьей, но Геллер сразу же надолго задумался, попал в цейтнот и проиграл фактически без борьбы. Матч был решен. Недаром, отмечая замечательный талант Геллера, Корчной как-то заметил, что иногда его можно было взять просто нахрапом...

Но не только перемена обстановки на доске была его уязвимым местом. Шахматная партия — это всплеск эмоций, очень часто невидимых публике, и Геллер не всегда мог держать свои эмоции под контролем. Помню, как на турнире в Лас-Пальмасе в 1980 году он черными в основной позиции новоиндийской защиты рокировал на шестом ходу и предложил мне ничью. Решение это он принял, очевидно, еще дома и теперь спокойно взирал на доску с высоты своего рейтинга, реноме и положительного счета, который он имел со мной к тому времени. Я подумал немного, сказал, что хочу играть, и ответил жертвой пешки, входившей тогда в моду. Лицо Геллера совершенно

изменилось, он переводил взгляд с меня на доску, на Петросяна, стоявшего за моей спиной, снова на доску, не делая ответного хода в течение четверти часа. Наконец он совладал с собой и взял пешку. Партия та закончилась вничью, но с Фишером на межзональном турнире на Майорке в 1970 году получилось по-другому. Геллер решил не влезать в сицилианские дебри и сыграл 1.Kf3. Фишер в свою очередь не стал играть староиндийскую и избрал академическое построение. Шестнадцать лет спустя оно часто встречалось в матче Карпова с Каспаровым, когда Карпов пытался использовать минимальное дебютное преимущество белых. Геллер же, побив пешку на седьмом ходу, предложил ничью. Первой реакцией Фишера был смех. Засмеялся и Геллер: ситуация была ясной — три последние партии американец ему проиграл, к тому же цвет фигур да и сам характер позиции, казалось, предопределяли результат. Внезапно Фишер прекратил смеяться, нагнулся и что-то сказал Геллеру. Геллер не владел иностранными языками. Я не раз видел, как к нему обращались по-английски или по-немецки: широкая улыбка обычно появлялась на его лице и он дружески кивал головой, что бы ему ни говорили. Неизвестно, что сказал будущий чемпион мира, один из зрителей утверждал, что он явственно слышал: «Too eag1y», но в любом случае Геллеру стало ясно, что Фишер хочет продолжать партию. Он ужасно покраснел, уже через два хода в простой позиции задумался на целый час, а еще через несколько ходов остался без пешки. Ладейный эндшпиль, возникший вскоре на доске, носил, впрочем, скорее ничейный характер. Партия была отложена, но эмоциональное равновесие Геллеру восстановить так и не удалось. После возобновления игры ничья казалась неминуемой до тех пор, пока он на 71-м ходу не совершил роковую ошибку.

Геллер прекрасно понимал, что дело здесь не только в полях и диагоналях. После проигрыша с разгромным счетом Спасскому он писал: «Поразительное хладнокровие и спокойствие помогают ему в самые трудные минуты борьбы находить лучшие практические меры. Удивительная невозмутимость и уверенность, с которыми он иногда делает даже отнюдь не хорошие ходы, бесспорно, ставят его противников в сложное положение».

Самому Геллеру было далеко до невозмутимости, эмоции переполняли его, они рвались наружу. Но если при встречах с представителями своего поколения дело ограничивалось внутренней борьбой, то в партиях с более молодыми он, азартный и эмоциональный, не мог совладать с собой порой даже во время игры.

Вспоминает Иосиф Дорфман: «В последнем туре зонального

первенства страны в Ереване в 82-м году мне для выхода в межзональный турнир нужна была только победа, тогда как Геллера устраивала ничья. Пока я обдумывал ход, Геллер, стоя напротив, говорил, нависая над столом: «Все равно ты у меня не выиграешь». Партия закончилась вничью, и он, уже успокоившись, извинялся».

Хоговен-турнир 1975 года получился на редкость сильным. Я шел в лидирующей группе, в 12-м туре у меня были белые против Геллера, который имел 50 процентов. Нельзя забывать и о том, что я только три года как покинул СССР и просто не существовал там, будучи распылен, выражаясь оруэлловским языком. Партия наша поэтому, помимо спортивной, имела для Геллера и иную подоплеку. Он подавил меня совершенно во время игры, пронзая яростными взорами и оглушительно стуча по часам. Записывая ход, он с грохотом ставил пешку на бланк партии, добавляя к ней ферзя или ладью. Но сразу же после того, как я сдался, он превратился в само добродушие: «Может, вам лучше было пешкой бить на e5?»

Частично, думаю, дело было в том, что сам он никогда не ходил ни в вундеркиндах, ни в обласканных, многообещающих и, как ему казалось, получающих многое готовым и не по заслугам. Что-то было здесь и от боцмана или дядьки, жестко учащего молодых уму-разуму. Но главное все же было в другом, и лучше всего это сформулировал он сам. На чемпионате СССР в Вильнюсе в 80-м году Геллер играл очень тяжело. Сильнейшие цейтноты почти в каждой партии, грубые просмотры, давление, подходящее к предельной черте. «Может, лучше выбыть, Ефим Петрович?» — осторожно советовали ему. «Выбыть? Как это выбыть? А стипендия? А международные турниры? А место в команде? Вам легко сказать "выбыть"».

Конечно, в любом виде спорта, особенно профессиональном, разница между выигрышем и проигрышем ощутима. Но нигде она не была такой гигантской, как в Советском Союзе. Шахматы находились в привилегированном положении по сравнению с другими видами спорта, и приличный результат в турнире на Западе означал попросту несколько годовых зарплат. Поэтому от полуочка нередко зависела не только вся твоя дальнейшая карьера, но и впрямую благополучие твоей семьи. Многие, впервые выезжавшие на турнир за границу, знали: другого такого шанса не будет. Огромная ответственность и нервное напряжение могли привести к самым неожиданным последствиям. Так, Иво Ней, не будучи даже гроссмейстером, в 1964 году в Вейк-ан-Зее поделил первое место с Кересом, опередив Портиша, Ивкова, Ларсена и других известных гроссмейстеров. С другой стороны,

выступление Игоря Платонова в том же Вейк-ан-Зее шестью годами позже закончилось полным провалом: «минус четыре» и одно из последних мест.

Но даже прославленные корифеи, находившиеся на самой вершине гигантской шахматной пирамиды в СССР, не могли поручиться за свое будущее. Карьера могла прерваться на неопределенное время в любой момент, а иногда и вообще разрушиться. Думаю, что этим в первую очередь, а не только разницей в характерах и менталитетах объяснялись нередко колючие, настороженные, а зачастую и откровенно враждебные отношения, всегда отличавшие верхушку советских шахмат. С походами в Спорткомитет, письмами в партийные и прочие инстанции, расположением или недоброжелательством всемогущих партийных бонз, от которых часто зависела твоя судьба и имена которых давно канули в Лету.

Борис Спасский: «Играя с Фишером, особенно когда тот был совсем молод, Геллер всем своим видом и мимикой показывал: «Ну, что ты, дерьмо, претендуешь на то, чтобы быть гением?» Отношение, которое Фишер, несомненно, чувствовал. Помню, еще на сборе команды России перед одной из Спартакиад смотрели мы вариант Свешникова. Показывал сам Свешников. Нужно было посмотреть тогда на Геллера! Он презрительно поджимал губы, закатывал глаза, глубоко вздыхал, говоря, что такие позиции играть нельзя, что в позиции черных одни сплошные дыры, совершенно не замечая козырей черных. Надо отдать должное Свешникову: другой бы вскипел, а он вел себя безукоризненно. Нет, Геллер не был добряком, он скорее работал под добряка. Но он очень помог мне во время матча с Петросяном в 69-м, и в матче с Фишером он был фактически единственным, кто мне помог. Ни Ней, ни Крогиус, ни приехавший уже в самом конце Болеславский, который анализировал так и не встретившиеся в матче дебюты, не помогли мне, а он действительно работал, переживал... Хотя практически все, кого он тренировал, проигрывали. Была здесь, думаю, и зависть - почему он, а не я? Ну, и упрямство, зачастую недоброе. Чувства эти превалировали иногда над его замечательными шахматными качествами. Нет, не думаю, чтобы он интриговал, но то, что с большой подковыркой был, точно... Был он добродушен, но не сусален, такой внешне добродушный одессит, хотя, конечно, был оппортунист, делал всё, что ему выгодно было, когда стало выгодно — ушел к Карпову... Помню еще, что во времена своего чемпионства воспользовался одним его советом, хотя никого не слушал и всегда предпочитал идти своим путем. А сказал он мне: «Борис Васильевич, вы чемпион мира, вы стоите на вершине, не

вмешивайтесь в дела претендентов, в их распри, их проблемы, не ваше это дело, не дело чемпиона». И я послушался его. Храню о нем хорошие воспоминания...»

Последние шахматные годы Геллера дались ему тяжело. Хотя сам он на пороге своего пятидесятилетия писал, что «не следует закрывать глаза на то, что все мы рано или поздно проигрываем партию суровому и непобедимому сопернику — времени», всегда хочется верить, что это относится к кому-то, к другим, не к тебе. «Какие тут секреты — работать с годами надо больше, вот и всё», — сказал он после выигрыша чемпионата страны в пятьдесят четыре года. Но уже вскоре осознал, что никакой анализ и никакая работа не могут компенсировать легкости, огромного желания и волевого напора молодости. Привыкший всё анализировать и во всем докапываться до истины, он сам поставил диагноз шахматисту в пору старения: «Более всего снижается стабильность расчета многочисленных мелких вариантов, составляющих ткань обычной, то есть на привычном жаргоне - «позиционной» игры. Повышается опасность просчетов, которые проходят, как правило, за кадром, так и не реализуясь в форме состоявшихся зевков. С рокового пути в последний момент удается свернуть лишь ценой большего или меньшего ухудшения позиции. А со стороны это выглядит едва ли не как непонимание. В результате жертвой старения зачастую становится так называемая техника, что может показаться странным человеку, воспитанному на журнально-книжных стереотипах».

Тем не менее он все равно оставался самим собой — бескомпромиссным, отстаивающим свою шахматную правоту. Если Геллеру казалось, что нарушаются законы шахмат, что что-то делается не по правилам, он снова погружался в длительные раздумья, считая своим долгом наказать, опровергнуть, доказать... «Тот, у кого уже не хватает храбрости для осуществления своих замыслов, теряет способность борца и приближается к закату», - писал Ласкер. У Геллера до конца хватало храбрости для осуществления своих замыслов — у него не хватало сил. Он проиграл всухую оба матча на турнире в Тилбурге: Чандлеру в 1992-м и ван Вели год спустя, но ни в одной из этих партий не поступился своими принципами, преждевременно сняв напряжение или высушив позицию. «Ну совсем не тяну», — говорил он с виноватой улыбкой после одного из проигрышей, наиболее обидного. Помню еще, как в конце 1987 года спросил его, вернувшегося из Индии, где он проиграл белыми семнадцатилетнему подростку, затратившему на всю партию около получаса: «Ну что, Ефим Петрович, мальчонке проиграли?», стараясь попасть ему в тон. «Мальчонке? -

посмотрел на меня с неодобрением. - Да я, может быть, будущему чемпиону мира проиграл...»

Не думаю, чтобы Геллеру, даже его лучших лет, было бы уютно в современных шахматах. Дело здесь даже не в блиц- и всякого рода скоростных турнирах, поклонником которых он никогда не был. «Из меня блицор еще тот», — говорил он после того, как не набрал и 50 процентов очков на блицтурнире в Амстердаме в 1975-м. Думаю, что и новый контроль времени, еще более карающий длительные раздумья, и исчезновение отложенных партий, и новые компьютерные методы подготовки — всё это нивелировало бы его природные качества, шло бы вразрез с шахматами, в которых он вырос и в которых добился выдающихся успехов. Но очень многое, что в шахматах сегодняшнего дня кажется очевидным и само собой разумеющимся, основано на тех позициях и принципах, которые выработали лучшие игроки и аналитики 50-х, 60-х и 70-х годов. Одним из наиболее значительных из них был Ефим Геллер.

Он родился и вырос в еврейской семье в Одессе, хотя к еврейству своему никак не относился. По словам его вдовы Оксаны, «это к нему относились из-за его еврейства» - фраза, понятная каждому, кто вырос в Советском Союзе. Не думаю, впрочем, чтобы это было для него причиной каких-то конкретных проблем. Он не был евреем со скрипочкой или рафинированным интеллигентом, скорее наоборот — евреем-мастеровым, не такой уж редкий тип на Украине или в России. Образом жизни и привычками он полностью вписывался в среду и страну, где жил, только мастерством его были шахматы.

Он прожил в СССР фактически всю жизнь, до того момента, когда государство это просто перестало существовать. Неудивительно поэтому, что он очень во многом оставался советским человеком. Но членом партии никогда не был, хотя в единственной его книге, вышедшей на Западе (не считая, разумеется, большого числа теоретических публикаций), выше допустимой меры повествуется о преимуществах социалистической системы и осуждается Фишер как типичный представитель загнивающего капитализма. В 1972 году в Рейкьявике он, будучи секундантом Спасского, уже в самом конце безнадежно проигрываемого матча Фишеру потребовал проверки турнирного зала на предмет обнаружения секретной электронной аппаратуры или лучей, влияющих на мыслительный процесс чемпиона мира. Батуринский вспоминает: «Это была личная инициатива Геллера, Москва на этот счет не давала никаких распоряжений...»

Сейчас над этим можно смеяться или иронизировать, но

тогда Геллер просто не мог найти иных причин слабой игры Спасского. К тому же это очень хорошо вписывалось в представления, сложившиеся у него с детства, с «границей на замке», колорадским жуком, забрасываемым американцами на колхозные поля, происками империалистов всех мастей, требующими высокой бдительности и суровой отповеди. Он стоял на страже интересов империи, слугой и гордостью которой одновременно был он сам. В 1970 году на «матче века» в Белграде жаловался журналистам, что победы участников сборной мира встречаются значительно большими аплодисментами, чем победы советских гроссмейстеров. В статье для «64», написанной им после того, как мы поделили с ним первое место на Хоговен-турнире 1977 года, моего имени вообще не было. Не думаю, что его вычеркнули тогда в редакции еженедельника - самоцензуры у Геллера хватало...

В 80-м году в Лас-Пальмасе попросил подписать только что вышедшую его «Староиндийскую защиту». После долгих, мучительных раздумий он написал: «С наилучшими пожеланиями» — без обращения и подписи (на всякий случай, если кто увидит) и, отводя глаза, протянул книгу мне. Но такие уж были тогда правила игры, а Других он просто не знал. Когда в конце 80-х, в последние, уже конвульсивные годы Советского Союза, в ЦШК обсуждался вопрос о вступлении советских шахматистов в Международную гроссмейстерскую ассоциацию, Геллер был категорически против: «Не случайно главный офис этой организации находится в Брюсселе, ведь там расположена и штаб-квартира НАТО...» Обычно же бывал немногословен, поэтому в некрологах на Западе, отдавая должное его выдающимся шахматным достижениям, писали в то же время о совершенно неизвестном Геллере-человеке.

«Он не был златоуст, скорее он был косноязычен, - вспоминает Тукмаков, — но, будучи человеком неглупым, знал это сам и предпочитал помалкивать, особенно на людях или в малознакомых компаниях».

Марк Тайманов: «Он мог быть колючим, мог и обидеть даже на собрании команды, но были мы с ним как-то неделю вдвоем в поездке — открылся вдруг с другой стороны, теплой, душевной. И был, конечно, одессит, бесшабашное что-то в нем было, что-то и от биндюжника, и манеры имел соответствующие...»

Анатолий Карпов: «Геллер был очень азартный, увлекающийся человек. Мне совсем недавно в Одессе говорили знавшие его еще в студенческие времена — играть мог на бильярде днями напролет. Ну, и карты любил, конечно, особенно белот... Был он одессит, всё было в нем одесское, и говор был

одесский. Так, как он говорил, говорят в Одессе, в Хайфе, на Брайтон-Бич...»

Последние тридцать лет из отпущенных ему семидесяти трех Геллер прожил в Москве, но Одесса всегда оставалась для него домом, он ведь родом из одесского двора, где все знали друг друга и знали всё друг о друге. Альбурт и Тукмаков, шахматное детство которых пришлось на конец 50-х годов, вспоминают, что он был любимцем Одессы, для одесситов Фима Геллер был свой. Он был простой человек, не интеллектуал и не философ, он любил поесть, не обращая внимания на калории и холестерин, любил посидеть в компании, выпить с друзьями. В чем-то сошедший со страниц бабелевских рассказов, он любил играть в карты, в домино, на бильярде. И во всем этом тоже был секрет его популярности в Одессе. В старости он, как и многие, стал походить на карикатуру на самого себя: черты лица стали еще более крупными, склонность к полноте перешла границу допустимой, и значительных размеров живот при его небольшом росте был еще более заметен; он тяжело дышал, не расставаясь, однако, с неизменной сигаретой. И его внешний вид, и его манеры резко контрастировали с его очень чистым и академическим стилем игры.

За свою шахматную жизнь Геллер десятки раз бывал за границей. «Там он расслаблялся, — вспоминает Спасский. — Это заключалось для него в следующем: он закуривал свой «Честерфилд», выпивал кока-колу и был вне времени и пространства».

Самые последние годы не были легкими. Дело было не только в пошатнувшемся здоровье — как и для многих сверстников, пошатнулись все устои его мировосприятия. Одно время семья подумывала о переезде в Америку. Не уверен, чтобы он, особенно в последние, болезненные годы, чувствовал бы себя там дома, ведь старые деревья вообще трудно поддаются пересадке. А так, почему бы и нет? Не будь дан ему огромный шахматный талант, сделавший его тем, кем он стал, хорошо вижу его забивающим козла на залитой солнцем набережной Брайтон-Бич в Бруклине, за столиком в ресторане «Одесса» или читающим на скамеечке «Новое русское слово».

Ребенком он жил на Пушкинской, тянущейся к вокзалу, потом на Приморском. Малая Арнаутская, Греческая, Еврейская и Дерибасов-ская - улицы Одессы, прямые, как стрела, исхожены его юностью и молодостью, и он часто возвращался сюда, в последний раз — за три года до смерти. В город, по выражению Бабеля, десятилетиями поставлявший вундеркиндов на все концертные площадки мира. Здесь начинали Буся Гольдштейн и

Яков Флиер, из Одессы вышли Давид Ойстрах и Эмиль Гилельс. Гроссмейстер Ефим Петрович Геллер был абсолютным любимцем Одессы, ее шахматным королем.

Славе, как известно, есть лишь одна цена — положить к ногам тех, кого любишь. В его случае это была семья: жена Оксана и единственный сын Саша, которого он очень любил, — по словам тех, кто знал семью близко, порой и чересчур. С ним, довольно сильным шахматистом, Геллер и сыграл две свои последние партии в жизни, дав сыну в обеих белые фигуры... Все эти годы жил на даче в Переделкине, долго и тяжело болел. Часто сидел молча, улыбаясь иногда детской, беззащитной улыбкой, — происходила постепенная усадка души.

Зима в тот год выдалась ранняя, морозная. Таким был и день похорон Геллера, 20 ноября 1998 года. Могила его совсем рядом с домом, где он жил, кладбище минутах в пятнадцати ходьбы. В последнем слове Давид Бронштейн, знавший Геллера полвека, говорил, что всю свою жизнь Ефим Петрович был занят поисками истины. Но что есть истина в шахматах? Она неуловима и иллюзорна, но он все равно днем и ночью был занят ее поисками.

Геллер был одним из самых ярких представителей уходящего уже поколения, которое становится шахматной историей. Недалеко то время, когда историей станут и сами шахматы, те, во всяком случае, в которые играли они...

Декабрь 1998

Я знал Капабланку

В 1989 году в испанской Мурсии я разговорился с одним молодым шахматистом из Советского Союза. «Вы видели Левенфиша? — удивился он. — А Шифферса вы тоже видели?» Он спросил это так искренне, что я до сих пор не уверен, не шутил ли он, ведь у молодости свое представление о времени, определяемое одним емким словом — давно. Подумав несколько, я ответил, что Шифферса (умершего в 1904 году) я не знал. Не знал я и Капабланку - он умер за год до моего рождения, но каким-то образом видел его вблизи, его привычки, манеру говорить и одеваться, играть в бридж или молчать.

Шестого мая 1984 года в Нью-Йорке я в первый раз встретился с вдовой Капабланки Ольгой Кларк. И вот сейчас, просматривая записи тех лет, слушая ее голос, оставшийся на магнитофонной ленте, перемещаясь в прошлое, я вижу людей, которых уже давно нет, и в первую очередь — самого Капабланку. По мере того как я всё глубже окунался в атмосферу того времени и в его жизнь, мне всё чаще приходила в голову мысль, похожая на высказанную Рейганом на одном из съездов республиканской партии: «Демократы часто любят цитировать Джефферсона. Я знал Джефферсона...»

Я познакомился с Ольгой в Манхэттенском шахматном клубе, который размещался тогда на десятом этаже Карнеги-холла. В тот день она передавала в дар клубу, что делала уже не раз, что-то из личных вещей Капабланки. Я увидел очень пожилую женщину, по-американски неопределенного возраста, с уложенными волосами, сильными следами косметики на лице и сверкающими перстнями на тронутых старческой пигментацией пальцах. Нас представили друг другу, и я назвал себя. «Простите, как вы сказали? — переспросила она - Зноско? Зноско?» Я снова повторил свое имя. «Простите, — сказала она, улыбаясь, — никогда не слышала. Но знали ли вы Зноско-Боровского? Он был другом Капабланки, мы часто встречались с ним в Париже».

После первых фраз знакомства мы перешли на русский и всегда потом говорили на этом языке. Она была русской по рождению и владела языком достаточно хорошо, выпустив даже сборник стихов, очень слабых, впрочем. Изредка она вставляла в свою речь французские пословицы и словечки, реже англицизмы, хотя ее речь была свободна от appointment'оВ и experience'оВ, так часто встречающихся в языке русских американцев последней эмиграции. Иногда она откровенно спрашивала: «Как это сказать по-русски?» Кларк — было имя ее последнего мужа; она легко

согласилась на встречу и ужин вечером следующего дня в «Russian Tea Room».

Ровно в четыре я стоял у дверей огромного дома на углу 68-й и Парк-авеню — в очень престижном районе Манхэттена. «Вы к кому? - спросил меня портье в ливрее. — Ах, к госпоже Кларк? Билл, проводи, пожалуйста, джентльмена на седьмой этаж».

Она стояла уже у распахнутой двери: «Проходите, пожалуйста. Простите, у вас очень трудная фамилия, я не запомнила». Через некоторое время мы стали называть друг друга по имени. Имея альтернативы: госпожа Кларк, что как-то не вязалось с темой нашего разговора, мадам, по какой-то причине не выговариваемое мною, госпожа Капабланка-Кларк, звучавшее несколько тяжеловесно, и совсем русское Ольга Евгеньевна, - я остановился с ее позволения на Ольге.

Мы расположились в гостиной, окна которой были приоткрыты, и слышны были звуки машин, доносившиеся с Парк-авеню и оставшиеся у меня на магнитофонной ленте. «Что мы будем пить?» -спросила она. Рядом с диваном стояла тележка с напитками, но, увидев мой блуждающий взгляд, предложила сама: «Может быть, шампанского? Давайте кликнем Билла, он нам откроет...»

«Ну, что же вы хотели спросить меня о Капабланке? Да, вы можете записать это на магнитофон».

В наших беседах она называла его всегда Капабланкой или Капой и никогда Рауль или Хосе — обращения, нередко встречавшиеся в письмах к нему и увиденные мною позже в его архиве, который она завещала Манхэттенскому клубу. Не считая, конечно, многих очень личных, например по-испански - «Mi querido Capablanca», или сугубо официальных, перечисляющих все титулы; до мягкого «My dear Capablanca» - всегдашнего обращения Эйве.

Я не решился спросить о ее возрасте, хотя было очевидно, что она уже давно вступила в тот, когда годами скорее гордятся, чем скрывают их. Считалось, что она родилась в 1900 году. Только после смерти я узнал точную дату ее рождения. Ольга Евгеньевна Чубарова родилась на Кавказе 23 сентября 1898 года, к моменту нашей встречи ей было неполных восемьдесят шесть лет.

«...Фамилия моего первого мужа была Чагодаев, он был офицером в белой армии, кавалеристом... Вообще я была замужем четыре раза. Моим последним мужем был адмирал Кларк, замечательный человек. До него я была замужем за человеком много моложе меня, он был олимпийским чемпионом по rowing — как это сказать по-русски? Гребле? Фактически всё, что у меня сейчас есть, — это от него, но я не хотела бы говорить на эту

тему». Она иногда употребляла в разговоре эту формулу, и я, разумеется, никогда не настаивал.

«...Ну и, конечно, Капабланка. Что ж вам рассказать о нем? Когда мы с ним познакомились? Это было ровно пятьдесят лет тому назад здесь, в Нью-Йорке, весной 1934 года. Я помню, была какая-то party в доме кубинского консула, я была нездорова и плохо выглядела, но моя сестра просто вытащила меня туда. Ах, вы знаете, Нью-Йорк был тогда другой, веселый и вообще... Вы, вероятно, не знаете, что это я, а не Марлен Дитрих ввела в моду тогда черную вуальку, впрочем, какое это всё сейчас имеет значение?» Она вздохнула: «Вы видите — это я». С противоположной стены на меня смотрела ослепительная красавица — блондинка с карими глазами. «Ну, конечно, я вас сразу узнал».

«Ах, душка», — ее узловатая рука коснулась моей. Она и впоследствии иногда называла меня этим труднопереводимым русским словом, блестки которого можно встретить в английском darling. «Так вот, на этой самой party я и познакомилась с Капабланкой. Какой он был? Вы понимаете, он был король. И во всем он держал себя как король. Когда перед началом одного симультана кто-то попросил показать Капабланку, ему сказали: «Когда все войдут в зал, вы сами увидите, кто — Капабланка». Помню, как я в первый раз приехала в Европу и была с Капабланкой на дипломатическом приеме. Как дипломат он должен был быть представлен бельгийскому королю. Министр рассказывал мне потом, что, когда король услышал имя Капабланки, он как мальчишка подбежал к Капе, что было супротив всякого протокола, и наговорил ему кучу комплиментов: «Я знаю ваши партии и вот теперь — какая честь! — вижу вас лично». Его любили все, и у него были хорошие отношения со всеми, кроме, конечно, Алехина.

В первый раз я увидела Алехина где-то под Карлсбадом, думаю, это был 36-й год. Помню, было лето, была какая-то party в саду, я разговаривала со Штальбергом, с которым Капа только что меня познакомил. Через несколько минут к нам подошел какой-то белобрысый господин, похожий на продавца в магазине. Это был Алехин. Был ли он симпатичный? Напротив, он был какой-то кислый; я его сразу узнала по фотографиям - заклятого врага Капабланки -и так и застыла на месте. Он сразу представился: «Я — Алехин. Вы должны нас извинить, — сказал он Штальбергу, — мне нужно сказать мадам что-то приватно». Алехин провел меня в конец сада — я как сейчас вижу томатные грядки, вдоль которых мы ходили, — и начал говорить очень решительно. Что Капабланка может думать о нем что угодно, но что в обществе

они должны здороваться, что Капабланка ему даже не поклонился и т.д. «По-видимому, — отвечала я, — у Капабланки есть для этого сильные резоны». — «Может быть, — согласился Алехин. — Но ведь весь мир понимает, что, хотя я и проиграл матч Эйве и он сейчас официально чемпион мира, я и Капабланка являемся сильнейшими игроками». — «Капабланка и вы, — сказала я, — и вы это знаете, потому и не даете ему реванша». Он странно посмотрел на меня и продолжал: «Я не был вполне здоров во время матча с Эйве, но я могу вас уверить, что...» Я снова перебила его: «Так же, как не был здоров Капабланка, когда отдал вам титул тогда, в 27-м году, в Буэнос-Айресе». — «C'est impossible parler avec vous. Vous etes une tigresse», - сказал Алехин, и больше мы никогда с ним не разговаривали. Да, по-французски. По-французски и по-русски. Мы переходили с одного языка на другой и бегали вдоль грядок, покрикивая друг на друга.

«Знаешь, - сказала я Капабланке, - Алехин только что назвал меня tigresse», - и пересказала ему весь разговор. «Ах, ты моя tigresse», — улыбнулся он и поцеловал мне руку. Потом я ему еще раз всё рассказала - он не хотел упустить ни одной детали. В тот день, когда я приехала в Ноттингем, Капа выиграл у Алехина и был счастлив. Там же он спросил, какое впечатление производит на меня Алехин. «Мне кажется, — сказала я, — если его ущипнуть, он бы завизжал, в то время как другой мужчина - зарычал». - «Ты и в самом деле маленькая tigresse», — сказал он. Там же, в Ноттингеме, Капа сказал мне: «I hate Alekhine».

Мы говорили почти всегда по-французски, только ругались по-английски, а ругались мы нередко, потому что я всегда опаздывала. Капа замечательно говорил и по-французски, и по-английски. Говорил ли он по-русски? Он знал несколько слов, но их я вам не скажу. Улыбка появилась на ее лице, но, даже получше вглядываясь, непросто было признать в ней красавицу с льняными волосами, по-прежнему с обворожительной улыбкой смотревшую на нас. В этот момент в гостиную вошел человек на вид где-то под шестьдесят. «Познакомьтесь, - сказала Ольга, - это мой друг...» Мы представились и сказали несколько приличествующих моменту слов. Он спросил, как долго я пробуду в Нью-Йорке, мы выпили втроем шампанского. Через несколько минут он попросил его извинить и поднялся. «Барон — очень приличный человек, хотя и немецкого происхождения», — сказала Ольга, снова переходя на русский, когда он ушел.

«Ну, что же вам еще рассказать о Капабланке? Как-то в Париже в отеле «Регина» нас пришел навестить Тартаковер, я была больна и лежала в постели. Тартаковер был очень симпатичный, и Капа с ним очень считался. И вот они сидели у

моей постели, и Тартаковер вдруг сказал: «А что, если нам сыграть в шахматы?» Здесь я должна сказать, что Капа никогда не играл в шахматы private — как это сказать по-русски? Дома? Так, во всяком случае, было при мне, но не думаю, чтобы он и в молодости когда-либо играл private. Но тут Капа согласился, и он записал эту игру — он ее выиграл. Потом сложил бумагу, подал мне и сказал: «Вот это тебе, когда-нибудь это будет красивый бриллиант». - «Это как же?» — спросила я. — «А вот как. С тех пор, как я был ребенком, мое малейшее движение было записано, представлено, рекламировано, а вот этой игры никто не видел». Я об этом и забыла, а вот недавно искала что-нибудь для музея Капабланки в Манхэттенском клубе и вот нашла ее. Но я им другое подарила, а ее оставила. Я хочу теперь ее продать. О какой сумме идет речь? Я думаю, десять тысяч долларов. Я вижу, тут большие деньги платят за рукописи, манускрипты, а это ведь редчайшая вещь. Как новая симфония Моцарта. Как вы думаете? По части архива Капабланки меня очень просили из Кубы, но я им даже не ответила...

Нет, Нимцовича и Рубинштейна не знала, они были до меня, Л аскера помню очень хорошо, он держал себя с достоинством старого льва. Ботвинник и его жена держались скромно и несколько особняком, Капа относился к ним хорошо и предсказал, что когда-нибудь Ботвинник станет чемпионом мира... Да, конечно, и Эйве помню очень хорошо, он был безупречный джентльмен, но был он весь какой-то бесцветный.

Савелий Тартаковер был нашим приятелем. Да, я говорила с ним по-русски, но, когда мы бывали втроем, конечно, по-французски. Внешне он не был привлекателен: утиный нос, круглое лицо, лысый, но бездна обаяния, искренности, щедрости... Но более всего Капа был расположен к англичанам: он был англофил. Доктор Тейлор, который почти ничего не видел, но обладал удивительным остроумием и безупречными манерами, Александер — молодой, красивый, восторженный. Помню их очень хорошо, но более всего Капабланка был расположен к сэру Томасу. Можно сказать, что они были друзья, хотя это была очень специфическая дружба. Они сидели и молчали, лишь изредка обмениваясь какими-нибудь замечаниями. Меня это удивляло, но оба собеседника были, по-видимому, очень довольны друг другом.

Сэр Джордж Томас вообще мало говорил с кем-нибудь, кроме Капабланки. Он был очень хорошо воспитан и говорил с медленным достоинством. Вообще по своему поведению и манерам Капабланка относился к английскому высшему классу. И что характерно, к славе своей относился совершенно равнодушно,

я находила позже в его бумагах приглашения из очень престижных английских домов, очень престижных. По натуре он был интроверт, но иногда ему нравилось, чтобы вокруг были люди, но только иногда. Он был малоразговорчив, и у него дома в Гаване говорили, что молодой

Рауль думает, что у него золото во рту, которое он боится растратить. Но когда он взрывался, это был ураган, правда, он отходил довольно быстро, тогда он говорил: «Тебе должно быть трудно с человеком такого характера, как у меня, но таков уж я».

Самый большой комплимент я получила от него, когда он сказал как-то: «Знаешь, мне так всё надоело, я от всего так устал, что я должен уехать куда-нибудь немедленно в горы, чтобы вокруг никого не было». Я ответила: «Сейчас приготовлю тебе чемодан» - и быстро уложила вещи. Он спросил: «А где же твой?» — «Но ты же хотел сам уехать». - «Нет, Кикирики, ты ведь тоже часть меня. Я имел в виду, чтобы были только ты и я». Он называл меня так иногда - Кикирики — этим смешным прозвищем, взятым из французской песенки, так называла меня в детстве моя гувернантка еще в Тифлисе. Я ведь правнучка Евдокимова, знаменитого завоевателя Кавказа, покорителя Шамиля, у нас в роду все по мужской линии были военные. Капа мог проводить часы над книгами по военной стратегии. Но все же его любимым чтением, помимо детективов, были исторические и философские книги, он вообще не читал fiction - как это сказать по-русски? И перед партией чаще всего читал, нет, никогда не спал... Нет, что вы, вы меня совсем не утомили. Может быть, еще бутылочку? Давайте, я позвоню Биллу...»

Мы вышли в коридор. На стене, прямо напротив гостиной, висела картина, на которой были изображены люди в морской форме. «Это мой последний муж - адмирал Кларк, — сказала Ольга, показывая на одного из них. — Он был герой войны и друг Макартура. Вы ведь слышали имя адмирала Кларка?» Я сделал жест, который можно было истолковать по-разному, более всего он подходил под библейское: «Ты сказал».

«Давайте я вам еще кое-что покажу». Мы прошли довольно значительное расстояние по коридору и остановились у открытой двери. В глубине комнаты сидел очень большой человек, что-то ел и читал газету. Я инстинктивно сделал шаг назад. «Можете говорить громко, он все равно ничего не слышит. Это - Фиш, конгрессмен Гамильтон Фиш, ему девяносто шесть лет, он назван в честь Александра Гамильтона — вот его дед сидит на коленях у Джорджа Вашингтона». Она показала на картину, висящую на стене, в центре которой на коленях у человека с лицом, знакомым по изображениям на долларовой купюре, сидел маленький

мальчик. Я незаметно оперся рукой о косяк: шампанское в комбинации с живым экскурсом в историю Соединенных Штатов давало о себе знать. «Знаете, он ужасный скупердяй, хотя его род один из самых древних и богатых в Америке, древнее Рокфеллеров и Карнеги. Он был очень силен и в

1914 году был признан лучшим игроком в американский футбол». Человек не обращал на нас никакого внимания и перевернул страницу газеты. «Он женился на моей сестре, а я вышла замуж за адмирала Кларка, и мы купили этот апартамент. Фактически это две квартиры, соединенные переходом. У него маленькая собачка, а у меня кошка. Вы знаете, Капа ведь любил котов, в последние годы у нас была замечательная кошка, с которой он часто играл». Невольно в памяти всплыл сиамский красавец Алехина по кличке Чесе, но у меня хватило ума смолчать, понимая неуместность такой ремарки. «Вот мы и живем с ним, как кошка с собакой», — вздохнула Ольга.

Я узнал потом, что конгрессмен Фиш был видной фигурой на политическом небосклоне Америки на протяжении долгого времени, запомнившейся, помимо всего прочего, бурным конфликтом с президентом Рузвельтом. Ярый республиканец, он дожил до 101 года и еще за неделю до кончины произнес страстную речь против собственного внука, баллотировавшегося в Конгресс от демократической партии. За несколько лет до смерти он женился на женщине где-то за пятьдесят. Надо ли говорить, что этот факт никак не улучшил отношений Ольги с конгрессменом. За каждый прожитый совместно год жена получала, по утверждению Ольги, миллион долларов. Его поступок был встречен без энтузиазма и детьми конгрессмена, хотя, опять же по рассказам Ольги, состояние его никак не могло пострадать от такой безделицы.

Несколько минут спустя Билл открыл в гостиной новую бутылку шампанского. «Sante!» — сказал я. Она подняла свой бокал: «A 1a bonne votre. Так на чем же мы остановились?» — «Он любил алкоголь?» — не совсем к месту спросил я. — «Шампанское. Если же вино, то немного и непременно хорошее, только после знакомства с ним я стала разбираться в вине. Понимаете, он был гурман, ел немного, когда приносили большие порции, он махал руками, но всё обязательно должно было быть отличного качества. Случалось поэтому, он отправлял блюда обратно, но ему всё прощалось — его все любили. Он и сам готовил иногда по своим кубинским рецептам, и это у него хорошо получалось, если, конечно, не подгорало. Апельсиновый сок я всегда выжимала для него сама - обязательно через полотняный платочек, чтобы, Боже упаси, ничего не попало в

стакан, ведь он был очень капризный.

Он был щедрый и любил угощать друзей, мы ведь как жили: когда — густо, когда — пусто. Он и в одежде был такой: у него было немного вещей, но всё это было самого высокого качества. Он был всегда прекрасно одет, об этом даже английские газеты писали: самый элегантно одетый шахматист. Но одевался он, как это сказать по-русски — sober? Классически? Строго? Пожалуй. Такой был у него вкус. На протяжении многих лет он заказывал костюмы у одного и того же портного на Севиль-роу, а иногда покупал на Бонд-стрит. Галстуки были его слабостью, и он сам завязывал их очень тщательно. Один галстук, который я ему подарила, он особенно любил. Нет, суеверен не был, хотя надевал его на важные игры.

И так Капа был во всем, вы понимаете, он был перфекционист. Он прекрасно играл в теннис, его тренер говорил, что если бы он серьезно играл, то мог бы быть одним из сильнейших. Машину водил просто замечательно; он приехал за мной на машине на следующий вечер после того, как мы познакомились. Очень любил играть на бильярде, я слышала, что если бы он посвящал больше времени бильярду, то мог бы стать чемпионом. Знаю, когда он был молод и учился в Колумбийском университете, ему предлагали играть в главной бейсбольной лиге, но это было еще до меня. Ну и, конечно, бридж. Он играл великолепно, даже чемпионы спрашивали его совета. Я играла много слабее, примерно так, как Керес, а вот Вера Менчик играла очень хорошо, я помню ее, мы говорили по-русски. И еще — он был необычайно гордый, это было у него в крови. Я только один раз видела, как он распластался перед кем-то в комплиментах. Это был старый плутоватый садовник в Гаване. Он продал нам несвежие цветы, и я очень сердилась и протестовала. И Капа так извинялся и кланялся перед ним, как я никогда еще не видела, да, старый, беззубый кубинский садовник...

На Кубе мы всегда останавливались в одном и том же отеле, потому что хозяин его был другом Капы. Куба была тогда прелестная страна, веселая, часто бывали карнавалы, танцы, музыка, масса цветов, нищих не было вовсе. Капа любил там бывать, но не слишком долго. Вообще он был непоседа, он любил путешествовать. Лондон, конечно, был его город, он ведь больше всего любил Англию. Но и Париж, Париж... Помню, в Париже в 1937 году был прием в кубинском посольстве в честь Риббентропа. Он был очень шармантный мужчина и танцевал со мной весь вечер. В конце он пригласил меня в Германию. «Я же славянка, а славян вы ведь не очень любите, к тому же у вас уже есть Ольга Чехова», — сказала я. Он весь рассыпался в

комплиментах, сказал, что, если бы фюрер меня увидел, он непременно бы влюбился, я была бы королевой Германии. «Зачем же мне быть королевой Германии, - отвечала я, — когда сейчас я королева мира?» Капа, который стоял рядом, весь просиял...

Да, конечно, Амстердам помню очень хорошо, там была еще гостиница на воде; да, да, «Амстел», помню еще чаек над водой. Но, вы знаете, Капе совсем не следовало играть в том турнире, он совершенно не был готов к нему, у него были приватные проблемы, с разводом, и главное — он был очень болен, очень. У него были огромные перепады давления, которое поднималось иногда ужасно высоко. Это было у них в семье, от этого и отец его умер, и сын недавно на Кубе. Во время партии с Ботвинником в конце турнира ему стало плохо, и он потом сказал мне, что в уборной едва не потерял сознание. Его доктор Гомес очень не советовал ему играть в том турнире, так как Капа должен был избегать всяческого волнения. Но я тогда и не могла предполагать, насколько это всё серьезно.

Почему он любил Россию? Потому, что там были очень хорошие игроки, и еще потому, что там его просто обожали, на руках носили. Нет, сама не была, хотя Крыленко и разрешил, но мне посоветовали, намекнули, что лучше не ехать...

Если он видел несправедливость, говорил прямо в лицо, но вот в книге, вышедшей недавно на Кубе, сказано, что он боролся за права негров и всё такое. Он всегда был за справедливость, но это его совсем не интересовало. Он сам сказал бы в этом случае: «Sa рие». Как это по-русски? Воняет? Пожалуй, еще сильнее.

Музыку он обожал, Моцарта и Бетховена, особенно Баха; мы бывали на концертах, он любил и камерную музыку. Вы говорите, он был дружен с Прокофьевым? Быть может. Мы встречались несколько раз в Париже, но я его не очень любила и, думаю, он меня тоже. Чем-то он напоминал мне Алехина. Вы верите в реинкарнацию?» — неожиданно спросила она. Я снова сделал жест, который можно было истолковать по-всякому. — «Знаете, многие находили, что Капабланка был воплощением Морфи, они ведь похожи во многом, и посадкой головы, и всем обликом, и оба были латинского происхождения. Капабланка родился через четыре года после смерти Морфи... Ну, что вы, что вы, вы меня совсем не утомили».

Бутылка была почти пуста, и наступил уже вечер. «Давайте вызовем такси, а я пока приведу себя в порядок», - сказала она.

Я ожидал в холле, и вдруг Ольга появилась в замечательном черном платье, так что я даже застеснялся своего амстердамского вида. «Я помню, в Ноттингеме на закрытии турнира у меня тоже было черное платье с такими оборочками, Капа даже не

догадывался, что я купила его на распродаже. Он и о другом подчас не догадывался. Ведь он всегда передвигался на автомобиле, а я нередко и в метро ездила, когда и вторым классом… Душка, вы не поможете мне с этой цепочкой?»

До ресторана было совсем недалеко, но, как это часто бывает в Манхэттене, такси двигалось очень медленно, иногда и совсем стояло в веренице таких же желтых машин. У дверей «Russian Tea Room» Ольга сказала: «Мы бывали здесь часто, почти каждый день, днем за ланчем, мы жили ведь почти напротив, в доме 157, здесь на 57-й. Нью-Йорк в конце стал его домом. И хотя мы путешествовали всегда в кабинах-люкс на кораблях и всё такое, я сказала: знаешь, я хотела бы иметь свою квартиру в Нью-Йорке, пусть маленькую. И я сняла недорого, мы платили что-то около ста долларов в месяц. Я сама и обставила ее, из того, что вы сейчас видели у меня, кое-что еще оттуда. Я многое покупала тогда по случаю. Когда Капа вошел в нее в первый раз, он был просто изумлен, сразу позвонил приятелю и сказал: приходи немедленно посмотреть, какую квартиру Ольга приготовила для меня. Но жил он здесь, к сожалению, очень недолго. Отсюда он шел почти каждый день в Манхэттенский шахматный клуб играть в бридж. Так было и в последний день. Его привезли в больницу уже без сознания. Тот день я помню очень хорошо. Я стояла на углу улицы недалеко от больницы. Был вечер или ночь, я уже не помню, я видела звезду. Вдруг она исчезла. И я поняла, что его нет больше. Через несколько минут вышел доктор и сказал, что он только что умер».

Мы вошли в ресторан, и она сказала: «Здесь всё перестроено, но обычно мы сидели в том углу». Официант подал меню. Много лет жившему в Амстердаме напротив ресторана «Вишневый сад» с блюдами типа «севрюга на вертеле, как ее любил кушать Антон Павлович Чехов», меня здесь трудно было чем-либо удивить. Настоящую русскую еду тогда можно было найти только в ресторанчиках на Брайтон-Бич, но для Ольги Нью-Йорк ограничивался, разумеется, только Манхэттеном. Русские, которых она встретила бы на Брайтоне, вряд ли вписались бы в ее воображаемую Россию, тем более в ту, которую она покинула почти семьдесят лет тому назад.

«Вы знаете, — сказала она, - я ведь России фактически и не знала, я ведь из Тифлиса, с Кавказа, а это была совсем другая Россия. Мы с Капой никогда не говорили на политические темы, но я слышала, что там сейчас по-другому относятся к таким, как я, к старым эмигрантам, понимают, что это были честные люди со своими принципами… Вы слышали эту песню о поручике Голицыне?»

«Вы говорите по-русски?» - спросил я у официанта. «Ньет», — отвечал тот с виноватой улыбкой и спросил в свою очередь, хотим ли мы аперитив. Ольга колебалась некоторое время между «Пушкиным» и «Распутиным», остановившись в конце концов на «Павловой». Я взял «Дядю Ваню». «Очень верно», — одобрил наш выбор официант. По тому, как она изучала меню и обсуждала с официантом тонкости соусов, было видно, что к предстоящей процедуре она не относится легкомысленно; можно было представить себе красави-Цу-княгиню и элегантного кубинца в ресторане лайнера, пересекающего Атлантику: накрахмаленные салфетки, хрусталь, серебро... Мне было интересно наблюдать за ней, помня старое правило, что глаза лучшие свидетели, чем уши; чувствовалось, что ей приятно здесь, в полутьме ресторана, в привычной обстановке находиться рядом с молодым мужчиной, пусть тогда уже относительно молодым, но по сравнению с ней, во всяком случае.

«Что-нибудь на десерт? — спросил официант, подкатывая тележку. — У нас сегодня замечательный черносмородиновый торт». -«Попробуем?» — предложил я. — «Ну, если уж вы настаиваете... Вы знаете, Капабланка обожал сладкое. Помню, перед витриной кондитерской неподалеку отсюда он долго смотрел на один торт и сказал: «Ты знаешь, Кикирики, мне кажется, что тебе хочется попробовать кусочек торта».

Нет, не курил, а я потихоньку покуривала, нет, не сигареты — папиросы... Нет-нет, спасибо, душка, я уже давно не курю. А почему вы улыбаетесь? Нет, если уж начали, то досказывайте до конца...»

Решив, что всё это было до нее и к тому же почти шестьдесят лет назад, я рискнул рассказать одну из известных в России историй, связанных с именем Капабланки. Он был тогда чемпионом мира, но короля, как известно, играет не король, а его приближенные. В России же, помимо приближенных, у него были преданные подданные и восторженные поклонницы. Во время Первого международного турнира в Москве в 1925 году ему приглянулась миловидная папиросница, и он пригласил ее поужинать к себе в номер. «Никак не могу, — отвечала девушка, — день кончается, а еще почти ничего не продано». — «В таком случае я покупаю у вас всё!» — «Как — всё?» — «Весь лоток». На следующее утро некурящий Капабланка позвонил портье гостиницы: «Заберите у меня эту утварь». Еще долгое время портье продавал по дорогой цене папиросы господина Капабланки...

«Ах, как мило, - улыбнулась Ольга. - Я знаю, что у него, когда он был студентом в Нью-Йорке, было немало романов, но, как

понимаю, ничего серьезного; но он не очень-то любил рассказывать о себе. Капа ведь был красавец: аристократические пальцы, которые он скрещивал, задумавшись, как это бывало во время симультанов, серо-зеленые глаза, замечательная улыбка, женщины прямо преследовали его...»

«Вы знаете, — сказала она, — если вы никуда не спешите, пойдем домой пешком — это ведь не так далеко». Я подал ей руку, официант следовал за нами до дверей и пожелал нам приятного вечера. На улице было уже темно, но вечер был еще теплый, и мы медленно дошли по 57-й до 5-й авеню. «Давайте здесь перейдем, мы с Капой всегда здесь переходили и шли по другой стороне». На углу 59-й и 5-й авеню у русского антикварного магазина «A la vielle Russie» она остановилась и, склонившись, стала рассматривать медальон с изображением последнего русского царя. Освещенное лицо ее вместе с березкой на картине, стоявшей внутри витрины, замечательно вписывалось в этот кусочек старой России в самом центре Нью-Йорка. Я вспомнил, что какая-то ветвь царской семьи жила в Америке: «Вы знали кого-нибудь из Романовых?» — «Да, но я их недолюбливала, впрочем, мне не хотелось бы говорить на эту тему».

Мы двинулись дальше и, свернув на 68-ю, так же медленно дошли до Парк-авеню. Надо было перейти на другую сторону. «Вы знаете, — сказала Ольга, - когда-то маленькой девочкой с двумя серебряными рублями я бежала в Америку, чтобы бороться за права индейцев. Меня поймали тогда на вокзале - и вот теперь я здесь... Ну, пойдемте, мы уже дома». Портье заметил нас издали и вышел из двери: «Добрый вечер, госпожа Кларк, добрый вечер, сэр. Какая чудная погода сегодня...»

Мы виделись с ней еще несколько раз во время моих последующих приездов: тогда я регулярно бывал в Нью-Йорке. Встречи эти начинались у нее дома, где мы распивали бутылочку-другую, до чего она была большая охотница. Может быть, я ошибаюсь, но ей было приятно со мной, приятны и эти визиты, и походы в «Russian Tea Room». И не потому, что это был я; она знала уже, разумеется, обо мне больше, чем мою непричастность к Зноско-Боровскому, хотя, честно говоря, и ненамного больше. Просто она привыкла и к постоянному вниманию, и к мужскому обществу, в котором находилась всю жизнь. И, конечно, ей было приятно возвращаться воспоминаниями, подернутыми дымкой молодости, через океанские лайнеры — в весенний Париж, чудный Лондон, к чайкам над рекой в Амстердаме, в ту безмятежную атмосферу Европы предвоенных лет.

Ольга принадлежала к немалой группе русских женщин,

которые в 20-30-х годах стали женами или подругами писателей и художников Запада, его творческой элиты. Как правило, аристократки, а иногда и авантюристки (в Ольге были черты, подходящие под оба эти определения), со знанием языков, они были полны внутренней энергии и высокого эмоционального заряда. От них пополняли свой творческий потенциал в разные периоды жизни Пабло Пикассо, Поль Элюар, Ромен Роллан, Сальвадор Дали, Герберт Уэллс, Луи Арагон, Фернан Леже, Анри Матисс, Аристид Майоль. Распад старой России, всегда стоявшей особняком и на расстоянии по отношению к Европе, не уменьшил загадочной, притягательной силы ее, скорее наоборот — сквозь слухи о крови, экзекуциях и процессах вставали имена Эйзенштейна, Пастернака и Мейерхольда, Лисицкого и Малевича, и непросто было для западных интеллектуалов провести границу между одним и другим.

Но Ольга была не только русской, она принадлежала еще к той категории женщин-долгожительниц, которые встречаются в разные времена и в разных социальных формациях. Мировые войны, революции, смена стран, языков - всё идет своим чередом, но жизнь, жизнь продолжается в любом случае. Как правило, мужчины играют немаловажную роль в их жизни, нередко они переживают детей (если их имеют) и умирают не от болезни, которая просто не допускается организмом, а от старости, когда перестает функционировать всё. Жизнь рассматривается ими как данная субстанция, и неправильно было бы лететь бабочкой на огонь, забывая обо всем. Это стало, если не было дано от рождения, стержнем поведения, самой натурой. Как бы ни повернулась судьба и что бы ни случилось, не забывать о самой главной и единственной — себе самой. И, отпуская уходящие естественным путем желания и удовольствия, они прочно держались за остающиеся, потому что там — кто может знать, что будет там? Здесь же — жизнь. И если верно то, что надо продолжать жить, хотя бы из любопытства, что бы ни случилось, - это о них. И если есть немалый смысл в том, что большинство людей умирает просто оттого, что не осмеливается жить дальше, то к ним это не относится. Они — осмеливались! Они - жили!

Несколько раз в наших разговорах всплывало имя Солженицына, жившего тогда в Америке. Было очевидно, что одна из приводимых им формулировок отчаявшихся людей, получивших 10-15 лет лагеря: если сейчас не жить, а только потом, то зачем вообще? — ей совершенно чужда. Жить! Чего бы это ни стоило. Простой стих Мецената: «Dum vita superest, bene est»[3] — выгравирован на гербе женщин этого ордена.

Ольга Книппер-Чехова, игравшая в пьесах своего знаменитого

мужа еще в начале века и умершая народной артисткой СССР и лауреатом Сталинской премии в 91 год. Марлен Дитрих, умершая в Париже в том же возрасте. Лиля Брик - муза Маяковского, другая Чехова — тоже Ольга, о которой вспоминала Ольга Кларк, — известная киноактриса Третьего рейха, блиставшая на приемах рядом с Гитлером и Герингом и находившаяся в тайной связи с Советами. Лени Рифеншталь, на исходе десятого десятка готовящаяся встретить новый век. Загадочная Гала Дьяконова, тоже достигшая преклонного возраста, без которой вряд ли Сальвадор Дали стал бы тем, кем он стал. Алма Малер с ее насыщенной бурной жизнью, в которой встречаются имена одно ярче другого.

Впрочем, и Ольгино созвездие удалось. Первый муж ее - офицер белой армии, кавалерист, впоследствии летчик, что в конце 20-х годов звучало гораздо более экзотично, чем в наши дни; по словам Ольги, потомок Чингис-хана и сам князь, он оставил ей княжеский титул. Второй муж — шахматный король, третий — обладатель золотой олимпийской медали, фактически тоже чемпион мира, четвертый — герой войны, адмирал, герой Америки. Но Ольга не довольствовалась этим, она писала свою биографию широкими мазками, начиная с прадедушки Евдокимова - знаменитого покорителя Кавказа, о чем она говорила при каждом удобном случае. Факт этот проверить -было так же сложно, как и родство ее первого мужа с Чингис-ханом; мне казалось, что фамилия покорителя Кавказа была не Евдокимов, а Ермолов, но сказать ей об этом я как-то не решался.

Русская княгиня — это вписывалось в любое сочетание: с олимпийским чемпионом, с адмиралом, но наибольший эффект это производило в комбинации с шахматным королем. Шахматный король и русская княгиня - звучало замечательно на дипломатических приемах и на балах, которые Ольга называла партиями. На приемах этих тогда можно было встретить кого угодно: бывших и настоящих королей, дипломатов (профессиональных и синекурных, каким являлся Капабланка), обладателей огромных состояний, непонятно каким образом нажитых, магараджу или чудом спасшуюся от расстрела якобы царскую дочь. Вся жизнь Ольги напоминала одну длинную партию с шампанским и цветами, и ей, конечно, так же как, впрочем, и ему, было все равно, каких политических взглядов придерживаются Крыленко, Риббентроп или магараджа, приглашения от которого она позже находила в бумагах своего покойного мужа.

Ольга появилась в платье с огромным декольте на торжестве в Манхэттенском клубе, посвященном 100-летию со дня рождения

Капабланки; ей самой уже было девяносто. Она не изменила своей привычке и опоздала на полчаса, но тот единственный, кто мог попенять ей за это, смотрел, улыбаясь, с огромной фотографии на стене клуба.

Иногда она пускалась в рассуждения о шахматах, мыслях молодого Капабланки во время его первой поездки в Европу, о Сан-Себас-тьянском турнире, заставляя меня невольно вспомнить строки Гоголя из письма к любящей его матери: «Не судите никогда, моя добрая и умная маменька, о литературе». Сама Ольга не играла в шахматы. Но что с того. В конце концов, жена Расина никогда не читала произведений своего мужа, так же как и жена Гейне, которая знала по-немецки только одну фразу «Guten Tag, Herr, nehmen Sie, bitte, Platz», утверждая: «Говорят, Генрих - умный человек и написал много чудесных книг, и я должна верить этому на слово, хотя сама ничего не замечаю». Моего, признаться, нелепого вопроса, играли ли Капабланка и Тартаковер с часами, она просто не поняла, хотя через некоторое время говорила уже об оценке трудной отложенной позиции Капабланки с Боголюбовым из Ноттингемского турнира, напомнив полный изящного достоинства ответ жены другого чемпиона мира — Смыслова: «Я в шахматы не играю, но позицию понимаю». Я спрашивал ее о многом другом, помня, что тот, кто много спрашивает, получает много ответов. Но почти все ответы ее были похожи, как отшлифованные морские камушки, на уже слышанные, и разница заключалась лишь в том, что в ресторане она заказывала «Распутина», а я - «Пушкина». Было очевидно, что я не первый, кто спрашивал ее о Капабланке. Она создавала его образ, и я встречал потом кое-что из рассказанного мне, едва ли не слово в слово, где-то еще. Впрочем, и известное — известно немногим, а Ольга знала, чего от нее ждут. С другой стороны, образ его создавать было нетрудно, оттого, что он во многом и был такой. Они были вместе восемь лет, но понимала ли она его так хорошо? Восемь? «Сорок восемь лет прожила я со Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он был за человек», — писала вдова Толстого после смерти мужа.

Хотя Ольга говорила о событиях более чем полувековой давности, я понимал, что даже из ретушированного прошлого непредвзятый слушатель всегда может выудить черты и черточки, наверное, самого легендарного чемпиона за всю историю игры. Конечно, мне хотелось знать, какие шахматные книги были дома, как он анализировал, как готовился к партии, если готовился вообще. Ольга отвечала, что шахматы он не любил, что мне представляется неверным, что к партиям не готовился вовсе и что, по словам самого Капабланки, если бы шахматы не захватили

его так в юности, он, вероятно, стал бы изучать медицину. Знакомый с тем, что он делал на шахматной доске, я снова мягко уводил ее от рассказов об играх, как она называла партии, ибо слово «партия» для нее означало нечто другое: вечерние туалеты, танцы, шампанское. Я старался направить ее в русло чеховской молитвы: «Боже, не позволяй мне говорить о том, чего я не знаю», но даже когда Ольга снова начинала вспоминать вечный карнавал на Кубе или веселую беззаботную жизнь в Нью-Йорке в начале 30-х, в глубине души возникало смутное «смотря для кого» — явное следствие лекций по диалектическому материализму моей далекой юности.

Но не могу сказать, что мне было скучно с ней. Она оживлялась после своего любимого шампанского и могла с воодушевлением рассказывать, какого цвета платье было на госпоже Эйве, о чем шел разговор с госпожой Флор в Ноттингеме, когда она встретила ее утром в парикмахерской в день закрытия турнира, или какие именно комплименты говорил ей министр иностранных дел Германии в кубинском посольстве в Париже. Здесь уж можно было поручиться, что память ее не подводит; она была молода и очень женственна в эти мгновения, улыбка играла на ее лице, и можно было представить, как потерял голову летом 1920 года в Константинополе бывший офицер-текинец, а четырнадцать лет спустя — немолодой уже и видавший виды шахматный король. Но реальность жизни не должна была быть забыта, и вот через минуту она уже спрашивала, сколько могла бы стоить золотая медаль, полученная Капой на Олимпиаде в Буэнос-Айресе: Ольга любила окунаться в воспоминания, но не витать в облаках. Она твердо стояла ногами на земле — обязательное условие столь долгого пребывания на ней. И пусть воспоминания эти были не так глубоки, она говорила обо всем с таким удовольствием, что невольно закрадывалась мысль: может, так и надо жить?

И все же не эти скользящие по поверхности воспоминания и повторы, когда не раз сказанное уже само по себе является фактом, были причиной того, что я не позвонил ей в мой очередной приезд в Нью-Йорк. Скорее, дело было в другом. Ольга говорила о Капабланке как о совершенстве, а у совершенства есть один изъян: оно может наскучить. И если бы у меня спросили, что я, собственно говоря, против него имею, я бы ответил, как прославившийся афинский нищий: я ничего не имею против него, просто надоело постоянно слышать, что Капабланка — лучший бриджист, что Капабланка — лучший бильярдист.

Последний раз я слышал ее голос, позвонив ей прямо из аэропорта, улетая обратно в Европу и говоря зыбкую очень правду

о такой напряженной поездке и о том, что на следующий год...

Следующего года не получилось. Приехав в сентябре 95-го на матч Каспарова с Анандом, я спросил о ней. «Как, ты не знаешь? - сказали мне. — Уже года полтора, как она умерла». Защемило сердце, как всегда бывает в таких случаях, хотя приучено уже было ко многим и не таким потерям. Знал ведь, сказалось самому себе, что не обойдется, не образуется и что придет когда-нибудь момент для такого известия. Ольга умерла 24 февраля 1994 года в Нью-Йорке в возрасте девяноста пяти лет.

Я узнал, что она завещала весь архив Капабланки Манхэттенско-му шахматному клубу — его клубу. Стояла чудесная солнечная осень, и город, который никогда не спит, не спал особенно на 46-й Вест между 8-й и 9-й авеню, где помещалась Американская шахматная ассоциация, а теперь и Манхэттенский клуб. Там находился архив Капабланки. Я приходил туда часам к одиннадцати, с улицы доносился нескончаемый гул, а я погружался в совсем другой мир — Маршалла, Ледерера, Купчика, Эйве и, конечно, Алехина. Но все они, как и многие другие, были только частью — одни больше, другие меньше — его мира: El Morphy cubano, как его называли нередко кубинские газеты. В толстых папках (Capablunca Clippings), начиная с 1901 года, были аккуратно подобраны письма к нему, бланки его партий матча с Алехиным, налоговые декларации, вырезки из газет, нередко выцветшие, контракты, счета, отчеты от издателей его книг.

Телеграммы, телеграммы, в том числе от гордых родителей, поздравляющих с первым большим успехом — победой в матче с Маршаллом. Фотографии, записки, иногда очень личные. По-испански, английски, реже — по-французски, еще реже — по-немецки. Мне было интересно всё, не будучи шахматным историком, я, как нередко и в жизни, не мог отличить главное от второстепенного. А вот и голландский репортаж с АВРО-турнира, фотография, сделанная перед началом девятого тура в Арнеме 19 ноября 1938 года: в этот день ему исполнилось пятьдесят лет. Элегантный, как всегда, он стоит перед микрофоном, рядом Ольга с букетом цветов. Через несколько часов он проиграет партию тому, чье существование отравляло ему жизнь на протяжении последнего десятилетия. Тут же ее пропуск на турнир - первый раз в качестве официальной супруги: они сочетались браком 20 октября, прямо перед отплытием в Европу. А вот и ее русская весточка: чек на годовую подписку газеты «Новое русское слово», датированный январем 1942 года - за два месяца до его смерти — и с ее тогдашней подписью: Ольга Чагодаева-Капабланка.

А вот и письма, телеграммы соболезнования, не так и много; вот — от жены Маршалла, вот — что-то по-русски, фактически ничего от шахматистов, впрочем, в Европе разгар войны.

На этих страницах писем, контрактов, документов были разлиты честолюбие и денежные расчеты, интимные просьбы и холодная ярость, бушевали страсти людей, которых уже не было, но которые жили, жили... Когда я поднимал голову, за окном по-прежнему шумел Нью-Йорк, часовая стрелка неумолимо приближалась к трем, и давно уже надо было возвращаться в реальный мир, к тем же и совсем другим шахматам, к другому матчу на первенство мира.

Апрель 1999

Учитель (В. Зак)

Мне было двенадцать лет, когда я пришел в ленинградский Дворец пионеров. Помню, что желающих заниматься шахматами было очень много и, чтобы выявить лучших, тренеры давали сеансы одновременной игры. Тогда я и увидел в первый раз Владимира Григорьевича Зака. Партия наша длилась недолго. Я начал партию французской защитой, но на втором ходу вывел ферзевого коня. Зак спросил, сколько мне лет и известно ли мне, как следует играть в этом положении. Вместо ответа я жестом предложил ему продолжать игру. Отбор я, естественно, не прошел и только со следующего года начал заниматься в шахматном клубе Дворца пионеров. Из того периода в памяти остался строгий очень человек с яркими, я бы сказал, ассирийскими чертами лица, долгим взором немигающих черных глаз и беспрестанной работой желваков, особенно во время анализа, когда он обдумывал позицию.

Шахматный клуб находился тогда в замечательном, орехового дерева бывшем кабинете царя Александра Третьего в Аничковом дворце, с потолка свисала огромная сверкающая люстра - не случайно сюда всегда водили группы иностранных туристов. Несколько контрастировало с царской обстановкой большое панно: Ленин играет в шахматы на Капри, Горький наблюдает за игрой, солнечный апрельский день 1908 года.

Обычно один из тренеров — нередко это бывал и Зак — давал пояснения иностранцам, сколько детей в группах, как часто приходят и т.д. Владимир Григорьевич, впрочем, не особенно любил это: надо было отвлекаться от занятий, да и вопросы были всегда одни и те же. Мы при появлении гостей всегда вставали, не отрывая при этом взгляда от позиции, переговаривались, самые маленькие сортировали отбитые у врага фигуры: ребенка ведь потеря ферзя или ладьи огорчает гораздо больше, чем такое нематериальное понятие, как мат. Когда иностранцы уходили, тренер выговаривал наиболее шумливым, и занятия шли своим чередом до следующего визита.

Тяжелая дверь клуба открывалась ровно в четыре, все устремлялись к стендам, на которых висели турнирные таблицы, определялись пары для игры, расставлялись шахматы, играющие с часами обращались к тренерам: «Переведите мне стрелки, пожалуйста». Для того чтобы установить правильное время, требовалось нехитрое приспособление, всегда отсутствующее на шахматных часах. Наиболее ловкие приводили стрелки часов в движение монетами, но это не всегда удавалось.

У Владимира Григорьевича была своя фирменная утяжеленная «переводилка», он редко выпускал ее из рук, если же это случалось, выговаривал каждому, кто отдал ему инструмент не вовремя. Контроль времени был тогда час и три четверти на 36 ходов, после чего партия откладывалась. На конверте отмечалось положение фигур на доске и проставлялось время. Собранные в лодочку пальцы помогали сохранить тайну записанного хода, защищая его от любопытных взоров соперника во время процесса записи. После этого конверт помещался в специальную папку, дожидаясь дня доигрывания. Я прибегал иногда к спасительной формуле: «Отложена», отвечая на вопрос матери, как сыграл, но по моему удрученному виду она, вероятно, догадывалась о горькой правде. Играть блиц дозволялось только по воскресеньям. Изредка разрешение получалось и в будний день с обязательным обещанием не шуметь, которое, конечно, сплошь и рядом нарушалось. В этом случае виновным выговаривалось, а при рецидиве часы могли быть вообще отобраны.

Если партия заканчивалась, можно было попросить любого тренера, который в тот момент был свободен, посмотреть ее; как правило, это делал победитель. Из того времени помню, как однажды попросил Зака проанализировать только что выигранную партию. Когда мы подошли к критической позиции, я сказал: «У меня, конечно, здесь хуже, но соперник очень нервничал, тогда я загнал себя еще и в цейтнот, он стал играть на время и ошибся». Владимир Григорьевич потемнел на глазах: «Это я тебя учил так играть? Позор! Что это за трюкачество такое?» Я не помню всех слов, которые он мне говорил тогда. Дети побаивались его, пожалуй, больше, чем других тренеров. «Это что у тебя такое? — строго спрашивал Владимир Григорьевич. — Листочек? А ты знаешь, что происходит с листочками? Где твоя теоретическая тетрадь? Чтобы это было в последний раз и чтобы потом всё было переписано в тетрадку». В случае препирательств нерадивый ученик мог быть вообще отослан домой. Вспомнил об этом совсем недавно, когда, перерыв всё, так и не смог найти важный анализ защиты Грюнфельда, записанный в свое время на отдельном листе.

Но хорошо вижу его и с веселыми угольками в глазах отчитывающим мальчика: «Ты с кем из нас поздоровался, когда сказал Владимир Григорьевич?» Рядом с Заком стоял мастер Кириллов, которого тоже звали Владимир Григорьевич, и мальчик не знал, шутят ли с ним или говорят серьезно.

Став старше, я стал выезжать на соревнования в другие города. Помню, в Риге на всесоюзном юношеском первенстве 59-го года провел с ним долгий вечер за анализом отложенной

позиции. В темповом ладейном эндшпиле, где у меня была лишняя пешка, мы пришли к выводу, что следует обязательно начать с хода b4, предотвращая контригру соперника. Придя на доигрывание, я увидел, что пешка уже стоит на этом поле. Владимир Григорьевич посмотрел на позицию и, не удостоив меня даже взором, медленно удалился. Партию я не выиграл даже с пешкой на b4, боялся попадаться ему на глаза, но он, видя мои переживания, никогда потом не напоминал мне этого случая. Помню и поездку в Тбилиси в январе 1960 года на матч юношеских команд Грузии, Ленинграда и Москвы. Тогда это было целое путешествие: трое суток в поезде с пересадкой в Москве. В выходной день Владимир Григорьевич взял всю нашу команду с собой в гости к Вахтанту Карселадзе - знаменитому тренеру, положившему начало женским шахматам в Грузии. Мы пили чай и с удивлением наблюдали за Заком и Карселадзе. Они называли друг друга Володя и Вахтанг, вспоминали какие-то турниры и партии, и мы видели, что и турниры эти и партии — для них важнейшее, что есть в жизни. Было мне шестнадцать лет, я уже курил вовсю, но, конечно, и в мыслях не было курить при Владимире Григорьевиче.

Иногда в шахматный клуб Дворца заходили его ученики, ставшие мастерами или гроссмейстерами, и наиболее известные из них — Виктор Корчной и Борис Спасский. Большие фотографии обоих висели прямо под портретами самых великих, дожидаясь своей очереди, чтобы продолжить верхний ряд, но дети узнавали их и так и смотрели на них как на божества.

Боре Спасскому было девять лет, когда он в первый раз увидел Зака. Он вспоминает: «Лето 46-го года было для меня очень светлым периодом в жизни; я тогда еще не поступил во Дворец и тем летом ходил в Центральный парк, на Острова. Помню павильон там шахматный с конем на фронтоне, пруд рядом, шахматные столики, и вдруг — появление человека яркой восточной наружности, чалму ему одень, был бы настоящий индийский факир. Этакое явление факира из сказочного мира. Таким я увидел Зака в первый раз. И делал он тоже что-то волшебное — один играл против всех. Впечатление от Смыслова, дававшего сеанс одновременной игры год спустя, было уже не то...

В этом же году я стал приходить к нему во Дворец пионеров, но и не только. Он стал заниматься со мной лично, дома, индивидуально. И так он всегда делал, если кого-нибудь с талантом видел. Он жил этим, загорался, конечно, мог и ошибиться, но работал, и помногу, в ущерб себе, своей семье... Я и оставался у них нередко, обедал. Это он королевскому гамбиту

меня научил и королем научил вперед выходить в дебюте, не бояться. Ведь дети впитывают всё как губка, вот и я впитывал. Так я стал королем королевского гамбита в 20-м веке, ведь я по существу один его и играл.

Но он занимался со мной не только шахматами. Первый раз в жизни я был в опере тоже с ним. Помню, это была «Кармен», потом были и на «Лакмэ». Любовь к опере я сохранил до сих пор, и у меня сейчас большая коллекция опер. Так что и к этому Владимир Григорьевич руку приложил... Помню еще, что по его настоянию «Принца и нищего» Марка Твена прочел и мучился очень, переживал, страдал несколько дней, когда принцу снова нужно было в нищего превращаться...

И в секцию конькобежную пошел по его настоянию, я ведь довольно хорошо бегал на коньках, когда был маленький, но начались шахматы, и эта страсть, конечно, всё перевесила. Так, я на первой тренировке с непривычки — другие коньки были — упал и сознание потерял, пролежал длительное время, а когда очнулся, тренер так жалобно смотрела на меня: иди, мол, занимайся своими шахматами.

Сделал он для меня тогда еще одно огромное дело. Благодаря Заку и Левенфишу, который работал в конце 40-х годов в Спорткомитете, я стал получать стипендию. Материально это значило для нашей семьи чрезвычайно много, и мы смогли несколько вздохнуть. За одно это я благодарен ему безмерно и семье его и сейчас помогаю.

Многое он взял от Романовского — тот был для Зака кумиром. Я сам Романовского мальчиком видел и знал плохо, а Заку он очень импонировал тем, что был типичный бессребреник, шахматы любил самозабвенно, было у него какое-то чувство жертвенности, всё для шахмат, настоящий фанатик шахмат. И был он каким-то полуинтеллигентом в отличие от Левенфиша, например, или Богатырчука, да и сам Зак в области духа тоже был скорее полуинтеллигентом и где-то очень советским человеком.

Мне кажется, что он не был сильным педагогом. Помню, в Риге в 1951 году играли мы вместе в четвертьфинале первенства страны и жили, как водится, в одном номере гостиницы. Я экономил тогда на еде и потом, в конце, собрав четырнадцать шоколадок, отдал ему: «Вам, Владимир Григорьевич — для девочек, дочек ваших». Так он не взял, сказав: «Нет, это тебе самому, ты ведь любишь сладкое». Обиделся я тогда очень, ну хоть бы несколько взял, а остальные отдал, а не все...

Там же в Риге были мы с ним вместе на кинофильме «Последний раунд», там боксер в конце своего тренера

нокаутирует. Владимир Григорьевич при этом даже из зала вышел и сказал, расчувствовавшись: «Вот и ты так меня когда-нибудь нокаутируешь...» И обидчивый был очень. Помню, в 60-м году в ЦШК читал я лекцию, я тогда уже с Бондаревским работал. Не понравилось ему что-то в этой лекции, подошел он ко мне после ее окончания и сказал: «Ты — подлец!» И сказать это ему было, быть может, тяжелее, чем мне услышать. Нелегкого характера был Владимир Григорьевич, может быть, оттого, что жизнь у него нелегкая была. Помню — это уже много позже было, — у него на даче, в Ушково, сидели мы с ним целый вечер за бутылкой коньяка, и так он мне всю жизнь свою рассказал, трудную жизнь... Вообще я стал его с возрастом больше ценить. Вот еще светлое воспоминание о нем: когда уже совершенно безнадежно проигрывал я матч Карпову в 74-м году и Бондаревский уже прекрасно всё понял, позвонил мне Владимир Григорьевич и сказал: «Знаешь, Боря, есть у меня один вариант, давай посмотрим вместе». Трогательно было очень...»

Корчному было четырнадцать лет, когда он попал под опеку Зака. Это слово неполно передает всю гамму отношений, шахматных и человеческих, между тренером и его учеником.

Виктор Корчной: «Я рос без отца — он погиб на фронте, и Зак во многом заменил его. Я приходил к нему в дом, я был вхож в семью, он лепил меня как человека. Его, пожалуй, можно назвать ленинградским интеллигентом, я следил за его манерами, например, мне и сейчас трудно пройти мимо знакомого человека, если на мне шляпа, и не снять ее. Это я у него увидел, пусть маленький штрих, но все же... Он много сделал для моего воспитания. При всем при том был он в чем-то очень советским человеком.

Был ли он также, моим шахматным учителем? Только в определенном смысле и до определенного уровня. Он сыграл какую-то роль и в выборе моего дебютного репертуара — защита Грюнфельда, открытый вариант испанской, но скорее я сам себя учил, хотя, конечно, я не могу считать себя таким самоучкой, как Карпов или Иванчук. На более высоком уровне он уже фактически ничего не мог дать, ему и не следовало стремиться на этот уровень, но я не уверен, понимал ли это он сам. Он был честолюбив в своих учениках, ему было приятно, когда они добивались успехов, кого он больше любил — меня или Спасского, — я не знаю, вероятно, Спасского, ведь тот пришел к нему совсем маленьким. И он очень переживал, когда Спасский ушел от него к Толушу, очень. Позже, кстати, я сожалел, что тоже не поступил к Толушу, так как он значительно обогатил Спасского и очень многому научил. Я не думаю, что Зак был

тяжелым человеком, скорее он был тверд в своих принципах, а в этом я не вижу ничего плохого.

То, что он прислал мне книгу о шахматном Ленинграде без упоминания там моего имени, считаю началом его болезни. Может быть, именно этот факт, когда он исключил меня из списка своих людей, из списка ленинградцев, и стал одной из причин того, что он вступил на путь болезни, маразма... Он мне написал письмо, что лучше такая книга, чем никакая, а я ему ответил: нет — лучше никакая книга, чем вранье. И после этого между нами не было уже никакого контакта».

Так получилось, что Владимир Григорьевич сыграл решающую роль в выборе и моего жизненного пути. Когда по окончании школы для меня встал вопрос, где учиться дальше, он сказал: «А что ты думаешь по части географического факультета университета? Во-первых, учиться там легко, будет много свободного времени для шахмат, да и заместитель декана там Сережа Лавров, большой любитель игры... Ну а если уж совсем не понравится — переведешься на какой-нибудь другой факультет». Участь моя была решена, и, хотя я иногда задумывался впоследствии, не пойти ли мне по другой стезе, пять лет учебы пролетели как-то незаметно... Поступив в университет и формально не имея ко Дворцу уже никакого отношения, я, фланируя по Невскому, заходил иногда в шахматный клуб. Но по-настоящему я узнал Владимира Григорьевича, только когда сам стал работать там тренером. Тогда мы виделись фактически ежедневно на протяжении довольно длительного времени, вплоть до моего отъезда из страны.

Зак родился 11 февраля 1913 года в еврейской семье в городе Бердичеве на Украине. В 20-х годах семья переехала в Ленинград, Вульф стал Владимиром, еврейство его как-то растаяло, отошло куда-то далеко, пока об этом в конце 40-х ему не напомнило само государство. Но по культуре и воспитанию он был, конечно, русским человеком.

Всю войну Зак провел на фронте, там же вступил в партию, что было тогда, как и для многих, в порядке вещей. Шахматы всегда занимали главенствующее место в его жизни. До войны он занимался у Петра Арсеньевича Романовского; у мэтра дома собиралась группа молодых ленинградских шахматистов, в которую входил и Володя Зак. Под руководством Романовского анализировались партии, разрабатывались дебюты, игрались тематические турниры. Нередко он рассказывал и о корифеях прошлого. Аромат этих занятий Зак пытался донести до детей во Дворце. «Кто, вы думаете, играл сильнее всех в конце прошлого века?» — спрашивал он, копируя Романовского. Дети

положительно не знали, что ответить, и терялись в догадках: «Стейниц? Чигорин?» - «Так же отвечали и мы», - говорил Владимир Григорьевич. После того как были названы все мыслимые имена, Романовский, подняв указательный палец кверху, говорил: «Мэзон! Вы должны посмотреть партии Мэзона. Мэзон играл сильнее всех...» Только став взрослее, дети узнавали окончание этой фразы, которая не говорилась им из педагогических соображений. Именно: если он бывал трезв, разумеется, а это случалось нечасто...

Характерно, что сам Зак так и не стал мастером. Дважды после войны он играл матчи на звание мастера, что практиковалось в те времена. Один из них он проиграл мастеру Виктору Васильеву — инвалиду войны. Это был сильный мастер и аналитик. Помню рассказы Владимира Григорьевича о его анализах эндшпиля «ладья и конь против ладьи», где Васильев доказывал, что задача защищающейся стороны очень трудна. Мне всегда казалось, что ничью можно сделать как угодно, но каждый раз, когда я вижу это редкое окончание, вспоминаю Зака и секретные анализы мастера Васильева. Другой матч он проиграл Юрию Авербаху, который вскоре после этого стал гроссмейстером. Мне кажется, что тот факт, что он так и не стал мастером, оставил у Зака рану, которая так и не затянулась, даже когда ему в 1958 году присвоили звание «Заслуженный тренер СССР». Вижу хорошо его на закрытии юношеского первенства страны, когда судья турнира, представляя тренера ленинградской команды, запнулся: «Мастер спорта... мастер спорта... кандидат в мастера спорта Зак». Лицо его и весь облик напоминали изваяние времен цивилизации инков: немигающий взор был устремлен на говорившего и только желваки играли больше обычного.

Вспоминаю рассказ Владимира Григорьевича о его партии с Суэтиным. В выигранной позиции Суэтин, тогда молодой кандидат в мастера, зевнул качество и сразу заметил это. Слезы навернулись на его глаза, и соперник позволил ему вернуть ход. Десяток ходов спустя Суэтин выиграл прямой атакой. Очевидно, что такого рода поступки не должны иметь места в практике турнирного игрока. К тому же совмещать игру с тренерской работой становилось всё труднее, и Зак вскоре окончательно отошел от практики. Но, честно говоря, он и не был особенно сильным шахматистом.

Марк Тайманов: «Зак был шахматистом довольно узких представлений, в чем-то и начетчик. Он работал над теорией, выписывал какие-то варианты, но всё это было в очень узком кругу и было очень догматично».

Действительно, его шахматные концепции, как мне кажется,

имели законченный, устоявшийся, я бы сказал, в чем-то талмудистский характер. И дебютные вкусы его были постоянны. Вспоминая пору своего ученичества и период конца 60-х — начала 70-х годов, когда видел его вблизи как тренера, могу сказать, что у Зака было несколько систем и дебютов, которые он страстно пропагандировал: защита Грюнфельда, открытый вариант и вариант Яниша в испанской, система с g3 в сицилианской, гамбит Шара — Геннинга и, конечно, королевский гамбит. В принципе ему нравились позиции с нарушенным материальным соотношением или необычные в позиционном ключе. Вижу его хорошо за анализом одной такой, получающейся в славянской защите; несмотря на материальную недостачу, ему казалось, что у черных есть свои шансы. Зак анализировал эту позицию постоянно, пытаясь найти в возникающей пешечной гонке ресурсы за черных, иногда это ему удавалось, чаще — нет, но он снова и снова расставлял позицию с черным конем, далеко забредшим в неприятельский лагерь. Было видно, что ему нравится сам характер борьбы: здесь не отделаешься определениями типа «заслуживает внимания» или полумерами, что, кстати, и соответствовало его характеру. Анализируя, он нередко резким, отбрасывающим движением руки рассекал воздух, показывая тем самым партнеру по анализу несостоятельность предложенного им хода или варианта. Речь его да и других тренеров была пересыпана диковинными выражениями, цитатами, удивительными ассоциациями, частенько употреблявшимися во время анализа. «Так-так, — приговаривал Зак, делая ход. — Так-так, сказали мы с Петром Иванычем» (или с Петром Арсеньичем — в зависимости от настроения). Нередко он употреблял карточные термины, как-то: «А не пройтиться ли нам за взяточкой?», создавая какую-нибудь угрозу, или повторяя: «Сначала мы отберем свои» - при отыгрыше материала и т.д. Он играл иногда в карты, игра носила необычное название — винт и была, как объяснял Владимир Григорьевич, много сложнее преферанса — в ней использовались все 52 карты. Это, конечно, из традиций гоголевско-чеховского чиновничьего Петербурга: вечером, в винт, в своем кругу, по маленькой.

Иногда в анализе только что сыгранной партии принимали участие два тренера. Анализ, как это нередко бывает в таких случаях, превращался в игру, и поиски истины заменялись доказательством своей правоты. Дети наблюдали за поединком тренеров, иногда сами предлагали ходы, время, напоенное чудесной игрой, летело незаметно...

Когда говорил Зак, чувствовалось, что шахматы для него — всё, вернее, даже не сами шахматы, а весь этот мир, где

«полуфинал города среди юношей» звучал как «Песнь песней», анализ, или «шлифовка», как он называл этот процесс, ладейного эндшпиля представлялся важнейшим действом в мире, а вопрос, кто и на какой доске будет играть за юношескую сборную города, вырастал до проблемы глобального масштаба. Эту преданность шахматам дети чувствовали очень хорошо и сами, конечно, заражались ею.

При всем при том характер у Владимира Григорьевича был не из мягких. Был он человек, требующий к себе уважения, очень ранимый, обидчивый и упрямый. Я не думаю, что было бы правильно списывать всё на тяжелые времена и трудную жизнь, она была такой тогда у всех, как и вообще всякая жизнь и во все времена. Зачастую он не мог или не хотел понять позицию другого, а понятие компромисса было ему чуждо. В этом случае он полностью прерывал отношения, прекращая даже здороваться. Во время моей тренерской работы во Дворце он не разговаривал с мастером Бывшевым. Бывало, по нескольку раз на день то один, то другой говорил мне: «Гена, ты не мог бы сказать Василию Михайловичу» или «Гена, спроси, пожалуйста, Владимира Григорьевича». Он говорил мне, разумеется, Гена и ты, а я ему — Владимир Григорьевич, хотя на детях он обращался ко мне по имени-отчеству, увлекаясь разве что во время совместного анализа, когда снова называл Геной. Мы были уже коллегами, и я тоже выезжал с детьми на соревнования и тоже уже давал пояснения группам иностранных туристов, приходившим в шахматный клуб, зная в глубине души (и сохранив это чувство до сих пор), что никакой иностранец не понимает и не может понимать смысла всего, происходящего в России. Объяснения мои и ответы на вопросы всякий раз повторялись, и только один раз я не нашелся, что сказать, когда немолодой уже фермер из Айовы с детскими голубыми глазами, остановившись у панно с Лениным, играющим в шахматы, спросил неожиданно: «А кто выиграл?»

Я часто стоял, опершись о широкий подоконник, и глядел на уходящую вдаль линию Невского проспекта, из-за спины доносились привычные звуки: детские голоса, выстрелы от переключения часов, стук сбитых фигур. Или выходил покурить, дверь рядом вела в приемную, где сидела очаровательная Ирочка — секретарша директрисы Дворца Галины Михайловны Черняковой. Наконец время подходило к восьми, клуб постепенно пустел, и, если другие тренеры тоже уходили, Владимир Григорьевич говорил мне: «Ну что, Гена, не пора ли нам пора?» Мы тушили роскошную люстру, дважды проворачивали огромный ключ и шли к замечательной мраморной лестнице бывшего царского дворца, которая немало видела на своем веку. Спускаясь

по ней, мы проходили мимо большого панно: пионеры в красных галстуках смотрят восторженно на Жданова — одутловатое лицо, усики, френч с большими карманами. Дворец пионеров носил тогда его имя, равно как и университет, который я закончил. Было бы логично, если бы я и жил в Ждановском районе, но это было не так, я жил в Дзержинском. Нередко нас встречали родители или бабушки, чтобы поинтересоваться успехами детей или просто спросить, не шалит ли ребенок. Самых маленьких ждали внизу несколько часов перед гардеробом: зачастую дорога домой была неблизкая, и не имело никакого смысла возвращаться, чтобы через полчаса снова собираться в путь, время же тогда не стоило ничего.

Владимир Григорьевич всегда давал несколько копеек старушкам-гардеробщицам и непременно называл их по имени-отчеству

— Марья Гавриловна или Варвара Тимофеевна. Зимой помню его всегда в одном и том же черном пальто с потертым воротником, в руках у него был коричневый портфель, тоже видавший виды. Перехватить десятку до получки — часто встречавшееся тогда явление — было знакомо и ему. Мы выходили на Фонтанку и шли к Аничкову мосту, болтая о том о сем. Вижу хорошо один такой весенний вечер, когда, вступая на мост и продолжая разговор о ком-то, он произнес: «Ты знаешь, Гена, я никогда не ругаюсь, но об этом человеке могу сказать только, что он... нет, ты слышал от меня хоть когда-нибудь одно бранное слово?» Я отрицательно мотал головой. «Нет, ты меня очень извини, но человек этот...» Спустившись с моста, мы поравнялись уже с замечательной красоты дворцом Белосельских-Белозерских, где тогда размещался Куйбышевский райком партии. Владимир Григорьевич еще раз оглянулся, чтобы его не мог услышать случайный прохожий, и тихо произнес: «Человек этот — говно». На углу Невского и Владимирского наши пути расходились: он садился в трамвай, чтобы ехать домой, я же переходил на другую сторону Невского, не зная еще, повернуть ли направо — в направлении дома или налево - в сторону Садовой и Чигоринского клуба. Вечер еще только начинался, и неизвестно было, как и когда он кончится.

У Зака было немало знакомых в научном мире. На протяжении долгого времени он руководил шахматным кружком в Доме ученых. Сам он закончил Институт киноинженеров, но никогда не работал по специальности и, мне кажется, испытывал пиетет ко всем этим профессорам и ученым, собиравшимся раз в неделю в особняке на Неве и под его руководством разбиравшим партии или игравшим в турнирах. Шахматы были для них не

только любимой игрой, которой были отданы детские или юношеские годы, но и средством уйти в другой мир, без собраний, политинформаций, юбилеев и коллективных писем протеста или в защиту, которыми была пронизана вся жизнь тех времен.

В январе 1972-го, моего последнего года в России, мы были вместе в Чернигове на всесоюзных юношеских соревнованиях. Темы разговоров за ужином были обычные: X никак не может избавиться от цейтнотов, разочаровывает Y, а вот Z, наоборот, сильно прибавил. Изредка, когда заходила речь о жизни самой, Владимир Григорьевич вздыхал: «Вот если бы был жив Ленин, всё было бы по-другому» — точка зрения, довольно распространенная тогда у людей его поколения. Я слушал и не слушал его — моя собственная жизнь была занята уже другим: через несколько месяцев я подал документы на выезд из Советского Союза.

Мы встретились за несколько дней до общего собрания, где все должны были осудить мой поступок, бросающий тень на весь Дворец пионеров, и гуляли долго неподалеку от его дома. Я избегал тогда говорить в помещении по причине, понятной каждому, кто жил в те времена в СССР. Зак сразу сказал, что на собрание не придет, как не пришли, кстати, и другие шахматные тренеры, мои коллеги. «Ты представляешь себе, что тебя ждет, если тебе не разрешат уехать?» — спрашивал он. Ему было тогда почти шестьдесят, и он хорошо знал, чем могут кончиться подобные эскапады по отношению к государству. Никогда нельзя было предвидеть, сколько продлится процедура ожидания визы и во что это всё вообще выльется. Более поздний пример Гулько, проведшего в отказе семь лет, — тому свидетельство. Прощаясь, Владимир Григорьевич сказал: «Чтобы там ни случилось, Гена, желаю тебе счастья» — и не то чтобы обнял, а как-то наклонился ко мне. Банальные слова, конечно, но для него и немалые, вероятно, потому и запомнил их. Это был последний раз, когда я видел его.

Контакта у нас не было до конца 80-х годов, хотя я и знал, что он продолжает работать во Дворце: что-то доходило и до моего голландского далека. Стал гроссмейстером и чемпионом Европы среди юношей один из его учеников — Александр Кочиев, которого помню худеньким мальчиком с рыжей шевелюрой, уже тогда отличавшимся философским отношением к жизни и замечательным умением играть блиц. Он вспоминал позднее: «Был Владимир Григорьевич тренером высочайшего класса, хотя и до определенного уровня, но и характер имел тяжелейший». Хорошо помню и другого его ученика — симпатичного пухлого мальчика с пионерским галстуком. Сверстники называли его

Ермолой, и он не мог знать еще, что через четверть века будет играть на первой доске за сборную Соединенных Штатов. Знаю, что уже после моего отъезда у Зака занимались и Валерий Салов, и совсем маленький Гата Камский. Но в конце концов он должен был уйти из Дворца, где проработал более сорока лет. У него испортились к тому времени отношения с коллегами, некоторые из них были в прошлом его учениками. Они имели уже собственных учеников, собственные амбиции и представления о тренерском процессе. Повторюсь: Владимир Григорьевич был человеком, что называется, строгих правил и, ежели говорил: «Я так считаю», это звучало так, будто это и есть единственно верное мнение. Было ему к тому времени семьдесят три, возраст, что и говорить, больше располагающий к размышлению о бренности всего земного, чем к показу тонкостей гамбита Шара — Геннинга. Но он просто не мог оставить дела, которому отдал всю жизнь, досуг мог стать опасен для него, и вряд ли он смог бы обрести покой в праздности.

Александр Кентлер, руководивший шахматной школой университета, где Зак стал работать тренером, вспоминает, что и здесь Владимир Григорьевич любил анализировать позиции с нарушенным материальным равновесием, и здесь показывал свои дебюты, иногда и повторяясь, но делал это всегда с удовольствием. Вначале он работал три дня в неделю, затем два, потом только один... Надо ли говорить, что он никогда ни на минуту не опоздал на работу. Не всегда всё получалось уже на доске, но у многих осталась от него какая-то линия в жизни, пусть хоть и пунктирная.

Он написал в этот период несколько книг, поучительных для каждого тренера. Но есть там и абзацы, сквозь которые проглядывает обида, явная или тайная. Речь идет о проблеме, чувствительной для него самого. Он сформулировал ее так: «Могут ли успешно продолжать работу со своими учениками тренеры, когда их практическая сила начинает уступать мастерству учеников?» Проблема эта выходит за рамки шахмат, да и спорта вообще: должен ли тренер всегда превосходить ученика или, наоборот, это может даже служить препятствием, так как люди, которым величайшие достижения кажутся простыми и естественными, не могут понять, почему замысел, маневр или движение, очевидные для них, могут стать источником трудностей для других. Эта проблема носит и другой аспект: границы и степень благодарности ученика своему учителю. Но если, к примеру, в музыке профессия детского педагога имеет давние традиции, в шахматах само понятие «детский тренер» впервые появилось в Советском Союзе в 30-х

годах и получило широкое распространение там только после войны. Может быть, поэтому не было четкого водораздела между детским тренером, тренером, секундантом или просто спарринг-партнером.

Действительно, Зак очень болезненно воспринял уход четырнадцатилетнего Спасского к Толушу. Нельзя не учитывать, что процесс этот происходил на фоне человеческих и материальных отношений искусственной, закрытой от остального мира жесткой тоталитарной системы — тогдашнего Советского Союза. Жертвенность и бессреб-реничество, работа за просто так, за ничто считалась в порядке вещей. Ботвинник, нередко поминая в разговорах Ван Гога, спрашивал меня: «Почему, вы думаете, Ван Гог не писал больших полотен?» И сам же отвечал: «Да потому, что у него не было денег на покупку большого холста. Он же был нищий!» Было видно, что именно этот аспект жизни голландского художника — нищенство, одержимость работой, подвижничество — очень импонирует патриарху и в каком-то смысле проецируется на него самого.

Это бессребреничество (по понятиям Запада, фактически и нищета), подвижничество, в чем-то и жертвенность, но и одухотворенность, порыв, увлеченность и преданность делу до фанатизма создали определенный тип людей. Конечно, грозные события 20-го века, и в Советском Союзе в первую очередь, не могли не коснуться их. Всю свою сознательную жизнь они прожили в этой стране, сформировавшей так или иначе их мировоззрение, привычки и образ жизни, но весь свой талант и энергию они отдавали делу, которому была посвящена жизнь. Учителя в школах, преподаватели в университетах, тренеры во дворцах пионеров, доценты в консерваториях -большинство их имен совершенно неизвестно на Западе. К этому типу людей принадлежал и Владимир Зак. Результатом их работы явились сдерживаемые на протяжении десятилетий и выплеснутые из страны энергия и талант людей, завоевавших передовые позиции за университетскими кафедрами, шахматными столиками и на концертных подмостках мира.

В 1988 году, когда Советский Союз стал уже как-то крошиться, я, будучи в Москве с молодым Пикетом, позвонил ему по телефону. В том же году вышла книга, посвященная шахматному Петербургу-Ленинграду, с именем Зака на титульном листе. Тираж ее - 100 тысяч экземпляров — был совсем не редким в те времена. Конечно, Зак не мог знать, что всего через несколько лет Корчной возвратится в Россию на белом коне, но все равно он не должен был принимать участия в книге, в которой имя Корчного даже не упоминалось. Руководили ли им

чисто практические, гонорарные соображения? Было ли это еще одним актом самоутверждения? Известно ведь, что даже самым мудрым от честолюбия удается избавиться позже, чем от других страстей. Было ли это временным помрачением или, как полагает Корчной, явилось началом его болезни? Первые симптомы ее известны: забывчивость, потом всё усиливающаяся, и обида или агрессивность, если на это указывают.

В феврале 1993 года справили юбилей — восьмидесятилетие. Когда я вскоре позвонил ему, мне ответили: правильно набирайте номер, здесь таких нет. Получив еще раз тот же ответ, я обратился за разъяснениями к Спасскому. Тот уже был в курсе дела: Владимира Григорьевича отдали в дом для престарелых. Он вступил в самый последний период жизни, «когда всё позади — даже старость и остались только дряхлость и смерть».

Конечно, не в традициях России отдавать стариков из семьи в дом для престарелых, потому и живут там, как правило, те, у кого уж совсем никого нет. К тому же каждый в России понимает, что это значит — дом для престарелых, даже если у тебя отдельная комната, как это было у Владимира Григорьевича в Павловске. Время от времени к нему приезжал кто-то из учеников, но самые известные жили далеко: во Франции, Швейцарии, Испании, Америке... Это был, конечно, уже не тот Владимир Григорьевич, которого они знали в свое время, но это было и не растительное существо, коими заполнены такого рода дома во всех странах мира. Он выслушивал последние новости, перелистывал шахматные журналы, иногда и смотрел что-то на шахматах, радовался гостинцам, но и плакал часто... Из Владимира Григорьевича ушел уже Владимир Григорьевич, учивший маленького Борю Спасского не бояться потери рокировки в королевском гамбите, но и тот, который остался, не хотел больше оставаться в этом доме. Он уходил оттуда несколько раз, его отсутствие замечали, снаряжалась погоня, его возвращали. Куда он шел? Домой? К своим ученикам? В далекое бердичевское детство? Владимир Григорьевич Зак умер 25 ноября 1994 года.

«В нашем сознании игра противостоит серьезности... Мы можем сказать: игра — это несерьезность. Но помимо того, что такое суждение ничего не говорит о положительных свойствах игры, оно вообще весьма шатко. Стоит нам вместо «игра — это несерьезность» сказать «игра — это несерьезно», как наше противопоставление лишается смысла, ибо игра может быть чрезвычайно серьезной», — писал Йохан Хейзинга шестьдесят лет тому назад. Зак, один из наиболее ярких тренеров послевоенного времени, представил игру, шахматы, для ребенка, подростка не просто как серьезное занятие, но и как дело, могущее стать

смыслом всей жизни. Но в таком отношении к шахматам он, как тренер, был тогда не одинок, одного этого было бы недостаточно. Конечно, его личные качества: эмоциональность, горение, одухотворенность — только укрепляли веру молодого человека в высокое назначение шахмат. Но и это было бы неполным объяснением.

Марк Тайманов: «Не думаю, чтобы Зак был педагогом высокого уровня, он не был и сильным игроком, но примечательно, что из его рук выходили шахматисты совершенно разного стиля игры высочайшего класса. Вероятно, какой-то секрет у него был». Действительно — какой? Сам он скажет позже: «Мне просто повезло с учениками. Всё зависело только от них. Если бы они не хотели играть, я сам бы ничего сделать не смог». И все же почему именно он? Только ли талантливые ученики? Время, этому способствовавшее? Всё совпало? Отчасти. Но главное, мне кажется, не в этом.

Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий учитель вдохновляет. Это, конечно, о нем. Владимир Григорьевич Зак был великим учителем шахмат.

Июнь 1999

Страсть (С. Фурман)

Турнир в Вейк-ан-Зее 1977 года сложился очень удачно для меня. Я лидировал начиная с первого тура, и, только выиграв последнюю партию, Геллеру удалось стать вровень со мной. Скептически-одобрительно поджав губы и покачивая головой, он, наблюдая за моими партиями, говорил: «Вылитый Сёма, сразу видно, ленинградская школа, это же он так учил играть — по центру...»

Геллер имел в виду моего фактически единственного тренера Семена Абрамовича Фурмана. Во Дворце пионеров постоянного тренера у меня не было, поэтому, когда осенью 1959 года в Чигоринском клубе появилась возможность заниматься с Фурманом, решение пришло само. Группа была небольшая, человека три-четыре, и просуществовала она, как помню, года два. Во время одного из первых занятий он сказал: «Вы не должны меня спрашивать то, что можно найти в дебютных справочниках, это было бы потерей времени».

Мы подвергали всестороннему анализу различные позиции, чаще всего дебютные, или, я бы сказал, предмиттельшпильные, но основное внимание уделялось разбору собственных партий, большей частью проигранных. Помню, как после более чем часового анализа одной из моих партий, когда, казалось, уже всё стало ясным, мы подошли к финальной позиции, где партия была признана ничьей. Эндшпиль был таков: четыре пешки белых против трех на королевском фланге, у черных отложилась проходная на ферзевом, правда, у белых, которыми играл я, были два слона против слона и коня. «Ты знаешь, — сказал Фурман, — у тебя в заключительной позиции перевес, и немалый». Стали анализировать. Неожиданно проходная пешка черных делалась слабой, а то и вообще погибала, король белых просачивался во вражеский стан, два слона свирепствовали.

Помню и его характерное поднятие бровей и взгляд из-под очков, когда я показывал ему одну из своих партий. «Интересно, — спросил Сёма, — а у кого ты подсмотрел эту идею?» Хотя я клялся, что придумал всё за доской, он стоял на своем: «Может быть, и так, но все равно в подсознании у тебя осталась увиденная ранее партия кого-нибудь из классиков».

В моих глазах он был тогда пожилым человеком, вероятно, этому способствовала внешность: седина, залысины, увеличивавшиеся с возрастом, хотя, честно говоря, я тогда даже не задумывался о его возрасте — все старше тридцати казались мне уже немолодыми людьми. Сёме было в то время тридцать

девять лет.

Он родился 1 декабря 1920 года в Пинске, в Белоруссии, где процент еврейского населения в городах и местечках был традиционно высок. Его вдова Алла Фурман вспоминает: «Родители Сёмы говорили на идише, понимал его и он сам, но никаких еврейских праздников и традиций в семье не соблюдали. Не был Сёма и членом партии, хотя и зазывали, многие его турниры и заграничные поездки не состоялись как раз из-за этого».

В 31-м году семья переехала в Ленинград, несколько позже в его жизнь вошли шахматы. Он был учеником Ильи Рабиновича — сильного мастера позиционного стиля. Закончив школу, Сёма не стал учиться дальше и поступил слесарем на завод: шахматы захватили его тогда уже целиком. Естественный творческий рост Фурмана задержала война. Когда он стал мастером, ему было двадцать пять лет — солидный возраст по нынешним меркам.

О тех временах вспоминает Марк Тайманов: «С Сёмой нас связывали долгие годы совместной работы, регулярной, каждодневной. У нас был разный подход к шахматам, и единство оценок давалось нам с трудом. Мы занимались в первую очередь дебютом, нельзя забывать, что это были годы, когда только закладывался фундамент современной теории шахмат и проблемные позиции возникали едва ли не после каждой партии и во многих дебютах. Память у Сёмы была превосходная, но он никогда не довольствовался ею, стараясь до всего докопаться сам, собственным аналитическим трудом. Бывали дни, когда анализы наши затягивались до полуночи, а на следующий день утром он уже снова был у меня. Кроме того, Сёма был очень упрям, и нередко наши изыскания достигали глубокого эндшпиля. Все варианты мы проверяли очень тщательно и записывали в толстые тетради, снабжая для наглядности диаграммами, рисованными от руки. Эти тетради у меня сохранились, и я до сих пор вылавливаю из них варианты, не потерявшие актуальности и сегодня. Сёма был простым и малообразованным человеком, он ведь после школы нигде не учился; он не был ни в коем случае интеллектуалом, но другом был очень преданным, и, хотя бывал немногословен, обладал очень хорошим чувством юмора. Во время чемпионатов СССР и вообще турниров на выезде мы часто жили в одном номере гостиницы, так было на протяжении многих лет».

В чемпионатах страны Фурман дебютировал в 1948 году, и сразу громкий успех — третье место. Вместе с Котовым он еще за три тура до конца находился во главе турнира, и только слабый финиш не позволил свершиться полной сенсации. В том же году

стал чемпионом мира Ботвинник, входил в мировую элиту Керес, уже ярко блистал выдающийся Бронштейн. Болеславский был тогда не только замечательным теоретиком, но и игроком высочайшего класса, почти на самой вершине пирамиды стоял Смыслов, через несколько лет вышли на мировую арену Петросян, Геллер, Тайманов, Авербах, сразу вслед за ними представители новой волны — Спасский, Корчной, Таль, Штейн, список этот далеко не полный. Фурман выигрывал у них всех, и все они, садясь за доску с ним, считались с высоким, гроссмейстерским классом его игры. Сёма регулярно играет тогда в первенствах СССР, но ему ни разу не удается превзойти тот первый результат. Официально гроссмейстером он стал только в сорок пять лет — сегодня в этом возрасте многие уже заканчивают карьеру.

Белыми Фурман практически всегда начинал партию ходом l.d4, редко прибегая к 1x4 или l.£rf3, черными же играл многие дебюта, избегая, впрочем, те, в которых отсутствует крепкий центр, такие, как защиты Грюнфельда, Пирца, Алехина или индийские построения. Белые фигуры в руках Фурмана были оружием огромной пробивной мощи, особенно же ему удавались позиции с преимуществом в пространстве и центральной игрой, там часто шел накат, и сильнейшие игроки мира не уходили от его хватки.

Но как бы ни был силен Фурман-практик, он уступал Фурману-теоретику, который был, без сомнения, одним из ведущих в мире. Его идеи остались во многих дебютах: защите Нимцовича, староиндийской и сицилианской защитах, принятом ферзевом гамбите, где одна из систем носит его'имя. Вариант Брейера в испанской был создан и введен в практику им и Борисенко в начале 50-х годов и так и назывался в советской шахматной литературе: вариант Борисенко — Фурмана.

Вспоминаю, как в 1959 году, вернувшись с первенства страны, он показывал свою партию с Нежметдиновым. В позиции из староиндийской защиты, полной тактических возможностей, Фурман сделал парадоксальный ход, уведя ладью от возможных ударов на исходную позицию. Через несколько ходов, еще более укрепив центр, он вернул ладью в бой и выиграл прямой атакой на короля. Год спустя тот же маневр применил Ботвинник в аналогичной позиции против Пахмана на первенстве Европы в Оберхаузене, решив партию позиционной жертвой коня. Эти партии привели к тому, что позиции, считавшиеся в свое время вполне игровыми, с обоюдными шансами, сейчас практически совсем исчезли из турнирной практики, заставив черных искать новые пути в одном из основных вариантов «староиндийки».

Анализы и разработки Фурмана носили глобальный характер,

речь шла, как правило, о концепте, а не об обнаружении того или иного хода, меняющего оценку с немного лучшей на равенство или наоборот. Вся игра белых, стремление к обладанию центром, логика и ясность были характерны для стиля Фурмана.

Глубокое понимание шахмат, и дебюта в первую очередь, обилие собственных идей и разработок сделало его желанным советником, секундантом и спарринг-партнером многих вьщающихся шахматистов. Его услугами нередко пользовался Ботвинник, сыгравший с Фурманом не одну тренировочную партию. Он помогал также в различные периоды их карьеры Тайманову, Бронштейну, Петросяну, Корч-ному. Но во всех этих случаях речь шла о сотрудничестве с уже сложившимися гроссмейстерами высочайшего класса. Работа была в основном консультационной, доведением дебютных систем и вариантов до нужных кондиций, выявлением новых возможностей. Так продолжалось до тех пор, пока Фурман не начал работать с Карповым.

Толе Карпову было тогда семнадцать лет, и, хотя он уже был мастером, он не умел и не знал еще очень многого в шахматах.

Алла Фурман: «Когда Сёма помогал Ботвиннику или Петросяну, он уезжал на неделю, на две или дольше, но когда появился Толя -он стал всем. Можно ли сказать, что Толя занимал особое место в его жизни? Безусловно, бесспорно, он любил Толю безоговорочно, и все эти десять лет они были неразлучны. Когда Сёмы не стало, Толя сказал, что последние десять лет Фурман больше провел с ним, чем со мной. Это была сущая правда: бесконечные сборы, тренировки, турниры, отъезды - он был не с семьей, с сыном, со мной, но с Толей».

Он увидел в Карпове-подростке то, чего не хватало в шахматах ему самому, и отдавал тому всё, что знал об игре, поэтому стремительно нараставшие успехи Карпова были самовыражением в шахматах и самого Фурмана.

Анатолий Карпов: «Легко установить тот день, когда я в первый раз увидел Семена Абрамовича, — это было сразу же после 18-й партии матча Ботвинник — Петросян в мае 1963 года. Фурман, помогавший тогда Ботвиннику, советовал ему в той партии, которая была отложена, сделать ничью. Ботвинник же, полагая, что у него лучше, стал играть на выигрыш и проиграл. Рассердившись, он отправил Фурмана читать лекции в Подмосковье на сборы «Труда», где был и я. Было мне тогда неполных двенадцать лет. Начали же мы вместе работать осенью 1968 года, когда я, поступив сначала в Московский университет, переехал в Ленинград, где жил Фурман. Это и явилось причиной переезда — возможность постоянных занятий с ним, регулярного

общения. Без сомнения, в моем формировании как шахматиста Фурман сыграл решающую роль. Дело даже не в том, что он был универсальным знатоком теории, — у него была масса собственных идей, он генерировал идеи, особенно белыми. Он и играл белыми на порядок, а то и на два лучше, чем черными. И чутье было замечательное, сразу видел главную линию в анализе, пространство очень любил. Но и упрямый был невероятно; это вообще неплохо — упрямство в анализе, я это люблю даже, но у него это порой до глупости доходило, хотя иногда удавалось спасать системы, которые были под страшной угрозой. Поначалу он мне казался спокойным человеком, но потом я увидел в нем большую внутреннюю энергию, которая выражалась не только в шахматах. Был он заядлый картежник, каждую осень — за грибами и места грибные знал; другой ритуал — кормление рыб в аквариуме, вместе с сыном. Я и рыб этих помню, и название в памяти осталось — гуппи, хотя сам и не интересовался никогда.

Нет, ссор не было, было непонимание, когда я не выиграл из-за его карт чемпионат страны в Ленинграде. Было у меня преимущество в отложенной важнейшей партии с Савоном, и немалое. Сёма же до пяти часов ночи с Левитиной в карты играл, потом, не анализируя фактически, предложил план, я его и послушался - едва ноги унес...»

Фурман производил впечатление спокойного, даже флегматичного человека. На ранней фотографии 1948 года он выглядит как брокер на нью-йоркской бирже 30-х годов или голливудский актер, играющий гангстеров, но в то время, когда я с ним познакомился, у Сёмы была внешность скорее доцента университета или главного бухгалтера строительной фирмы. Он был молчалив, и в шахматных кругах стала знаменитой его фраза: «А вы задавайте вопросы» — это когда будущая жена при первом знакомстве поинтересовалась причиной его молчания. Говорил он медленно, слегка картавя, в движениях своих был размерен — не спеша передвигал фигуры на доске, медленно тянулся к кнопке часов, вынимал сигарету, чиркал зажигалкой, поправлял очки... Но внешность эта была обманчива. Если верно, что характер каждого человека соответствует какому-то определенному возрасту, то в Сёмином случае этот возраст находился где-то между двадцатью и тридцатью годами. Те, кто был знаком с ним близко, знали, что отличительной чертой его натуры была страсть. Страсть, проявлявшаяся во всем, чем бы он ни занимался, будь то карточная игра, собирание грибов, рыбная ловля или слушание заграничного радио. Страсть и недалеко отстоящие от нее по шкале эмоций — азарт и упрямство. Разумеется, главной страстью его были шахматы.

«Знаешь, Алёна, - говорил молодой жене Сёма, — я теперь не знаю, как я буду в шахматы играть, потому что я люблю тебя больше, чем шахматы, и я не знаю, как совместить теперь эти две любви...» Алла Фурман вспоминает: «Он занимался шахматами все время. Любил смотреть на карманных шахматах, ведь у нас и места дома было немного. Но и без шахмат, я видела это, он все время думал о них, в поезде, в автобусе, — я знала этот взгляд, когда он слушал и не слышал то, что я говорила ему: он был весь в шахматах».

Бывало, что шахматы держали его в напряжении и ночью. В 63-м году чемпионат страны проходил в Ленинграде, и я бывал там почти каждый вечер. В четвертом туре Фурман играл с Холмовым, который разделил в том турнире первое место со Спасским и Штейном. Рат-мир - шахматист выдающегося природного дарования - славился прохладным отношением к теории дебютов и невероятной цепкостью в защите. Однако в тот вечер, казалось, ему не удастся уйти — это была позиция Фурмана: мощный центр, два слона, давление белых нарастало. Но как-то постепенно перевес Фурмана растворился, и партия закончилась вничью. Когда мне удалось проникнуть в комнату для участников, анализ ее уже закончился, и Сёма сидел один в характерной позе, подперев затылок рукой, в другой тлела сигарета. «Большое было преимущество, Семен Абрамович?» - спросил я. Он грустно посмотрел на меня и ничего не ответил, было видно, что он еще не отошел от партии. «Меня всю ночь не покидало чувство неисполненного долга, — вспоминал Фурман на следующий день, — я заснул только под утро и во сне заматовал-таки Холмова!»

Даже после того как наш кружок распался и занятия прекратились, я часто встречался с Фурманом на соревнованиях или в Чиго-ринском клубе. В 1964 году в чемпионате Ленинграда мне удалось выиграть у него, вероятно, одну из лучших партий того периода моей жизни. Играя черными, я понимал, что в академической борьбе за уравнение у меня шансов немного, и уже в дебюте пожертвовал качество. Какая-то инициатива у меня была, его король был вынужден временно задержаться в центре. Это было психологически верное решение. Дело было даже не в резкой перемене обстановки на доске. Вследствие своих обширных знаний и большой культуры дебюта плохие или даже худшие позиции у него практически не встречались, и он играл их менее уверенно. Мне кажется, что по той же причине игра выдающихся знатоков дебюта Портиша (в 60—70-е годы) и Каспарова в худших или несколько худших позициях также слабее — относительно, разумеется, — по сравнению с их же

собственной игрой при нарастающем позиционном давлении, в сложном миттельшпиле, при фигурной атаке или в техническом окончании.

В 1966 году я проходил действительную службу в рядах Советской Армии. За официальной формулировкой этой скрывались проживание дома, крайне редкое ношение формы, игра блиц и в карты в шахматном клубе Дома офицеров; впрочем, иногда играл и в армейских соревнованиях за Ленинградский военный округ. В один из солнечных весенних дней мы — мои коллеги по спортивной роте Марк Цейтлин, Эрик Аверкин и я — получили предписание: помочь с переездом на новую квартиру Фурману — нашему тренеру и одноклубнику. Помню немудреную обстановку, шахматные книги, стопки бюллетеней, выпускавшихся тогда по поводу любого мало-мальски пристойного турнира. Когда к часу дня операция была успешно завершена, Сёма сказал: «Это дело надо обмыть». Он пригласил нас в ресторан «Москва» на Невском проспекте, тогда очень престижный. «Что будем пить, ребята?» - спросил он. «Как скажете, Семен Абрамович», - отвечали мы. Литр водки за обедом был выпит легко, и Сёма пил наравне с нами. Он вообще не чурался рюмки, был человеком компанейским и расположенным ко всем, кто также был расположен к нему. В три часа мы уже выходили из ресторана, довольный Сёма снова благодарил нас за помощь, но и у нас настроение было замечательное: хотя до веч**ера было еще далеко, день службы уже прошел, Невский и вся жизнь лежали тогда перед нами…**

Полгода спустя он тяжело заболел: потеряв за месяц около двадцати килограммов, Фурман должен был, не закончив турнира и вернувшись в Ленинград, подвергнуться тяжелейшей операции. Я сам работал уже в Чигоринском клубе и, помню, ходил по инстанциям с письмом-просьбой шахматной федерации, чтобы Фурмана прооперировал Мельников — светила тогдашней онкологии, что и произошло. Операция удалась, и болезнь отступила, чтобы вернуться обратно через одиннадцать лет. Но годы эти стали особыми в его жизни, потому что в них вошел Карпов.

Летом 1971 года в доме отдыха архитекторов в Зеленогорске, под Ленинградом, я помогал Корчному готовиться к матчу с Геллером. В соседнем коттедже жили Фурман с Карповым. Изредка, когда время приближалось к предобеденному, мы навещали их. На подходе к домику Корчной и я нарочито громко говорили, давая знать о своем приближении, дабы не вторгнуться нечаянно в тайну анализа; если же окна были затворены, бросали в них горсть песку, как это делали любовники в старинных

французских романах.

К этому же времени, кстати, относятся четыре тренировочные партии, сыгранные между Корчным и Карповым. Соперники выиграли по одной партии при двух ничьих, хотя справедливости ради нужно сказать, что во всех четырех у Карпова были белые фигуры. Партии эти явились как бы прологом к генеральной репетиции — финальному кандидатскому матчу в Москве в 1974 году — и к жестоким схваткам на мировое первенство на Филиппинах и в Мерано.

Во время такого рода сборов или соревнований процветала карточная игра. В конце 60-х вошел в моду бридж, он стал одной из страстей Фурмана. Как и многое тогда в стране, бридж не был официально запрещен, он не был и рекомендован. Игра эта сразу захватила его полностью, что, впрочем, совсем не значило, что другие карточные игры были забыты, просто бридж стал для Сёмы главной карточной страстью. По мнению Карпова, он никогда не играл в бридж сильно, хотя и здесь придерживался классики, изучал теорию, системы, способы торговли. «В бридже очков нет, — выговаривал он как-то при мне начинающему бриджисту. — Запомни, у тебя на руках тринадцать пунктов». И сердился, когда тот через минуту снова начинал заговаривать об очках.

Однажды в том же Зеленогорске, в то время как взрослые сидели за карточным столом, маленький сын Фурмана — Саша и Ирина Левитина решили испробовать надувную резиновую лодку. Поднялся ветер, и ее стало относить от берега. Когда ситуация стала тревожной, все забеспокоились: «Они уже далеко, надо что-то предпринимать...» — «Пока не будет сыгран роббер, — раздался голос Фурмана, — никто никуда не пойдет!» Иногда карты сменялись домино, надо ли говорить, что и этой игре Сёма предавался самозабвенно. Процесс игры редко проходил в молчании, удары костяшек по столу сопровождались соответствующими комментариями, нередко переходящими в полемику, когда игра заканчивалась. Сёма тоже мог ввернуть словцо, когда и сильное, он знал немало присказок и выражений, особую пикантность которым придавал контраст с его профессорским видом. На одной из Спартакиад команда Ленинграда выступала не особенно успешно, растеряв немало очков во встречах с более слабыми соперниками. Чтобы сохранить шансы на медали, надо было сделать ничью в отложенной безнадежной позиции и выиграть равные. Последней надеждой был Фурман, к которому принесли на суд все позиции, уповая на чудо. Сёма долго сопел, по обыкновению недоуменно поднимая и опуская брови, и наконец изрек: «Что ж здесь сказать.

Профуканное ворохами - не воротишь крохами». Даже еще и сильнее сказал. Все засмеялись, сдали без игры безнадежную позицию и согласились на ничьи в равных.

Пребывание за городом открывало прекрасные перспективы и для другой страсти Семена Абрамовича — слушания зарубежного радио. Сёма принадлежал к довольно распространенной тогда категории людей, которые на память знали время работы радиостанций, вещавших на Советский Союз. Но если игра в бридж была больше шалостью, на которую смотрели сквозь пальцы, к слушанию «вражьих голосов» государство относилось менее толерантно, предпринимая контрмеры, делающие прием затруднительным или совсем невозможным, другими словами - применяя глушение. Особенно сильно оно чувствовалось в крупных центрах, поэтому грех было, находясь за городом, не воспользоваться случаем, тем более что транзисторный приемник, привезенный Сёмой из-за кордона, имел в отличие от большинства отечественных короткие волны, что значительно облегчало прием. Понятно, что занятие это не поощрялось, а на наиболее суровых отрезках советской истории даже каралось, поэтому происходило оно всегда в кругу своих. Сёма не только умело лавировал между волнами, обходя наиболее ревущие, но и знал имена дикторов, ведущих и авторов программ «Свободы», «Голоса Америки», Би-би-си и «Голоса Израиля». Радио Сёма слушал только по-русски, знание языков не было его сильной стороной. Польза от изучения иностранных языков в школе у него, так же как у подавляющего большинства сограждан, была близкой к нулю, а потом всё свободное время заняли шахматы, да и непросто зубрить слова в том возрасте, когда хочется проникнуть в суть выраженных ими вещей.

После турнира в Вейк-ан-Зее 1975 года Фурман, Геллер и я давали сеансы одновременной игры в Амерсфорте. Слушая приветствия организаторов, в знак уважения к зарубежным гостям произносимые по-английски, Сёма тихонько вздохнул: «Прав был Михаил Моисеевич...» Я вопросительно посмотрел на него. Сёма разъяснил: «Наша школа считалась шахматной. Кроме меня и приятеля моего Юры Борисенко там училось немало сильных шахматистов. Помню, в середине 30-х годов к нам после выигрыша какого-то сильного турнира приехал с отчетом молодой Ботвинник. Тогда это практиковалось. Мы сразу к нему — что-нибудь на шахматах посмотреть. А он нам: «Учите, учите, ребята, иностранные языки, без них — беда». Прав, всегда прав Михаил Моисеевич...»

Однажды, впрочем, он пытался получить информацию на иностранных языках, надеясь услышать только одно имя —

Фишер. Это было в ночь на первое апреля 1975 года под Москвой, где они с Карповым готовились к матчу на первенство мира. В этот день истекал срок подачи официальных заявок в ФИДЕ. Но имя Фишера в эфире так и не прозвучало, а еще через два дня Эйве объявил Карпова чемпионом мира.

Тот же транзисторный приемник помогал Сёме переносить одиночество, которым он всегда тяготился. Направление, протянувшееся от древних к Шопенгауэру и Ницше, проповедующее одиночество, но и требующее немалого внутреннего потенциала, было ему совершенно чуждо. Лучше всего Сёма чувствовал себя в дружеской компании, а диалоги с самим собой заменял ему транзистор, который всегда был с ним, вплоть до последних больничных мартовских дней 1978 года. «Зачем? — искренне удивился Сёма, когда я предложил ему почитать что-нибудь из запрещенного тогда в Советском Союзе. — У меня же радио есть, я и так в курсе дела».

Он фактически ничего не написал, за исключением разве что теоретических обзоров в шахматные издания, следуя неосознанно здесь, как, впрочем, и в жизни, пифагоровской заповеди: говори мало, пиши еще меньше. Но вижу его низко склонившимся над листом бумаги и, прищурясь, вглядывающимся в текст партии (Сёма был очень близорук), чтобы переписать его характерным почерком.

Так тогда делали все, в то недавнее и такое далекое докомпьютерное время. У каждого были тетради с анализами, разработками или просто важными партиями, переписанными от руки. Помню такие и у Каспарова времен одного из его первых международных турниров в Тилбурге в 1981 году. Конечно, трата времени была ужасающая; теперь и партии, и варианты могут быть вызволены из базы данных при помощи одного пальца, а сэкономленное время можно посвятить анализу, а можно поручить это компьютеру или совместить оба эти занятия. Но все же время, ушедшее тогда на восстановление, сверку и даже переписку вариантов, не кажется мне потраченным совершенно впустую: так монахи средневековья, перенося священные писания на пергамент или бумагу, пропускали их через голову и сердце, прочнее сохраняя тексты в памяти.

Помню Сёму еще за одним его ритуалом: тщательно изучающим последнюю страницу газеты «Известия», где время от времени публиковался курс валют. Он, бывавший за границей, знал, конечно, всю искусственность приводимых там соотношений. Рубль был неконвертируемой валютой, делая не такой уж далекой от истины ходившую тогда шутку: в одном долларе — фунт рублей. Мне кажется, что ему просто доставляло

удовольствие чтение красивых слов: гульден, крона, драхма или песо. Расходовать валюту за границей следовало экономно, дабы купить что-то, чего попросту не было в Советском Союзе, а таких вещей было немало. Корчной вспоминал, как Фурман, будучи на турнире где-то в Скандинавии, каждое утро покупал жареную курицу, стоившую тогда один доллар, которую и съедал потихонечку в течение дня. В этом не было ничего позорного или необычного, я знал многих спортсменов и музыкантов, неделями во время заграничных поездок питавшихся захваченными из дома консервами или копченой колбасой. По возвращении на родину валюту следовало обменять на сертификаты или чеки, существовали специальные магазины, где товары, главным образом заграничные, можно было купить только на них. «Там каждый магазин, как у нас сертификатный, только лучше», — объяснял один гроссмейстер своим приятелям, никогда не бывавшим на Западе. Мне кажется, что для Сёмы, как и для многих тогда советских людей, весь Запад выглядел как один большой сертификатный магазин. Он вырос вместе с понятиями стахановец, субботник, политинформация, характеристика, невыездной и многими другими, совершенно неизвестными на Западе и умершими вместе с государством, их создавшим. С другой стороны, он вследствие сравнительно частых, особенно в последние годы, выездов за границу и регулярного слушания иностранного радио был знаком, пусть только внешне и поверхностно, с жизнью другого мира. Два этих мира легко уживались в нем, не вызывая противоречия, он принимал их как данное, как нечто само собой разумеющееся, четко проведя границу между одним и другим. Более того, скепсис и ирония по отношению к стране, где он жил, сочетались у него, как и у многих тогда, с изрядной долей патриотизма.

В декабре 1971 года я помогал Корчному во время большого международного турнира в Москве. Фурман был там же в качестве тренера Карпова, и мы с ним прожили все две недели в одном номере гостиницы. Тогда это считалось в порядке вещей. Спасский вспоминает, что даже во время матча на мировое первенство с Петросяном он делил комнату со своим тренером Бондаревским: «Уж такое было время. Это я потом стал понимать, что значит privacy, как это важно...»

Москва тогда не была лучшим местом для вечерних и ночных развлечений. Поэтому часам к десяти в наш номер, считавшийся своего рода нейтральной территорией, собирались бриджисты: покойный Штейн, Горт, Парма, изредка Ульман, Корчной, иногда заглядывал Карпов. Сёма, разумеется, присутствовал всегда. Я обычно лежал на кровати, что-нибудь читая, время от времени

поднимая голову на шум - следствие жарких дебатов, разгоравшихся за карточным столом по поводу несыгранной игры или неверно сообщенной информации при заключении контракта.

Расходились обычно часам к трем, а то и позже. Сёма открывал форточку — накурено было до невозможности — и, возвращаясь к реальному миру и замечая меня, задавал всегда один и тот же вопрос: «Ну, Геннадий, что нового в мире?» Он так звал меня всегда — моим полным именем. Слегка потупясь, я отвечал: «Как же я могу знать, что нового в мире, Семен Абрамович, ежели машина бездействовала». — «Это мы сейчас», — говорил он и, низко склонясь над светящимся табло, начинал настраивать транзистор на нужную волну. Пробираясь сквозь шум глушилок, он приговаривал: «Интересно, чем сегодня порадует нас Анатолий Максимович». Сёма имел в виду Анатолия Максимовича Гольдберга, комментатора Би-би-си, исключительно популярного тогда среди подпольных радиослушателей. Если ему удавалось добиться более или менее сносного звучания, он предлагал: «Ну что, по последней?» Мы закуривали по сигарете, нередко оказывавшейся предпоследней, и я, усаживаясь поближе к приемнику, говорил: «Есть обычай на Руси — ночью слушать Би-би-си!» — «Не мешай, не мешай, дай же послушать», — призывал меня к порядку Сёма: он относился серьезно к этому ночному ритуалу.

Мог ли я предполагать тогда, что спустя двенадцать лет передам свой первый репортаж на Советский Союз о матче Каспаров — Корчной из лондонской студии Би-би-си? Хотя Сёмы тогда уже не было в живых, видел его хорошо среди моих воображаемых слушателей, когда прибегал к своей любимой формулировке: «Как знают, вероятно, любители шахмат в Советском Союзе», после чего сообщался факт, который они не знали и знать не могли...

«Вы, Семен Абрамович, вчера опять всю ночь в карты играли, -выговаривал ему иногда Карпов. - Я слышал, как Горт в три часа к себе вернулся, его комната рядом с моей». — «Во-первых, мы в четверть третьего уже разошлись, — слабо защищался Сёма, — а во-вторых, откуда я могу знать, почему Горт пришел к себе в три часа ночи». — «А то, что вы курите безбожно и диету не соблюдаете, -это как?» - продолжал Карпов. — «Как же, Толя, я диету не соблюдаю, когда я вчера грейпфруты купил, вот еще два на подоконнике лежат». — «А то, что в отложенной партии с Ульманом...» — не сдавался Толя. Я выходил из комната, спрашивая себя, кто же из них, собственно, старше на тридцать с лишним лет.

Мы с Фурманом сыграли две партии уже после моего переезда на Запад, в обеих у меня были белые — здесь я сам чувствовал себя Фурманом. Помню его блеснувший из-под очков взгляд, когда в первой из них, в Вейк-ан-Зее в 75-м году, я применил новинку на восьмом ходу, фактически опровергающую весь вариант. Впрочем, выиграть партию мне не удалось, равно как и другую, в Бад-Лаутер-берге два года спустя, где он в дебюте добровольно пошел на позицию с изолированной пешкой. Мне казалось, что так играть нельзя, но, потратив много времени и так ничего не добившись, я предложил ничью. Парируя во время анализа мои попытки доказать преимущество белых, Сёма изрекал свое обычное: «Чудак, я же работал, анализировал этот вариант». Добавляя: «Не горячись, посмотри внимательно, здесь же у черных активная игра».

Там же в Бад-Лаутерберге мы по утрам гуляли неторопливо в парке, разговаривая о том о сем. Иногда к нам присоединялся Либерзон. Всякий раз, увидев Фурмана, он издавал радостный клич: «Там, где Сёма, — там победа!» Они давно знали друг друга, встречаясь на всесоюзных и армейских соревнованиях еще в СССР. «Ну, что, Сёма, — начинал обычно свою речь Либерзон, — как там наша родная советская власть?» Здесь он обычно не брезговал крепким словцом. Чаще же уходил в воспоминания о прошлом, в котором всегда есть что-то абсурдное, особенно когда это прошлое относилось к Советскому Союзу. Либерзон уехал в Израиль только за четыре года до этого, и прошлое для него еще не стало окончательно прошедшим, чтобы обрести свою безоговорочную прелесть. Сёма поднимал и опускал брови, подавал время от времени реплики или начинал сопеть, что являлось предвестником начинающегося смеха, шедшего заразительными перекатами, нередко с подачей головы вперед. Редкие прохожие в парке провинциального немецкого городка с неодобрением оборачивались на нас.

Внешне Сёма выглядел старо: лысина его расширилась, еще более подчеркнув немалых размеров лоб, оставшиеся волосы почти все были седы, походка стала еще более степенной, но душой он был по-прежнему юн. По Солону, лучшая пора в жизни мужчины — от тридцати пяти до пятидесяти шести лет. Будь Солон знаком с профессиональными шахматами конца второго тысячелетия, он, вероятно, думал бы по-другому, но во время того турнира Фурману и было пятьдесят шесть, и играл он еще очень энергично, и занял в турнире третье место, обогнав многих известных гроссмейстеров.

Выиграл же турнир Карпов, опередивший Тиммана на два очка и вообще доминировавший тогда в шахматном мире. Было

очевидно, что сотрудничество Фурмана с Карповым оказалось очень плодотворным для обоих. Сам Фурман сказал как-то: «При нем я предельно мобилизуюсь, играю лучше. Не тот авторитет у меня будет, если выступлю неудачно. Как потом стану ему давать советы»?

Однажды я присутствовал при их анализе отложенной позиции. Они были вместе уже десять лет и понимали друг друга с полуслова, но и в житейском смысле они притерлись друг к другу, как супруги после десятилетнего совместного проживания. Зайдя тогда в Бад-Лау-терберге к простудившемуся слегка Фурману, я застал у него Карпова.

Семен Абрамович у нас, - говорил он, глядя в пространство, — сначала чая горячего напьется с медом, потом на улицу выходит, на ветер, а теперь вот жалуется, что простудился. Было бы странно, если бы он не простудился.

Во-первых, я не сразу вышел, а обождал немного, во-вторых, я же, Толя, шарф шерстяной надел, — оправдывался Фурман.

Он думает, что если он шарф шерстяной надел... — продолжал Толя, и я снова спрашивал себя, кто же в действительности старший из них двоих.

Это был его последний турнир, и последний раз, когда я видел его.

Алла Фурман: «Может быть, если бы не было этой нервотрепки, бессонных ночей, если бы он больше следил за собой, не курил так отчаянно, всё могло бы и обойтись. Он жил так, как будто смерть его не касается, не допуская никаких разговоров о болезнях, что этого нельзя, того нельзя... Он делал всё, что ему нравится».

Бессознательно Сёма жил, следуя правилу Ницше, полагавшему, что секрет извлечения наибольшего удовольствия из существования прост: жить с наибольшим риском для жизни самой, жить на грани пропасти.

Анатолий Карпов: «За три недели до смерти я был у него в Меч-никовской больнице. Он шутил, смеялся, строил планы на матч с Корчным, какие дебюты играть, как и что... Он не знал тогда, что он безнадежен, да и я, признаться, тоже не знал».

Семен Абрамович Фурман умер 16 марта 1978 года. Несмотря на то, что жизнь его не получилась длинной, мне думается, что она удалась. Применимый к нему обычай древних фракийцев: после каждого счастливо прожитого дня класть белый камешек, а несчастливо — черный и после смерти подсчитывать, какой получилась жизнь, — дал бы очевидный результат. Белый цвет, так любимый им в шахматах, явно преобладал бы.

Матч Карпова с Корчным начался через несколько месяцев

после его смерти. Без сомнения, Фурман понимал, побывав в Белграде на финальном матче претендентов и видя вблизи мощную игру Корчного, что легкого матча не будет. Как чувствовал бы он себя, когда на Корчного в Багио, помимо реальной и огромной силы его соперника, обрушилась вся мощь государственной машины, частью которой ему так или иначе предстояло бы стать?

Любитель информации, он наверняка знал, что в январе 1978 года четырнадцатилетний мальчик из Баку выиграл первую партию в жизни у гроссмейстера и свой первый взрослый турнир в Минске. Но он не мог знать, что этот мальчик спустя семь лет отберет у его ученика чемпионский титул и будет единолично править в шахматном королевстве в течение пятнадцати лет.

Как бы реагировал он на шахматы сегодняшнего дня, так не похожие на те, в которые играл он сам? Шахматы, в которых появилось так много нового, чего не было при нем, и которым придано ускорение, карающее неуверенность, но и раздумье в поисках лучшего хода. Шахматы, получившие огромную поддержку от компьютера, но и обретшие в его лице могущественного и безжалостного соперника, не прощающего минутную расслабленность или потерю концентрации. Шахматы, где в понятия подготовка, анализ да и в сам игровой процесс вкладывается совсем другой смысл, чем тот, который был при нем.

Какой совет он дал бы Карпову сейчас? Стараться не попадать в цейтнот? Поменьше тратить времени на марки, из-за чего Сёма ворчал на своего ученика и в лучшие годы? Увеличить объем тренировок, больше доверяя компьютеру? Или просто повторил бы слова польского мастера Пшепюрки: «Почему я играю хуже? Потому, что старею. Молодые, на арену!»

Июль 1999

Маэстро (А.Кобленц)

В конце 50-х началась эра Михаила Таля: сначала выигрыши чемпионатов Советского Союза 1957-58 годов, потом межзонального турнира, турнира претендентов и, наконец, победа над Ботвинником в матче на первенство мира в 1960 году. Постоянным тренером Таля и его секундантом на всех этих соревнованиях был Александр Кобленц.

Впервые я увидел его ранней весной 1968 года, когда приехал в Ригу по приглашению Таля помочь ему в подготовке к четвертьфинальному матчу с Глигоричем. После этого я бывал в Риге неоднократно и каждый раз, разумеется, виделся с Кобленцем. Официально он был тогда еще тренером Миши, хотя после талевского пика в 1960 году прошло восемь лет и отношения между ними уже не были столь безоблачными. К моему приезду Кобленц отнесся настороженно. Скорее он рассматривал его как очередное Мишино чудачество, который и так в последнее время отбился от рук. Несколько лет, проведенных им в Москве после проигрыша матча-реванша Ботвиннику, не прошли даром: пьет ужасно, курит несколько пачек в день, очередная новая подруга, вот еще и этот подозрительный камень в почках, требующий регулярного приезда «скорой помощи» и обязательной инъекции морфия. Теперь еще какой-то неизвестный молодой мастер из Ленинграда. Короче говоря, ученик совершенно не слушает своего старого тренера, который начал заниматься с ним, когда Мише было еще двенадцать лет.

Скоро, впрочем, когда мы познакомились ближе, Кобленц понял, что я совсем не пытаюсь встать между ним и Талем, и между нами установились раз и навсегда теплые, дружеские отношения.

Миша всегда называл его — Маэстро, через некоторое время так же стал называть его и я. Обычно Маэстро приходил к Мише домой, где мы работали, часам к трем, спрашивал, что мы смотрели сегодня, иногда сам принимал участие в анализе, но чаще его появление означало игру блиц на высадку. Это был, конечно, эвфемизм, потому что в подавляющем большинстве случаев менялись мы с Кобленцем. «Ведь, правда, интересантный ход, Маэстро?» — спрашивал Миша, осуществляя необычный маневр в дебюте и лукаво поглядывая на меня. «Интересантный, интересантный», — отвечал Маэстро, чувствуя какой-то подвох, но не зная, в чем он заключается. Родным языком его был немецкий, хотя по-русски он говорил очень хорошо, разве что с

легким акцентом. Проскальзывавшие иногда ошибки в словах приходились на похожие в немецком, что, как известно, создает именно из-за этой внешней похожести особую трудность. Изредка он переспрашивал: «Пожалуйста?», что является дословным переводом с немецкого «Bitte?» и чего никогда не скажет человек, родным языком которого является русский.

«Сами, девки, знаете, чем заманиваете», — сообщал Миша, слишком оптимистично жертвуя коня на g7. Если же ресурсов атаки не хватало, приговаривал, глядя на поднимающийся флажок на часах Маэстро: «Ничего страшного, сейчас мы будем делать ему завальнюк».

«Подожди, подожди, я тебе сейчас сделаю савальнюк», — отвечал Маэстро, с особой энергией делая ходы, казавшиеся ему наиболее сильными. Если же стрелка на его часах все же падала, Миша щелкал немалых размеров ногтем мизинца по стеклу циферблата часов Маэстро или объявлял: «Покойничка знали лично!», легкими прикосновениями вверх и вниз отряхая ладони. Маэстро, понимая, что сердиться было бы глупо, разводил руками и, поворачиваясь ко мне, говорил с улыбкой: «Ну, что ты с ним будешь делать...» После игры он иногда пытался пустить разговор по серьезному руслу: «Мишенька, мне вчера опять звонили из Спорткомитета и спрашивали, когда же ты...» — «Знаю, знаю, — отвечал Миша, - на следующей неделе зайду обязательно». — «Да, но ведь ты так говорил еще на прошлой неделе». — «На днях зайду непременно, а вы посмотрите лучше, какую прелестную идею в испанке мы сегодня обнаружили...»

Иногда мы уходили с Маэстро вместе, и от улицы Горького, где жил Таль, поворачивали на Лачплесиса, а потом — направо на улицу Ленина, которая во время войны называлась, разумеется, Адольф Гит-лерштрассе, а ныне, сбросив с себя оба названия, пытается укрепиться в своем старом: улица Свободы. Речь держал Маэстро, обычно он жаловался на Мишу, его образ жизни, непрактичность, беззаботность, безалаберность. Впрочем, скоро он переходил на текущие заботы, а их было немало. Энергия всегда бурлила в нем, и планов у него было множество: подготовиться к традиционному матчу с Литвой и Эстонией, обязать Мишу регулярно заниматься с молодыми и в первую очередь с талантливым Витолиньшем, подготовить редакцию новой книги на латышском языке, оформить через Москву договор о переводе другой книги на испанский. Не говоря уже о многих насущных делах: закончить ремонт клуба, наладить производство шахматной атрибутики и магнитных шахмат, арендовать маленький автобусик для поездок в соседнюю Литву, где цены на продукты много ниже местных. Коричневый,

отличной выделки кожаный портфель, который всегда был при нем, покачивался в такт его упругому шагу. На улице с ним нередко здоровались, Маэстро был заметной фигурой в Риге, что и говорить - тренер национального героя.

Когда мы доходили до перекрестка, Маэстро предлагал: «Может быть, зайдешь ко мне на минуточку?» Шахматный клуб в самом центре Риги был его особой гордостью. Мы поднимались на третий этаж, в клубе еще пахло свежей краской, но вдоль стены уже протянулся транспарант: «Шахматы — это гимнастика ума. В.ИЛенин». Этот лозунг можно было встретить тогда почти в каждом клубе, хотя подобного высказывания не найти даже в полном собрании сочинений вождя. Неудивительно: его придумал известный шахматный деятель Яков Герасимович Рохлин, умерший несколько лет тому назад. Поскольку Ленин действительно любил шахматы, играл в них в сибирской ссылке и в годы эмиграции, проверять подлинность цитаты никто не удосужился.. Как бы то ни было, находка была замечательная, звучала фраза очень по-ленински и немало способствовала развитию шахмат в стране.

«Заходи, заходи, — приглашал Маэстро, распахивая двери директорского кабинета, — располагайся...» - «Что же вы такое повесили, Маэстро? Мало вам надписи при входе, так теперь и здесь», — говорил я, показывая глазами на висевший над его креслом барельеф Ленина, сделанный из дерева, и, надо признать, весьма искусно. Маэстро нравились мои ремарки, хитрая улыбка появлялась на его лице, но он, хотя мы в кабинете были только вдвоем, вздыхал с притворным осуждением: «Ну что с него взять, одно слово — ленинградская шпана». И меняя тему разговора: «Геня, что ты делаешь сегодня вечером?» Он всегда называл меня так, сильно смягчая последнюю гласную, что придавало имени почти ласкательный оттенок. «Ах, с Мишей в ресторан? Оригинально, оригинально, можно подумать, что вчера вы были в библиотеке». И Маэстро сокрушенно качал головой...

Ему было тогда пятьдесят два года, и выглядел он очень импозантно: выше среднего роста, статная фигура, быть может, чуть полноватый, но всегда подтянутый, всегда в костюме и при галстуке. Крупное лицо, высокий лоб, зачесанные назад волосы с легкой проседью, выдающийся, с заметной горбинкой нос, полные губы - он напоминал какое-то редкое животное. Улыбка, часто появлявшаяся на лице, полностью преображала его. Хитринка, спрятанная в широко расставленных глазах, постепенно захватывала всё лицо, и Маэстро превращался в ученика немецкой рижской гимназии Алика Кобленца.

Он родился в Риге 3 сентября 1916 года в зажиточной

еврейской семье. Дома говорили на идише, но образование Кобленц получил классическое, и немецкий был его самым сильным языком. Отец, лесопромышленник, хотел, конечно, чтобы сын после окончания гимназии продолжал учебу и потом, кто знает, перенял дело, но у Алика на уме уже было другое: в двенадцать лет он случайно обнаружил на книжной полке шахматный учебник Дюфреня.

Разумеется, когда он решил посвятить жизнь шахматам, отец был против. «Он поведал мне о переживаниях своего знакомого лесопромышленника Исайи Нимцовича, с которым встречался раньше на рижской бирже, - вспоминал позднее Маэстро. - Его сын Арон просиживал целыми днями в биржевом кафе, играя с любителями на ставку. Исайя послал сына учиться в Цюрихский университет, но тот забросил учебу, избрав путь шахматного профессионала. Мой отец слышал, как коллеги, стараясь уязвить старика, говорили ему при встрече: «Как это у вас, господин Нимцович, в уважаемой семье появился такой босяк?»

Действительно, решение молодого Кобленца сойти с накатанной дорожки и стать шахматным профессионалом было не менее рискованным, чем в наши дни. Уже в конце жизни Маэстро писал: «Запоминаются преграды, которые всегда встают на пути энтузиаста, предостерегающие голоса близких - не витай в облаках, а главное -советы избрать «солидную» жизненную дорогу. «Вы, молодой человек, собираетесь посвятить шахматам всю жизнь?» — спросил меня Милан Видмар на Олимпиаде в Варшаве. Получив молниеносный утвердительный ответ, он посмотрел на меня задумчивым взглядом и произнес: «Ну, смотрите...»

В основе решения свернуть с проторенного пути и самому определить свою судьбу у Кобленца лежала любовь к шахматам, к самому процессу игры. Но и не только. Свою первую шахматную книгу на латышском языке он начал писать, когда ему было девятнадцать лет, во время работы над последней его застала смерть.

Такое решение означало еще кое-что: независимость и свободу, поездки в разные страны Европы из маленькой Латвии. В августе 1935 года Кобленц стоял перед выбором: играть на турнире в Хельсинки или поехать корреспондентом рижской газеты в Амстердам, чтобы освещать матч между Алехиным и Эйве. Он, не колеблясь, выбрал Голландию, и это решение во многом определило его дальнейшую судьбу: он не только играл в турнирах, но и писал о шахматах.

Латвия была тогда независимым государством, и шахматиста и шахматного журналиста Кобленца видели не только Амстердам,

но и Гастингс, Лондон, Мадрид и Милан. Надо ли говорить, что знание Кобленцем многих языков делало эти частые поездки только еще более приятными. Он видел вблизи и разговаривал с Мизесом, Тар-таковером, Капабланкой, Шпильманом, Эйве, был хорошо знаком и не раз интервьюировал Ласкера. Молодость, считающаяся лучшей порой жизни (вероятно, оттого, что об этом совсем не думаешь), в его случае была наполнена встречами со многими замечательными людьми. Он подолгу жил в Испании, а в 1939-м более полугода провел в Лондоне, днями просиживая в шахматном кафе «Гамбит» на Кэннон-стрит. Игра на ставку, бессонные ночи, зыбкое существование, но зато любимая игра, и свобода, и будущее, о котором не задумываешься и у которого нет конца. Много лет спустя он, пожалуй, единственный из всех, кого я знал в Советском Союзе, не называл иностранцев в третьем лице множественного числа — в своей прошлой жизни он тоже был одним из них.

Я думаю, что этим же объясняется и странное на первый взгляд хобби Пауля Кереса. Именно: он на память знал время отправления, номера рейсов, названия компаний и возможности стыковки самолетов, вылетающих из Лондона в Мадрид, из Амстердама в Париж или, к примеру, из Стокгольма в Берлин. Только ли демонстрация памяти, обернутая в необычную упаковку? Мне кажется, что названия эти были для него воспоминанием не столько о молодости, сколько о времени, когда попадание в эти точки Европы было вопросом только перемещения в пространстве, чего он оказался лишен после того, как Эстония стала одной из республик СССР.

В 1940 году в Латвию вошли советские войска, через год страна была оккупирована Германией. Кобленцу удалось уйти на восток, его мать и сестры погибли в рижском гетто...

Марк Тайманов познакомился с ним в 1943 году на пароходе, который шел из Красноводска в Баку: «Кобленц в каких-то немыслимых гольфах, шляпе борсалино, с латвийским паспортом, на котором красовался герб, очень похожий на свастику, являл собой живописное зрелище. Время, однако, было военное, и он мог иметь массу неприятностей». Сам Маэстро впоследствии так описывал этот эпизод: «Молоденький лейтенант при проверке документов держал в руках мой паспорт с лондонскими и барселонскими визами, слышал мой акцент, и по его загоревшемуся взгляду я видел, что мысленно он уже примеряет орден Красной Звезды к своей гимнастерке за поимку важного шпиона. По счастью, у меня оказалась с собой газета «Советский спорт», где мое имя значилось в списке новых советских мастеров».

Почти всю войну Кобленц провел в Самарканде, где зарабатывал на жизнь сеансами одновременной игры в госпиталях, но главным образом - выступлениями в концертах.

Пением Маэстро начал заниматься еще в Риге, а в 1938 году провел некоторое время в Милане, где играл в турнире, дабы взять несколько уроков у знаменитых учителей бельканто. У него был довольно приятный тенор, и неаполитанские песни остались в его репертуаре с тех времен. Маэстро пел для своих друзей или на официальных церемониях закрытия турниров, делая это всегда с большим удовольствием. Но самый шумный его успех приходится именно на то военное время, когда он, не вполне владея тонкостями русского языка, в неаполитанской песенке вместо слов: «Ах, зачем ты тогда зарделась?» — пропел: «Ах, зачем ты тогда разделась?» Номер пришлось повторить на бис...

После войны Кобленц вернулся в Риту. Ему было под тридцать, именно на этот период приходится пик его как шахматиста-практика. В 1945 году он выходит в финал чемпионата Советского Союза, что уже само по себе являлось немалым достижением. Назову несколько имен, чтобы дать представление о силе турнира: Ботвинник, Смыслов, Болеславский, Бронштейн, Толуш, Котов. Но уже полуфиналы, где наряду с несколькими гроссмейстерами играли опытные мастера, были очень сильными турнирами. «Для меня полуфинал — это финал», — говорил тогда один совсем не слабый мастер.

В те же годы Кобленц несколько раз выигрывает чемпионаты Латвии, но во всесоюзный финал больше уже не попадает. Он - довольно сильный мастер, с интересными идеями в дебюте и явным тяготением к тактической борьбе. Советские шахматисты, воспитанные на творчестве Чигорина и Ботвинника и изучавшие уже шахматы как науку, смотрели несколько скептически на его игру, основанную больше на вдохновении, озарении и бесконечных партиях блиц в кафе Лондона, Вены и Мадрида. Да и сам он: легкий акцент, постоянная улыбка на лице, открытость, доброжелательность, галстук, платочек в кармане пиджака — всё это как-то не вписывалось в суровую обстановку послевоенных лет.

В 1946 году на турнире в Ленинграде Кобленц в одной из партий попал в цейтнот. Маэстро, полагая, что они с соперником делают одно общее дело, только он попал в маленькую неприятность, которую им обоим следует преодолеть, очень нервничал, не зная, сколько ходов осталось сделать до контроля времени. «Четыре», — помог ему противник, сама любезность. Когда ходы были сделаны и Маэстро перевел дух, партнер, дождавшись падения флажка, холодно констатировал: «Вы

просрочили время. Я ошибся, надо было сделать пять ходов». — «Вы поступили не как джентльмен», — укоризненно заметил Маэстро. «Что вы имеете в виду?» — спросил строго директор турнира, находившийся рядом и наблюдавший всю сцену. Сообразительный Маэстро, уже поживший в Советском Союзе, с честью вышел из положения. «Я имел в виду, что он поступил не как советский джентльмен», — ответил он. Хотя время было уже мирное, никогда нельзя было знать, как и кем будут истолкованы твои слова. Неосторожные высказывания в начале войны стоили замечательному рижскому гроссмейстеру Владимиру Петрову, которого Маэстро хорошо знал, ссылки в лагерь и жизни.

После войны Маэстро поселился в квартире дома, который до 1940 года весь принадлежал его семье. Что он чувствовал при этом? Еще древние знали: разные вещи — совсем не иметь или, имея, потерять. Ведь не получить вовсе — не страшно, но лишиться того, что имел, — обидно.

Марк Тайманов: «Я бывал у него в Риге почти каждый год. Квартира была наполнена книгами на разных языках, они лежали всюду: на подоконниках, в коридоре, на кухне. Сам хозяин был в высшей степени обаятелен и обладал артистичной натурой. Он был вполне европейским человеком, у него не было никакого акцентированного восприятия своего иудейства, но в конце каждого разговора, о чем бы ни шла речь, Алик всегда спрашивал: "Скажи, а как это отразится на рижских евреях?"»

В конце 40-х годов встреча с худеньким мальчиком с пронзительными черными глазами определила жизнь Маэстро на долгие годы. Мальчика звали Миша Таль. Он начал бывать у Кобленца дома, на даче, занятия стали регулярными, длящимися зачастую помногу часов. Уже тогда было видно его острое комбинационное зрение, молниеносный расчет вариантов, а главное — самозабвенное увлечение шахматами. Я думаю, что эти годы, вплоть до завоевания Талем звания чемпиона мира, были наиболее плодотворными и счастливыми в жизни Кобленца. Свою роль он видел очень хорошо, ссылаясь не раз на Генриха Нейгауза, учителя Святослава Рихтера: «Гениев нельзя создать — только почву для их развития».

Функция тренера-наставника постепенно расширилась до советчика, спарринг-партнера, секунданта, психолога и менеджера. Но в первую очередь Маэстро был преданным другом.

Василий Смыслов: «Кобленц очень любил Мишу и всегда, а я видел их вместе на многих турнирах, искренне переживал за него и поддерживал всячески, а это уже немало».

Он был для Таля в каком-то смысле отцом или дядькой; в похожем качестве находились в свое время Толуш и Бондаревский

у Спасского, второго Борис так и называл — Father (тот факт, что они были гроссмейстерами высокого класса, а Кобленц только мастером, я думаю, не играл столь большой роли). Такого рода контакт, живой, человеческий, очень важен для молодого шахматиста не только на пути к мастерскому или гроссмейстерскому званию, но и в дальнейшем, несмотря на то что любая информация сегодня легко находится и обрабатывается при помощи компьютера. Здесь напрашивается аналогия с музыкой. Сейчас не представляет никакого труда получить не только звуковое воспроизведение, но и изображение выдающихся музыкантов современности. Тем не менее популярность мастер-классов, когда непосредственное индивидуальное общение помогает не только понять и исправить, но и вдохновить, только возрастает. Отсутствие такого постоянного контакта всегда было заметно, как мне кажется, в игре даже самых сильных шахматистов Запада (которые учились в основном друг у друга, а теперь еще и у компьютера) и являлось тормозом на пути к дальнейшим успехам.

Я думаю, что Кобленц был хорошим тренером для Таля, даже когда в середине 50-х годов ученик в практической силе превзошел своего учителя, а потом и хорошим секундантом, что не одно и то же. Его постоянная улыбка и шутка, где-то сознательная игра под простачка, подхваченная и поддерживаемая Мишей фраза «если у Таля есть открытая линия — мат будет», что, кстати, в те времена чаще всего и случалось, — всё это понималось многими, и журналистами в первую очередь, буквально или иронически обыгрывалось. Они видели отношения Кобленц — Таль только на людях, только в шутках, подтрунивании, не догадываясь о большой черновой работе и о внутренней гармонии между обоими.

Когда Таль показывал красивую комбинацию или просто что-нибудь эффектное в совместном анализе, Маэстро восклицал нередко: «Миша, ты гений!» В ответ Миша принимал жеманно-кокетливую позу и, махая ручкой, говорил: «Сам знаю!» Действо это, совершенное неоднократно при зрителях и журналистах, создавало образ этакого льстеца-затейника, каким Маэстро не был, отодвигало на второй план их серьезную совместную работу. Даже в шутке Ивкова тех лет: «Знаете, как Кобленц тренирует Таля? Он целый день твердит подопечному одно и то же: «Миша, ты гений!» — можно найти перепевы этого их совместного образа. Маэстро пропускал всё мимо ушей, но иногда все же, задетый за живое, вступал в полемику с журналистами, забывая мудрое правило Дизраэли: «Never complain, never explain[4].

В семье Талей Кобленца называли иногда «Алик-не-дурак» —

слова, услышанные от взрослых пятилетним сыном Таля и повторенные им в присутствии самого Маэстро. Многие видели в нем хитрого ловкача, вытянувшего выигрышный номер в лотерее, не понимая, что в чем-то и он, и Миша вытянули один общий номер.

По мере того как росли успехи Таля, и особенно после того как он в двадцать три года стал чемпионом мира, кое-кто стал смотреть на него как на мага, который может превратить любую позицию в выигрышную при помощи волшебной комбинации. Эти представления о шахматах полностью вписывались в вопрос, заданный мне в свое время редактором нью-йоркской газеты «Новое русское слово» Андреем Седых: «Помню, в Париже в 1924 году на Всемирной выставке один молодой человек так ловко в шашки играл - поддаст четыре, а возьмет девять; возможно ли такое в шахматах?», вынудив меня ответить: «Ну, если как следует подумать...»

Начиная с момента их наивысшего триумфа - завоевания чемпионской короны — отношения между Талем и Кобленцем менялись, и зачастую резко. Я сам не раз был свидетелем в конце 60-х годов, когда Маэстро выговаривал за что-либо Мише, и, надо признать, почти всегда за дело, в ответ на что Таль отделывался шуточкой или закуривал очередную сигарету. Серьезные разговоры в присутствии других просто не допускались, в этом случае Миша мог неожиданно спросить, к примеру: «Маэстро, а как, собственно, началась в Испании гражданская война?» Маэстро, застигнутый врасплох, пытался отнекиваться: «Но я ведь уже это рассказывал». - «Я не помню, — лукавил Миша, — а вот Гена так вообще не знает». — «Ну хорошо, — покорно соглашался Маэстро. — Это было в 1936 году, я жил уже полгода в Испании, ах, что за жизнь была тогда». Здесь Маэстро вздыхал. «Бандерильи, кастаньеты и махи обнаженные?» - пытался его отвлечь Миша. «Я уже довольно хорошо говорил по-испански и играл в различных маленьких турнирах, — не уходил в сторону Маэстро, — а в июле оказался в Барселоне, где должен был состояться международный турнир. Помню, все были уже в сборе, кроме Ала-торцева, приезд которого ожидался. Вечером участники турнира расположились за большим столом в ресторане...» — «За стаканчиком кефира?» — спрашивал Миша. «После ужина кто-то принес часы, мы блицевали, пили вино...» — «Ага», — снова встревал Миша, «...и засиделись допоздна», — продолжал Маэстро, не обращая на него никакого внимания. «И вдруг под утро, когда мы уже решили расходиться, поднялась такая стрельба, такая стрельба». — «И? Что же это было?» — помогал Миша, уже не раз слышавший эту историю. «Так

началась в Испании гражданская война», - заканчивал Маэстро заученным голосом. Он играл предложенную ему роль, зная хорошо, что если они с Талем не наедине, то ни серьезного разговора, ни серьезного анализа получиться не может.

Конечно, оттенки их взаимоотношений во многом определяла страна, создавшая свои правила игры. Бывало всякое. Но по большому счету этих двух людей, знавших друг друга фактически всю жизнь, ничто не могло разделить. Кобленц всегда оставался для Таля любимым Маэстро, а тот для него — Мишенькой, начиная с момента их первой встречи в 1948 году и до последних минут в июне 1992-го, когда Кобленц начинал, но так и не смог из-за нахлынувших слез сказать последних слов прощания на похоронах Таля.

Работой с Талем не ограничивалась деятельность Маэстро. Он любил шахматы во всех проявлениях: принимал участие в создании очень популярного журнала «Шахе» на латышском и русском языках, был тренером сборной Латвии, директором республиканского шахматного клуба, не говоря уже о большом количестве написанных им книг.

Но неправильно было бы думать, что Кобленц был альтруистом, забывающим за работой о своих собственных интересах; энтузиазм, восторженность и энергия сочетались в нем с практической жилкой и трезвым подходом к жизни.

Я думаю, попади Маэстро на один из островов в Тихом океане, там уже через пару лет провели бы первый шахматный чемпионат, была бы готова смета и для командного первенства, функционировали бы детские шахматные школы и высшая школа мастерства, где сам Маэстро читал бы лекции. Был бы взят на заметку и особенно смышленый мальчик с жесткими курчавыми волосами. Остатки лавы давно потухшего вулкана служили бы прекрасным сырьем для производства шахматных фигур, и оно уже налаживалось бы. Сам Маэстро был бы вхож к главе администрации острова, который тоже был бы обучен игре, более того — небольшая книжка с его первыми комбинациями была бы уже сдана в набор. Трудно было бы сказать, что думал о нем в действительности сам Маэстро; хотя он в совершенстве овладел бы местным диалектом, дома у него предпочитали бы говорить на идише. В киосках для сувениров наряду с кухонными подставками с изображением шахматной доски и головами шахматных коней, изящно выточенными местными умельцами, можно было бы купить и красиво оформленные книги самого Маэстро, способствующие развитию комбинационного зрения. Молодые тренеры, бывшие в свое время учениками Маэстро, шушукались бы, правда, за его спиной, что методика его

безнадежно устарела, а самое главное — каково! — что трехэтажный коттедж Маэстро прямо на берегу океана — настоящий дворец, причем говорят даже, что дно немалых размеров бассейна всё выложено черно-белым кафелем. Конечно, до Маэстро доходили бы эти слухи, но он не обращал бы на них никакого внимания; все время уходило бы на подготовку матча с самым крупным островом архипелага, в победе он был бы верен, а там, кто знает, и до континента недалеко...

Мы провели вместе две недели в Москве летом 1968 года на четвертьфинальном матче Таль - Корчной, где Маэстро был тренером Миши, а я — его секундантом. В безнадежно поначалу складывавшемся матче вдруг забрезжила надежда, борьба обострилась, напряжение спало только с последним ходом. Шахматы отнимали почти все время, хотя сейчас и жалею, что не спросил его тогда о многом, что было бы интересно теперь; но я тогдашний имел мало общего с пишущим эти строки, разве что — однофамилец.

После моего отъезда из страны мы регулярно обменивались приветами, чаще всего через Таля. А в 1979, что ли, году, играя в Бундеслиге и коротая как-то время в ожидании поезда на Амстердам на вокзале немецкого городка, вспомнил улыбку его и, надеясь, что поймет от кого, послал открытку с текстом без подписи, повторенным, впрочем, на другой, глянцевой стороне по-немецки: «Grussen aus Koblenz».

Процесс распада советской империи начался в Прибалтике. В Латвии национальный вопрос стоял особенно остро. Человеческие и профессиональные качества отошли на второй план. Закон шведского короля Густава II Адольфа 400-летней давности (Латвия была тогда частью Шведского королевства) неожиданно вновь стал актуален: «Чтобы никакие евреи и иностранцы в ущерб гражданам Лиф-ляндии терпимы не были». В конце 80-х годов Кобленцу, написавшему свою первую книгу на латышском языке более полувека назад, не нашлось места в составе новой федерации шахмат. Он принял это очень близко к сердцу, знаю, что и болел даже; ему было уже за семьдесят. Несмотря на долгую жизнь, Маэстро еще по-детски верил в чувство благодарности вообще и общественной благодарности в частности. Он был разносторонне одаренным и увлекающимся человеком, что у многих, более заземленных, вызывало чувство зависти или неприятия.

В 1991 году Кобленц уехал из Риги, где родился и прожил всю жизнь, в Германию; немецкий был его языком, сын тоже давно уже жил там, но мир этот, «без России и Латвии», сохранив старые названия стран и городов, выглядел иначе по сравнению с

тем, который он когда-то знал. Впрочем, нельзя сказать, что Маэстро эмигрировал в полном смысле этого слова, так как время от времени бывал наездами в Риге. «Документы, подтверждающие право нашей семьи на дом, я собрал почти все, — писал он мне в тот период, — кроме одного: о гибели моей мамы в гетто...»

С конца 80-х у нас снова возобновился контакт, пошел частый обмен письмами, телефонными звонками, особенно после его переезда в Берлин. Он прислал мне свои последние книги — серию вышедших уже в Германии «Тренировок с Александром Кобленцем», все с теплыми надписями, сделанными красивой вязью. Как и в прежних его книгах, переведенных на многие языки, здесь наряду с цитатами великих шахматистов встречаются высказывания Канта, Гёте, Шопенгауэра.

«Школа шахматной игры» - этот учебник Таль назвал в ряду книг, оказавших на него наибольшее влияние. Не думаю, что это был только комплимент своему тренеру. Книга действительно хороша: большого формата, прекрасно изданная, но самое главное — написанная талантливо и с любовью.

Учебники, тренерские дневники, психологические изыскания, книга воспоминаний Маэстро — всё читается с интересом, в первую очередь из-за теплого чувства к шахматам и к людям, связавшим себя с этой игрой. Под его пером любая, даже довольно заурядная, история начинала переливаться цветами персидской сказки, а герои обретали черты Синдбада-морехода. И все же, мне кажется, его книги относятся скорее к жанру оперетт, нежели опер, не достигая очень высокого уровня, главным образом потому, что сам Кобленц был по природе своей человеком энергии и действия, а не созерцания, мысли и анализа.

Обычно он отвечал на мои письма в тот же день. Написанные почти разговорным языком: «Ну так вот, Геня, я получил твое письмо, и ты знаешь, о чем я подумал...», они на четыре пятых состоят из замыслов, планов и проектов, что характерно для молодости, но Маэстро и в свои семьдесят пять был молод. Что бы он ни делал, каждую свою цель и задачу он рассматривал как ступеньку и никогда не присаживался отдохнуть на них. Он был полон энергии и излучал то, что французы называют joie de vivre. У него был смех человека, привыкшего постоянно радоваться жизни или, во всяком случае, удивляться ей, что обычно свойственно ребенку. В нем сохранился тот же запал, тот же позыв к действию, к переменам, та же неприязнь к скуке и покою. Само состояние покоя было для него совершенно чуждо; я думаю, что он неосознанно считал, что здесь, на земле, и не должно быть покоя, рассматривая жизнь как приближение к цели, которой никогда нельзя вполне достигнуть.

Возникшая у него было идея — приехать на несколько месяцев в Амстердам — не получила практического воплощения, но он говорил об этом так, как будто играется еще матч Алехин — Эйве, по-прежнему раскладывает в пресс-центре Тартаковер листочки с вариантами, чтобы разнести их по газетам всего мира, есть еще возможность взять очередное интервью у Ласкера, а встреченному в кулуарах Видмару можно сказать, что жизнь, отданная шахматам, удалась. Он говорил о них как о живых людях, с которыми по какой-то причине лишен возможности непосредственного контакта; похожее чувство испытываю сейчас сам по отношению к нему.

В 1991 году в Берлине вышел первый номер «Schach Journab, главным редактором которого стал Кобленц. Он и сам писал в журнале о тренерском процессе,.психологии игры - боюсь, что статьи эти интересны сейчас разве что историку: шахматы конца века слишком многим отличаются от тех, в какие играл Маэстро в кафе Лондона и Мадрида, как, впрочем, и от шахмат чемпионатов СССР, выигранных Талем сорок лет назад.

Рассказ Маэстро о том, как он в задумчивости, разложив теоретические бюллетени на ковре гостиничного номера и ползая на четвереньках, случайно наткнулся на вариант французской защиты, как сообщил об этом Мише за полчаса до начала первой партии матча с Ботвинником и как тот с блеском применил его, вызывает улыбку и выглядит сейчас не менее любительским, чем диалог между Стейни-цем и Гунсбергом во время 12-й партии матча на первенство мира 1891 года. Разыграв дебют (гамбит Эванса), Стейниц, игравший черными, спросил у соперника: «Полагаете ли вы, что я морально обязан избрать ту же защиту, что в матче с Чигориным?» — «Вы не обязаны, — ответил Гунсберг, — но общественность ожидает, что вы будете защищать свою теорию».

Смерть Таля в 1992 году изменила весь жизненный тонус Кобленца; с тех пор Миша стал одной из главных тем его писем. Слова Маэстро о моей посмертной статье о Тале: «Живо, искренне, тепло», — были мне дороже чьих-либо. Он сам начал готовить статью о нем для «New in Chess»: «Я над ней очень серьезно думал, хочу показать свое интимное восприятие Миши, проблему талантливости, ее прогнозирования, взаимосвязь тренера с талантом, его умение стоять в тени, но одновременно благосклонно воздействовать. Мир не понимает, что кроме неназойливых советов или подачи дебютных шпаргалок самое главное, что тренер должен, — это решить проблему одиночества подопечного, стать искренним другом, терапевтом, как Миша в одном интервью меня полушутя назвал. Развеять миф о

моцартовской легкости его игры, показать его огромный труд и горькие слезы. Шахматный материал я приведу для подтверждения психологических гипотез. Я только не решил, на каком языке писать, на немецком или на русском. Что-то внутренне тянется к русскому, но вижу твою насмешливую, но добродушную улыбку — думаю, ты простишь мою смелость писать по-русски, веря мне, что не считаю себя Пушкиным и, знаешь, откровенно говоря, даже Чеховым».

Или из другого письма: «Наконец-то налаживается моя последняя, но глобальная идея. Я создал заочную международную рижскую академию имени Михаила Таля, не забудется имя Таля, сумеем через нее донести красоту и глубину его творчества».

В этот оставшийся короткий период его жизни я стал называть его Аликом, и не потому, что Маэстро — было Мишиным и должно было оставаться таковым, скорее оттого, что игривость и фривольность стали как-то неуместными и неправильными.

Вот и самое последнее письмо: «Годы идут, всё ближе перспектива загробного рая. Правда, в моих мемуарах будет глава: письма из загробного мира. Это будет самым веселым куском книги!» И уже в самом конце: «У меня, конечно, трагедия. Собралось столько материалов и мыслей, что они рвутся наружу, а я погибаю в пучине всё новых нахлынувших идей, но теперь я наконец поставлю точку и начну подводить итоги».

Поток идей прервался 8 декабря 1993 года в Берлине: точку поставила смерть, и подводить итоги стало некому.

Все же попробую. Две трети своей жизни Маэстро был подданным СССР — искусственного образования, вероятно, самого искусственного в новейшей истории, которое, несмотря на политическую несостоятельность, а может быть, и благодаря этому, породило больше человеческих типов, чем какая-либо страна в Европе, за исключением разве что Австро-Венгерской империи. Если считать, разумеется, Советский Союз полностью европейской страной.

Кем же был Кобленц? Хотя он родился и всю жизнь прожил в Риге и латышский язык знал в совершенстве, латышом он, конечно, не был. Более всего в жизни говорил по-русски, прекрасно знал русскую литературу и культуру, но не был он, разумеется, и русским. Несмотря на немецкую гимназию, превосходный немецкий и переезд в Берлин в самые последние годы, он не был, конечно, и немцем.

Еврей по крови, у которого мать и сестры погибли в гетто, он не был и вполне евреем, так как и вопросы религии, и вопросы, связанные с тем, что обычно называют национальным

самосознанием, не были ему близки.

Большая часть жизни Маэстро прошла в Советском Союзе. Для того чтобы нормально функционировать в этой стране, он должен был носить маску, как и многие в те времена, которую желательно было не снимать даже на ночь, дабы не войти в постоянный конфликт с самим собой. В этом случае, правда, маска могла срастись с лицом, и уже непросто было отделить одно от другого. Заказанные Кобленцу воспоминания о Тале для «New in Chess» были пронизаны советскими терминами, понятиями, именами людей, известными только в СССР, настолько, что от проекта скрепя сердце пришлось отказаться: комментарии и сноски превысили бы размеры самой статьи. Я думаю, что не всё в абзацах его книг, посвященных расцвету шахмат в советской Латвии, написано по обязанности. Мне не кажется также, что описание первого чемпионата Латвийской советской республики, проходившего в залитом светом хрустальных люстр зеркальном зале бывшей рижской биржи, неискренно, а слова «шахматы в нашей республике теперь из хобби одиночек превратятся в подлинно массовую игру, займут почетное место в культурной жизни» были только данью общепринятому шаблону. Наконец, он сам, его социальное и общественное положение, его имя, известное на родине каждому, очевидно, не могли бы стать таковыми в случае гипотетического, разумеется, варианта, что Латвия пошла бы в свое время по пути Финляндии или, скажем, Норвегии. Но при всем при том Маэстро не был и не мог быть, конечно, советским человеком.

Рожденный прибалтийским евреем в Риге, издавна стоявшей на перекрестке четырех культур - латышской, немецкой, русской и еврейской, он был, конечно, космополитом, гражданином мира. Но космополитизм Маэстро был не только результатом серии биографических случайностей — он вытекал из самой натуры его.

Несмотря на трагические события 20-го века, коснувшиеся лично его, его семьи, несмотря на длинный ряд потерь и ударов судьбы, оглядываясь на прожитую жизнь его и принимая аристотелевское определение счастья — без помех упражнять свои способности, каковы бы они ни были, — можно сказать, что Маэстро прожил счастливую жизнь, сумев сохранить идеалы юности, открытый нрав и сердечность.

Но все же сейчас, подводя итоги, не слишком ли многое попадает в негативный баланс? Закрыт шахматный клуб в центре Риги, его помещение, совсем в духе времени, занял какой-то банк. Нет больше журнала «Шахе», выходившего с 1959 года; такая же участь постигла и другой журнал, издававшийся в Берлине и главным редактором которого был Кобленц; нет и академии

имени Таля. Его книги, вытесненные бесчисленными дебютными справочниками, известны разве что знатокам. Самому Маэстро выпала горькая доля пережить, пусть и ненадолго, своего гениального ученика.

Во времена его молодости между тем, что познано, и тем, что еще не познано в шахматах, лежала обширная область, принадлежавшая искусству и импровизации, за что, собственно, и полюбил шахматы Кобленц. Область эта была полна ошибок, наивных представлений и эмоциональных заблуждений. Она значительно сократилась сейчас, ушли ошибки — но ушла и аура, ушел во многом ореол самой игры. Человек, вооруженный компьютером, вплотную подошел к разрешению последней истины в шахматах, но окажется ли она интересной? И я совсем не уверен в том, что, если бы выпускнику рижской гимназии снова нужно было решать, какой жизненный путь избрать в конце двадцатого века, он снова остановился бы на шахматах.

И последнее: что же все-таки двигало им? Отчего завелась эта пружина, наперекор логике и здравому смыслу не дававшая ему покоя, приведшая его в шахматы, оторвав от мерной поступи отца, а впоследствии и сына, который далек и от шахматной игры, и от отцовской детскости и восторженности? Где объяснение этому?

На исходе душного июльского дня 1968 года я стоял у входа в московскую гостиницу «Пекин», где жили тренеры, секунданты и участники матча Таль - Корчной. Накануне состоялось официальное закрытие, и позднее застолье затянулось глубоко за полночь. Неожиданно я увидел Маэстро, направляющегося в мою сторону. Он критически оглядел меня и не ответил, как всегда, на мою улыбку. «Так, — сказал он, - хорош». Вид у меня и впрямь был довольно помятый. «Хочешь знать, в чем смысл жизни?» — вдруг спросил он. Ошарашенный вопросом, я смотрел на него, ничего не отвечая. «А я тебе скажу, — продолжал он. — Ты, наверное, думаешь: в удовольствиях, в гулянках? Так ты думаешь?» Я по-прежнему молчал, так как, признаться, даже не задумывался о жизни — этой веселой, а главное, бесконечной субстанции. «Ты, верно, думаешь, чего это он так распаляется? Ты думаешь, конечно, успеешь ли еще сегодня на футбол?» Я поднял голову: Маэстро читал мои мысли. Таким я его еще никогда не видел. «А я тебе скажу — в чем. В творчестве — ют в чем! — торжественно произнес он. — Да, в творчестве, а всё остальное...» — он еще раз смерил меня взором.

Он сам назвал это слово — импульс, чувство, которое двигало им всю жизнь. Чувство это дается не каждому, иногда оно исчезает вместе с молодостью, почти всегда пересыхает к

старости. Не так было в случае с Маэстро. Конечно, это чувство - дар, и он сохранил этот дар в своих беспокойных генах до самой смерти: бесконечную радость творчества.

Октябрь 1999

Прыжок (А.Витолиньш)

История шахмат ушедшего века — это главным образом история матчей на первенство мира, международных супертурниров, титулов, табели о рангах, рейтингов, побед. Что и говорить, шахматы не относятся к той области, где побежденным иногда быть честнее, чем победить. Но история шахмат — это не только история маршалов и генералов. В них есть свое место у каждого настоящего мастера, великого или малого. В шахматах есть свои «могилы неизвестного солдата», и у истинных ценителей игры они вызывают не меньше уважения, чем самые блестящие имена.

«Это, наверное, Алвис, — сказал Таль, услышав звонок и отрываясь от анализа, чтобы открыть дверь, — мы вчера договорились поблице-вать немного». Время действия — лето 1968 года. Место — Рига, квартира Таля, где я помогаю ему готовиться к матчу с Корчным.

В комнату вошел слегка раскачивающейся походкой и несколько наклонившись вперед высокий молодой человек, довольно угрюмый на вид, с высоким покатым лбом и сумрачным взглядом, направленным куда-то в пространство. Это был Алвис Витолинын.

Мы были знакомы: несколько лет назад на армейском турнире в Ленинграде мы сыграли партию, которую я запомнил очень хорошо. В равном поначалу эндшпиле Витолинын развил сильнейшую инициативу, и казалось, мне несдобровать. К тому же времени было в обрез. В этот момент соперник предложил ничью: ему всё было ясно. Остановив часы, он начал демонстрировать неочевидные варианты, где черные удерживают позицию, играть же на время он не хотел.

В тот день Таль и Витолиньш играли блиц до позднего вечера; так случалось и в другие дни. Таль выигрывал, конечно, чаще; но нередко, как правило, белыми Алвису удавались блестящие атаки, контуры которых я помню до сих пор. Тогда же я понял, что имел в виду Таль, когда он в анализе, жертвуя материал за инициативу, оживлялся: «Ну а теперь сыграем по Витолиньшу...»

Алвис родился 15 июня 1946 года в Сигулде, под Ригой. Ему было девять лет, когда отец привел мальчика к первому тренеру — Феликсу Цирценису. Талант Витолиньша был очевиден, и уже через несколько лет он — шахматная надежда Латвии — становится одним из сильнейших юниоров Советского Союза.

«Он был лучшим из нас, — рассказывает Юрий Разуваев. —

Алвис всегда блистал на всесоюзных юношеских соревнованиях. Не случайно, что он и мастером стал одним из первых. Витолинын уже тогда очень тонко чувствовал равновесие в шахматах; когда оно нарушалось, фигурная инициатива в его руках становилась решающим фактором.

Он был очень высокий и проходил у нас под кличкой Длинный. И было что-то особенное в Алвисе, некое биологическое явление победителя — человека, по-иному воспринимающего шахматы. Вероятно, что-то похожее чувствовали соперники Фишера, на которого он, кстати, был очень похож всем своим обликом. Но и тогда уже была видна его наивность, необычность, погруженность в себя. Жанровая сценка тех лет: на юношеских сборах Витолиньш борется с эстонцем Вооремаа. Физически более сильный Алвис прижимает своего соперника подушкой к кровати, побежденный просит пощады. Требование победителя: «Будешь петь гимн Советского Союза на русском языке». Понятно, какого рода чувства они оба испытывали к России, к Советскому Союзу».

Владимир Тукмаков вспоминает, что за острый, яркий, комбинационный стиль Витолиньша называли вторым Талем: «Его шахматный потенциал был фантастичен. Кроме того, было видно, что шахматы для него — всё, и это тоже роднило его с Талем. Он был малокоммуникабелен, весь как бы замкнут в себе; хотя мы и играли несколько раз, вряд ли я обменялся с ним более чем одной-двумя фразами после партии. Большие надежды, возлагавшиеся на него, не оправдались; стало ясно, что он не состоялся как большой шахматист, причем это произошло еще до его тридцатилетия, он быстро сгорел. Конечно, и потом все знали, что Витолиньш очень опасен, что с ним нельзя расслабляться, но время его уже прошло...»

Действительно, вся биография Алвиса укладывается в несколько строчек. Вначале огромные надежды и успехи в юношеских соревнованиях. Успехи, которые как-то сошли на нет. Он не стал даже гроссмейстером, а количество международных турниров (все в пределах Советского Союза), в которых он принял участие, можно пересчитать по пальцам. Впрочем, на родине Витолиньш блистал: семь раз выигрывал чемпионаты Латвии, несколько раз — прибалтийские турниры. Вот, пожалуй, и всё. В конце 80-х — начале 90-х годов, когда наконец появилась возможность выезжать, он играл в каких-то опенах в Германии, но ему шел уже пятый десяток, и лучшие его годы были давно позади. Он окончил в свое время два курса немецкого отделения филологического факультета университета и неплохо говорил по-немецки. Всю свою жизнь Алвис жил с родителями, он никогда не

был женат. Таковы внешние контуры его биографии. На деле же у него не было другой жизни, кроме той, что связана с партиями, турнирами, бесконечными анализами. Шахматами.

Как он играл? Девизом Витолиныа была инициатива. Инициатива любой ценой! Создание таких позиций, где две, а то и одна пешка за фигуру являются достаточной компенсацией, потому что остающиеся на доске фигуры развивают яростную энергию, из них извлекается максимум полезного действия, — именно этот фактор становится решающим в оценке позиции, скорее даже, чем уязвимость вражеского короля. Очень часто после такой жертвы происходили удивительные вещи: позиционное преимущество неумолимо нарастало, превосходящие силы противника теряли взаимодействие, атака усиливалась с каждым ходом. Разумеется, король оставался основной приманкой и нередко в первую очередь и становился жертвой агрессии, но главной целью было все-таки извлечение максимальной энергии из фигур. Такая манера игры вообще характерна для латвийской школы шахмат. Очевидная у Таля и Витолиныа, она прослеживается сегодня у Ши-рова, Шабалова, Ланки. Отличительной чертой ее является создание позиций, где оба короля находятся под угрозой, всё висит и от одного неверного хода может рухнуть вся конструкция. Не случайно книга Широва называется «Пожар на доске».

Как и у Широва, у Алвиса была высокая техника эндшпиля, но длительных, маневренных партий у него почти нет. Если в наполеоновском определении войны как несложного искусства, целиком заключающегося в действии, заменить войну шахматами, мы приблизимся, мне кажется, к восприятию игры, как ее понимал Витолиньш.

Но каким бы ярким игроком ни был Витолиньш, в первую очередь он был неутомимым исследователем шахмат. Его девизом было: «1.e2-e4 — и выигрывают!» Это, конечно, продолжение линии Рау-зера, с именем которого связана разработка многих атакующих систем. А быть может, корни этого надо искать еще глубже, в утверждении Филидора, что начинающий партию при правильной игре должен выиграть. Во всех дебютах, которые он анализировал за белых, Витолиньш пытался доказать не просто их преимущество, но преимущество большое, по возможности решающее.

В 1980 году Владимир Багиров начал вести тренировки со сборной Латвии: «Алвис приходил ко мне каждую пятницу. Занятия наши заключались в том, что мы играли блиц; победителем признавался тот, кто первым набирал десять очков. Витолиньш играл каждую партию как партию жизни и переживал

ужасно в случае проигрыша. К слову сказать, блицором он был блистательным, в чем-то не уступавшим и Талю.

Бывало, я побеждал его, но он выигрывал чаще и с более крупным счетом. Во всех партиях, где у меня были черные, игралась защита Алехина либо Каро-Канн. Он готовился к этим матчам тщательно, разрабатывал собственные идеи, пытаясь получить в Каро-Канне большое преимущество, а защиту Алехина, которую он не считал серьезным дебютом, — вообще опровергнуть. Таранное продолжение на шестом ходу, которое он применял наиболее часто и ввел впоследствии в турнирную практику, я в своей книге назвал "вариантом Витолинына"».

Алвис разработал и создал современную теорию атаки Кохрена и сыграл ею десятки партий. «Будешь жертвовать на f7, если я сыграю русскую?» — спросил у него один из участников чемпионата Латвии 1985 года, подготовивший, как ему казалось, усиление. «Конечно», - последовал уверенный ответ и короткая сокрушительная атака.

Но все же главным полигоном для его изысканий являлась сицилианская защита, здесь он был подлинным генератором идей. Любимыми полями для слонов в этом дебюте у него были b5 и g5, причем очень часто слон опускался на b5, невзирая на пешку a6; он разворачивал позицию как веер, нередко направляя и коней на поля d5, f5, e6 под удары неприятельских пешек.

Ему принадлежит множество открытий в варианте с жертвой пешки на b2 в варианте Найдорфа, очень модном в 60—70-х годах и регулярно применявшемся Фишером. Фактически вся теория большого подраздела варианта, связанного с жертвой коня на 18-м ходу и последующей атакой с тихими ходами, началась с Витолинына. О другом разветвлении того же варианта, введенном им в практику, Алвис написал статью для «New in Chess», закончив ее характерными словами: «Мой опыт аналитика подсказывает, что даже в самых тщательных анализах могут быть обнаружены ошибки. Я хотел бы только указать читателю, что новые идеи могут быть найдены даже в досконально изученных вариантах. Истинные шахматы беспредельны!»

Витолиныну принадлежат несколько наиболее агрессивных продолжений против также бывшего тогда в моде варианта Полугаевс-кого. Таль, неоднократно прибегавший к помощи и советам Алвиса, успешно применил эти идеи в матче против самого Полугаевского, хотя ему и не удалось реализовать их до конца. Другая идея Витолинына в системе Раузера (опять размашистое развитие слона на b5!), напротив, принесла Талю важнейшие очки: сначала на межзональном турнире, а затем и на турнире претендентов в партии с Корчным в 1985 году. Миша

вообще относился к Витолиныну очень трогательно, видя в нем несостоявшегося гения, каковым тот, конечно, и являлся, и говорил о нем всегда как о единомышленнике и последователе. Алвису принадлежит идея жертвы пешки b7-b5 в защите Нимцовича (вариант 4.Фc2); вариант Сb4+ с последующим c7-c5 в новоиндийской защите, применяемый на самом высоком уровне, первым начал разрабатывать Витолиньш. Идея выглядит на первый взгляд нелепой: пешка, с помощью которой можно подорвать центр, добровольно уводится на фланг, но зато создается напряжение на этом участке доски, а главное — возникает необычная позиция, где могла проявиться его богатая фантазия.

В старые времена на проблему совершенствования в шахматах смотрели просто. «Премудрости особенной в этой игре нет, и если не стремиться сделаться профессиональным игроком, то следует только почаще практиковаться», — писал в 1894 году «Шахматный журнал» Шифферса. Однако постепенно тренировки, изучение специальной литературы и анализ стали обязательным условием для повышения силы игры даже на любительском уровне, хотя в шахматах настоящее трудолюбие заключается не столько в том, чтобы работать усердно, сколько в том, чтобы работать правильно. Истина, которую часто забывают любители, пытающиеся добиться прогресса в игре и не щадящие времени для совершенствования.

Но что значит шахматный анализ, как его понимал Витолиньш? Очевидно, что он постоянно пребывал в состоянии, известном в той или иной степени каждому, серьезно занимавшемуся шахматами. После нескольких часов вечернего анализа позиция вроде бы поддается, но окончательное решение еще не найдено. Оно где-то рядом, но ускользает неуловимо, пробуешь и так, и этак. И наступает ночь, и накатывается усталость, и разумом понимаешь, что лучше отложить до завтра, но продолжаешь в отчаянии искать этот темп и перебираешь все ходы, приближаясь к началу варианта, а иногда и к исходной позиции фигур. Но если приходит озарение и решение наконец получено, знаешь, что радость от найденного перевесит усталость всех дней, недель, а то и месяцев, затраченных на поиски того, что интуитивно чувствовал с самого начала. В его же случае время вообще не играло никакой роли, и наградой являлись не призы, деньги или пункты рейтинга, а сам процесс погружения в шахматы.

Шахматная теория подобна змее, которая растет, сбрасывая кожу. Происходит процесс беспрестанного обновления. Но в отличие от змеи в теории игры все время идет процесс

возвращения к старым, вышедшим из моды вариантам. Они предстают обогащенные новыми идеями, и немало зарубок на этой дороге исследований сделано Алвисом Витолиньшем. Его идеи оставили свой след, даже если многое из того, что он анализировал или играл, кажется сейчас наивным или, проверенное временем и машиной, не вполне корректным.

Идеи переполняли его, и он, играя, не всегда мог реально оценивать ситуацию на доске. Это наряду с откровенной нелюбовью к защите и игре в чуть худших позициях было его очевидной слабостью. Лев Альбурт и Юрий Разуваев, не раз игравшие с Витолиньшем, вспоминают, что старались вести с ним партию классически, подчеркнуто жестко, зная, что в определенный момент Алвис может увлечься эффектным ходом, красивой, заманчивой, но не вполне корректной комбинацией и выпустить партию из-под контроля.

Однако чтобы понять полностью феномен Алвиса Витолинына, необходимо знать, что он страдал тяжелым душевным недугом и фактически с самого начала боролся не столько со своими соперниками, сколько с самим собой.

Зигурдс Ланка знал его с середины 70-х годов: «Детский тренер Алвиса Цирценис полагал, что уже к концу школы у того стали проявляться симптомы шизофрении. Эта болезнь преследовала Витолинына всю жизнь, и он должен был все время пользоваться какими-то сильными лекарствами, которые притупляли восприятие и из-за которых он, конечно, хуже играл. Он избегал их принимать, чтобы сохранить ясность мышления и реакцию, но это приводило к срывам. В шахматах это выражалось в том, что он мог вполне нормальную, вполне защитимую позицию просто сдать, если она была ему не по душе. В жизни же, будучи человеком своенравным и прямолинейным, мог кого-нибудь и нокаутировать, что случалось...

Не каждый был в состоянии выдержать его режим дня, а так как я был тогда в команде самый молодой, то в соревнованиях на выезде нас всегда селили в одну комнату в гостинице. Ночью он обычно бодрствовал, анализируя какую-нибудь позицию на магнитных шахматах и засыпая только под утро. Но мог не ложиться и двое суток, зато потом проспать двадцать четыре часа кряду. Его почти всегда можно было встретить в Рижском шахматном клубе, он бывал там днями напролет. Я сыграл с ним массу партий, и при игре черными чувствовал, как, пожалуй, ни с кем, что постоянно нахожусь под страшным давлением. Каждый его ход создавал какую-то угрозу, нес определенный заряд энергии, он не давал тебе спокойно играть. Это была колоссальная динамика, прекрасная техника на фундаменте

классических логичных шахмат и хорошей школы.

Когда сейчас я смотрю, как анализирует Широв, разбираю партии Ананда, Крамника, мне вспоминается Алвис. Абсолютное проникновение в смысл позиции, предвидение событий на много ходов вперед. Это дается немногим».

Высокий, очень крупный, с низко отпущенными бакенбардами, он в молодые годы походил на своего знаменитого американского почти тезку, кое-кто и звал его так: Элвис. С возрастом черты лица его стали резче, здесь и там пролегли глубокие морщины, бакенбарды еще более удлинились, он напоминал теперь скорее шкипера с английского торгового корабля 19-го века. И по-прежнему в облике Витолинына чувствовалась какая-то странность, заторможенность, он был как бы не от мира сего, с неадекватной, зачастую трудно предсказуемой реакцией, странным смехом. И если в молодости это было не так заметно, с годами качества эти становились всё более очевидными. Он был честен, наивен и добр по природе своей; улыбка, пробегавшая иногда по его лицу, делала его по-детски беззащитным; Алвис и оставался всю жизнь, по сути, большим ребенком. Как нередко бывает у такого рода людей, физически он был очень силен. Когда доктор посоветовал ему заняться каким-либо спортом, он, индивидуалист по натуре, приобрел семикилограммовое ядро и ежедневно метал его у себя на хуторе. Он делал это со страстью, радуясь улучшениям результатов и доведя личный рекорд, по рассказам, до тринадцати метров.

Близких друзей у него не было, он сторонился людей, особенно незнакомых, особенно не шахматистов. На турнирах, если они играли вдвоем, его часто видели в компании Карена Григоряна (1947-1989).

Отец Карена — выдающийся армянский поэт Ашот Граши, мать -профессор филологии. Очень развитый и начитанный, он мог с детства на память цитировать многих поэтов; его любимым образом в литературе был лермонтовский Демон, а в живописи - «Демон» Врубеля. Карен рос легкоранимым, тонко чувствующим искусство мальчиком. Трудно сказать, как сложилась бы его судьба, если бы он пошел по стопам родителей, но в семилетнем возрасте Карен был отдан в шахматы. Любопытно, что он некоторое время занимался у Льва Аронина, также отягощенного серьезными ментальными проблемами. Одной из переломных в карьере Аронина оказалась партия со Смысловым в чемпионате СССР 1951 года. Она была отложена в позиции, где фактически каждый ход вел к победе белых. Однако Аронин, имея целый день для анализа, перешел в пешечный эндшпиль, в котором позволил

сопернику этюдным способом спастись. Карен вспоминал, что, приходя к Аронину, всякий раз видел его за этой позицией, задумчиво переставляющим фигуры...

Обладая ярким разносторонним талантом, Карен Григорян считался в свое время шахматной надеждой Армении. В 70-х годах он постоянно играл в чемпионатах Советского Союза. Как и Витолиньш, он был как бы не от мира сего, может быть, не такой угрюмый, как Алвис, но тоже странный, необычный, не такой, как все.

Одним из любимых вопросов Карена был: «Как ты думаешь, какой турнир сильнее — Ноттингем 1936 года или чемпионат Союза 1973-го?» Он задавал его регулярно, беря собеседника за локоть и заглядывая ему в глаза. В том первенстве, кстати, одном из самых представительных за всю историю их проведения, он выступил прекрасно. По нынешним меркам Карен был, конечно, сильным гроссмейстером. Выиграв подряд две партии в чемпионате страны или международном турнире, он считал себя гением и легко выстраивал цепочку: «Вчера я выиграл у Таля (дело было в том же 1973 году); конечно, Таль уже не чемпион мира, но у него положительный счет с Фишером. Что ты думаешь о моих шансах в матче с Фишером?» На следующий день, проиграв партию, он мог впасть в депрессию, повторяя, что ему противна его собственная игра, что жизнь его никому не нужна, заговаривал о самоубийстве — задолго еще до того, как стал пациентом психиатрической лечебницы и последнего прыжка с самого высокого ереванского моста 30 октября 1989 года.

Дружба Григоряна и Витолинына не была дружбой в общепринятом смысле слова. Отгороженные от всего мира, они просто понимали друг друга или, вернее, доверяли друг другу. Это было интуитивное чувство близкого человека, который после разговора с тобой не станет пересказывать кому-то другому его содержание с иронией или ухмылкой. И конечно же, в их мире шахматы, которые они оба любили самозабвенно, играли самую главную роль.

И Алвис, и Карен были замечательными мастерами блица. Если в турнирных шахматах они были сильными, опасными, хотя и неровными игроками, то в молниеносной игре им было мало равных. То же относится и к Лембиту Оллю (1966—1999), эстонскому гроссмейстеру, обладавшему редкой памятью, человеку похожей судьбы, также страдавшему психическим расстройством и тем же способом добровольно ушедшему из жизни. Объяснение напрашивается само: время, отпущенное на партию при классическом контроле, позволяет погружаться в раздумья, порождающие сомнения и неуверенность. Для них же -

людей с резкими перепадами настроения и возбудимой нервной системой — это служило только толчком к ошибке, просчету. В блице же требуется мгновенная реакция, уходят на задний план психология и самокопание, и остается лишь то, что было так очевидно у них, — большой природный талант.

Шахматная партия включает в себя целую гамму эмоций, маленькие и большие радости и огорчения. Это сопутствует любому виду творчества. Но если в живописи или литературе можно зачеркнуть, переписать, изменить, - в шахматах движение пальцев, направленное головой, является окончательным; нередко его можно исправить, только смахнув деревянные фигурки с доски. Или казнить себя, многократно ударяя головой о стену или катаясь по полу, как это делает один современный гроссмейстер после проигранной партии.

Редкая партия развивается по пути плавного наращивания преимущества и превращения его в очко. Но даже и в этом случае честный с самим собой игрок знает, чего он опасался в определенный момент, на что надеялся или как вздрогнул в душе, просчитавшись в варианте. Сплошь и рядом же партия протекает по такой примерно схеме: несколько хуже, явно хуже, ошибка соперника, радость, шансы на выигрыш, цейтнот, упущенные возможности, ничья. Такие перепады настроения и эмоций встречаются и в профессиональных, и в любительских шахматах; в последнем случае резкие пики подъемов и спусков могут присутствовать многократно.

Смена же настроения в течение турнира, хотя и не в такой резкой форме, как у Карена Григоряна, уверен, также известна каждому шахматисту. «У вас даже походка изменилась», - сказал наблюдательный Давид Бронштейн в январе 1976 года в Гастингсе, после того как мне удалось выиграть пару партий кряду. Подобные эмоциональные перегрузки и перепады не могут служить укреплению внутреннего ментального стержня. Шахматы на высоком профессиональном уровне постоянно расшатывают его, что может привести к тяжелым последствиям, особенно если стержень этот непрочен или болезнен. Ни в одном виде спорта не встретишь такого количества погруженных в себя, живущих в своем собственном мире, «других» людей. Что привлекает их с их зыбкой, неустойчивой психикой в этом, по набоковскому определению, «сложном, восхитительном и никчемном искусстве»? Или происходит обратная связь, и это шахматы воздействуют на их психику?

Но и без Набокова и Цвейга в шахматах вчерашнего и сегодняшнего дня среди такого рода людей можно без труда найти гениев или несостоявшихся гениев. «Первые шаги Торре

именно таковы, какими они бывают у будущих чемпионов мира», — писал Ласкер в начале карьеры Карлоса Торре (1905-1978), редкостно одаренного мексиканского шахматиста, который в совсем молодом возрасте был вынужден оставить шахматы и провести остаток жизни в психиатрической лечебнице. Югославский гроссмейстер Альбин Планинц, манерой игры так напоминавший Таля, сверкающим метеоритом пронесся по шахматному небосклону конца 60-х - начала 70-х годов. И его карьера оказалась недолгой: вследствие тяжелого психического заболевания он тоже должен был оставить шахматы и стать постоянным пациентом специальной клиники.

Но где граница здравого смысла, разума, нормальности? Четкие ориентиры здесь разметить нельзя, и нередко речь идет о пограничных областях, в зарослях которых могут заблудиться и сами психиатры - профессия, где психические отклонения встречаются чаще всего. Владимир Набоков, по собственному признанию, с особым удовольствием составлявший «задачи-самоубийцы, где белые заставляют черных выиграть», полагал: «Да, Фишер - странный человек, но нет ничего ненормального в том, что игрок в шахматы ненормален, это нормально. Возьмем случай Рубинштейна, известного игрока начала века, которого каждый день карета «скорой помощи» доставляла из сумасшедшего дома, где он находился постоянно, в кафе, где он играл, а затем отвозила обратно в его мрачную клетушку. Он не любил смотреть на своего противника, но пустой стул за шахматной доской раздражал его еще больше. Поэтому перед ним ставили зеркало, где он видел свое отражение, а может быть, и настоящего Рубинштейна».

В годы своих триумфов великий Акиба любил сидеть за доской вполоборота, как бы отстраняясь от соперника и играя только свою партию. С годами эта манера приобрела еще более выраженный характер. «В последние два-три года своей карьеры, — вспоминал Алехин, — он, сделав ход, сразу же буквально убегал от шахматной доски, сидел где-нибудь в углу турнирного зала и возвращался к доске лишь после того, как его соперник делал ответный ход. Свое поведение он сам объяснял так: "Чтобы не поддаваться влиянию соперника"». Не тот же ли мотив отстранения от других и защиты своего хрупкого «я» слышится в его ответе Алехину, спросившему Рубинштейна, почему он не применил в дебюте более сильного — его, алехинского, хода: «Но это не мой ход». Или в словах: «Завтра я играю против белых фигур» — в ответ на вопрос об имени соперника в предстоящем туре. И когда вообще начались для Рубинштейна приготовления к тому походу, который привел его в брюссельскую клинику,

окончательно отделив от тех, кто взял на себя смелость считать себя нормальными и держать его взаперти.

Сиделка клиники мадам Рубин-Циммер вспоминала: «Он человек необычайно спокойный и владеющий собой. С ним легко — физически он исключительно крепок и для своего возраста очень здоров. Однако время от времени он бывает странен. Целыми днями не выходит из комнаты даже на короткую прогулку или иногда по вечерам не хочет ложиться спать. Тогда он сидит в кресле возле кровати и о чем-то глубоко размышляет или передвигает фигурки карманных шахмат».

Мы не знаем, как протекали уроки, которые брал молодой О'Келли, приезжая в клинику к прославленному маэстро, но таким ли уж препятствием являлся душевный недуг Рубинштейна? О чем думал он, когда уже в самый последний период своего заключения долго сидел перед шахматной доской с фигурами, расставленными в начальном положении, делая иногда ход 1.c2-c4, и, возвратив пешку после получасового раздумья назад, снова смотрел на доску? Какая разгадка тайны начальной позиции мерещилась ему?

Трудно сказать, как сложилась бы жизнь нервного и впечатлительного юноши, если бы он, с блеском окончив университет, построил бы ее согласно записи в дипломе: «Пол Чарлз Морфи, эсквайр, имеет право практиковать в качестве адвоката на всей территории Соединенных Штатов». Шахматный мир потерял бы одного из своих величайших гениев, но, быть может, тот не провел бы последние двадцать лет жизни в состоянии тяжелого психического расстройства.

Первый чемпион мира Вильгельм Стейниц, кончивший жизнь в сумасшедшем доме, писал: «Шахматы не для слабых духом, они поглощают человека целиком. Чтобы постичь глубину этой игры, он отдает себя в рабство...» Добровольное сладкое рабство было само собой разумеющимся и для одного из самых выдающихся игроков прошлого века Роберта Фишера, искренне удивлявшегося: «А чем же еще?» — в ответ на вопрос интервьюера, чем он занимается помимо шахмат, и объяснявшего свои победы: «Я отдаю девяносто восемь процентов моей ментальной энергии шахматам. Остальные отдают только два». Но так ли уж нужны эти два процента ментальной энергии, остающиеся от шахмат? Конечно, ему было с детства известно, что деньги - это хорошо, еще лучше, когда это выражается цифрой с шестью нулями. Но что делать с этими деньгами? С деньгами вообще? И в конце концов не всё ли равно, по улицам какого города — Нью-Йорка, Пасадены, Будапешта — бродить, опасаясь вездесущих журналистов и фотографов? Ведь тот другой —

единственный! — шахматный мир всегда внутри тебя, в любое время дня и ночи и в любой точке земного шара.

Аристотель писал: «Из числа победителей на Олимпийских играх только двое или трое одерживали победы и мальчиками, и зрелыми мужами; Преждевременное напряжение подготовительных упражнений настолько истощает силы, что впоследствии, в зрелом возрасте, их почти никогда не хватает».

Полагаю, что тенденция, заметная в шахматах уже сегодня — достижение вершины и прохождение своего пика еще до тридцатилетия, — в будущем будет только усиливаться: слишком много нервной энергии было выплеснуто в период подготовки и борьбы в юные годы.

Даря радость творчества, а иногда призы и деньги, шахматы на самом высоком уровне требуют взамен пустяка — души.

В самый последний период жизни Витолиньш по-прежнему бывал в клубе почти каждый день, давая советы каждому, кто спрашивал его, играя блиц, анализируя часто допоздна. Иногда оставался там и ночевать. Всё еще держала его исступленная страсть анализа, длящаяся долгими часами, сутками, не различающая вчера и позавчера, с тем чтобы потом взять реванш долгим беспробудным сном, когда завтра переходит в послезавтра. Шахматы никогда не были для него забавой, и его жизнь в шахматах вне быта и повседневных забот и была его реальной жизнью. Он жил в них, как в добровольном гетто, и неуютно чувствовал себя за его воротами — в огромном, нереальном и зачастую враждебном мире. К тому же ему исполнилось пятьдесят, и в этой новой жесткой жизни он был и подавно уже никому не нужен. Материальное стало определяющим, и этот материальный, вещественный мир, к которому он всегда относился с опаской, грозно надвинулся на него. Алвиса уволили из шахматной федерации, где он работал тренером. Дело было, конечно, не в грошах, получаемых там, — рушились связи с миром. Он всегда был безразличен к тому, что ел и во что одет; пока были живы родители — это была их забота. Они умерли в течение одной недели, а в новогоднюю ночь 1997 года умер и врач-психиатр Эглитес, тоже шахматист, бесплатно лечивший Витолиныпа.

Оборванный, неухоженный, беззубый, Алвис приходил прощаться за день до осуществления своего решения с теми, кто помнил еще его, и только на следующий день они поняли, о каком прощании шла речь.

О чем думал он в свой последний день? Для чего жизнь? Зачем этот мир? Что есть судьба? Что есть шахматы? Прощался ли он с ними или, как у набоковского героя, «шахматы были

безжалостны, они держали и втягивали его. В этом был ужас, но в этом была и единственная гармония, ибо что есть в мире, кроме шахмат? Туман, неизвестность, небытие...»

Вспоминал ли он роковой прыжок Карена Григоряна, также восставшего против общепринятой истины: «Mors certa, hora certa sed ignota»?[5] Или неосознанно последовал совету древних: «Главное — помни, что дверь открыта. Не будь труслив, но, как дети, когда им не нравится игра, говорят "я больше не играю", так и ты, когда тебе что-то представляется таким же, скажи "я больше не играю" и удались, а если остаешься, то не сетуй»? Он никогда не сетовал на эту жизнь, но и оставаться в ней он больше не хотел.

Сигулда - одно из самых красивых мест в Латвии. Таинственные песчаные пещеры, руины средневекового замка, огромный парк с вековыми дубами разделен быстрой Гауей с ее отвесными берегами. Хорошо здесь и зимой, когда всё в снегу и деревья в инее, и только сверкает на солнце бело-синий лед застывшей реки и манит, манит к себе, и остался только последний прыжок. Как и Лужин, почувствовал он, что «хлынул в рот стремительный ледяной воздух, и он увидел, какая именно вечность угодливо и неумолимо раскинулась перед ним».

Морозным днем 16 февраля 1997 года Алвис Витолиньш бросился вниз на этот лед с сигулдского моста.

Май 2000

Подводя итоги (Г.Левенфиш)

В богатой личностями шахматной истории 20-го века его имя можно найти разве что в подстрочниках. Ценимое редкими знатоками, оно сохранилось в памяти лишь нескольких людей, но не в коллективной памяти, и сегодня почти забыто. Он не был чемпионом мира, не был никогда и претендентом на это звание. Более того, количество международных турниров, в которых он принял участие, можно в буквальном смысле пересчитать по пальцам одной руки. Но не всегда очки и титулы являются единственным критерием силы и таланта. Ласкер и Капабланка считали его сильнейшим после Ботвинника шахматистом в Советском Союзе. Смыслов и Бронштейн, Корчной и Спасский, вспоминая о нем, употребляют эпитеты «незаурядный», «замечательный», «выдающийся». И сегодня, оглядываясь на события более чем полувековой давности, они, чемпионы и вице-чемпионы мира, говорят о нем как о человеке из своей когорты. В духовном же смысле — как о личности неординарной, человеке высокоэрудированном, резко выделявшемся на фоне серой конфор-мирующей массы. И собирая сейчас по крупицам память о событиях и людях того века, смотришь по-другому на многих и многое, казавшееся тогда старомодным, незначительным и ушедшим навсегда.

Григорий Яковлевич Левенфиш родился 19 марта 1889 года в городе Петрокове (ныне Пётркув-Трыбунальский) в Польше, входившей тогда в состав Российской империи, в небольшого достатка еврейской семье. Детские и юношеские годы его прошли в Люблине, здесь он сыграл первые шахматные партии. В 1907 году, после окончания гимназии, он приезжает в Петербург, где поступает в престижный Технологический институт. В Петербурге же Левенфиш успешно выступает в ряде турниров. В 1911 году в Карлсбаде становится мастером. В 10-30-е годы он — один из сильнейших шахматистов страны. Дважды выигрывает первенства Советского Союза, девятое (1934/35) и десятое (1937). Сведя вничью в том же году матч с Ботвинником, он отстоял звание чемпиона страны, за что ему было присвоено звание гроссмейстера СССР. С 1950 года он — международный гроссмейстер. Умер Левенфиш в 1961 году. Так выглядит внешняя канва его биографии.

Он не раз повторял: «Я должен рассказать о том, что, кроме меня, не знает никто». Незадолго до смерти закончил книгу воспоминаний. Эпиграфом для нее он избрал слова Моэма из книги «Подводя итоги»: «В молодости годы тянутся перед нами

бесконечно длинной вереницей, и трудно осознать, что они когда-нибудь минуют. Даже в среднем возрасте легко найти предлог, чтобы не делать того, что следовало бы выполнить. Но наконец наступает время, когда требует к себе внимания смерть. Один за другим уходят сверстники. Мы знаем, что все люди смертны, но это, в сущности, остается для нас афоризмом и абстракцией, пока мы не осознаем, что по ходу вещей и наш конец не за горами... Было бы досадно умереть, не написав этой книги». Но продолжим цитату: «Закончив ее, я смогу безмятежно смотреть в будущее — труд моей жизни будет завершен». Левенфиш не включил эту фразу в эпиграф, вероятно, зная уже: в его случае это будет, увы, не так.

«Вы знаете, Дэвик, что они со мной сделали? — в отчаянии воскликнул Левенфиш, встретив Бронштейна в издательстве «Физкультура и спорт». — Они вычеркнули у меня половину книги, всё самое острое и интересное!» Но и в таком изуродованном виде увидеть свою книгу автору не было суждено: ее издали только через шесть лет после его смерти. Попытки Бронштейна разыскать впоследствии рукопись ни к чему не привели — она бесследно исчезла.

Левенфиш писал книгу на закате дней, в возрасте, когда вся жизнь кажется одним очень коротким прошлым, а прошлое неотъемлемой частью настоящего. Впрочем, есть ли что-нибудь реальнее того, что бережно хранится в памяти? Очевидно, однако, что даже в те относительно либеральные хрущевские времена он не мог погружаться в свою жизнь с откровенностью, обязательной для тех, кто решился на всегда тяжелое и грустное занятие подведения итогов.

Попробуем мы. Какая ни есть — осталась книга. Живы еще люди, хоть их и немного, помнящие его. Наконец, остались партии, переиграв которые можно составить впечатление о том, каким шахматистом был Григорий Яковлевич Левенфиш.

Его студенческие годы совпали со временем, которое в России принято называть Серебряным веком. Без сомнения, годы эти для Левенфиша явились лучшими в жизни, и не только потому, что это была молодость, избыток жизненных сил; они были наполнены всем, что могла предложить тогда авангардная Россия: концертами, выставками, спектаклями. И городом, который, как он сам скажет впоследствии, на него, «жителя тихой провинции, произведет ошеломляющее впечатление» и в котором он проживет почти всю жизнь. И шахматами.

Шахматный кружок в Технологическом институте считался одним из сильнейших в Петербурге. В него входил и Василий Осипович Смыслов — отец будущего чемпиона мира и сам

сильный шахматист.

Жизнь в столице студента из провинции была на первых порах очень нелегкой. Подспорьем служили шахматы. Левенфиш давал уроки богатым любителям игры. Позже он вспоминал: «Как-то, рискуя потерять клиента, но мучимый угрызениями совести, я признался купцу, которому давал уроки шахмат из расчета рубль за урок — немалая сумма по тем временам: "Василий Митрофанович, сильного игрока из вас не получится, да и платите вы мне слишком много..." В ответ на что последний осадил молодого студента: "Да чего там, вчерась вечером в купеческом клубе 300 рублев выиграл"».

В феврале 1909 года на турнире памяти Чигорина двадцатилетний Левенфиш, затаив дыхание, следит за партиями Ласкера, Шлехтера, Рубинштейна, Тейхмана, Дураса. А вскоре он играет свою первую в жизни партию с часами. Его соперником оказался студент Консерватории, которому прочили блестящее будущее. Это был Сергей Прокофьев. Левенфиш заметно усиливается, и через два года на турнире в Карлсбаде становится мастером. Там же играл молодой Алехин, которого Левенфиш уже хорошо знал: окончив гимназию в Москве, Алехин переехал в Петербург и поступил в привилегированное Училище правоведения. Вплоть до 1914 года Левенфиш был постоянным партнером Алехина, они сыграли не одну турнирную и множество легких партий.

Григорий Левенфиш: «Такого интересного партнера, как Алехин, я не встречал за всю свою жизнь. Играл Алехин с большим нервным напряжением, беспрерывно курил, все время дергал прядь волос, ерзал на стуле. Но это напряжение удивительным образом стимулировало работу мозга. Богатство идей в творчестве Алехина общеизвестно. В легких, неответственных партиях оно проявлялось, мне кажется, еще ярче. Перевес в наших встречах был на стороне Алехина. Малейшее ослабление внимания влекло за собой тактическую выдумку моего партнера, и исход партии не вызывал сомнений. Алехин обладал феноменальной шахматной памятью. Он мог восстановить полностью партию, игранную много лет назад. Но не менее удивляла его рассеянность. Много раз он оставлял в клубе ценный портсигар с застежкой из крупного изумруда. Через два дня мы приходили в клуб, садились за доску. Появлялся официант и как ни в чем не бывало вручал Алехину портсигар. Алехин вежливо благодарил...»

Первая мировая война, потом революция в России, гражданская война... Левенфиш стал свидетелем событий, во многом определивших ход мировой истории. Событиям этим в

своих мемуарах он посвятит всего несколько строк, но они как бы подвели черту первого периода его жизни: «В бурные военные и революционные годы немало пришлось пережить. Я работал на военных заводах, а иногда оставался совсем без работы. В 1917 году скоропостижно умерла моя жена. О шахматах, конечно, нельзя было и думать».

Ему было двадцать восемь лет. Начался второй период его жизни. В книге Моэма, строки из которой Левенфиш взял для своего эпиграфа, можно найти и другие: «Мы живем в эпоху быстрых перемен, и возможно, что я увижу еще западные страны под властью коммунизма... Если то, что произошло в России, повторится у нас, я постараюсь приспособиться, а уж если жизнь покажется мне совсем невыносимой, у меня, я думаю, хватит мужества уйти со сцены, на которой я больше не мог бы играть свою роль так, как мне нравится». Красивые слова, конечно. Другие, безыскусные — «я оставался в живых», сказанные в далекую, но тоже полную бурь эпоху, стали ориентиром для Левенфиша на долгие годы. Он стал гражданином Советской республики, географически размещавшейся на территории России, где он жил раньше, но на этом сходство и заканчивалось.

Если отрешиться от мрачной мысли, что карты перетасованы заранее и человек имеет лишь иллюзию свободы выбора и что бы он ни выбрал, всё заранее предопределено, будущее всегда выглядит как набор возможностей. Отсутствие выбора означает обреченность. Свобода выбора сузилась тогда не только в смысле перемещения в пространстве, но главное — тоталитарное государство вмешивалось во все аспекты жизни, подчиняя каждого человека своим правилам и законам. Единственной возможностью сохранить индивидуальность было то, что французы называют rester soi-meme. Но оставаться самим собой было непросто: для того чтобы отстаивать свою духовную независимость, требуется мужество в любом обществе, но многократно требовалось оно при строе, установившемся тогда в России.

Хотя Левенфиш формально и не подпадал под категорию «буржуй», фактически он был им в глазах тех, кто пришел теперь к власти. Александр Блок писал в те годы: «Буржуем называется всякий, кто накопил какие бы то ни было ценности, хотя бы и духовные». Слова прокурора Николая Крыленко (который вскоре возглавит советские шахматы) на одном из первых процессов в 1920 году звучали приговором его кругу людей: «Существовал и продолжает существовать еще один общественный слой, над социальным бытием которого давно задумываются представители революционного социализма. Этот слой - так называемой

интеллигенции... В этом процессе мы будем иметь дело с судом истории над деятельностью русской интеллигенции».

Многие из его коллег ушли в эмиграцию. Сладкого счастья свободы, а иногда и полынного хлеба эмиграции Левенфиш не вкусил никогда. Он остался. Что бы он делал, если бы покинул страну?

Играл бы в шахматы, как Алехин и Боголюбов? Совмещал бы игру с журналистикой, писанием книг, как это делали Тартаковер и Зноско-Боровский? Или, работая по специальности, как Осип Бернш-тейн, играл бы в турнирах время от времени?

В феврале 1924 года в советскую Россию приезжает Л аскер. В Ленинграде он дает два сеанса одновременной игры и играет серию показательных партий. В одной из них его соперник — Левенфиш, которого Ласкер помнит еще по Петербургу. Григорий Яковлевич прекрасно говорит по-немецки, и они проводят немало времени вместе. В следующем году они встретятся снова — на Первом международном турнире в Москве. В глубоком эндшпиле Ласкер ошибается, теряет важный темп, и Левенфиш добивается победы.

Незадолго до этого турнира Левенфиш получил письмо от Алехина, эмигрировавшего в 1921 году и уже несколько лет живущего во Франции: «Многоуважаемый Григорий Яковлевич! Очень рад был получить Ваше письмо и также жалею, что не придется с Вами повидаться на московском международном турнире. Впрочем, может быть, Вы соберетесь на какой-либо международный турнир за границей в будущем году? Не сомневаюсь, что при заблаговременном оповещении Ваше участие будет обеспечено в любом турнире, во-первых, потому, что Вас лично любят и ценят, во-вторых, потому, что в настоящий момент русское шахматное искусство на международном рынке котируется особенно высоко. Тогда, надеюсь, нам удастся после долгого перерыва лично свидеться». Но свидеться им не довелось. Путь на родину Алехину был заказан, в турнирах же вне ее Левенфиш не играл никогда.

В 20—30-х годах в Ленинграде было три мастера еще дореволюционной огранки, три мэтра, которые определяли шахматную жизнь города: Романовский, Илья Рабинович и Левенфиш, причем по силе игры Левенфиш превосходил обоих и пользовался огромным авторитетом. Недаром Романовский посвятил ему свою книгу «Пути шахматного творчества», вышедшую в 1933 году. Левенфиш мог выступить в турнире и неудачно, но его колоссальная эрудиция и тонкое понимание игры были общеизвестны. Не случайно Толуш сказал однажды мастеру Ровнеру: «Левенфиш может сыграть как угодно, но все

равно понимает он в шахматах больше всех нас».

Свою первую встречу с ним Володя Зак запомнил на всю жизнь и нередко рассказывал об этом в лицах. В клубе совторгслужащих Петр Арсеньевич Романовский подвел его, робеющего, к столику, за которым играл блиц Левенфиш:

Познакомьтесь, Григорий Яковлевич, это — Володя Зак.

Как же, как же... — отвечал Левенфиш, не отрываясь от игры.

— Володя подает большие надежды...

— Знаю, знаю, — продолжал маэстро, делая ход, - Володя Зак, сын старого Зака...

В 1926 году в командных соревнованиях профсоюзов Левенфиш играет с застенчивым худеньким подростком с не по возрасту серьезным взглядом из-под круглых роговых очков. Это Миша Ботвинник. У него уже первая категория, что совсем немало по тем временам, к тому же в прошлом году в сеансе он разгромил самого Капабланку. Партия длится недолго: Левенфиш разыгрывает дебют совсем не по теории, развивает коня через b6 на f5 и наносит удар на d4. На 16-м ходу всё было кончено... Эту партию Ботвинник запомнит, он вообще был не из тех, кто что-либо забывает. Думал ли тогда Левенфиш, что этот юноша через пять лет станет чемпионом СССР и что конфронтацией с ним будет отмечен весь его жизненный путь?

Левенфиш крестился в 1913 году, иначе был бы невозможен его брак с Еленой Гребенщиковой, дочерью статского советника. Герш-лик (Генрих) стал Григорием, Григорием Яковлевичем и таковым остался на всю свою жизнь. Среди разнообразной гаммы оттенков отношения евреев к своей национальности Левенфиш занимал позицию, очень схожую с пастернаковской. Крещеный еврей, петербуржец по духу, он был равнодушен и к вопросам религии, и к вопросам национальной принадлежности, растворившись полностью в русском языке, культуре, образе жизни, принятом в России.

Высокий, представительный, в очках, замкнутый, с виду настороженный и недоступный, почти для всех саркастичный и даже язвительно-желчный, Левенфиш на самом деле был жизнерадостным и остроумным человеком. Для тех немногих, кто знал его близко и был близок ему, - отзывчивым и мягким. По-старомодному вежливым и галантным с женщинами, к улыбкам которых был неравнодушен всю жизнь. Меломан и друг музыкантов, он был очень эмоционален и азартен. Его нередко можно было увидеть за карточным столом.

Вспоминает писатель Леонид Финкельштейн, уже долгое время живущий в Лондоне: «Левенфиш приходил к нам по вечерам, красивый, пахнущий одеколоном, безупречно одетый. Я

следил за ним с восхищением, а однажды даже, набравшись храбрости, предложил ему сыграть в шахматы. Он отверг мое предложение вежливо, но решительно, однако в матче Левенфиш — Илья Рабинович я все равно болел за него. Перед тем как сесть за игру, он обычно выпивал рюмку водки и закусывал бутербродом с семгой. Мой отец — профессор математики и его коллеги были партнерами Григория Яковлевича по карточной игре — преферансу или винту. Я спал здесь же, конечно, в той же комнате обычной ленинградской коммунальной квартиры. Яркий свет оі лампы с абажуром нисколько не мешал мне, и я не просыпался, когда они расходились глубокой ночью, а иногда и под утро».

Но в отличие от своего сверстника Савелия Тартаковера, немало времени проводившего в казино, Левенфиша, как мне кажется, влек к картам не только элемент умственной борьбы и азарт игрока. Для людей его поколения и той же культурной среды встречи за карточным столом, контакт друг с другом были одной из немногих возможностей уйти от мрачной повседневности в свой, другой мир. От действительности, где не было свободы высказывания, к чему они были приучены раньше, — в мир, куда не было доступа тоталитарному государству, не научившемуся еще контролировать мысль. С ними случился своего рода анабиоз, бывающий у рыб зимой; так и они, стараясь не думать о том, что происходит вокруг, говорили карточными терминами или о ничтожных вещах, похоронив внутри себя совсем другое. Для того чтобы выжить, они должны были или конформировать, или мимикрировать, и не было готовых рецептов, как достойно прожить жизнь в то страшное время. Конформизм означал потерю души, мимикрия же приводила к перениманию черт и черточек, привычек и обычаев окружающей среды. Может быть, поэтому, когда я застал еще людей этого сорта в 60-х годах, они не казались мне инопланетянами, а выглядели обычными людьми, разве что с вкраплениями чего-то, на чем невольно останавливался взор и слух, привыкшие к серости и однообразию.

Во время московских международных турниров Левенфиша не раз можно было увидеть с Капабланкой за игрой в теннис. Высокий, элегантный, в белом теннисном костюме, он появлялся на корте в ту пору, когда этот спорт был действительно элитарным, особенно в Советском Союзе. Там предпочитали парады физкультурников, показательные воздушные праздники в Тушино, массовые забеги, оздоровительные упражнения в Парках культуры и отдыха или футбольные матчи «Динамо» — ЦДКА.

Он не был безразличен к вину. Но не в том глобальном

саморазрушительном смысле, что было характерно, например, для Алехина; для него это было скорее отношение знатока, гурмана, ценителя. В подготовке к матчу с Ботвинником в 1937 году принимал участие московский мастер Сергей Белавенец. Проводилась она в Крыму, в Коктебеле. «Мы располагались днем на пляже и принимались за анализы, — вспоминал потом Левенфиш. — В перерывах мы погружались в морские волны. В такой обстановке не могло быть и речи о "сухих" анализах». Хотя, кто знает, быть может, отношение к вину было у него сродни отношению китайского философа, много веков назад прибегавшего к вину, чтобы размочить сухой ком, который всегда стоял у него в горле. В состояние транса, впрочем, в то время можно было впасть, и не прибегая к алкоголю. Известно ведь, что Сократ мог выпить сколько угодно вина, но хмелел от самой обыкновенной лжи.

В период с 1926 по 1933 год Левенфиш почти не выступает в соревнованиях. Эпизодическую игру в турнирах он пытается совместить с работой по специальности. Это логически вытекало из решения, принятого еще в декабре 1913 года, когда Левенфиш, принимая участие в мастерском турнире, отборочном к большому Петербургскому турниру, по ночам готовил защиту дипломного проекта в институте.

Он был химиком, специалистом по стеклу, а в шахматах оставался любителем, «аматёром». Слово это, поначалу имевшее один только смысл — «тот, кто любит», — приобрело постепенно некоторый негативный оттенок, особенно в устах шахматных профессионалов. Тогда же, в начале 30-х, молодые советские мастера, уже отдававшие львиную долю своего времени шахматам, смотрели на Левенфиша примерно так же, как профессионалы Запада - на Эйве, который стал чемпионом мира, не оставляя при этом работу учителя математики в лицее. Впоследствии сам Левенфиш скажет: «При современном уровне развития шахмат поддерживать свою технику на должной высоте можно лишь при одном условии: заниматься только шахматами. Падение класса неизбежно при отсутствии практики и не может быть компенсировано домашней аналитической работой». И все же долго, очень долго он не хотел уходить в шахматы, пытаясь комбинировать игру с основной работой. Конечно, он не хотел покидать тот круг профессорско-преподавательской среды петербургской интеллигенции, который сложился в городе в первое десятилетие советской власти, — его круг. Круг людей, пытавшихся, как и он, удержаться на маленьком островке русской культуры, уже размытом и погибающем.

Но не это, как мне кажется, было главное. Любя шахматы и во

многом живя ими, он не хотел посвятить жизнь исключительно игре, полагая такое решение верным только для немногих избранных. Это пришло еще из 19-го века, когда шахматы были скорее развлечением, интеллектуальной забавой наряду с главным, серьезным занятием и не могли и не должны были быть профессией. Ласкер писал: «Конечно, шахматы, несмотря на их тонкое и глубокое содержание, являются лишь игрой и не могут требовать к себе такого же серьезного отношения, как наука и техника, которые служат насущным потребностям общества; еще менее их можно сравнивать с философией и искусством». Незадолго до смерти Чигорин говорил своим близким: «К чему вообще шахматы? Если это удовольствие, то оно должно проходить как развлечение, после трудовых часов. Ведь нельзя же заполнять свою жизнь интересом к игре, изгнав всё прочее. Посмотрите на иностранцев: тот — доктор, тот — профессор, тот — издатель... Работают и поигрывают. А я?»

Такое отношение было характерно и ко многим другим видам творческой деятельности. «У меня музыка — отдых, потеха, блажь, отвлекающая меня от прямого моего настоящего дела — профессуры, лекций», — писал Александр Бородин, тоже химик по профессии.

«Связь, которая объединяет человека со своей профессией, может быть сравнима с той, которая связывает его со своей страной; она также многостороння и иногда противоречива, и становится понятной только тогда, когда прерывается: ссылкой или эмиграцией в случае проживания в стране, уходом на пенсию - в случае профессии. Я оставил профессию химика уже пару лет, но только сейчас чувствую, скольким я обязан ей и как много ей благодарен. Я хотел бы сказать еще, какими преимуществами я обладаю благодаря ей и какое отношение она имеет к моей новой профессии — писательству. Я должен сразу уточнить: писательство — это не настоящая профессия или, по моему мнению, не должно быть таковым — это скорее творческая деятельность», — полагал замечательный итальянский писатель Примо Леви, после того как окончательно оставил свою основную профессию химика. Вероятно, что-то похожее чувствовал и Левенфиш по отношению к шахматам. Однако на этом сходство и кончается. Если у Леви это решение было осознанным актом, в случае Левенфиша оно было скорее вынужденным.

Авария на железной дороге, вызванная несработавшим семафором, была расценена как вредительский акт. Левенфиш был взят в тот же день и выпущен только после многочасового допроса в ГПУ. Поданная за несколько месяцев до происшествия докладная об изменении технологического процесса

производства стекла спасла его от тюрьмы. Но надолго ли? Само слово «специалист», или «спец», было почти равнозначно слову «вредитель». Сообщениями о судах над «саботажниками» и «вредителями» были наполнены все газеты того времени. На закончившемся в 30-м году процессе «Промпар-тии», руководство которой обвинялось в том, что получало секретные инструкции от Пуанкаре и Лоуренса Аравийского с целью расшатать индустриальную мощь Страны Советов и подготовить почву для иностранной агрессии, государственный обвинитель Крыленко говорил: «Я твердо уверен, что небольшая антисоветская прослойка еще сохранилась в инженерных кругах... В эпоху диктатуры и окруженные со всех сторон врагами, мы иногда проявляли ненужную мягкость, ненужную мягкосердечность...» Тогда же он писал: «Для буржуазной Европы и для широких кругов либеральствующей интеллигенции может показаться чудовищным, что Советская власть не всегда расправляется с вредителями в порядке судебного процесса. Но всякий сознательный рабочий и крестьянин согласится с тем, что Советская власть поступает правильно».

Левенфиш принимает решение: он полностью уходит из химии. Начинается его карьера профессионального шахматиста.

Шахматы, в которых он очутился, были совсем не похожи на те, в которые он играл когда-то в Петербурге или в Карлсбаде. Друзьями и шахматными коллегами его молодости были: барон фон Фрей-ман — участник и призер многих турниров, оказавшийся после революции в Средней Азии, и барон Рауш фон Таубенберг - один из сильнейших игроков университета, долгое время державшийся на плаву в советской России, но угодивший в конце концов в карагандинский лагерь. Профессор Борис Михайлович Коялович, принимавший экзамен по математике еще у студента Левенфиша. Петр Потемкин — поэт и шахматист, эмигрировавший после революции, кружок его имени до сих пор существует в Париже; именно Потемкину обязана своим девизом «Gens una sumus» Международная шахматная федерация. Сергей Прокофьев, страстно любивший шахматы. Киевлянин Федор Богатырчук, регулярно наезжавший в Петербург, впоследствии один из сильнейших шахматистов Советского Союза; после Второй мировой войны жил в Канаде.

Теперь же появилось новое поколение, генетически связанное с советской властью. Его признанный лидер Михаил Ботвинник, уже ставший чемпионом страны, писал в те дни: «Задача, поставленная Крыленко в 20-е года перед советскими шахматистами, успешно решалась — выросло молодое поколение советских мастеров». В их глазах Левенфиш был уже стариком.

Надо ли говорить, что и теннис, и знание иностранных языков, манера одеваться и говорить, весь его облик только подчеркивали разницу между ним и этим новым поколением. У всех появилось высшее образование; оно, разумеется, не шло ни в какое сравнение с дореволюционным, не говоря уже об общей культуре и общем уровне. Известно ведь, что никакое высшее образование не заменит начального, а в молодой Стране Советов первым пытались прикрыть недостатки второго. Бедствие среднего вкуса может быть хуже бедствия безвкусицы — об этом размышлял доктор Живаго, и Левенфишу тоже было с чем сравнивать.

Конечно, всегда, во все времена молодежь считала, что для уходящих со сцены игра уже закончена. Но теперь к естественному процессу смены поколений примешивался еще и ярко выраженный политический оттенок. В глазах комсомольцев и тем более людей, стоявших во главе советских шахмат, Левенфиш был из «бывших». В лучшем случае он был «попутчиком», но всегда, даже когда обрел какие-то внешние черты советского человека, оставался «не наш». Теперь пришло их время - Молодых строителей нового мира, рвущихся догнать и перегнать шахматистов буржуазных стран под звуки зовущей вперед песни:

Всё выше, выше и выше Стремим мы полет наших птиц, И в каждом пропеллере дышит Спокойствие наших границ.

Уверенные и напористые, они не знали сомнений ни в чем, и в этом движении вперед их поддерживало молодое, такое удивительное государство, которое, казалось, возводится на века.

Нам нет преград ни в море, ни на суше, Нам не страшны ни льды, ни облака. Пламя души своей, знамя страны своей Мы пронесем через миры и века.

Журнал «Шахматы в СССР» писал в 1936 году: «Советский шахматный стиль, как это уже общеизвестно, отличается агрессивностью... Разве вообще для советского стиля не характерна прежде всего борьба? Советский стиль — это стахановское движение. А стахановское движение - это борьба и победа. Сталин требует побед! И стахановцы борются и побеждают. Побеждают, овладевая техникой. Техника — их орудие. Также и в шахматах теория игры, все знания и принципы — это орудие борьбы. Шахматная теория, шахматные анализы и комментарии, шахматная композиция — всё это играет служебную и подчиненную роль по отношению к основному в шахматах — шахматной партии, которая есть не что иное, как борьба». Трескучая фразеология с очевидным агрессивным оттенком, перенесенная в шахматы, присутствовала всегда и в речах наркома юстиции Николая Крыленко. «Мы должны раз и

навсегда покончить с нейтралитетом шахмат. Мы должны раз и навсегда осудить формулу "Шахматы ради шахмат" как формулу "Искусство для искусства". Мы должны организовать ударные бригады шахматистов и начать немедленное выполнение пятилетнего плана по шахматам», — провозглашал он.

Крыленко был одиозной фигурой, доктринером и фанатиком, но страстно любил шахматы и альпинизм. Еще до революции он окончил два университета: Петербургский (историко-филологический факультет) и Харьковский (юридический). Решением Ленина тридцатидвухлетний прапорщик был назначен Верховным главнокомандующим и наркомом по военным делам. С 1924 года и до ареста в

1938-м он стоял во главе советских шахмат, которые ему обязаны очень многим. «Главковерхом советской шахматной школы» называл его Ботвинник. В одном из номеров журнала «64. Шахматы и шашки в рабочем клубе» за 1927 год был напечатан призыв о сборе взносов на постройку самолета, названного именем Крыленко.

Во время Третьего московского турнира он писал: «Пусть знает буржуазия всего мира и все ее прихвостни внутри и вне нашей страны: у нас не дрогнет рука, чтобы беспощадно раздавить извивающуюся гадину контрреволюции, стереть с земли всякого, кто посмеет стать на дороге нашего планового социалистического строительства». Крыленко был казнен в годы Большого террора, но до этого сам отправил на эшафот тысячи невинных людей. «Бритая голова с резкими чертами лица, проницательные глаза, свободная, небрежная речь с аристократическим грассированием, неизменные френч и краги — таков был внешний облик одного из популярных соратников Ленина. Добрый, справедливый, принципиальный и шахматы любил безумно». Таким запомнился Крыленко Ботвиннику. Но не всем. В 1918 году в Москве он произвел на Брюса Локкарта, впоследствии замминистра иностранных дел Великобритании, впечатление «дегенерата-эпилептика», а Иванов-Разумник, сидевший с Крыленко в 38-м в одной тюремной камере, называет его «пресловутым и всеми презираемым Народным комиссаром юстиции», вспоминая, что и место ему было отведено соответствующее: под нарами...

Своего идеологического пика шахматы достигли в 1936 году, когда «Правда» посвятила передовую статью победе Ботвинника в Ноттингеме. Газета писала: «Единство чувств и воли всей страны, огромная забота о людях советской власти, коммунистической партии и прежде всего товарища Сталина — вот первоисточники побед советской страны, будь это в области завоевания воздуха,

на спортивных стадионах Чехословакии или за шахматными столиками Ноттингема. Сидя за шахматным столом в Ноттингеме, Ботвинник не мог не чувствовать, что за каждым движением его деревянных фигурок на доске следит вся страна, что вся страна, от самых углов до кремлевских башен, желает ему успеха, морально поддерживает его. Он не мог не ощущать этого мощного дыхания своей великой Родины».

В том же году была принята Конституция СССР. А Союз писателей предлагал такое деление поэтов: первые — только по паспорту, а не по духу советские (к ним в числе прочих отнесли Мандельштама); вторые — «гостящие» в эпохе (сюда определили Пастернака); и наконец — настоящие советские поэты.

Если провести аналогию с шахматами, Левенфиш попадал в первую, в лучшем случае во вторую категорию, в то время как Ботвинник, без сомнения, составлял гордость третьей.

«В девять лет я начал читать газеты и стал убежденным коммунистом. Стать комсомольцем было трудно - школьников почти не принимали. Я долго этого добивался (брат уже был комсомольцем) и наконец в декабре 1926 года стал кандидатом в члены комсомола»,

— писал Ботвинник в своих воспоминаниях. Слова Крыленко о матче с Флором: «Ботвинник в этом матче проявил качества настоящего большевика» — навсегда останутся для него высшей похвалой. Он не предполагал размаха и ужаса террора и гордился сталинскими словами «Молодцы, ребята», сказанными после выигрыша радиоматча СССР — США (1945), и говорил с пиететом о власть имущих

— на самом деле людях ничтожных, а порой — отвратительных. «Шахматы ничем не хуже скрипки», — утверждал Ботвинник, и

поэтому игра в шахматы требует абсолютной тишины. Идеальные условия были достигнуты в Колонном зале Дома Союзов в 1941 году во время матч-турнира на звание абсолютного чемпиона СССР. Ботвинник: «По среднему проходу гулял блюститель порядка в милицейской форме. Один раз недисциплинированный зритель был выведен и оштрафован».

«Я не думаю, что Левенфиш был антисоветчик», — сказал Ботвинник, когда я в начале 90-х годов расспрашивал его о событиях тех лет. И хотя Советский Союз уже не существовал, слово «антисоветчик» он произносил так, что от того веяло холодом 58-й статьи. Определения же «верный ленинец», «старый большевик», «советский» выговаривались им гордо и торжественно, хотя тогда они давно изжили себя и имели прогорклый привкус, который нельзя было заглушить ничем.

Впрочем, несмотря на ортодоксальность мышления и категоричность суждений, Ботвинник любил цитировать в близком кругу формулу пушкинского Савельича, советовавшего, как известно, поцеловать у злодея ручку, а потом и сплюнуть.

«Был всегда как одинокий одичалый волк», - говорил Ботвинник в ответ на мои расспросы о Левенфише, а когда я пытался вставить что-то о волке, которого травили и не пускали за «флажки», отвечал, что не уверен, так ли это важно, и неодобрительно качал головой.

«В конце концов ему уж и не так плохо жилось в Советском Союзе», — утверждал он и смотрел на меня сквозь толстые стекла очков. И взор этот выражал: он же выжил, не был репрессирован, был известным человеком в стране, он не бедствовал в прямом смысле этого слова, а в отношении остального — что ж вы хотите, тогда время было такое. И по-своему был прав.

«Не было, не было и быть не могло, чтобы на Левенфиша могло быть оказано давление, дабы он проиграл мне партию», — сердился Ботвинник, когда заходила речь о Третьем московском турнире 1936 года. Видимо, позабыв, как на финише предыдущего турнира, когда они с Флором остро конкурировали, к нему в номер зашел Крыленко и предложил: «Что скажете, если Рабинович вам проиграет?»

На сей раз Капабланка, соперником которого был Элисказес, опережал Ботвинника на пол-очка, но тому предстояла партия с Левен-фишем. «Положение ваше затруднительно. Все поклонники Ботвинника жаждут вашего поражения, — говорил Капабланка Левенфишу во время прогулки в саду у Кремлевской стены в день тура. — Не беспокойтесь, я вас выручу и выиграю у Элисказеса». Он действительно выиграл, а партия Левенфиш — Ботвинник закончилась вничью. Рассказывая об этом эпизоде в книге, Ботвинник с плохо скрываемым раздражением употребляет странно звучащий по-русски оборот: «Левенфиш позволил себе распустить слух, что его заставляют проиграть в последнем туре». Но чем больше он сердился и говорил «не было», тем становилось очевиднее: было, было.

На многих страницах его книги можно найти ситуации, когда исход партии предлагалось решить не за шахматной доской, потому что речь шла о престиже советских шахмат и как следствие — всего советского государства. Перед началом московской половины матч-турнира 1948 года Ботвинника вызвали на заседание Секретариата ЦК. Председательствовал Жданов — один из ближайших сподвижников Сталина. В последней редакции книги Ботвинник так рассказывает об этом: «Но все же мы опасаемся, что чемпионом мира станет Решевский,

— сказал Жданов. — Как бы вы посмотрели, если бы советские участники проигрывали вам нарочно?» Я потерял дар речи. Для чего Жданову надо было меня унижать? За последние годы я играл в семи турнирах и во всех был первым, продемонстрировав явное превосходство над своими противниками... Снова обретаю дар речи и отказываюсь наотрез. Однако Жданов продолжает настаивать, а я отказываюсь. Беседа оказалась в тупике... Чтобы кончить спор, предлагаю компромисс: «Хорошо, оставим вопрос открытым, может быть, это и не понадобится?» Жданов явно обрадовался возможности такого решения. «Согласен, — сказал он. — Мы ВАМ (на этом слове он сделал ударение) желаем победы...»

Ботвинник искренен и абсолютно уверен в своей правоте, когда неоднократно говорит о своих письмах, телефонных звонках и обращениях к людям, имена которых знал каждый в стране и мнения которых были выше каких бы то ни было законов. А вот звонок партийного бонзы с целью отложить из-за болезни Таля начало матча-реванша вызывает у него гневную реакцию: «Это вмешательство в шахматы со стороны власть имущего меня возмутило, и я потерял самообладание». Надо ли говорить, что матч-реванш начался точно в срок.

Любая дискуссия о тех временах исключалась. Я натыкался на стену; его мнение, сформировавшееся раз и навсегда, оставалось незыблемым. Если же я настаивал или применял, как мне казалось, сильные аргументы, разговор заканчивался реакцией, аналогичной сталинской во время знаменитого телефонного звонка Пастернаку, когда в ответ на предложение поэта встретиться и поговорить о жизни и смерти вождь просто повесил трубку.

В 1991 году в Брюсселе журналист, уже закончив интервью, спросил его: «Понятно, что вы сейчас не можете бороться за первенство мира, но почему бы вам иногда не поблицевать или не поиграть в шахматы просто так, для своего удовольствия?» — «Молодой человек, — ответил Ботвинник, не глядя на того, - запомните: я никогда не играл в шахматы для своего удовольствия». Вспомнилось кантов-ское: «Никогда не может быть истинного удовольствия там, где удовольствия превращаются в занятия». В его случае объяснение кажется очевидным: он всегда, даже в молодости, относился резко отрицательно к блицу, шлепанью по доске фигурами, легковесности. Но такое объяснение недостаточно: не для удовольствия играл Ботвинник, но следовал предназначению, считая, что выполняет дело жизни, дело, которое доверила ему Родина.

Книга воспоминаний Ботвинника называется «К достижению

цели». Цель в жизни у него была одна: завоевание для своей страны звания чемпиона мира. И он шел к ней, сметая все преграды, но задумывался ли он о смысле?

Об этом — Надежда Мандельштам: «Цель и смысл не одно и то же, но проблема смысла в молодости доступна немногим. Она постигается только на личном опыте, переплетаясь с вопросом о назначении, и потому о ней чаще задумываются в старости, да и то далеко не все, а только те, кто готовится к смерти и оглядывается на прожитую жизнь. Большинство этого не делает».

Книга Ботвинника первоначально носила название «Только правда». События и факты, пропущенные через призму своего «я», казались ему единственно истинными. Слова Руссо: «Может быть, мне случалось выдавать за правду то, что мне казалось правдой, но я никогда не выдавал за правду заведомую ложь» — показались бы ему слишком мягкими. Зато изречение Марко Поло: «Всё, что рассказал о саламандре, — то правда, а иное, что рассказывают, — то ложь и выдумка» — могло бы стать достойным эпиграфом к его книге.

Вместе с тем был он теплым и участливым к тем, кого считал своим другом; требовательным, но опекающим и заботливым, если речь шла об учениках; вежливым и учтивым с окружающими. И те, кто знал его с какой-либо одной стороны, твердо держались за своего Ботвинника.

Он цитировал время от времени русских классиков, которых помнил еще со школьной скамьи. Юмор его был по-детски непритязателен: «Как спали, Михаил Моисеевич?» — «А нисево, нисево...» Одевался скромно, был очень аккуратен и в быту неприхотлив до аскетизма. «Как вы думаете, Геннадий Борисович, сколько лет этим шлепанцам?» На вид домашние тапочки были куплены в Гронинге-не в 1946 году, что, как оказалось, было не так уж и далеко от действительности.

Гордость за советскую Родину сочеталась у него с безграничным уважением к предметам, приобретенным за границей. Перед турниром в Ноттингеме Ботвинник с женой был несколько дней в Лондоне. «За пять фунтов жена становится владелицей изящного бежевого костюма (ту писес). Сносу костюму не было — двадцать лет спустя его донашивала дочь, когда ходила в туристские походы».

Форсунка для отопления дачи, «но только чтобы обязательно со шведской станиной, только со шведской», бесперебойно работала в течение семнадцати лет, а паровой котел, заменивший ее и купленный в Германии, был настолько высокого качества, что Ботвинник «стал популярен среди сотрудников Одинцовского газового хозяйства». Рассказы о покупках с десяти-, а то и

двадцатипроцентной скидкой, умелых переговорах по этому поводу, памятный приезд в Ноттингем: «От пансиона я отказался; шутка ли, неделю платить втридорога за двоих — это было не по моим правилам!» - превращали его в милого советского туриста, которого на мякине не проведешь.

В последней редакции, просмотренной Ботвинником незадолго до смерти, его книга стала называться «У цели», на что Смыслов не без сарказма спрашивал: «А у какой, собственно говоря, цели?» Книга расширена, даны последние события, реабилитирован Бог, пишущийся с большой буквы, как принято сейчас в России. Это звучит диссонансом со всем содержанием, но он покорно согласился на нововведение: «Пусть будет так, хотя мне это совершенно безразлично». Тогда же он сказал: «Да, я коммунист в духе первого коммуниста на Земле — Иисуса Христа». Он был, разумеется, верующим человеком, только верил в некую абстракцию, пропущенную через призму собственного «я», собственного предназначения, собственной правды.

Он — победитель. Он достиг своей цели. Подводя итоги, он сам говорит об этом: «Да, условия, в которых действуют люди, меняются. Они со временем растворяются в истории, а подлинные достижения остаются». Он не растворился и не изменился. На последних страницах книги он всё тот же — ученик 157-й единой трудовой школы Ленинграда, комсомолец Миша Ботвинник. Он совсем не изменился за семьдесят лет, и, слушая его искренний и страстный монолог, задумываешься поневоле над конфуцианским: «Лишь самые умные и самые глупые не могут измениться».

Мнительный и подозрительный, обладавший железной волей и редкой целеустремленностью, сотканный из противоречий, он был в то же время очень цельной натурой. И когда Михаил Ботвинник садился за шахматную доску или писал о шахматах, он становился тем, кем навсегда останется в истории: одним из самых выдающихся чемпионов, поднявшим шахматы на качественно новую ступень всестороннего изучения и глобальной подготовки.

Шахматы, как и всё тогда в Стране Советов, были пронизаны идеологией: инструкциями, обязательствами, лозунгами и призывами. Но по сравнению с литературой, историей, философией или наукой была и разница. Она заключалась в самих шахматах! В честном поединке за доской, в самой игре, правила и принципы которой остаются неизменными на протяжении нескольких веков, игре, о которой Ласкер сказал: «На шахматной доске лжи и лицемерию нет места. Красота шахматной комбинации в том, что она всегда правдива.

Беспощадная правда, выраженная в шахматах, ест глаза лицемеру». Поэтому в советских шахматах в отличие от той же литературы не было искусственно созданных авторитетов или раздутых величин, ничтожных писателей, имена которых гремели тогда и полностью забыты сегодня. Вот почему для Левенфиша, как и для многих до и после него, уход в шахматы означал уход в убежище. В укрытие, где, несмотря ни на какие внешние помехи и факторы, в конечном счете решают твое умение и понимание событий, происходящих на шахматной доске.

Левенфиш стал профессионалом в сорок четыре года — случай, уникальный для шахмат. Конечно, он был уже очень сильным игроком с огромным опытом, но сейчас ему впервые в жизни представилась возможность серьезно заняться шахматами. И результаты не замедлили сказаться: Левенфиш выигрывает (вместе с Ильей Рабиновичем) девятый чемпионат СССР, оставив позади всё молодое поколение: Алаторцева, Белавенца, Кана, Лисицына, Макогонова, Рагозина, Рюмина, Чеховера, Юдовича. Всех, кроме Ботвинника, который в турнире не участвовал.

Затем он играет в двух московских международных турнирах. Хорошие партии чередуются у него с грубыми зевками, нередко в выигранных позициях, как, например, в партии с Чеховером из турнира 35-го года, когда победа на финише выводила его на самый верх турнирной таблицы. Интересно протекают его партии с Ласкером. Две из них заканчиваются вничью, а партию второго круга турнира 36-го года, их последнюю встречу, выигрывает Ласкер, взяв реванш за поражение в турнире 1925 года.

Но Левенфиш встречается с Ласкером не только за шахматной доской. Экс-чемпион мира постоянно живет тогда в Москве. Если инфляция в Германии после Первой мировой войны разрушила его материальное благополучие, то приход к власти Гитлера означает прямую угрозу его жизни. Ласкер всерьез задумывается об эмиграции. Он -сын кантора и внук раввина; не случайно поэтому первая мысль -Палестина. Там уже побывала Эльза Ласкер, бывшая замужем за его старшим братом Бертольдом, берлинским врачом. Вскоре она, значительная немецкая поэтесса, окончательно переселяется в Палестину.

В начале 1935 года начинается обмен письмами между Ласкером и известным еврейским ученым Тур-Синаем, которого Ласкер знал еще по Германии под фамилией Турчинер. Речь идет о предоставлении Ласкеру ставки профессора математики в Хайфском Технионе. Дело это, однако, непростое, возможности Техниона ограниченны, к тому же в Палестину хлынул поток еврейских беженцев из Германии с университетским образованием и высоким интеллектуальным уровнем. Переговоры

заходят в тупик.

Но есть еще одна страна, где Ласкер не раз бывал и о которой сохранил самые лучшие воспоминания. Это — Россия. Конечно, сейчас она превратилась в Советский Союз, но разве не писал «Шахматный листок» еще зимой 1924 года: «Привет величайшему шахматному мыслителю Эмануилу Ласкеру, первому заграничному гостю в шахматной семье СССР»? Разве не встречали его тогда, как никогда и нигде в Европе?

Он помнит очень хорошо и турнир 25-го года: толпы восторженных болельщиков, конную милицию, с трудом сдерживающую напор толпы, безуспешно пытавшейся проникнуть в гостиницу «Метрополь», гром аплодисментов, крики «Браво, Ласкер!», когда он спускается со сцены. Помнит, как Капабланка проводил в Кремле сеанс одновременной игры, в котором принимали участие члены советского правительства. И Ласкер принимает решение: после турнира 1935 года он остается в СССР.

Престарелому шахматному королю были оказаны в Москве поистине королевские почести. Вскоре, однако, наступили будни. Внешне всё выглядит очень пристойно: Ласкер — сотрудник Института математики Академии наук СССР, он зачислен тренером сборной страны. Он выступает еще время от времени с сеансами и лекциями; на его лекции в Ленинградской филармонии об итогах матча Алехин — Эйве зал переполнен. Но постепенно его окружает тишина. Вследствие языкового барьера общение его ограничено только очень узким кругом людей. Они с женой пытаются учить русский язык, но легко ли это, когда тебе уже под семьдесят. Но дело было, конечно, не только в языке. Смертельная опасность общения с иностранцем была очевидна тогда для каждого гражданина СССР, поэтому те несколько человек, которые осмеливались заходить к нему, наверняка находились под абсолютным контролем НКВД. Он оказался в вакууме.

Это был самый разгар Большого террора, и узкий круг, который окружал Ласкера, постепенно редел. Без сомнения, телефон его прослушивался, а домработница Юлия должна была доносить о каждом шаге и каждой встрече его. Тот факт, что он стар и является мировой известностью, не мог служить никакой гарантией в те сюрреалистические, оруэлловские времена, когда следователь НКВД мог заявить еврею-заключенному, вырвавшемуся из фашистского ада, что «еврейские беженцы из Германии - это агенты Гитлера за границей». В здании, где Ласкер еще несколько месяцев назад играл в шахматы, вереницей шли показательные процессы, и шапки всех газет единодушно требовали: смерти.

Мог ли не понять Ласкер того, что понял в те дни Андре Жид: «Не думаю, чтобы в какой-либо стране сегодня, хотя бы и в гитлеровской Германии, сознание было так несвободно, было бы более угнетено, более запугано, более порабощено»? Мог ли он не догадываться о происходящем, сам сказавший однажды: «Можно заблуждаться, но не следует пытаться обманывать самого себя!»

В октябре 1937 года Ласкер, проведя в Советском Союзе в общей сложности около полутора лет, уедет в Америку. Формальный повод — повидаться с дочерью жены от первого брака. В воспоминаниях, опубликованных после смерти мужа, Марта Ласкер говорит об этой поездке как о небольшой экскурсии с непременным возвращением в Москву. Однако со стороны это похоже скорее на бегство.

В Нью-Йорке его ждала другая жизнь. Не было государственной квартиры, не было и должности тренера сборной страны — фактически оплачиваемой синекуры, и уж точно не было нарядов конной полиции, сдерживающей напор зрителей, стремящихся посмотреть на участников нью-йоркского турнира 1940 года, его последнего турнира в жизни. Зато в Америке он получил взамен кое-что другое: язык, который знал с юности, человеческие отношения, к которым привык, возможности сказать и написать то, что он действительно думает. Свободу.

В 1937 году Левенфиш снова выигрывает первенство страны. И снова в турнире не участвует Ботвинник. Он вызывает Левенфиша на матч. Матч заканчивается вничью, и Григорий Яковлевич сохраняет звание чемпиона СССР. Это его звездный час, и он мечтает о международном турнире. Ботвинник играл за границей уже дважды — в Гастингсе и Ноттингеме, да и Рагозину, успехи которого были много бледнее, чем у Левенфиша, было позволено сыграть в Земмеринге.

Но не спортивные успехи явились решающим фактором в определении советского участника АВРО-турнира. Личные контакты Ботвинника, знакомства в самых высших сферах, его молодость и политическая лояльность, наконец, установка «советским шахматам нужен только один лидер» решили дело однозначно: на турнир поехал Ботвинник. Сам он скажет впоследствии ясные, но и жестокие слова: «В жизни мне повезло. Как правило, мои личные интересы совпадали с интересами общественными - в этом, вероятно, и заключается подлинное счастье. И я не был одинок — в борьбе за общественные интересы у меня была поддержка. Но не всем, с кем я общался, так же повезло, как и мне. У некоторых личные интересы расходились с общественными, и эти люди мешали мне работать. Тогда и возникали конфликты».

Сергей Прокофьев, будучи страстным любителем шахмат, не всегда оставался в роли наблюдателя или пассивного болельщика. Время от времени он выступал в качестве шахматного журналиста. Его заметка, написанная для ТАСС об АВРО-турнире, никогда не увидела света. Вот один из абзацев: «Можно еще многое сказать о других участниках, но мне хотелось бы упомянуть тут об одном советском шахматисте, который, хотя и не сражается в Амстердаме, мог бы там произвести немалые разрушения. Я имею в виду Левенфиша, проявившего исключительные боевые качества в ничейном матче против Ботвинника».

Но не только Левенфиша не было в Амстердаме. Не пригласили и Ласкера, окончательно списанного в старики. Комментарий Тар-таковера: «Все-таки даже полуживой Ласкер играет не хуже любого другого силача, да и приглашение Левенфиша (на котором настаивал Капабланка в переговорах с устроителями турнира!) тоже было резонным».

Вероятно, так оно и было, но я думаю, тем не менее, что ни Ласкер, ни Левенфиш не смогли бы составить конкуренцию молодому поколению - победителям турнира Кересу и Файну и занявшему третье место Ботвиннику.

Статью об итогах АВРО-турнира написал Левенфиш. Несмотря на горечь и несбывшиеся надежды, он, как всегда, предельно объективен. Очевидно, что Григорий Яковлевич очень хорошо понимал, какой огромной, всесокрушающей силы шахматистом был Ботвинник. Отдавая должное его игре, он пишет: «Особенно следует остановиться на партии Ботвинник — Капабланка, которой был бы обеспечен приз за красоту в любом международном турнире. Это художественное произведение высшего ранга, которое войдет на десятки лет в шахматные учебники. Такая партия, на мой взгляд, стоит двух первых призов и свидетельствует о дальнейшем росте советского гроссмейстера, являющегося теперь бесспорным претендентом на борьбу за мировое первенство».

Но для Левенфиша эта несостоявшаяся поездка в Амстердам означала крах всего. Вот как он сам оценивал это много лет спустя: «Я считал, что победы в девятом и десятом первенствах СССР и ничейный результат в матче с Ботвинником дают мне право на участие в АВРО-турнире. Однако на этот турнир, вопреки всем моим надеждам, меня не командировали. Мое состояние можно было определить как моральный нокаут. Все усилия последних лет оказались напрасными. Я чувствовал себя уверенным в своих силах и, несомненно, боролся бы с честью в турнире. Но мне исполнилось 49 лет, и было очевидно, что

будущие годы отрицательно скажутся на силе моей игры и что я теряю последнюю возможность проявить себя. Я поставил крест на своей шахматной карьере и, хотя в дальнейшем участвовал в нескольких соревнованиях, только в редких случаях играл с подъемом и спортивным интересом».

О тех далеких годах вспоминают Бронштейн, Тайманов, Смыслов. Они знали Левенфиша, когда были молоды, но по-настоящему смогли оценить только сейчас, когда сами пересекли семидесятилетний рубеж. И взглянув на человеческую жизнь в полном ее объеме, а не только через призму чемпионских регалий, титулов и званий.

Давид Бронштейн: «Я следил за партиями Левенфиша еще совсем ребенком. В 37-м или 38-м году он приезжал к нам в Киев и останавливался в «Континентале». И я с другими мальчиками пришел к гостинице, чтобы проводить его на сеанс во Дворец пионеров.

Конечно, он был выдающийся гроссмейстер, и игрок очень глубокий, и аналитик блестящий, но тогда ведь было другое время, другая игра. Чтобы по-настоящему понять, как он играл, надо его партии посмотреть, ведь поколение, идущее на смену, судит о предыдущем только по дебюту. Я и сам так смотрел, а сейчас тем более смотрят, ведь от дебюта теперь фактически всё зависит...

Помню, Григорий Яковлевич мне говорил, что Капабланка ему лично прислал приглашение на АВРО-турнир, но вмешался в дело Ботвинник; он ведь был как молотобоец, стоял в кругу и махал молотом вокруг головы, всех разгоняя. Вот всех и разогнал».

Марк Тайманов: «Левенфиш был моим главным учителем в ленинградском Дворце пионеров. Занятия Григорий Яковлевич вел тщательно, было у него много собственных анализов и записей, я это оценил позже, когда стал заниматься у Ботвинника. Он вообще никогда ничего не показывал. Более того, он давал задания по критическим дебютным позициям своим ученикам и неделю или две на анализ. После чего сопоставлял их выводы со своими и применял вариант на практике. Да он и не скрывал этого: после того как выиграл чемпионат Союза, поблагодарил своих учеников, оказавших ему помощь в подготовке.

Помню свою первую с ним партию в чемпионате Ленинграда, когда я предложил ничью в примерно равной позиции. «Молодой человек, - ответил Левенфиш, - вы должны подождать, пока я вам предложу ничью, ведь я много старше вас». Тогда я робко так сказал: «Получается, что мне и некому предлагать ничью в этом турнире, ведь все старше меня». Он засмеялся, и через несколько

ходов партия закончилась вничью.

Вершиной его творческих достижений, безусловно, является матч с Ботвинником, здесь он развернулся вовсю. Григорий Яковлевич был шахматистом настоящего масштабного мышления и стратегом глубоким, что в этом матче и показал. Человек он был саркастичный и малокоммуникабельный».

Василий Смыслов: «Партии матча Левенфиш — Ботвинник я и сейчас помню хорошо. Был Григорий Яковлевич тогда в блестящей форме и играл замечательно, и матч не проиграл, и звание чемпиона сохранил. А ведь известно, что тот чемпионат страны был рекомендательным для посылки на АВРО-турнир. Но отправился тогда Михаил Моисеевич куда надо, а у Григория Яковлевича не было столь высоких знакомств, это и сыграло решающую роль. К тому же Ботвинник был очень правильный молодой человек, а Левенфишу к тому времени уже под пятьдесят было; хотя, нет слов, хорошо играл тогда Михаил Моисеевич, но я о правовой стороне вопроса говорю... Да уж, конечно, невыездной был Григорий Яковлевич оттого, что войной пошел на Михаила Моисеевича, опрометчивый поступок совершил. Потому и комментировал он партии, которые я у Ботвинника выигрывал, что и говорить, с немалым удовольствием...

С большим интересом наблюдал я за Левенфишем, когда играл с ним уже сам в ленинградском турнире 1939 года. Был он для меня примером во всех смыслах. Играл и в том турнире и Керес с Решевс-ким. Официально он назывался тренировочным. Решевский спросил еще тогда, отчего турнир называется тренировочным. Ему сказали — оттого, что призов нет, вот оттого и тренировочный. Помню еще, играл Левенфиш с Флором и в эндшпиле грубо ошибся и проиграл, хотя техника у него была вообще высокая. Тогда из публики спросили еще: а почему вы здесь так не сыграли, пассивно обороняясь? А он в сердцах так отвечал: что же я, до утра здесь играть буду, что ли... Но уже через пятнадцать минут сел за другую отложенную, с Ильей Рабиновичем, и выиграл. И был уже в благодушном настроении. Вижу, как сейчас, его за анализом, фигуркой так пристукивал, так, мол, и так, так и этак. Мог и вспылить Григорий Яковлевич, эмоционален был. Был он игрок, и игрок зачастую азартный, в отличие от Романовского, который больше был романтиком, педагогом, методистом, учениками был окружен. Понимал ли он, что такое советская власть и в каком государстве живет? Всё, всё прекрасно понимал Григорий Яковлевич, и лучше многих еще понимал».

Это был последний международный турнир, в котором играл Левенфиш. Международным, впрочем, его можно было назвать

весьма условно: иностранцами являлись фактически только Керес, выступавший за пока еще независимую Эстонию, да американец Решевский. Флор же и Лилиенталь уже жили в Советском Союзе, который был представлен еще четырнадцатью участниками. Но даже с этим «условным» международных турниров набралось у Левенфиша всего пять за всю карьеру: еще три московских и тот далекий памятный в Карлсба-де. Его шахматная карьера фактически закончена. В девяти предвоенных чемпионатах страны он дважды был первым, два раза вторым, три раза третьим. Он играл с шестью чемпионами мира. Баланс таков: с Ласкером, Эйве, Алехиным - счет равный, Капабланке одну партию проиграл, у Смыслова одну выиграл, а противостояние с Ботвинником дало небольшой перевес последнему: +8—6=8.

Вскоре началась война, и Левенфиш был вынужден снова на несколько лет отказаться от шахмат. Нельзя сказать, что шахматная жизнь в стране полностью заглохла в эти годы. В 1943 году состоялся сильный двухкруговой турнир в Свердловске с участием Ботвинника, Смыслова, Болеславского, Рагозина. А вот Левенфиш решил не играть. «Приглашали меня в Свердловск на шахматный турнир, — писал он дочери в марте, — но я отказался. Не представляю себе, как можно сконцентрировать в наше время внимание на одной шахматной доске. А без такой концентрации нельзя добиться хорошего результата». Выиграл тот турнир Ботвинник, победивший в микроматчах всех своих соперников и смотревший на события уже через призму борьбы за мировое первенство: «Во время войны с нацистской Германией задачей советских шахматистов являлось не только сохранение того, что было создано в предвоенное время — массовое развитие шахмат и высокий уровень игры лучших мастеров, — но и подготовка к тому, чтобы после войны добиться завоевания первенства мира».

Длительный отрыв от игры, пошатнувшееся здоровье и возраст — ему уже исполнилось пятьдесят пять — определили уход Левенфиша из больших шахмат. «Тяжелые годы Отечественной войны и работа на заводе окончательно подорвали мое здоровье, — вспоминал он. — Я уже не в силах был выдерживать напряжения борьбы в длительном состязании. Я мог провести неплохо отдельную партию, но затем утомлялся и отдавал очки без боя». Сразу после войны Левенфиш возвращается в Ленинград. Здесь его впервые увидели совсем молодые Корчной и Спасский.

Виктор Корчной: «Я ходил к нему заниматься в 1946 году — было мне пятнадцать лет; помню еще, смотрели мы каталонскую... Вижу его хорошо и в клубе, играющим в винт —

это русский вариант бриджа. Произвел он на меня тогда впечатление человека очень высокой культуры, остроумного и развитого во всех отношениях. Но что это человек из другого мира, я понял, когда узнал Ботвинника; тогда я начал сравнивать. И сравнение это было не в пользу Ботвинника, который на фоне Левенфиша казался человеком неглубоким, и юмор у него был какой-то мелкотравчатый. И был Ботвинник этаким советским интеллигентом, которых насаждали, в отличие от Левенфиша, интеллигента по крови и по воспитанию дореволюционному, которых большей частью уничтожали. Он видел вещи шире, мыслил по-другому, иностранными языками владел...

Пиком его карьеры можно считать матч с Ботвинником, после чего он должен был поехать на АВРО-турнир. Но Ботвинник пошел куда следует, и всё стало на свои места, и не поехал Левенфиш ни на какой турнир. Такие люди, как Левенфиш, так бы никогда не поступили; в этом смысле я и Таля очень высоко ценю, потому что он — один из немногих, кто такое оружие тоже никогда не применял.

Как шахматист был Левенфиш, конечно, тактиком. Разумеется, он владел всеми методами борьбы, но как тактик был особенно силен. Нет, он не был желчный человек, у него было резкое чувство юмора, но желчный — нет. Меня он, во всяком случае, не обижал никогда. Я выиграл у него несколько партий, но он достойно вел себя после поражений, корректен оставался всегда, хотя я был тогда мальчишкой по сравнению с ним.

Но и он у меня фантастическую партию выиграл в 53-м году. Нанес колоссальный тактический удар, написал еще потом в примечаниях, что такой, мол, Корчной тактик отличный, а вот удар просмотрел...»

Борис Спасский: «Левенфиш произвел на меня огромное впечатление, когда во Дворце пионеров показывал партию Алехин — Эйве, блестяще выигранную Алехиным. И партию эту я навсегда запомнил, и манеру, в которой он ее показывал, доступную и скромную. И шахматисты это чувствовали и очень уважали Григория Яковлевича. А вот Ботвинника, наоборот, терпеть не могли, кроме, разумеется, тех, кто его лично не знал, а оглушен был фанфарами или черпал информацию только из газет. И манера изложения Ботвинника была подавляющая, безапелляционная. И как Левенфиш к нему относился — понятно; когда молодой Миша у Ботвинника матч выиграл, радовался Григорий Яковлевич очень, и не только потому, что Таль свежую струю в шахматы внес.

Зак ведь хотел меня сначала Левенфишу передать, и у меня встреча с ним была. Было всё это в 1951 году, мне тогда было

четырнадцать лет; помню, партии ему свои показывал, варианты, горячился очень, совсем как молодой Каспаров. Мы ведь все гениями были в молодые годы. И еще раз был после этого у него и смотрел на него во все глаза...

Он обладал огромным природным талантом и игроком был выдающимся. Левенфиш ведь в 37-м году Ботвиннику матч не проиграл, а тот ведь тогда в расцвете сил был. Инициативу чувствовал прекрасно, играл по позиции, но тяготел к тактике. Поведения за доской был безукоризненного — по части разговоров, полуподсказок, некорректного предложения ничьей; терпеть этого не мог. Это уже потом, после него, росло новое поколение, шпанистое. С болтовней во время игры, сплетнями и всё такое...

А то, что был он жесткий, колючий на словах, то как ему было не быть колючим, когда его советская жизнь фактически уничтожила. В душе же был отзывчивый и очень тонкий. Все его уважали очень, и не случайно первый вопрос, который мне Богатырчук в Канаде в 1967 году задал, был о Левенфише. Узнав, что Григорий Яковлевич вот уже несколько лет как умер, он сказал: «Жалко. Мы ведь так хорошо понимали друг друга». Таких, как Левенфиш, были единицы. Всё, что я о нем знаю, это только хорошее, и представить себе не могу, чтобы о нем что-либо, кроме хорошего, можно было сказать. Сделал он для меня великое дело: когда я мальчонкой еще был, стипендию мне пробил. Одно слово — светлая личность. Но и трагическая. Был он настоящий шахматный великомученик. Я бы и название такое дал для статьи о нем: "Шахматный великомученик". Сохранил я к нему огромное уважение на всю жизнь».

В 1947 году Левенфиш в качестве запасного игрока едет в Лондон, чтобы принять участие в матче СССР — Англия. Это был первый его выезд за пределы Советского Союза. Кроме неприятностей, он ему ничего не принес. Конечно, Левенфишу было приятно получить презент — золотые часы — и письмо от племянника, давно жившего за океаном: «Дорогой дядя! В Америке Вас знают и ценят как выдающегося шахматиста...» Но если часы и письмо были переданы ему со всеми мерами предосторожности, то другая сцена произошла прямо у всех на глазах.

В жизни случается иногда, что события маловажные, незначительные имеют для нас неожиданные, далеко идущие последствия. В 1910 году в Вильно Левенфиш играл матч с шахматистом по фамилии Лист. Как утверждал сам Лист, его настоящая фамилия была Одес и родом он был тоже из Одессы. Чтобы избежать путаницы с получением писем (Одесу в Одессу),

он изменил свою фамилию. Как бы то ни было, матч закончился вничью и почти стерся в памяти Левенфиша. Спустя тридцать семь лет в Англии он повстречал старого знакомца, радостно бросившегося ему навстречу. Сцена эта не осталась незамеченной ни для руководителей советской команды, ни для кое-кого из гроссмейстеров, оповещавших обо всем предосудительном органы госбезопасности. Поведение советского гражданина за границей всегда было строго регламентировано, здесь же нарушение было налицо: старая связь и контакт с представителем капиталистической страны. Левенфиш вспоминал позднее в доверительных беседах, что у него были «большие неприятности». Больше за границу он не выезжал. Вскоре он переехал в Москву, но и здесь его ждали нелегкие времена.

Александр Константинопольский: «Со стороны спортивных властей Левенфиш постоянно встречал предвзятое, а то и недоброжелательное отношение. Он был колюч на язык, любил резать правду-матку, а это не могло нравиться».

Единственный из советских гроссмейстеров он не получал стипендию. «Жил он очень бедно, — вспоминает известный шахматный мастер и литератор Яков Нейштадт, - в комнате с дровяным отоплением в коммунальной квартире. Иногда его можно было встретить в Артистическом кафе напротив МХАТа. И здесь он выделялся по осанке, манерам, умению вести беседу. Он очень нуждался, но никогда ни на что не жаловался. Левенфиш был, конечно, аристократом по духу и воспитанию. Известно ведь, что одно из преимуществ быть аристократом заключается в том, что аристократизм дает человеку силы лучше выносить бедность».

Василий Смыслов: «Высокоинтеллигентный человек был Григорий Яковлевич, а жизнь вел бедную. Трудную жизнь. Был он загнан жизнью и нуждался материально. Выступал он во многих местах, чтобы деньги заработать, и на старости лет был вынужден это делать. Относился он ко мне с большой теплотой, да и я любил его очень.

Уже в последние годы пришел он ко мне как-то с кипой листов — рукописью своей книги по ладейному эндшпилю, попросил проверить. И провели мы с ним так много дней под лампой из севрского фарфора за анализом, за разговорами. Это он сказал, что фарфор севрский; я знал, что лампа старинная, а вот Григорий Яковлевич сразу определил. Я проверял его анализы, где и уточнял, но всю черновую работу он сделал. Единственный раз не могли прийти к соглашению, как написать: обрезанный король, отрезанный король — смеялся всё Григорий Яковлевич...

До сих пор сердце грызет, что не был на похоронах его. Помню, была отложенная позиция, кажется с Хасиным, я доигрывал ее в день похорон, всё пытался выиграть да и не выиграл, конечно. Вот до чего тщеславие-то доводит.

А то, что с Ботвинником вничью матч сыграл, когда тот был в самом соку, свидетельствует о его высочайшей технике и мастерстве. Выдающегося был таланта человек. И память о себе оставил самую светлую».

В этот период Левенфиш много занимается литературной деятельностью. Еще в 1925 году появился его учебник для начинающих, а в 1940-м под редакцией Левенфиша выходит монументальный «Современный дебют», явившийся прообразом нынешней Энциклопедии шахматных дебютов. Его издание прервала война, вышел только первый том, посвященный открытым началам. В сущности, это была первая вручную набранная база данных! Разница заключалась в том, что Левенфиш словами объяснял то, что скрыто сегодня за бездушными значками, стремясь ответить на вопрос, наиболее важный для изучающего: почему?

Его мысли о начальной стадии партии, высказанные более полувека назад, звучат на редкость актуально: «Изучение дебютных систем достигло такой высокой степени развития, что переход в миттельшпиль, а иногда и в эндшпиль предопределяется разыгрыванием дебюта. Поэтому подчас никакая изобретательность в миттельшпиле не может компенсировать дебютных погрешностей. Однако не следует превращать дебют в какой-то фетиш и всю свою энергию тратить на изучение дебютных систем».

Помимо этого фолианта Левенфиш написал еще несколько книг и немалое количество статей. Книга «Теория ладейных окончаний», плод его совместной работы со Смысловым, до сих пор считается одним из лучших справочников по эндшпилю. Для манеры изложения Левенфиша характерны ясность мысли, короткие, отточенные фразы, четко передающие смысл, высокая культура слога. Все эти качества в сочетании с неизменной доброжелательностью и юмором еще лучше проявлялись, когда он читал лекции или просто вел занятия. Романовский утверждал: «Попытки ассоциировать шахматное мастерство с мастерством педагогическим - великое заблуждение. Сочетание высокой педагогики и большого мастерства имеется только у одного человека — это у Левенфиша».

Но Левенфиш пишет не только о проблемах совершенствования шахматиста или на теоретические темы. В майском номере журнала «Шахматы в СССР» за 1950 год

появилась его рецензия на недавно вышедший сборник избранных партий Ботвинника. Скорее даже это была не рецензия, а статья, выражавшая взгляды Левенфиша на творчество не только Ботвинника, но и Чигорина, Алехина, Рубинштейна, на отношение общества к шахматам и на то, что понималось под «советской шахматной школой». Он писал ее в то время, когда отсутствие свободы печатного слова было само собой разумеющейся частью бытия, но он, прямой и эмоциональный, сохранил свойство говорить и писать то, что думал. С постоянной оглядкой, разумеется, на границы, которые не могли быть перейдены ни в коем случае.

Прослеживая путь тогдашнего чемпиона мира, Левенфиш писал: «В 16 лет Ботвиннику присуща трезвость и, можно сказать, сухость шахматного мышления, аналитический талант, самокритичность, трудолюбие и большая теоретическая эрудиция — он уже сложившийся мастер с определенными вкусами. Ботвинник быстро ликвидирует погрешности первых лет — тактические просчеты, углубляет понимание позиционных тонкостей, улучшает технику эндшпиля и к 20 годам завоевывает первенство СССР. В 25 лет Ботвинник уже победитель международных турниров и претендент на мировое первенство». И далее: «В чем же главная сила Ботвинника? В чем секрет его побед над сильнейшими шахматистами мира?.. Неизбежно напрашивается вывод, что до сих пор противники чемпиона мира не смогли разрешить первую основную задачу — противопоставить дебютной стратегии Ботвинника равноценную и поневоле переходили в середину игры с худшими возможностями. Но и в этой стадии партии мастерство Ботвинника стоит на весьма высоком уровне. Техника накопления мелких преимуществ и превращения их в победу напоминает лучшие партии Рубинштейна и Капабланки». И вывод: «Книга Ботвинника — это торжество силы, логики и анализа. Показательно, что даже когда он идет на обоюдоострые варианты, к которым противники заранее готовятся, — и тогда анализ Ботвинника торжествует».

Такая характеристика его творчества чрезвычайно задела Ботвинника. Хотя и позитивная, она выделялась в сплошном панегирическом хоре, раздававшемся со страниц всех изданий того времени и объявлявшем Ботвинника прямым наследнико м Чигорина и Алехина (но и сейчас, годы спустя, она, как мне кажется, очень точно и объективно рисует портрет одного из самых значительных чемпионов за всю историю игры). Однако прежде чем ответить самому, Ботвинник дал возможность выступить Романовскому и Рохлину. Если первый ограничился в

основном теоретическими и историческими экскурсами, то Рохлин обрушил совсем другие аргументы: «На протяжении многих лет Левенфиш не смог увидеть в творчестве Ботвинника и других молодых советских мастеров того принципиально ценного и оригинального, что открывает в наши дни новую главу в истории шахмат... Не случайно мы подчеркиваем научный подход к шахматам как отличительную черту советской шахматной школы. В этом отношении Ботвинник, как новатор шахматной мысли, подобно многим другим деятелям советской культуры, хорошо помнит замечательные слова товарища Сталина о науке, которая "не признает фетишей, не боится поднять руку на отживающее, старое и чутко прислушивается к голосу опыта, практики"». Вслед за этим последовали реплики и других, менее известных. Околошахматная грязца была всегда, во все времена, но в те нешуточные она приобрела особый, зловещий оттенок.

Последнее слово произнес сам чемпион в статье «По поводу трех выступлений» с подзаголовком, типичным для тех времен «В порядке критики и самокритики». Он писал, что «не о "проблеме Ботвинника" должна идти речь, а о советской шахматной школе». И далее: «Советские мастера, перед которыми была поставлена нашей партией, советским народом серьезная цель - завоевание первенства мира, могли ли развивать подобные "творческие" тенденции? Конечно, нет. Мы должны были побеждать иностранных мастеров, и побеждать наверняка... Гроссмейстер Левенфиш игнорирует эти факты, игнорирует и советскую шахматную школу — очевидная и принципиальная ошибка рецензента».

После аргументов такого калибра, хорошо знакомых Ахматовой и Пастернаку, Шостаковичу и Прокофьеву, какие-либо дискуссии исключались, и можно было ожидать только последствий. В обществе, где в жертву понятиям абстрактным приносились живые существа, реакция могла последовать самая суровая; участь Дефо, стоявшего триста лет назад за свои политические памфлеты в Лондоне по часу в день у позорного столба, могла бы показаться завидной. К счастью, дело кончилось только проработками, и было удивительно, что против него не были предприняты более суровые меры.

Последние годы Левенфиша прошли в работе — писании статей и книги — и в нужде. Пришла старость, но жила еще боль от прожитой жизни. За все эти годы он закалился и как бы окаменел и тоже мог бы сказать: «Я здоров, пока сердце выдержало даже то, чего я не описал».

В 1961 году Борис Спасский играл в первенстве СССР. В один из последних дней января в подземелье московского метро он

увидел Левенфиша: «Постаревший, бледный, как привидение, он шел, держась руками за лицо. "Мне только что удалили шесть зубов", — только и мог сказать он...»

Через несколько дней Григорий Яковлевич Левенфиш умер.

Вспоминая московский турнир 1936 года, Ботвинник писал, что стояла такая сильная жара, что он переутомился и страдал от бессонницы. Но от бессонницы страдал не только Ботвинник. Не спал и Ласкер: живя в Германии, он привык засиживаться допоздна в шахматных кафе, в Москве же такой образ жизни был невозможен, а на склоне лет нелегко менять привычки. Довольно часто к нему заходил Левенфиш, и они проводили долгие вечера за шахматами или в разговорах. Иногда, уже глубокой ночью, Ласкер предлагал: «Пойдемте пить кофе». — «В Москве? В это время?» — пытался вернуть его к реальности собеседник. «Пойдемте, пойдемте, я знаю местечко, — доктор заговорщицки улыбался, — буфет на Киевском вокзале открыт до трех часов ночи».

Два человека с характерной внешностью идут спящим городом. Два символа времени, проживших большую часть жизни в городах, названия которых олицетворили историю 20-го века: Берлин и Петербург—Ленинград. Через три года начнется Вторая мировая война. Еще двумя годами позже Ласкер умрет в Нью-Йорке. Он никогда больше не увидит страну, в которой прожил почти всю жизнь. Левенфиш переживет его на двадцать лет и умрет в Москве. Несмотря на погромы, инфляции, войны и революции, несмотря на жестокие режимы, установившиеся в странах, где они жили, оба они перешагнут отмеренную границу библейского возраста - семидесяти лет.

Но сейчас они еще не знают этого.

Они пьют кофе. Они разговаривают по-немецки.

Москва. Киевский вокзал. Ночь. Жаркое лето 1936 года.

В августе 1991 года, когда Ботвиннику исполнилось восемьдесят, он был в Брюсселе. Спустя несколько дней он приехал в Амстердам. Туристское лето еще не кончилось, и такси продвигалось медленно по направлению к центру, пока окончательно не остановилось у Монетной башни.

Посмотрите, Михаил Моисеевич, — сказал я, — налево цветочный рынок, а прямо на углу — отель «Карлтон». Когда Эйве исполнилось восемьдесят лет, здесь был большой прием. Макс так замечательно выглядел, кто бы мог подумать, что уже через несколько месяцев...

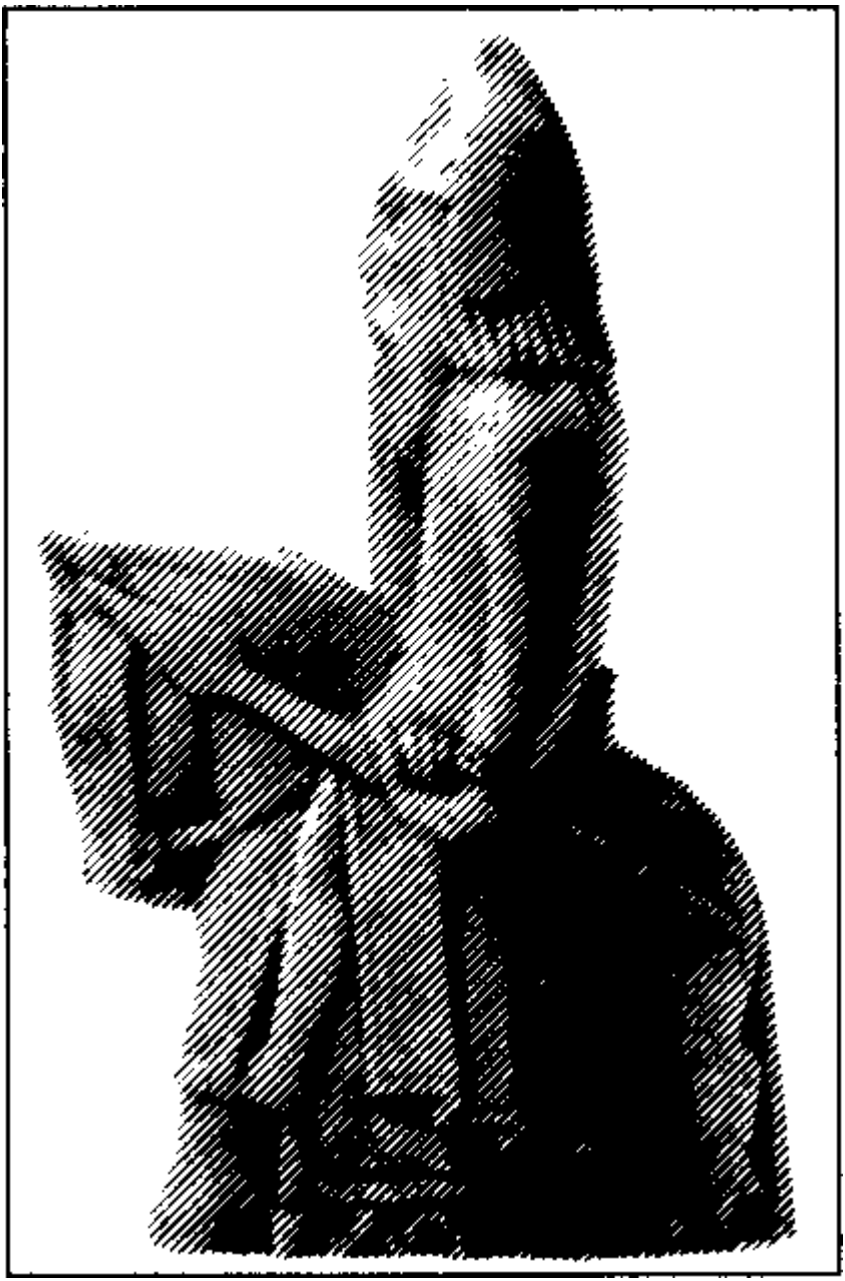
Геннадий Борисович! — Ботвинник сидел рядом с шофером и смотрел прямо перед собой. — Я был в гостинице «Карлтон» в 1938 году. Вас тогда еще на свете не было. На следующий день

после окончания АВРО-турнира мы пили там чай с Алехиным и договаривались об условиях матча на первенство мира... М-да, дела давно минувших дней, — он вздохнул, — преданья старины глубокой.

Машина тронулась.

Август 2000

Часть 2 ДОСТОВЕРНОЕ ПРОШЛОЕ



Docendo discimus (В.Багиров)

В 1960 году чемпионат Советского Союза по шахматам проходил в Ленинграде. И какой чемпионат! Начав перечислять имена: Смыслов, Бронштейн, Петросян, Геллер, Тайманов, Спасский, Корчной, Полугаевский, Авербах, Симагин... трудно остановиться.

Я учился тогда в последнем классе школы, но в феврале мне было не до уроков: почти каждый день я бывал на турнире. Зал, вмещающий около тысячи человек, был полон. Болели за земляков, но Спасский и Тайманов выступали не очень успешно, и взоры ленинградцев были устремлены на Корчного. Сила его игры была известна всем, но первенство страны он не выигрывал еще не разу.

В 16-м туре Виктор встречался с дебютантом чемпионата, и все надеялись, что ему удастся выйти в единоличные лидеры. Черными Корчной переиграл своего соперника и получил большое преимущество. Кульминация нарастает. 27-й ход белых. Должен произойти размен ладей, и проходная пешка черных почти у призового поля. Неожиданно Корчной резко встает из-за стола и почти бегом покидает сцену. Появляется табличка: «Белые выиграли». Шум в зале, смех: демонстратор, конечно, просто перепутал. Но почти сразу выяснилось, что никакой ошибки нет: вместо того чтобы побить слоном ладью, Корчной взялся за другого слона, стоявшего на соседнем поле. Повертев в растерянности фигуру, он тотчас сдался. Невольный обидчик любимца ленинградских болельщиков — высокий черноволосый брюнет восточного вида — только разводил руками.

Корчной выиграл все-таки три последние партии и впервые стал чемпионом страны. Его соперник в том драматическом поединке получил, конечно, подарок, но играл он в турнире сильно, по-гроссмейстерски и, заняв четвертое место, опередил многих тогдашних звезд. Это был Владимир Багиров.

Родился он в 1936 году в Баку. Столица Азербайджана была тогда интернациональным городом. Выходцы из Баку, вспоминая те времена, говорят, что у всех них - азербайджанцев, армян, русских, евреев, немцев — была одна национальность: бакинец. Мать Багирова - украинка, отец — армянин. Инженер, крупный специалист по нефти, он был расстрелян в 37-м году, и отца Володя не знал. Мать с сыном скитались, жизнь была очень тяжелой.

Сразу после войны Багиров решил заняться фотографией в бакинском Дворце пионеров. Желающих, однако, оказалось так

много, что для него места не нашлось. Пришлось записаться в шахматный кружок, с тем чтобы к фотографии перейти на следующий год. Случилось по-другому. Игра захватила мальчика. Пришли первые успехи, и шахматы стали сначала любимым занятием, а затем и делом жизни.

После школы Владимир решил пойти по стопам отца. Он закончил нефтяной институт и даже пару лет работал инженером, но любовь к шахматам в конце концов перевесила.

Перечисление его успехов — 13-кратный (!) чемпион Азербайджана, победы и призовые места на многих международных турнирах, выигрыши в составе команды СССР европейских первенств — говорит за себя, но не это главное.

Регулярно играя в чемпионатах СССР, Владимир Константинович Багиров успешно боролся с представителями мировой элиты шахмат, которая почти вся и состояла тогда из участников этих чемпионатов.

Нет сомнения, что если бы после своего блестящего дебюта в чемпионате 1960 года он принял участие в двух-трех международных турнирах, то быстро стал бы гроссмейстером. Но этого не случилось. Число шахматистов мирового уровня в стране было тогда столь значительным и конкуренция настолько острой, что в международных турнирах могли участвовать только лучшие их лучших.

Официально гроссмейстером Багиров стал поздно - в сорок два года. По теперешним меркам, даже слишком поздно, многие в эти годы уже заканчивают шахматную карьеру.

«Когда он позвонил домой, то плакал от счастья», — вспоминает его вдова Ираида. «Наконец-то. Я — гроссмейстер! Я — гроссмейстер!» -все время повторял он. Надо ли говорить, что растиражированное и девальвированное сегодня звание гроссмейстера не идет ни в какое сравнение с тем, что значил этот титул в былые годы, когда полностью соответствовал значению этих слов — «Большой Мастер»!

Учился Багиров по партиям Рубинштейна, на формирование его стиля немалое влияние оказал Макогонов — позиционный шахматист очень высокого класса, кумиром же в современных шахматах для него был Смыслов. Неудивительно, что Владимир Константинович был шахматистом академическим, позиционным. Он обладал прекрасной техникой в эндшпиле, высокой культурой дебюта и был невероятно упорен в защите. Как и многие игроки классического позиционного стиля, Багиров имел слабое место: терялся в несбалансированных, иррациональных позициях, а также в позициях с нарушенным материальным равновесием. Мысли, приученной к логике, не на что было опереться, но в

«своих» позициях он был опасен для любого.

Виктор Корчной: «Багиров был сильный шахматист с идеями, у него было ярко выраженное лицо. Играл он не столько на выигрыш партии — очки в прямом смысле не очень интересовали его, сколько хотел доказать свою дебютную концепцию. Он жил шахматами в самом хорошем смысле слова».

Борис Спасский: «Володя был шахматист очень хороший и своеобразный, и дебют был одной из самых сильных его сторон. Я переигрывал недавно его партии, начатые староиндийской защитой: белыми Багиров трактовал ее тонко, очень тонко. На первый взгляд был он шахматист статичный, но на деле очень зоркий, в шахматах ведь на одной статике далеко не уедешь».

Спустя четверть века после того как Багиров переступил порог бакинского Дворца пионеров, туда пришел другой мальчик.

Гарри Каспаров: «Был Багиров гроссмейстером сильным, очень сильным, со своим виденьем шахмат. Он всегда был номером один в Азербайджане, и появление мальчика, который оттесняет его на вторые роли, было для Багирова психологически очень трудным испытанием. Блиц мы играли довольно часто, но встречаться со мной за доской в серьезных турнирах он избегал. Однажды в командных соревнованиях такая встреча казалась неминуемой, но в последний момент Багиров был заменен, и мне пришлось играть с моим тогдашним тренером — Олегом Исааковичем Приворотским.

В своей жизни я дважды уступал первую доску, хотя по всем показателям должен был возглавлять команду. Может быть, кстати, поэтому и играл в обоих случаях не так хорошо. В первый раз это случилось в 79-м году, когда Багиров возглавил команду Азербайджана на Спартакиаде: сделано это было по формальным признакам, так как я не был еще гроссмейстером. Второй раз я уступил первую доску Петросяну в 82-м году. Тигран Вартанович попросил меня тогда: «Хочу, Гарик, последний раз в жизни сыграть на первой доске»...

Багиров был одним из первых, кто предсказал, что я стану чемпионом мира. Когда в 1976 году среди участников чемпионата СССР проводился опрос, кто будет играть матч с Карповым в 1984 году, он назвал мою фамилию, чем вызвал бешеную реакцию советских руководителей».

Дебюты, входящие в репертуар гроссмейстера, не только должны быть близки ему по стилю — он должен чувствовать в них каждый нюанс, каждую тонкость. Для Багирова такими дебютами были три защиты: Алехина, Каро-Канн и славянская. Но в первую очередь — защита Алехина. Смыслов вспоминает рассказ Багирова о том, как однажды Алехин лично предстал

перед ним во сне и настоятельно рекомендовал изучить и регулярно применять его дебют.

Уже в конце своей карьеры Багиров дал более прозаическое объяснение: «Вспоминаю, как всё началось. 1946 год. Случайно попали в руки номера журнала «Шахматы в СССР», в которых опытный мастер Владас Микенас рассказывал о защите Алехина. Дебют очень понравился. Вроде бы белые наступают, переходят середину доски, но потом как-то неожиданно «зарываются» и часто не в состоянии удержать свои грозные бастионы. Стал работать, но много лет не решался применять. Не думал тогда, что этот «несерьезный» дебют станет моим основным оружием на 1.e2-e4 и верой и правдой прослужит всю жизнь. Не могу сказать, что без успеха: сейчас мои партнеры, если у них есть выбор, просто перестали открывать партию королевской пешкой».

Багиров был лучшим в мире знатоком этого дебюта, сыграл им около 500 партий, написал монографию «Защита Алехина», до сих пор считающуюся классической.

Он приписывает случаю историю написания этой книги, как и начала своей литературной деятельности. Зайдя как-то к известному мастеру и теоретику Якову Борисовичу Эстрину, Багиров увидел у него в кабинете полку, полностью заставленную книгой «Защита двух коней» — на русском, немецком, испанском, английском... «Вы прямо как Ленин», — улыбаясь, сказал Багиров. «Попробуйте, Володя. У вас непременно получится», — ободрил гостя хозяин квартиры. Через год появилась «Защита Алехина».

Вслед за ней вышла монография «Английское начало», также переведенная на многие языки. Это очень хорошие книги, написанные специалистом, доходчиво и с любовью. Основой их послужили собственные анализы Багирова, занесенные мелким почерком в многочисленные тетради, сохранившиеся у него до самых последних дней. Истоки этой аккуратности, трудолюбия нужно искать в его бакинском детстве.

Уже будучи гроссмейстером, Багиров вспоминал: «В годы, когда я делал первые шаги в игре, шахматной литературы практически не было. Сейчас это трудно представить, но, например, «Эндшпиль» Рабиновича я, будучи второразрядником, за несколько дней просто переписал от руки».

Однажды я наблюдал за дискуссией двух лучших в то время знатоков защиты Алехина — Багирова и Альбурта — и даже рискнул пару раз предложить какие-то ходы. На прощание Багиров подарил мне свою книгу, подписав: «С пожеланиями освоить этот трудный дебют». Помню, сказал ему: «В моем возрасте новых дебютов не осваивают, надо быть довольным, если не забываешь то, что играешь обычно». — «Извини меня, —

отвечал Володя, — но новый дебют можно выучить в любом возрасте, было бы желание». Ему было тогда пятьдесят лет.

Багиров был влюблен в защиту Алехина и несколько раз то ли в шутку, то ли всерьез говорил о том, что на могильной плите его следовало бы изобразить шахматную доску с конем, символизирующим любимый дебют.

Эпиграфом к статье, приуроченной к своему пятидесятилетию, Багиров избрал слова Сенеки: «Docendo discimus»[6]. И не случайно: в течение многих лет он работал с Полугаевским и Талем, шахматистами, превосходившими по силе его самого. При подготовке эта разница не ощущалась: переживания и эмоции, переполнявшие Багирова во время игры, отходили на второй план, а лучшие качества -глубокое понимание позиции и искусство анализа вкупе с обязательностью и преданностью — делали из него идеального секунданта и помощника.

Девять лет работал Багиров с Полугаевским. Это были годы, когда тот принимал самое непосредственное участие в борьбе за первенство мира. Когда Полугаевский умер, Багиров сказал: «Это был грандиозный шахматист. И тем, что я - гроссмейстер, и моим достижениям в шахматах я во многом обязан Льву Полугаевскому».

Но и в том, что Полугаевский долгое время был одним из самых подготовленных гроссмейстеров в мире, в немалой степени заслуга Владимира Багирова.

Межзональный турнир в Суботице (1987), где он секундировал Талю, а я - Альбурту, выдался затяжным, с выходными и днями доигрывания, и мы с Багировым почти каждый день отправлялись к бассейну, расположенному неподалеку, а однажды даже совершили длительный поход вокруг озера.

На него обращали внимание: внешность у Багирова была экзотическая. Очень высокий, крупногабаритный, восточного типа человек, при бороде и усах, он обладал к тому же впечатляющим басом. Сам Багиров рассказывал, что в бытность работы инженером его собирались назначить начальником цеха - такой сумеет держать рабочих в руках!

Таль скептически относился к нашим прогулкам. Мишино отношение к ним вернее всего можно было выразить словами: «Природа? Это там, где цыплята бегают неощипанными?» Багиров не оставлял попыток соблазнить Таля купанием. Исчерпав все аргументы, он применил последний и, как ему казалось, сильный: «Ты знаешь, Миша, бассейн-то не какой-нибудь, серные источники там — доказано — очень полезны для здоровья». —

«Ах, серные, — мгновенно ответил Миша, — ну, это мне еще предстоит...»

Во время наших прогулок мы беседовали на разные темы. Стояло лето 1987 года, и какие-то подземные толчки в Советском Союзе уже чувствовались. Мы говорили нередко о политике, иногда о спорте, но основным предметом разговора были шахматы.

В конце жизни, отдавая немалую часть времени литературному труду, Владимир Константинович скажет: «Обычно, когда пишешь, снижаются спортивные результаты, ибо шахматами нельзя заниматься по двадцать четыре часа в сутки». В этих словах нотки сожаления. Действительно, нельзя.

Багиров был взят в плен шахматами навсегда и безоговорочно, а не так, как это бывает при кратковременных и сильных пленах, известных каждому, — страстях. Игра в турнирах была только одной из составляющих этого плена, но он любил и блиц, и анализ. В не меньшей степени любил он ту атмосферу, которая непременно возникала на любых соревнованиях, сборах, в кулуарах турниров. Он вдохнул этот шахматный воздух мальчиком на Приморском бульваре в Баку, и воздух этот остался в его легких на всю жизнь. Он любил эти пересуды, подсчеты очков, коэффициентов, шансов на выход в следующий этап, анализ вслепую за ужином только что сыгранной партии. «А пешка на а4? Это как? Или пешки теперь уже не считаются?» — «При чем здесь пешка, у тебя же слон замурован». — «Слон? А то, что у тебя папа по линии «с» обрезан, ты в курсе дела?» — диалоги, производящие странное впечатление на людей, далеких от шахмат. Сюда можно добавить еще обсуждение последней партии между Карповым и Каспаровым, пари на исход следующей партии между ними, пари на исход всего матча, предложение расписать после ужина пульку преферанса, обсуждение вчерашнего матча между «Ювентусом» и «Аяксом» - Багиров был большим любителем футбола — и множество всяких других вещей. Почетное место в этом бесконечном перечне занимали шахматные истории.

Багиров варился в советских профессиональных шахматах с конца 50-х годов и был не только созерцателем и участником, но и знатоком этого огромного ушедшего мира. Будучи очень наблюдательным, он к тому же обладал качествами замечательного рассказчика. Многие из его рассказов стерлись в памяти: беседуя с ним, почти сверстником, мне и в голову не приходило делать какие-то записи «на случай» — обычай скорее тягостный, чем приятный. Помню одну из историй, которую он рассказывал в лицах и с большим мастерством.

Он и Лев Аронин - один из сильнейших мастеров страны 50-х годов — в одном из турниров согласились на ничью еще до партии. У Аронина были белые.

Багиров: «Играл я беззаботно, почти не тратя времени, в то время как Аронин подолгу задумывался над каждым ходом. Когда мы вышли из дебюта, я констатировал, что моя позиция заметно хуже. Еще немного, и уже будет неудобно соглашаться на ничью — публика в зале была достаточно квалифицированная. Решив, что момент настал, я предложил сопернику закончить дело миром. Аронин поднял голову, и я встретился со взглядом его добрых красивых глаз. (Здесь Багиров делал выразительную паузу и смотрел на собеседника поверх больших роговых очков.) «Вы знаете, Володя, — отвечал Аронин, — я бы хотел еще поиграть. Мне кажется, что у меня несколько поприятнее».

В 1980 году Багиров переехал из Баку в Ригу, что означало тогда переезд из одной республики Советского Союза в другую. Однако, даже прожив в Латвии двадцать лет, он оставался во многом человеком Востока. Знал очень хорошо, что такое власть, начальство, побаивался его, но и за словом в карман не лез.

Когда в 1979-м Лев Альбурт попросил политическое убежище в Германии, команду «Буревестника» прямо у трапа самолета встречал Батуринский, в то время — глава советских шахмат. Первым из самолета вышел Багиров. «Володя, ну куда вы все смотрели, как можно было допустить такое, Володя?..» — «Виктор Давидович, ну почему вы так гневаетесь? Вот с нами музыканты летят, так у них вообще чуть ли не половина осталась. У нас же прекрасная явка», — оправдывался, разводя руками, Багиров.

Он имел репутацию пессимиста и скептика; в глазах многих был и нытиком, и брюзгой. Мне кажется, это не совсем верно. Он, скорее, играл роль человека из сказки, которому вечно не везет, который всегда ожидает худшего, и если это худшее случается, восклицает: «А я что говорил!»

На клубных соревнованиях в Москве члены команды «Буревестник» столпились у женской доски. Обоюдный цейтнот. Девушка, играющая за студенческое общество, дважды просматривает несложную комбинацию, ведущую к потере ладьи. Соперница повторяет ходы, проходя мимо этой возможности. Вздох облегчения: цейтнот кончился, опасность миновала. Багиров — товарищам по команде: «Рано вы радуетесь, ей же ход записывать!» Был записан ход, в третий раз допускающий взятие ладьи, и партия, разумеется, была сдана без доигрывания...

На турнире в Юрмале (1987) Юрий Разуваев, играя с Багировым, применил важную новинку в меранском варианте. Позиция черных сразу стала критической.

Разуваев: «Багиров сидел совершенно убитый, он, конечно, сразу всё понял. В течение часа Володя качал головой и, не делая хода, глядел на позицию, бормоча при этом явственно: «Ну, конечно, это специально против меня, против кого же еще... Небось столько лет держал за пазухой, а теперь выстрелил, здесь и партнер подходящий нашелся... С другим - нет, а против Багирова - ясное дело...» Но и радовался очень, сведя в конце концов партию вничью».

Характерно, что судьба частенько прислушивается к людям с таким складом характера, оставляя их с худшим коэффициентом при дележе места, определяющего выход в следующий этап, или обделяя всякий раз половиной очка при выполнении гроссмейстерской нормы

«Надо же такому случиться!» — нередко повторял Багиров. И действительно: маловероятный расклад результатов последнего тура перекраивал таблицу таким образом, что лишал его даже ничтожного приза.

Во время жеребьевки, определявшей имя участника заключительного этапа Кубка СССР, Багиров, имея большой выбор менее именитых соперников, извлек табличку с именем Таля и с видом «ничего удивительного, другого я и не ждал» показывал ее зрителям, сокрушенно качая головой.

Слухи о том, что в поезде, на котором он обычно отправлялся в Германию, неспокойно, подтверждались: жертвой ночного ограбления, несмотря на все принятые меры предосторожности, оказывался именно Багиров.

Для начального возраста, дающего права играть в первенстве мира среди сеньоров, он недотягивал двух недель. «Представляешь себе, всего две недели! Ну что мне стоило немного поторопиться шестьдесят лет назад!» - сокрушался Багиров, и в голосе его звучала обида ребенка, страдающего оттого, что он не достиг еще возраста, необходимого для просмотра фильма для взрослых.

Полагаю, тем не менее, что и скептицизм Багирова, и его пессимизм покоились на фундаменте здорового оптимизма. Порой мне казалось, что жалобы его изливаются только для того, чтобы не спугнуть фортуну, и выражение «карта слезу любит» более подходит для объяснения его мрачных предсказаний.

Он замечал удачу у других. «Да, красиво забил ваш ван Бастен, что и говорить. Но дай ему еще сто раз ударить из такого положения, пари готов держать — не получится. Повезло!» — горячился Багиров, имея в виду гол, забитый голландцем в финале первенства Европы 1988 года. И отголоски привычной мелодии — вот, к другим удача ходит — слышались и здесь.

Думаю все же, что в глубине души он верил в удачу, в конечный успех. Без такой веры невозможно играть в шахматы на профессиональном уровне, да еще так, как играл он.

Все обиды и несправедливости, реальные или мнимые, Володя накапливал внутри себя, но иногда его прорывало и долго вынашиваемое выплескивалось наружу. «Ты меня очень извини», — говорил тогда Багиров, после чего высказывал мысль, которая была им выстрадана или давно не давала покоя, и это «ты меня извини», проходящее рефреном через его монолог, имело функцию английского «Dear...» в письме, после чего можно высказать уже всё что угодно и в каких угодно выражениях. В последние годы такие всплески случались и во время соревнований, и зычный бас его слышался во всех уголках турнирного зала. У молодых людей, знавших его только по опен-турнирам, могло создаться впечатление, что они имеют дело со скандалистом или склочником.

Ираида Багирова: «Он был кавказский человек, громко говорил, хотя сам не замечал этого, мог вспылить, быстро выйти из себя, наговорить бог знает что, но был отходчив, потом ему было стыдно, он просил прощения. Он был незлопамятный, беззлобный, и ему всё прощалось, потому что был он — добрый. И обязательный очень: за все тридцать семь лет, что мы прожили вместе, он не разу не опоздал даже на четверть часа!»

Он часто вспоминал свою жену. Летом прошлого года, сидя в садике у моего дома, вздыхал: «Хорошо у тебя... Жаль только, что моей Иры здесь нет. Ты вот не знаешь, а она бы сразу сказала, как то растение называется, и это тоже...»

Ираида Багирова: «Он мог объясниться мне в любви, мне, старухе. Теперь же, когда его нет, я хочу объясниться в любви ему, потому что не делала этого никогда, да вот нельзя уже».

Под конец жизни у него появился новый рефрен. «Кого это сейчас интересует?» — морщился он в ответ на мои вопросы, которые казались ему наивными или нелепыми. «Подумай, о чем ты говоришь? О каких заслугах перед латышскими шахматами идет речь? Кого это сейчас интересует? Если уж Маэстро, который и в Риге родился, и по-латышски говорил, из федерации выкинули, какие заслуги могут быть у меня?»

После переезда в Ригу через его руки прошли фактически все латвийские шахматисты: Витолиньш, Ланка, Шабалов, Широв.

Алексей Широв: «Владимир Константинович был моим тренером с 86-го по 89-й год. На выезде мы всегда жили в одном номере гостиницы. Так было и в Москве, когда мы с Пикетом занимались у

Ботвинника, и на чемпионате мира среди кадетов, и на

других турнирах. Потом я начал работать с Ланкой, и отношения учитель — ученик у меня с Багировым сменились, скорее, на партнерские. Но отношения наши всегда оставались самыми добрыми. Он был блистательный аналитик и замечательно понимал игру. Оценка Багирова в анализе как бы подводила черту, его слово было последним».

Мы часто говорили по телефону: Багиров регулярно писал теоретические статьи для «New in Chess», и уровень их был очень высок. Виделись на Олимпиадах, чаще же — у меня дома в Амстердаме, куда он приезжал после какого-нибудь открытого турнира в Голландии. В старые времена при поездках за границу наметанный глаз таможенника почти всегда выдергивал его из людского потока, и он отправлялся на досмотр, бросив взгляд на коллег-шахматистов, беспрепятственно покидающих зал аэропорта: «Другого я и не ожидал». Теперь он перемещался по Европе исключительно поездом или автобусом: летать стало дорого. Сказал как-то: «Я уже и забыл дорогу в аэропорт, не помню, когда и летал в последний раз».

Я встречал Володю обычно на станции и уже издали замечал его фигуру — трудно было не заметить: даже в экзотическом амстердамском водовороте он выделялся своим внешним видом. Он погрузнел и поседел, но импозантность сохранилась; он напоминал теперь чем-то индийского гуру, а когда завел короткую стрижку, то стал походить на Шона Коннери в его последних ролях.

В остальном Багиров выглядел как рядовой участник открытых турниров. Одет был по сезону — спортивная куртка, кроссовки; в холодное время года на голове — шапочка, на плече — большая туристская сумка. В ней можно было найти всё необходимое для странствующего шахматиста: кипятильник для приготовления чая или кофе, портативный компьютер, несколько тетрадей, исписанных дебютными вариантами и анализами, магнитные рижские шахматы — неизменный спутник всех его поездок, взятый в дорогу блок латышских сигарет, большая пластмассовая бутыль с водой. Компьютер появился у него только в последние годы, но он относился к нему скептически, используя только как базу данных. В особой папке хранились адреса и телефоны устроителей турниров в Германии, Голландии, Скандинавии и телефонные карточки разных стран. Он знал, где может рассчитывать на бесплатный ночлег в двойном номере гостиницы — обычные условия приема для гроссмейстера его рейтинга, а где будет гостем в доме у кого-то из местных шахматистов. Сложные маршруты поездов и автобусов и время пересадок, включая финальную ночную — в Варшаве, он знал

наизусть. Смысл выражения «путешествия — это школа скептицизма» был знаком ему не только в философском его значении.

Он был игроком Бундеслиги и постоянно тревожился, что ему не продлят контракт. Контракт был важен для получения постоянной визы: его паспорт - гражданина второго сорта Латвийской республики—не выглядел очень надежным. Его пенсия в Риге была ничтожной, и эти партии за берлинский клуб были для него очень важны. Выигрыш чемпионата мира среди сеньоров в 1998 году принес Баги-рову не только моральное удовлетворение: приз, хоть и не бог весть какой, составил сумму, превышающую его двухгодовую пенсию.

Помимо этого он регулярно принимал участие в соревнованиях, известных каждому профессионалу: Владимир Константинович Багиров был полевым игроком открытых турниров.

Наиболее распространенная формула боя в них — девять туров подряд без выходных. Шесть очков оставляют без приза, шесть с половиной — с очень небольшим призом, семь — по раскладу. Более высокий результат не гарантирован даже очень сильному гроссмейстеру. Для победы в таком турнире требуется удача — или завершившиеся к обоюдному удовлетворению коммерческие переговоры с коллегой перед последним туром. Бывают турниры длиной в семь туров или в одиннадцать, иногда играются две партии в день. Багиров готовился к каждой встрече - по-другому он не мог. Если позволяло время — по нескольку часов.

В залах, где одновременно играются десятки, а то и сотни партий, изредка можно заметить седые или лысые головы, склоненные над доской, морщинистые лица. Это гроссмейстеры и мастера, чьи успехи остались в далеком прошлом. Приговоренные к джунглям открытых турниров, они выглядят в них диковинными животными. Теряя с возрастом силу игры, профессиональные шахматисты, как старые слоны, вынуждены волочить за собой бивни былых талантов и успехов молодости.

Напряжение, с трудом выдерживаемое молодыми, для пожилых игроков может стать фатальным. В начале года за партией турнира в Берлине был поражен инфарктом сверстник Багирова Айварс Гипс-лис и умер через два месяца, так и не придя в сознание. Уроженец Риги, долгие годы второй шахматист Латвии после Таля, Гипслис не раз добивался высоких результатов в чемпионатах страны и международных турнирах. Как и Багирову, ему были хорошо знакомы в последние годы и пересадки в Варшаве и Берлине, и маршруты ночных автобусов, и

жесткие законы открытых турниров.

В двадцать лет ночная пересадка в Варшаве может показаться романтическим приключением, а игра в заурядном немецком опентурнире - одной из ступенек к лучезарному будущему: Линаресу и Франкфурту. Будущим же Багирова, как и других гроссмейстеров старшего поколения, было блистательное прошлое. Они вышли на сцену в то время, когда уровень советских шахмат был необычайно высок, а звание международного мастера по шахматам звучало никак не хуже, чем лауреат международного скрипичного конкурса, — шахматисты и играли в переполненных концертных залах. Международные гроссмейстеры были и вовсе небожителями. Исчезновение этого мира совпало у многих из них с наступлением возраста, который для шахматиста считается критическим, принесло им огромное разочарование и явилось крушением жизненнърс устоев.

В мире шахмат начала 21-го века хорошо большим слонам — профессионалам Вейк-ан-Зее, Линареса и Франкфурта. Они большие, их мало, и им хорошо. Хорошо и маленьким мышкам — любителям, играющим в свое удовольствие по вечерам в клубе, или быстро размножающимся мышкам интернета. Их много, они ни от кого не зависят, и им — тоже хорошо. Плохо — маленьким слонам и большим мышам открытых турниров, занимающимся самым тяжелым и неблагодарным трудом в профессиональных шахматах сегодняшнего дня.

Молодые игроки, видящие весь мир в свете цифр текущего рейтинга, смотрят на стариков как на легкую добычу. Рецепт игры с ними известен: резкая дебютная подача, постоянное поддерживание напряжения, оттеснение счетной игрой к задней линии, если не получится — пятый сет. Таковы законы спорта — побеждает сильнейший, что бы ни понималось под этим словом. Шахматы — не театр, и пожилой шахматист, остающийся на сцене, должен быть готовым к переходу на роль статиста, радуясь редким эпизодическим успехам и имея дело со статистами и премьерами, никогда не видевшими в заглавных ролях его самого.

Проблема эта — не единственная: сплошь и рядом профессиональный шахматист вынужден совмещать игру со смежными занятиями. Журналистская, тренерская, комментаторская, организаторская работа оплачивается, как правило, лучше, чем непосредственно игра. Сказанное Оденом: «Грустно сознавать, что в наше время поэт может заработать гораздо больше, рассуждая о своем искусстве, чем занимаясь им» — относится к шахматам в не меньшей степени.

В мае ему предстояла операция на сердце. «При чем тут шахматы? — говорили врачи. — Положение много тревожнее, чем вы думаете».

Незадолго до операции мы говорили по телефону. «Ты всё шутишь, - сказал Володя, - а операция ведь предстоит серьезнейшая. Как бы тебе не пришлось браться за перо».

Операция удалась. Через две недели он вышел из больницы и сразу же начал готовиться к поездке на турнир в Германию. В тот раз домашним удалось отговорить его.

Строил планы: «В сентябре в Польше - чемпионат мира среди сеньоров, и я должен быть в хорошей форме». Он решил сыграть в Финляндии. Врачи были против. Они советовали ему в течение полугода воздержаться от перегрузок, но он всё донимал их: «Ну когда же мне можно будет играть?» Объяснял домашним: «Поймите, мне без шахмат нельзя. Если не будет шахмат, мне и жить незачем...»

Я позвонил ему за неделю до отъезда на этот последний в его жизни турнир. «Сделаю, конечно», — сразу согласился Багиров в ответ на просьбу написать об одном актуальном варианте славянской защиты. Когда я предложил тему для другой статьи, задумался, повисла пауза. «Знаешь, — сказал он наконец, — этого не смогу. Писать неполную правду — не хочу, а по-другому...» Мы говорили о ходе 1.b3, который он применял довольно часто в последнее время. Этим ходом он начал и обе свои последние «белые» партии.

Широв: «Я видел Багирова за несколько дней до смерти. Мы встретились в Риге, в шахматном клубе, вернее, в том, что осталось там от шахматного клуба. Он еще до конца не восстановился после операции, но за доской был просто великолепен. Честно говоря, мне было даже стыдно за себя. Я не видел и десятой доли того, что видел Владимир Константинович».

Он выиграл обе партии первого дня турнира. На следующее утро выиграл и третью. В партии четвертого тура оба соперника попали в цейтнот и после 36-го хода прекратили записывать ходы. Цейтнот кончился, стали восстанавливать запись. Выяснилось - ходы сделаны, Багиров легко выигрывает. Вдруг он покраснел и начал медленно сползать со стула. Обширный инфаркт. Скорая помощь. Больница. Через два часа Владимир Константинович Багиров скончался, не приходя в сознание.

Октябрь 2000

Одержимость (В. Корчной)

Есть шахматисты, имена которых известны каждому любителю, хотя они никогда не были чемпионами мира. Это — Чигорин, Тарраш, Рубинштейн, Нимцович, Керес, Бронштейн. К ним относится и Виктор Корчной. Он достойно играл матчи за мировую корону, выигрывал крупнейшие турниры с участием всех сильнейших, и его вклад в шахматы не менее значителен, чем у тех, кто официально стоял на самой вершине пирамиды.

Впервые я увидел его полвека назад на шахматном празднике во Дворце пионеров. Я только что сделал ничью со Спасским в сеансе одновременной игры и с бьющимся от счастья сердцем подошел к другому сеансу, который давал, куря папиросу за папиросой, молодой человек с характерной мимикой. Это был Виктор Корчной. Мальчику, за спиной которого я встал, давали советы дети, которым не нашлось места в сеансе. Так и не решив, какой ход сделать, мальчик попросил разрешения у Корчного, подошедшего.к его доске, пропустить очередь. В то же мгновение прозвучало короткое слово, которое довелось слышать от него многим, в том числе впоследствии не раз и мне, в ответ на предложенную ничью. Корчной сказал: «Нет».

Его бескомпромиссность, заряженность на борьбу, жажда победы общеизвестны. Качества эти вместе с фантазией присущи молодости и с возрастом обычно пропадают. Накапливается опыт, всё теряет прелесть новизны, почти ничто не возбуждает воображение и не подстегивает, как в молодые годы, к творчеству. С Корчным этого не произошло. Он по-прежнему в поиске, в анализе, в подготовке к турнирам — он всё еще в игре.

Уверен, что серое вещество мозга, отведенное шахматам, занимает у него значительно больший объем, чем у какого-либо другого шахматиста. Даже у тех, чьи имена сверкают сегодня в первых строчках таблиц супертурниров и в матчах на первенство мира. И хотя сам Виктор нередко говорит о себе, что никогда не был вундеркиндом: и мастерское звание, и гроссмейстерский титул, равно как и дальнейший подъем к шахматному Олимпу давались ему с немалым трудом, - без огромного природного дарования нельзя добиться таких выдающихся успехов и так долго находиться в элите мировых шахмат. Помимо таланта, упорства и характера для Корчного характерны два качества, выделяющие его среди коллег: безграничная любовь к игре и абсолютная честность в анализе.

Честность, порой доходящая до безжалостности по отношению к сопернику, но в первую очередь — к самому себе.

Холодным осенним днем голодного Ленинграда 1944 года тринадцатилетний подросток записался сразу в три кружка Дворца пионеров: художественного слова, музыкальный и шахматный. К счастью для шахмат, у него обнаружилось неправильное произношение, а пианино дома не было. Шахматы стали для него главным делом жизни, а потом и жизнью самой. Не случайно книга, написанная им более двух десятилетий назад, так и называется — «Chess is my life». На деле это его жизненная концепция, которой он остается верен по сей день.

Закончив партию, Виктор не спешит покинуть турнирный зал. Он переходит от одного столика к другому, задерживаясь у позиций, которые привлекли его внимание. Он стоит в характерной позе, изредка покачиваясь, и по взгляду, устремленному на доску, быстрому поднятию и опусканию бровей, всей мимике его лица можно следить за непрекращающейся работой ума, занятого перебором вариантов. Только когда варианты просчитаны и произведена оценка позиции, он медленно переходит к другой партии, с тем чтобы снова погрузиться в лабиринт вариантов.

В последнее время Корчной нередко говорит: «Я играю в шахматы для того, чтобы показать молодым ребятам, что им еще есть чему у меня поучиться». На турнире в Тилбурге в 1998 году он выговаривал Вадиму Звягинцеву: «Почему вы не продолжали борьбу в этой позиции? У вас же шансы были... Опасно? Тогда вам лучше вообще в шахматы не играть, если опасно!» После партии последнего тура досталось и Пете Свидлеру: «А вам, вам не стыдно делать в полчаса белыми ничью с Анандом? Разве это не интересно — играть с Анан-дом? Вы что, каждый день с Анандом играете? Я вот тоже мог вчера с Крамником в славянской на d5 взять и уж точно не проиграл бы, но я так не играю, и никогда не играл, и не буду, если считаю, что вариант к преимуществу ведет! Даже если позиция получается опасная и сложная. Она ведь для обоих сложная...»

В конце 60-х — начале 70-х годов я помогал Виктору готовиться к претендентским матчам. Бывало, после долгого дня, проведенного за анализом, в разговоре за ужином я замечал, что взгляд его скользит куда-то поверх меня, реакция становится неадекватной, и я знал, что через некоторое время последует реплика типа: «В позиции, где мы прервали анализ, дела черных совсем не так хороши. Если белые пойдут, скажем, ₤Л>5, что вы будете делать?..» Процесс анализа, поиски истины могут длиться для Корчного бесконечно, и поиски эти не менее важны для него, чем плоды самой работы.

Как-то я советовал ему не применять найденную в результате

долгого анализа новинку в турнире, казавшемся мне не очень значительным, а приберечь ее для более важного. «Для другого турнира что-нибудь новое придумается, — отвечал Виктор. — Я не дорожу новинками».

Как правило, дебютные находки Корчного — это не просто ход или маневр, усиливающий вариант или опровергающий общепринятую оценку. В большинстве случаев речь идет о целом комплексе идей, новой концепции в той или иной защите или системе. И хотя его имени нет в теории дебютов, разработки Корчного дали -толчок к развитию многих из них на десятилетия. Его трактовка позиций французской защиты, когда наличие изолированной пешки с лихвой окупается богатой фигурной игрой, варианта Тартако-вера в ферзевом гамбите, открытого варианта «испанки», считавшегося не вполне удовлетворительным после матч-турнира 1948 года и возрожденного Корчным на самом высоком уровне, вплоть до матчей на первенство мира, заставила пересмотреть оценку многих дебютных построений. Он придумал и ввел в практику парадоксальный выпад конем на четвертом ходу, положивший начало целому разветвлению в английском начале. Вариант защиты Грюн-фельда, считающийся сегодня основным в этом дебюте и доставляющий черным массу неприятностей, впервые по-настоящему начал применять Корчной. Многие варианты староиндийской защиты — дебюта, который он считает очень трудным за черных, а в глубине души даже сомнительным, немыслимы в современной теории без имени Корчного.

В книге о защите Бенони Джон Нанн пишет, что в системе с 6.g3 результаты белых не особенно хороши, за исключением Сосонко, которому почти всегда сопутствует успех. Раскрою секрет: блистательная партия, выигранная Корчным у Таля в чемпионате Советского Союза в Ереване сорок лет назад, произвела на меня такое впечатление, что я включил вариант в свой дебютный репертуар, и с тех пор он служит мне верой и правдой.

Ему всё хочется проверить и испытать. Если в Грюнфельде появляется свежая идея на пятом ходу, он одним из первых берет ее на вооружение, а в ответ на староиндийскую применяет теперь систему, дотоле не встречавшуюся в его практике. В арсенале Корчного варианты, которые стали разрабатываться в самое последнее время. Он любит повторять слова Левенфиша: «Если шахматисту хочется сыграть новый дебют — значит, он еще растет».

Но ему интересен не только дебют. Те, кто анализировал вместе с ним, знают, что он с удовольствием исследует и

комбинационный миттельшпиль, и скучный эндшпиль, что он ищет спасения в позиции, которую кто другой вряд ли взялся бы защищать. Виктор продолжает до сих пор много работать над шахматами. Несколько лет назад на занятиях со сборной Швейцарии он при анализе обоюдоострой позиции пропустил комбинационный удар. Маэстро расстроился. «Надо будет теперь хотя бы по полчаса в день дополнительно заниматься тактикой», — сообщил он своим опешившим слушателям.

Когда Корчной играет в шахматы, он забывает обо всем. Таль рассказывал мне, как перед сеансом в Гаване Виктора попросили: «С тобой будет играть Че Гевара. Игрок он довольно слабый, но шахматы любит страстно. Он был бы счастлив, если бы ему удалось добиться ничьей...» Корчной понимающе кивнул головой. Через несколько часов он вернулся в гостиницу. «И?..» — «Я прибил их всех, всех без исключения!» — «Ну а Че Гевара? Че Гевара?!» — «Прибил и Че Гевару — понятия не имеет в каталонском начале!»

В 1970 году я помогал Виктору на чемпионате Советского Союза в Риге. Январь тогда выдался морозный, и в здании, где игрался турнир, лопнули канализационные трубы. Сначала это почувствовали зрители, начавшие потихоньку покидать зал, а вскоре и главный судья вынужден был объявить перерыв. Участники, обмениваясь шутками, стали спускаться со сцены. Одинокая фигура Корчного осталась за столиком. «В чем дело? - поднимая голову, спросил он у судьи, остановившего часы в его партии. — Что-нибудь случилось?»

Еще в зрелые годы, когда запас энергии у него был в избытке, Виктор знал, что в турнире она вся должна быть отдана шахматам. Экскурсии в выходные дни, приемы, встречи, суета - всё должно быть отменено. «Что делать? Ничего не делать. Сидеть дома, отдыхать, думать о партии», — сказал еще в начале 70-х.

Он следит за своей физической формой. Зимой ходит на лыжах. Много лет назад, еще в свой ленинградский период жизни, он, будучи за рулем, ударил на Васильевском острове машину ГАИ. «С тех пор я перестал водить машину и вынужден был ходить пешком, — говорит Виктор. - Я и сейчас много хожу пешком».

Сейчас Корчной не курит, но так было не всегда. С юношеских лет не расстающийся с сигаретой, он неоднократно бросал курить. Иногда делал это — непостижимое для заядлого курильщика! — во время турнира, после проигранной партии, добровольно надевая на себя вериги: подвергая наказанию плоть, он закалял дух.

Пять лет назад я играл с ним в Каннах, в турнире, где

представители старшего поколения встречались с сильнейшими юношами Франции. За десять дней до начала соревнования Виктор, катаясь на лыжах, сломал ногу. Он с трудом поднимался на сцену Дворца фестивалей, засовывал костыль подальше под стул, находил удобное положение для закованной в гипс ноги и принимался за дело. Юниоры не сдали экзамен маэстро: на всех десятерых он отпустил только пол-очка. После того как партия заканчивалась, он часами анализировал ее с молодыми, уходя из турнирного зала одним из последних. Петра, его жена, сидела по обыкновению неподалеку, читая или решая очередной кроссворд. Со стороны сцены, где стоял его столик, доносилось характерное пофыркивание и смех - и, присмотревшись, можно было разглядеть в прославленном мэтре Витю Корчного времен четвертьфинала первенства СССР где-нибудь в Свердловске, когда он сам был в возрасте своих соперников.

Неделей позже на шахматном празднике в Гронингене он давал сеанс одновременной игры. Хотя гипс уже был снят и костыль заменила палка, похожая на перевернутую лыжную, ходить ему было еще трудно. Я закончил свое выступление и наблюдал за его перемещениями вдоль столиков. В некоторых партиях борьба была еще в разгаре, и организаторы многозначительно поглядывали на часы: приближалось время закрытия. «Попробуйте предложить ничью», -посоветовал я одному из участников, имевшему вполне пристойную позицию. «Да я предлагал уже, так он ничего не ответил». — «Рискните еще раз, он мог и не услышать». — «Ничья? — переспросил приковылявший к столику Корчной. - Dank u wel!»[7] — и со стуком пожертвовал слона...

Юбилей Корчного совпадает с другой годовщиной: 100 лет назад в Амстердаме родился человек, без которого Голландия на шахматной карте мира располагалась бы, вероятно, рядом с Австрией и Данией. Имя этого человека — Макс Эйве. В этом году у Эйве и Корчного одна общая памятная дата. Пятого июля 1976 года — четверть века тому назад - сразу же после открытия турнира в Амстердаме Эйве, который был тогда президентом ФИДЕ, и Корчной беседовали друг с другом. Виктор уже тогда хорошо говорил по-английски, но попросил меня исполнять роль переводчика. Эйве сразу всё понял и обнадежил Виктора, что он не должен ни о чем беспокоиться.

На следующий день я уехал на межзональный турнир в Биле. Мы несколько раз говорили по телефону. «Вы всё не у тех выигрываете. Ну при чем здесь Смейкал? Зато проигрываете...» — заметил как-то Корчной, имея в виду мои проигрыши Геллеру и Петросяну, отношения с которыми у него, особенно с последним,

были военными. Именно поэтому один результат девятого тура доставил ему особую радость. В этот день колумбийский мастер Оскар Кастро выиграл у Петросяна. «Передайте Кастро сто долларов и скажите, что это — reward, запомните это слово: reward!» И смеялся характерно: «Кастро прибил Петросяна! Кхх...» Когда вечером я вручил «reward» Кастро, тот долго не мог ничего понять, но купюру в конце концов взял...

Утро 26 июля. Журнальный киоск. И вдруг зарябило в глазах от аршинных заголовков на первых страницах газет: ЕЩЕ ОДИН, КОТОРЫЙ ВЫБРАЛ СВОБОДУ!

Понятие свободы означало для Корчного в первую очередь возможность играть в шахматы, не подчиняясь законам несуществующего теперь государства, требовавшего от всех своих граждан беспрекословного повиновения. В Советском Союзе он не был диссидентом в прямом смысле этого слова; опасность угрожала его шахматной жизни и творчеству. Взяв в заложники его семью, государство заставило Виктора стать диссидентом.

Место шахмат в мировой культуре, конечно, менее значительно, чем литературы, музыки или балета. Однако если имена Солженицына и Ростроповича, Барышникова и Бродского в стране, вытолкнувшей их, можно было не упоминать, не издавать их книг, полностью замалчивать их концерты и спектакли, то с Корчным было много труднее. Регулярно встречаясь за шахматной доской с советскими гроссмейстерами, играя матчи на мировое первенство, он вызывал глухую ярость у властей, постоянно напоминая о себе миллионам своих бывших сограждан. В газетных репортажах, в радио- и телепередачах имя его чаще всего было скрыто за безликим «соперник», «претендент», а в официальных статьях — «изменник» или «предатель». Но именно поэтому, ненапечатанное и произносимое только шепотом, оно гремело внутри страны громче всяких фанфар! Он сделал шахматы тогда делом государственной важности, и о ходе матчей за мировую корону руководителям Советского Союза докладывали по прямому проводу, словно это были сводки с полей военных сражений.

Бойкот соревнований, в которые приглашался Корчной, хотя и не был официально объявлен советской шахматной федерацией, но был достаточно эффективен. Подсчитано, что за семь лет он «потерял» несколько десятков крупных международных турниров.

Более двадцати лет назад в Амстердаме состоялась пресс-конференция. «Никакого бойкота Корчного нет! Советские шахматисты, очень хорошо знающие Корчного лично, сами отказываются играть с ним». Для нелегкого доказательства этой

теоремы в офис ФИДЕ прибыл начальник отдела шахмат Виктор Батуринский. «Даже если принять ваши утверждения, как вы можете объяснить тот факт, что заявленные на турнир в Лон-Пайне Романишин и Цешковский отказались от поездки, узнав, что там играет Корчной? - спрашивали его. — Они ведь представители нового поколения и почти не знакомы с Корчным?» - «Это верно, — соглашался Батуринский. — Они должны были ехать на турнир и пришли к нам в федерацию посоветоваться. В общем-то, этот турнир не может быть рекомендован, сказали мы, а так — решайте сами».

Последний вопрос задал Ханс Рей: «Пятьдесят лет назад у вас в стране Алехина называли монархистом и белогвардейцем. Теперь в Москве играется турнир его памяти. Сейчас в Советском Союзе Корчной — изменник и предатель. Не думаете ли вы, что через двадцать лет у вас будет проводиться турнир его имени?» Что-то похожее на улыбку появилось на лице Батуринского, он достал сигару, зажег ее и, выпустив колечко дыма, произнес: «Я не знаю, что будет через двадцать лет. Меня, во всяком случае, через двадцать лет не будет...»

В будущее действительно трудно заглянуть. Батуринский готовится встретить 87-летие, а в Санкт-Петербурге прошли торжества, посвященные юбилею выдающегося гроссмейстера.

«Мне не нужно сейчас никуда отбираться, не нужно ни за что бороться. Я — любитель», — говорит он. Если слову «любитель» придать его первоначальный смысл, то и тогда оно слишком бледно отражало бы отношение к шахматам Виктора Корчного. Шахматы для него — всё. На его долю выпала удача, достающаяся очень немногим: не только заниматься делом, которое удается лучше всего, но и безгранично любить это дело. Любить? Скорее, это пылкая страсть, одержимость, жизнь сама, которая стала бы без шахмат не просто бессодержательной — бессмысленной!

За свой более чем полувековой путь в шахматах Корчной переиграл со всеми чемпионами мира, начиная с Ботвинника. Со всеми сильнейшими игроками настоящего и прошлого, иногда и очень далекого прошлого. То, что для других кажется невозможным, отступает перед его фантазией и любовью к игре, расширяя границы реального мира до запредельного, не укладывающегося в общепринятые рамки. Так, совсем недавно он выиграл черными партию (французская защита, текст опубликован) у одного из корифеев начала 20-го века Гёзы Мароци. Для этого, правда, пришлось прибегнуть к помощи медиума: знаменитый венгр посылал свои ходы из потустороннего мира. «Конечно, никогда нельзя быть уверенным до конца, что партия действительно играна духом Мароци, но

весь ход борьбы: не вполне уверенная трактовка дебюта, зато хорошая игра в окончании — свидетельствует об этом», — утверждает победитель.

К своему юбилею Корчной сделал подарок всем любителям шахмат. Книга, которая должна выйти сразу на двух языках, английском и немецком, включает в себя сто заново прокомментированных им своих партий: пятьдесят игранных белыми фигурами и пятьдесят — черными. По сути, эта книга — прекрасный учебник шахмат, рисующий без ретуши портрет одного из самых замечательных мастеров игры. «Над каждой партией я работал в среднем три дня. А ведь еще вдохновение нужно, так что считайте!» - говорит автор. В комментариях к одной из партий Корчной выражает надежду, что читатель, переигрывая ее, получит удовольствие от полнокровной, далекой от рутины борьбы. Это то, что более всего дорого для него в игре: творчество и единоборство, борьба идей за шахматной доской.

Как и почти все шахматисты старшего поколения, Корчной пользуется компьютером только как базой данных, крайне редко прибегая к его совету. «Я компьютер не особенно жалую, главным образом за его безответственность. Что это значит? Я жертвую ему. например, фигуру за атаку — он: у черных выиграно. Уже через пару ходов оценивает позицию как равную, потом я делаю сильный ход — он: у белых выиграно. Потом - опять у черных... Безответственность какая-то!»

Когда я несколько лет назад стал жаловаться на отсутствие мотивации, усталость, всё более накапливающуюся к концу турнира, он только обронил коротко: «Пятьдесят — это не возраст». Не только из его поколения, но и из последующего не осталось никого, кто боролся бы на равных с молодыми, напористыми, наигранными профессионалами. Одни навсегда оставили сцену, другие играют время от времени в турнирах ветеранов. Любители, только понаслышке знакомые с огромным напряжением, непременно присутствующим в партиях больших мастеров, приводят его в качестве примера: «Посмотрите, вот Корчной ведь еще играет». Они не понимают, что дело здесь не только в мастерстве и таланте: его искусству полной отдачи шахматам всего себя без остатка так же невозможно обучиться, как невозможно взрослому человеку вырасти хотя бы на один сантиметр.

Его уже давно не удивляет, что он самый старый участник турнира, в большинстве случаев со значительным отрывом от второго по возрасту участника. На Олимпиаде в Стамбуле ему сказали, что в какой-то команде играет его одногодок. «Но я выяснил, что он родился 17 апреля, так что я все равно здесь

самый старый», - смеялся Корчной. Он и не чувствует возраста; известно ведь, что старость — не столь одряхление тела, сколь равнодушие души. Было странно слышать от него в том же Стамбуле, что он слишком много занимался шахматами в последнее время и переутомился. Казалось, он отменил само понятие усталости. Несколько лет назад на турнире в Вейк-ан-Зее Корчной, готовясь к партии с Тимманом, заметил: «Сильно сдает Ян к последнему часу игры. Так что я решил замотать его, поддерживая напряжение до конца». После закончившегося недавно матча в Донецке говорил: «Ошибается в эндшпиле семнадцатилетний Пономарев, а всё потому, что устает сильно к концу партии. С чего бы это?»

Корчной по-прежнему очень эмоционально переживает происходящее на доске, а к поражениям относится еще более остро, чем раньше. Бывает, не поздравляет соперника с победой или обрушивается на него из-за отсутствия ответа (зачастую не расслышанного) на предложение ничьей. Случается, его молодые коллеги выслушивают после партии в сердцах высказанные тирады, в которых дается не только оценка позиций, возникших в ходе борьбы, — нередко им сообщается, что Корчной думает об их игре вообще, а порой и о них самих. Они знают на собственнОхМ опыте о колоссальных психических и эмоциональных перегрузках, сопутствующих сегодня профессиональным шахматам, но только умозрительно могут представить себе, как влияют эти перегрузки на шахматиста его возраста.

Прошлогодний турнир в Вейк-ан-Зее складывался тяжело для Корчного. «Почему, почему я сыграл h6? Почему не подготовил длинную рокировку? Почему взял на g2?» — казнил он себя после того, как сдался Ананду на 18-м ходу. «Нет, мне уже трудно играть такой длинный турнир». Но, выиграв в последнем туре затяжную партию у Пикета, был снова полон энергии: «Такое чувство, что турнир и коротки й даже...»

Характеристики игроков, как и мысли Корчного о шахматах, всегда меткие, неожиданные. Советовал однажды Иосифу Дорфману, который жаловался на то, что не выиграл у противника, значительно уступавшего ему в силе: «Уж очень вы сильно на него давили, тому ничего не оставалось, как делать вынужденные ходы. А вы должны были дать ему самому немного походить, глядишь, он что-нибудь бы и придумал...» Заметил в Каннах, наблюдая за игрой молодого Фрессине в сильном цейтноте: «Посмотрите, посмотрите, он уже двигает пешки. Это болезнь всех выучившихся стратегов — и моя в том числе: в цейтноте начинать играть пешками. Видите, как уже ухудшилась

его позиция?»

Возраст игрока не играет для него никакой роли, потому что в шахматах, так же как в литературе и музыке, исполнителей отличают не по годам. Поэтому, разбирая партию с двенадцатилетним Тейму-ром Раджабовым, он разговаривает с ним как со взрослым: «Вы считаетесь с тем, что в конце предлагаемого вами варианта король черных остается без защиты? А что, если я коня пожертвую?» — не обращая внимания на блестящие глаза и дрожащий подбородок своего соперника.

В один из горьких дней 1940 года Уинстон Черчилль заявил деморализованным министрам французского кабинета: «Whatever you may do, we shall fight on for ever, and ever, and ever»[8].

Корчной не раз повторял, что он покинул Советский Союз, чтобы играть в шахматы. В этом он видит свое предназначение, свою судьбу. И как бы ни менялись правила проведения соревнований, и какие бы новые звезды ни всходили на шахматном небосводе, Виктор Корчной will fight on for ever, and ever, and ever...

Февраль 2001

Профессор (М.Эйве)

Летом 1972 года я уезжал из Советского Союза. Весь мой багаж состоял из очень сильного желания покинуть эту страну, довольно приблизительного представления о мире, лежащем за ее пределами, и ящика с книгами. По тогдашним правилам эмигранту позволялось взять с собой только те книги, которые были изданы после 1945 года; на более ранние требовалось специальное разрешение. Успешно преодолев бюрократические препоны, я получил желанный штемпель Министерства культуры — «Разрешается к вывозу из СССР» на книге, изданной в 1936 году.

Это была шахматная книга. Я не раз пользовался ею для занятий с детьми в ленинградском Дворце пионеров, где тогда работал тренером, и до сих пор считаю «Курс шахматных лекций» Макса Эйве одной из лучших книг по шахматам. Она и сейчас со мной. На обороте титульного листа — название книги на языке оригинала: «Practische schaaklessen», и уже не останавливается взор на двойном голландском «а», столь непривычном для русского языка. Я не мог предполагать тогда, что уже через несколько месяцев после отъезда буду разговаривать с автором книги, встречаться с ним довольно часто и даже сыграю небольшой матч.

Впервые я увидел Эйве в Амстердаме поздней осенью 1972 года, когда он предложил мне принять участие в работе над одной из книг по теории дебютов. Вначале я согласился, но собственная шахматная карьера оттеснила на второй план всё остальное, и от замысла пришлось отказаться.

Штаб-квартира ФИДЕ, как пышно именовались в советской прессе три средних размеров комнаты на Пассердесграхт в центре Амстердама, находилась в нескольких минутах ходьбы от моего дома, и я, гуляючи, иногда заглядывал туда. Эйве был постоянно в разъездах, но случалось, я заставал его там, и порой он просил меня помочь ему с переводом писем, которые он получал из Советского Союза. Письма были похожи друг на друга и почти всегда заключали в себе просьбы: автографа, фотографии, книги. «Вы думаете, что этого будет достаточно?» - спрашивал он обычно, расписываясь на листе бумаги или подписывая фотографию. «Более чем», — отвечал я. «Вы действительно думаете, что этого достаточно?» — сомневался он. В голосе его звучали интонации Александра Македонского, одарившего друга пятьюдесятью талантами, в ответ на уверения последнего, что и десяти было бы достаточно: «Тебе достаточно, а мне

недостаточно».

Осенью 1975 года в студии телекомпании «АВРО» в Хилверсуме мы сыграли матч из двух партий; после него была даже издана книга «Матч Эйве — Сосонко», в которой его лучшие партии соседствовали с моими. Надо ли говорить, что для меня это было очень почетное соседство. В книге рассказывалось также о шахматной Голландии, ее надежде - молодом Яне Тиммане. Первоначально планировалось, что соперником Эйве в этом матче и будет Тимман, но буквально за несколько дней до этого у Яна умер отец.

Позднее в детальном исследовании гроссмейстера и психолога Николая Крогиуса, посвященном творчеству Эйве, я прочел: «Эйве охотно шел на образование центральной изолированной пешки в своем лагере и успешно играл эти позиции». Я испытал это на себе в первой партии нашего матча, где чудом сделал ничью. Крогиус оказался прав и в другом: «Очень выгодно было заготовить какую-либо новинку в дебюте, даже если она при правильном ответе не вела к преимуществу. Как правило, можно было ожидать сильного психологического эффекта неожиданности». Вторая партия полностью подтвердила эту оценку: новое продолжение, которое я применил в славянской защите, вероятно, не было сильнее испыты-вавшегося еще во время его матча с Алехиным, но было видно, что характер борьбы Эйве явно не по душе, и мне удалось выиграть эту партию.

Секретарем ФИДЕ была тогда Инеке Баккер. Вскоре после матча она встретилась в Москве с министром спорта СССР Сергеем Павловым. «Он был вне себя от ярости, - вспоминала она. — «Что, Эйве не мог найти другого соперника для матча? Он забывает, что он не просто гроссмейстер, а президент Международной шахматной федерации. Это - вызов, вызов!» - несколько раз повторил он. Разумеется, Эйве и в голову не приходило считаться с политической подоплекой нашего матча, хотя годом раньше именно из-за моего участия на турнир в Вейк-ан-Зее не приехал ни один советский гроссмейстер. Сейчас это кажется невероятным, но тогда власти рассматривали любого эмигранта из СССР как изменника, и его имя должно было бесследно исчезнуть со страниц прессы. В этом, конечно, был силен заряд первобытной магии - заклятье на имя, существовавшее еще в Древнем Риме: damnatio memorie - проклятие памяти, когда имя выскребалось из надписей на каменных стелах, сохранявших тексты государственных документов. Это описанное Оруэллом явление было знакомо старшему поколению советских людей, хорошо помнящих, как вымарывались фотографии и выдирались целые страницы в

учебниках истории, а в Большой Советской Энциклопедии биографию заменяли географией: Берию — Беринговым проливом. Экземпляр ленинградской спортивной газеты с сообщением, что 1—3-е места в чемпионате Голландии 1973 года поделили Энклаар и Зюйдема, я храню ло сих пор.

Уже через полгода после моего матча с Эйве советским функционерам пришлось столкнуться с этой проблемой в значительно более крупном масштабе: летом 1976 года после турнира в Амстердаме Виктор Корчной попросил политическое убежище в Голландии. Нельзя сказать, что это было импульсивным решением. В январе того же года в Гастингсе мы с Корчным едва ли не каждый вечер обсуждали все возможные способы его перехода на Запад.

На открытии турнира он попросил меня помочь в разговоре с Эйве. Суть его сводилась к следующему: у Корчного много проблем в Советском Союзе, его положение там затруднительно, скоро начинаются претендентские матчи, в которых он принимает участие, и что было бы, если бы он...

Эйве понял всё с полуслова. «Разумеется, Виктор. — говорил он. — у вас остаются все права, конечно, мы вам поможем, вы не должны беспокоиться» и т.д. Я переводил бесстрастно, понимая важность происходящего. Неправильно было бы сказать, что этот разговор определил решение Корчного — он уже давно шел к нему. — но в том, что дружелюбный, ободряющий тон Эйве придал ему уверенности, сомнений нет.

Во время разговора я иногда поглядывал на Эйве. Он говорил как человек, к которому обратился за советом и помощью коллега, и всё. что он говорил, было естественной реакцией, первым порывом души, коего так советовал остерегаться молодым дипломатам Талейран. В нем не было ничего от президента одной из самых представительных федераций в мире, от политика, просчитывающего ситуацию на пару ходов вперед. В противном случае он мог бы догадаться, что количество проблем у него лично в связи с этим возможным решением его собеседника возрастет невероятно. Советская федерация, самая влиятельная в ФИДЕ, и так имела зуб на Эйве после матча Фишер — Спасский. Тогда Эйве, порой закрывая глаза на параграфы устава, сделал всё возможное, чтобы матч состоялся. Выигрыш Фишера явился чувствительным ударом по престижу советской шахматной школы; вдвойне болезненным был факт, что победу одержат американец. Холодная война была тогда в самом разгаре, с Никсоном и Киссинджером в Белом ломе и Брежневым в Кремле.

В 1976 году Эйве настоял на соблюдении решения ФИДЕ о

проведении Всемирной шахматной Олимпиады в Израиле, с которым у СССР не было в то время дипломатических отношений. Это предопределило бойкот Олимпиады Советским Союзом и почти всеми странами социалистическою лагеря. Теперь же уход на Запад одною из сильнейших гроссмейстеров, претендента на мировое первенство выходил далеко за рамки спорта и являлся политическим актом. Позиция Эйве, занятая в вопросе Корчного, стала фактически последней каплей, переполнившей терпение Советов.

Документы из секретных архивов КГБ и ЦК КПСС, ставшие доступными только после распада СССР, показывают, на каком уровне решались вопросы, связанные с шахматами, в стране, где всё было накрепко переплетено с политикой.

В Центральный Комитет

Коммунистической партии Советского Союза. СЕКРЕТНО

Комитет по физической культуре и спорту… полагает необходимым сообщить, что в последние годы вообще сюжилась ненормальная обстановка в ФИДЕ. Президент М.Эйве систематически и довольно последовательно игнорирует многие предложения социалистических стран и осуществляет мероприятия, свидетельствующие о его проамериканской и просионистской ориентации, не стесняясь подчас принимать решения, ущемляющие законные интересы советских шахматистов. Особенно это проявилось в период подготовки матчей на звание чемпиона мира между американским гроссмейстером Р.Фишером и советскими шахматистами Б.Спасским и Л.Карповым.

В 1974—1975 г.г., несмотря на возражения шахматных федераций СССР, социалистических стран, а также ряда арабских стран, М.Эйве принял решение провести шахматные олимпиады в Израиле. Ошибочность этого решения в настоящее время очевидна всем (в Израиль собираются приехать только 30—35 делегаций, в то время как на предыдущих олимпиадах были шахматисты более 70 стран из 93, состоящих в ФИДЕ), однако Эйве упорно продолжает заявить, что и в этом случае он не отменит олимпиады в Израахе.

Свидетельством односторонней ориентации М.Эйвеяв.ляется и его нежелание объективно разобраться в ситуации, сложившейся в связи с изменой Родине гроссмейстера Корчного. С первых же дней, как Корчной остался в Нидерландах, М.Эйве систематически выступает в защиту его прав на участие в матчах претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в 1977 году, хотя в

конфиденциальной беседе уже обращаюсь внимание М.Эйве, что ФИДЕ в соответствии с Уставом не должна вмешиваться в дела национальных федераций.

Неспособность М.Эйве управлять деятельностью ФИДЕ проявляется и при решении многих других вопросов. Видно, сказывается и его преклонный возраст (75 лет).

В связи с этим Спорткомитет СССР полагает целесообразным совместно с другими социалистическими странами начать закрытые переговоры о подборе кандидатуры на пост президента ФИДЕ (может быть, от Югославии) с тем, чтобы в конце 1976 — начале 1977 года публично выступить с *требованием отставки М.Эйве. В соответствии с Уставом ФИДЕ, официальные перевыборы президента должны состояться в 1978 году.*

Председатель Комитета
по физической культуре и спорту
при Совете Министров СССР 20 августа 1976 г.
С.П.Павлов

В Центральный Комитет
Коммунистической партии Советского Союза.

СЕКРЕТНО

В течение длительного времени между шахматистами СССР и Голландии поддерживаются контакты и осуществляется обмен спортсменами. Советские шахматисты, в том числе и ведущие гроссмейстеры, ежегодно участвуют в нескольких традиционных международных турнирах в Голландии, а голландские шахматисты приглашаются на турниры в СССР.

Однако в последние годы Шахматный союз Голландии совершает действия, носящие недружественный характер по отношению к СССР, и, в частности, оказывает поддержку шахматистам, эмигрировавшим из СССР и других социалистических стран.

Так, в Голландии обосновался бывший мастер спорта СССР Г. Сосонко, эмигрировавший сначала в Израиль, а затем переехавший на жительство в Голландию. Еще до получения гражданства этой страны Сосонко приглашался к участию в турнирах как ее представитель, а в 1975 году в явно пропагандистских целях был проведен его матч из двух партий с экс-чемпионом мира, президентом ФИДЕ М.Эйве. На турниры в Голландию систематически приглашаются А.Кушнир, эмигрировавшая из СССР в Израиль, бывший чехословацкий шахматист Л.Кавалек, проживающий ныне в США, и другие подобные лица.

Шахматный союз Голландии ныне оказывает покровительство В.Корч-ному. Голландскими властями Корчному отказано в

статусе политического эмигранта (разрешено временное проживание в Голландии по «моральным и гуманным» мотивам), однако Шахматный союз Голландии взялся представлять его интересы в соревнованиях претендентов на первенство мира.

Учитывая, что все эти шаги носят политическую окраску, Спорткомитет СССР полагает целесообразным впредь сократить направление советских шахматистов на турниры в Голландию (кроме официальных чемпионатов), не направлять в эту страну ведущих гроссмейстеров и ограничить приглашения голландских шахматистов в СССР. Просим согласия.

Председатель Комитета
по физической культуре и спорту
при Совете Министров СССР С. П. Патов
15 декабря 1976 г.

Отношения Эйве с Советским Союзом претерпевали различные стадии. До Второй мировой войны он был абсолютно очарован идеей коммунизма - обществом, где всё распределено поровну. Такой точки зрения, впрочем, придерживалась тогда немалая часть интеллигенции Запада, и отголоски этих идей можно найти в репортажах, которые Эйве посылал из СССР в голландские газеты при первом посещении страны в 1934 году (всего он побывал там более двух десятков раз). Очень немногим удавалось не поддаться тому оптическому обману, маршевому энтузиазму, не дать увлечь себя великолепной декорацией, какой представал тогда перед иностранцами Советский Союз.

Во время войны Эйве в Амстердаме брал уроки русского языка у знаменитого впоследствии слависта профессора Карела ван хет Реве - это говорит о многом. А на открытии турнира в Гронингене в 46-м году Эйве вместе с дочерьми исполнил песню на русском языке, слова первого куплета которой они помнят до сих пор:

Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек! Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек.

Даже если отрешиться от гётевского утверждения, что политическая песня - скверная песня, понимал ли он до конца ее смысл?

Завороженность Советским Союзом резко пошла на убыль у Эйве после посещения Москвы в 1948 году, и не только разговоры с друзьями довоенных лет Флором и Кересом способствовали этому. Конечно, западному человеку трудно было понять всю глубину несвободы там. Но и внешних признаков этой несвободы было достаточно: встречи с оглядкой и предосторожностями, как было, например, в случае с вдовой Рети, жившей в Москве, постоянный пристальный взгляд органов госбезопасности, общая

гнетущая обстановка, в которой оказывался иностранец в те годы в Советском Союзе.

Эйве рассказывал мне, что тогда же, в Москве, он спрашивал у Ботвинника: «А где же X и Y?», которых он помнил еще по довоенной поездке 1934 года. «Они оказались врагами народа», — отвечал тот. «Ну, а Z?» — не отставал Эйве. «Он тоже», — мрачнел Патриарх.

Окончательно переменилось отношение Эйве к СССР после будапештских событий 1956 года. Он был настолько потрясен, что собирался лететь в Москву, в Кремль, чтобы объяснить там, что так поступать нельзя, нельзя...

После того как Эйве вышел на пенсию и возглавил ФИДЕ, он стал ближе к шахматам, чем когда-либо, даже чем в те периоды жизни, когда пытался быть шахматным профессионалом.

Борис Спасский был в 1969 году чемпионом мира. Именно он выдвинул Эйве на пост президента ФИДЕ от советской шахматной федерации и группы ведущих гроссмейстеров: «Конечно, во время моего матча с Фишером Макс потакал немного Фишеру, но ведь и я Фишеру потакал. Эйве был склонен к компромиссам, особенно когда Советы вставали на дыбы, а такое случалось нередко. Во время переговоров по поводу матча Фишер — Карпов допустил Макс слабину. Вряд ли он должен был тогда дисквалифицировать Фишера, да и с Советами следовало бы ему быть потверже. Мне думается, что он мстил тогда немножко Фишеру, но не лично, а вообще, за всё его поведение. Очень непросто для шахматиста быть президентом такой большой федерации, возникает масса сложных проблем, но Эйве как президент ФИДЕ был, конечно, на своем месте».

Запад должен был считаться тогда с Советским Союзом как с супердержавой. Положение Эйве было еще сложнее, потому что Советский Союз был не только шахматной супердержавой - он был самой могущественной шахматной страной в мире. Баллотируясь на пост президента, Эйве, конечно, не мог не отдавать себе отчет в том, что Советы играют в ФИДЕ решающую роль, что ему постоянно придется иметь с ними дело. Советские шахматные функционеры были настоящими гроссмейстерами в интригах, манипуляциях и заговорах; он же видел перед собой одну главную цель: популяризацию самой игры. Нередко, говоря о жизни в СССР, он пробовал спрятаться за шуткой, но в кругу близких Эйве никогда не скрывал негативного отношения к коммунизму. Реалист и прагматик, он должен был всегда быть готов к лавированию, компромиссу, а иногда и к закрыванию глаз. Порой он не понимал советских, иногда был наивен или просто не хотел опускаться до их менталитета, замешенного

всегда на густом идеологическом растворе. В 1973 году было очевидно, что участие сильнейших западных гроссмейстеров - Ларсена и Хюбнера в межзональном турнире в Ленинграде было сделано по инициативе Советов, и у Эйве не хватило твердости противостоять им. Этот турнир, который выиграли Корчной и Карпов, был явно сильнее другого — в Петрополисе, и Ларсен с Хюбнером были выведены таким образом из борьбы на первенство мира.

Если согласиться с грустной формулой «честные всегда проигрывают нечестным, потому что они рассматривают нечестных как честных, а нечестные, наоборот, выигрывают, потому что они смотрят на честных как на нечестных», Эйве был заранее обречен на поражение. Но когда доходило до принципиальных вопросов, он твердо стоял на своем.

В 1975 году Макс Эйве увенчал лавровым венком нового чемпиона мира. После того как Роберт Фишер отказался защищать свое звание, им стал Анатолий Карпов. И сейчас, более четверти века спустя, Карпов полагает, что у Эйве просто не было выбора, он следовал букве закона, что Фишер все равно не стал бы играть матч, какие бы уступки ему ни были сделаны. В глазах Карпова Эйве был очень хорошим президентом ФИДЕ, хотя и допустил одну серьезнейшую ошибку: «Нет сомнений, что он действовал тогда из самых лучших побуждений, но последствия этой ошибки ощущаются до сих пор. Эйве хотел распространить шахматы повсеместно, в маленьких странах, странах третьего мира, на всех континентах. Само по себе это было и неплохо, и я, будучи чемпионом мира, его поддерживал в этом, но ни он, ни я не могли предположить, к чему это приведет. Он провозгласи,! девиз: каждой стране своего гроссмейстера, и это привело не только к инфляции гроссмейстерского звания, но и к неуправляемости шахматным миром, то есть к ситуации, которую мы имеем сейчас».

Гарри Каспаров полагает, что Эйве как президент ФИДЕ был в чем-то идеалистом, но все-таки главным образом — прагматиком, хотя в определенный момент, когда надо было поставить заслон советской агрессии, ему не удалось это сделать: «Я понимаю, что Советы были тогда очень сильны, но все-таки сегодня хочется верить, что это было возможно. Хотя бы потому, что в такую детерминированность истории верить совсем не хочется. Как мне кажется, он как президент ФИДЕ не смог, к сожалению, разглядеть те опасности, которые подстерегали ФИДЕ, находившуюся фактически под советским контролем, и подстерегли в конце концов».

Виктор Корчной вспоминает Эйве не только как одного из

последних честных президентов ФИДЕ, но и как человека, который много сделал для него после того, как он остался на Западе.

Юрий Авербах не раз встречался с Эйве на различных заседаниях и конгрессах ФИДЕ: «Он никогда не был раздражен, старался понять другую сторону, всегда искал компромисс. Такая манера поведения резко контрастировала с манерой советских руководителей шахмат, которые склонны были давить, жестко проводя одну, заранее выработанную линию. Конечно, Эйве твердо придерживался мнения, что Фишер должен сыграть матч на звание чемпиона мира, должен получить такой шанс, чего бы это ни стоило. Ради этого Макс, случалось, нарушал правила; на этой почве у него даже возник конфликт с Ботвинником, но, без сомнения, Макс Эйве был лучшим президентом ФИДЕ за всю ее историю!»

Кульминацией шахматной карьеры Эйве стал матч с Алехиным в 1935 году. Если бы он не выиграл этот мат1!, его имя произносилось бы сейчас в одном ряду с именами Шпильмана, Рети и Видмара — замечательных игроков предвоенного времени.

До начала поединка никто не сомневался в его исходе: Алехин должен победить. Таким же было общее мнение и в Советском Союзе, где Эйве за год до матча принял участие в турнире мастеров и занял место в середине таблицы. Виктор Батуринский, впоследствии один из самых влиятельных шахматных функционеров, был тогда молодым комсомольцем, инструктором по спорту. В этом качестве он присутствовал в гостинице «Метрополь» на приеме в честь Эйве. «В самом конце обеда, — вспоминает Батуринский, — глава советских шахмат Крыленко спросил у Эйве, каковы его шансы в матче с Алехиным. «Откровенно говоря, небольшие, — отвечал Эйве. — Алехин выдающийся шахматист, и победить его, конечно, очень трудно». - «В чем же смысл вашего вызова?» — продолжал Крыленко. «Во-первых, это очень престижно - сыграть матч на звание чемпиона мира, а во-вторых, моя маленькая страна хотела бы иметь своего национального героя», — сказал Эйве».

С настроением, которое лучше всего отражает строка из стихотворения Рильке — «Wer spricht von Siegen? Uberstehn ist alles»[9], подошел Эйве к матчу с Алехиным.

Александр Алехин последние двадцать пять лет своей жизни провел в эмиграции, преимущественно во Франции. Но по воспитанию, привычкам и образу жизни он оставался русским. Хотя он говорил и писал по-английски, по-немецки, по-французски, наиболее четко и откровенно его мысли выражены в статьях, написанных на родном языке. Он писал для своих

соотечественников, так же как и он оказавшихся за пределами России, и статьи эти, опубликованные в русских газетах, выходивших в 20—30-е годы в Париже, совершенно не знакомы подавляющему большинству читателей. В них он позволял себе значительно большую степень откровенности, чем в немецких, французских или английских публикациях, здесь он был «среди своих».

Так, еще за два года до матча Алехин, характеризуя стиль молодых — Эйве, Флора, Кэждена, Пирца, Штольца, писал в газете «Последние Новости»: *«Увы, характерной чертой их является отсутствие оригинальности... Нового в их партиях найти ничего нельзя; они только сумели, в большей wt меньшей степени, освоить то абсолютно ценное, что было в идеях и писаниях лучших представителей двух предыдущих поколений, и превратить свои познания в мощное орудие практической борьбы».* Здесь же он дает, по меньшей мере, сдержанную оценку шахматным статьям Эйве, которые, *«полезные сами по себе, имеют в большинстве случаев лишь характер добросовестных и обстоятельных сводок последних дебютных достижений шахматной теории; общих конструктивных мыслей в них не найти».*

Незадолго до начала матча в той же газете Алехин дал развернутую оценку своему будущему сопернику и его перспективам в матче: «Об Эйве мне прииыось услышать впервые вскоре после моего отъезда из советской России в 1921 году... В его игре, в его молодых успехах было, несомненно, «что-то», но это «что-то» все же было пока не то... После периода неуспехов в психологии Эйве как шахматиста-практика произошеиг первый — едва ли не самый важный перелом. Он если не явственно осознал, то инстинктивно почувствовал, что сущность его дарования лежит не в нем, а вне его. Иньши словами, что ему, в противоположность Ласкеру, Капабланке, Нимцовичу и другим, нельзя и нельзя будет впредь учиться у себя, а понадобится питаться чужими мыслями, чужим опытом, плодами чужих талантов».

И далее: *«Главную же положительную черту — строго плановую организацию шахматной борьбы — он сумел в себе претворить, и это обстоятельство ему в дальнейшем значительно помогло... В конце 1925 года во время моего пребывания в Голландии он предлагает мне сыграть с ним в следующем году серию из десяти партий (о слове «матч» в то время не было и речи) — и это состязание в силу обстоятельств оказалось новым поворотным пунктом в его карьере. Случилось это потому, что, во-первых, за этот год окончательно выяснилась возможность*

моего матча с Капабланкой — следовательно, для Эйве дело пошло уже не о единоборстве с рядовым, хотя бы и первоклассным мастером, но с Weltmeisterschafts-кандидатом... Во-вторых же — и это, конечно, самое главное, — спортивные и качественные результаты наших десяти партий оказались далеко не убедительными: я выиграл три и проиграл две при пяти ничьих. Причин моего неуспеха было несколько, но главной была, несомненно, легкомысленная, необоснованная недооценка соперника. С этого момента зародилась «королевская идея» у самого Эйве и его поклонников-соотечественников...

Каковы же перспективы исхода нашего матча?..

В вопросе общепсихологическом все козыри у Эйве налицо: 1) всякий кандидат, имеющий какие-либо ощутимые шансы на титул, пользуется спортивным сочувствием значительной части «общественности» и абсолютной симпатией печати, по существу своему всегда чающей чего-то переменного, нового; 2) Эйве — герой маленькой страны, никогда не имевшей (если не ошибаюсь) вообще чемпионов, а тем более мировых.

Этих двух предпосылок вполне достаточно, чтобы Эйве в глазах печати был — выиграет ли он, проиграет ли — «героем» нашего матча.

Теперь несколько слов о втором психологическом факторе — о влиянии личности противника. Здесь, мне думается, у меня определенное преимущество. Я не верю в Эйве, будущего чемпиона мира. Я не думаю, чтобы даже после случайного выигрыша у меня он бьи\ бы признан по существу лучшим игроком мира.

Если наше состязание завершится его победой, то это только докажет, что в данный момент я оказался не на вершине моего творчества. Тем хуже для меня. Эйве же, если он станет формальным чемпионом мира, ждет весьма нелегкая задача, подобная той, которую мне пришюсь разрешить после выигрыша матча у Капабланки: доказать, что в данный отрезок времени он, Эйве, действительно лучший».

Выигрыш Эйве явился полной неожиданностью для шахматного мира. Был сокрушен гигант, который приучил всех не просто к постоянным победам, но к победам звонким, убедительным, одержанным в стиле, не остааляющем сомнений в том, кто сильнейший игрок мира. Свою речь после победы над Алехиным Эйве закончил словами, что «боится, что он недолго будет чемпионом мира». Я думаю, что эти слова, скорее, говорят о его объективности, чем о скромности. Эйве, без сомнения, понимал, какого калибра игроки были и его поверженный соперник, и еще не сошедший со сцены Капабланка, и выходящие на мировую сцену новые звезды — Ботвинник, Керес.

Если на Западе шок после поражения Алехина прошел довольно быстро и шахматный мир занял сдержанно-выжидательную позицию, то в Советском Союзе произошел поворот на 180 градусов, что было характерно, впрочем, и для политики государства в целом: здесь считались только с реальностью, с самой упрямой вещью — фактами и верили только в силу. История страны постоянно менялась: герои становились предателями и изменниками, в редких случаях происходил обратный процесс. Монархист и белогвардеец, как писала тогда об Алехине советская пресса, после проигрыша Эйве был развенчан и как шахматист, зато новый чемпион мира был вознесен на неслыханную высоту.

Известный шахматный деятель Яков Рохлин писат после матча: «Пройдет несколько лет, и чемпион мира Эйве отдаст необходимую и ожидаемую всеми дань шахматной истории — в виде пары высоких призов на международных турнирах — и драматический эпизод борьбы его с Алехиным уже не будет вызывать недоумения. Но еще долго будут спорить шахматисты всего мира о том, кто был большим гением начата 20-го столетия — титанический Ласкер, интуитивный Капабланка, вдохновенный Алехин или методичный Эйве».

Сильные слова, конечно. Эйве не был гением шахмат, но он был гением организованности, логики, порядка. Слова футбольного тренера: «Порядок бьет класс» — объясняют многие успехи Эйве, и выигрыш матча у Алехина в первую очередь. Он всегда был верен принципу, что мастерство важнее вдохновения.

Оценивая свои шансы в борьбе за высший титул, Лев Полугаевский писал, что у него по сравнению с Фишером, Карповым или Каспаровым нет этой воинственности, этого «инстинкта убийцы» за шахматной доской. «С другой стороны, - полагал он, - у Эйве, Смыслова и Петросяна тоже не было такой сокрушающей энергии». С этим трудно согласиться. Все чемпионы, названные Полугаевским, в период наивысших своих достижений обладали и такой энергией, и таким напором. И у Макса Эйве под абсолютной корректностью, воспитанием, манерами, знанием языков, всем, что понимается под западной цивилизацией, ясно просматривается это агрессивное, мужское, сокрушающее начало прирожденного бойца. Без этой жажды победы, внутреннего чувства превосходства, желания доказать это невозможно выиграть матч на первенство мира.

В середине 50-х годов, когда пик карьеры был давно позади, Эйве при анализе какой-то позиции с тремя ведущими голландскими шахматистами что-то выговорил Доннеру. Тот начал оправдываться: «Но и вы тоже, случается, делаете ошибки».

На что Эйве заметил: «Да, Хейн, это так, но ты не должен забывать, что я понимаю шахматы лучше, чем вы трое вместе взятые...» Необычные слова для Эйве, но эта или похожая мысль, не высказанная, не облаченная в слова, была глубоко присуще Эйве. Он сохранил эти амбиции, это чувство -доказать свое превосходство, победить! — до глубокой старости, и его ощущали молодые игроки, встречавшиеся с ним за доской даже на склоне его жизни. Ощущал и я во время нашего матча...

После проигрыша им матча-реванша в Советском Союзе вновь произошел резкий поворот в отношении уже экс-чемпиона мира Макса Эйве. Все шахматные издания охотно цитировали слова Алехина: «Я одолжил Эйве чемпионский титул на два года».

Результат первого матча стал объясняться чрезмерным употреблением Алехиным алкоголя. Известно, что он пил и раньше, иногда до партии, иногда и во время ее, как это было, например, на турнире в Цюрихе. Сам Эйве полагал, что «во время матча 1935 года Алехин пил, вероятно, перед 18-й партией, закончившейся вничью, точно перед 21-й, которую Алехин проиграл, и перед 30-й, закончившейся вничью... Возможно, были и другие случаи, которые я не заметил, но вполне вероятно, что их число и преувеличено, так как Алехин, хотя он был близорук, наотрез отказывался носить очки и делал ход нетвердой рукой, что создавало впечатление, что он пьян, в то время как он был лрезв как стеклышко».

Сало Флор, сам претендент на мировую корону, помогал Эйве во время матча. Позднее он вспоминал: «Алехин объяснял после матча, что он искал стимулятор, особенно перед 15-й партией, когда Эйве после крайне неудачного старта, проигрывая 1:3, сравнял счет — 7:7! Алехин сказал, что он начал «маневрировать»: для бодрости выпил рюмку и... выиграл. Победив, решил действовать еще вернее: выпил побольше... и проиграл. Так он и не сумел до конца матча установить, чего требует организм — пить или не пить. Алехин был совершенно уверен, что Эйве — не опасный для него соперник. В начале матча он был абсолютно уверен в успехе и иронически говорил мне: "Кому ты взялся помогать? Твоя помощь ему что мертвому припарки"».

В 1935 году Василию Смыслову было четырнадцать лет. В его жизни это был период активного изучения шахмат, большой самостоятельной работы, поэтому партии первого матча Алехин — Эйве он знает очень хорошо и помнит до сих пор. «В жизни ничего случайного не бывает, — полагает Смыслов. - В какой бы форме тогда Алехин ни находился, выиграть у него матч мог только мастер высочайшего класса. Играл Эйве в том матче

лучше — и выиграл, значит, суждено ему было стать чемпионом мира. Думаю, что по шахматным успехам никого с ним в Голландии сравнить нельзя, хоть и шахматная это страна».

Для Бориса Спасского победа Эйве тоже никаких сомнений не вызывает: «То, что он играл матч лучше, — совершенно очевидно. Факт, что он, не будучи профессионалом, сумел все-таки Алехина тогда победить, должен расцениваться как спортивный и творческий подвиг. Да и качество партий было достаточно высоким. Выиграв у Алехина, он вошел тем самым в плеяду шахматных апостолов».

Любопытна характеристика стиля Эйве, сделанная Михаилом Ботвинником в тот период, когда первый советский чемпион мира только боролся за это звание: «Исключительно стремительный, активный шахматист. Даже защищаясь, всегда стремится к активной контригре. Любит играть на флангах. Любит позиции без слабостей, посвободнее, делает беспокоящие длинные ходы. Стремится к развитию. Имея преимущество в позиции, не уклоняется от разменов, удовлетворяясь лучшим эндшпилем. Ошибки использует превосходно. Имея материальный перевес (пешка, качество), играет с удвоенной силой. Тонкая, превосходная техника, не без трюков».

Анатолий Карпов анализировал в свое время партии матча 1935 года очень подробно: «Конечно, Алехин был не в лучшей форме, но Эйве играл очень хорошо. К тому же тогда и не было достойных претендентов, так как игравший два матча до этого Боголюбов проиграл бесславно оба».

Ян Тимман сравнивает этот матч с матчем Карпов — Шорт: «До его начала Карпов тоже считался фаворитом, но выиграл Шорт, и выиграл закономерно. Он был тогда на подъеме, был значительно более мотивирован и очень хотел этого, так же как и Эйве в 35-м году. В тот момент Эйве просто играл сильнее».

Гарри Каспаров считает, что Эйве создал связующее звено между шахматами Ласкера, Капабланки и Алехина, находившимися в одной плоскости, и уже новыми шахматами Ботвинника, Кереса, Фаина и Решевского, принес новый, исследовательский элемент в шахматы: «Чемпионы мира должны двигать шахматы вперед, и Эйве сделал такой шаг вперед. Конечно, это был не такой шаг, какой сделал в свое время Атехин или, скажем, Ботвинник, но это был шаг вперед. Все теоретические дуэли, особенно в славянской защите, показали, что Алехин хотя и превосходил, наверное, Эйве как шахматист в общей культуре и в расчете вариантов, но уступал ему как аналитик, и матч это очень наглядно продемонстрировал.

Что касается Эйве - чемпиона мира, то в этом отношении

всегда существовал какой-то глубокий скептицизм, но мой анализ его первого матча с Алехиным показал, что Эйве выиграл закономерно — звание чемпиона мира просто так не выигрывают!

Во втором матче у Эйве было какое-то чувство обреченности, но по тому качеству партий, которое демонстрировал Алехин, Эйве вполне мог с ним бороться, если бы по-настоящему подготовился к матчу. Мне кажется, что если бы он с большей ответственностью отнесся к титулу, то результат матча-реванша мог бы оказаться и иным. Я также думаю, что Эйве стал жертвой мнения, высказываемого тогда многими, что его победа была случайной, и это отрицательно пошш-яло на его настрой. Конечно, он не имел шансов против Ботвинника или Кереса — нового поколения, но мне кажется, что с Алехиным он вполне мог бороться. Потому что и расчет вариантов был очень хороший, и шахматист он был острый, интересный. Это показывают также его поздние партии, как, например, с Геллером и Найдорфом из кандидатского турнира 1953 года. С Найдорфом — интуитивная атака, талевского типа, очень красивая. Его вклад в развитие шахмат остался, на мой взгляд, сильно недооцененным.

Без всякого сомнения, он был одной из наименее противоречивых фигур в ряду чемпионов мира. О Стейнине я ничего сказать не могу, но в отношении других я вижу только три фигуры, по отношению к которым черную краску употребить вообще нельзя. Три фигуры, стоящие особняком: Ласкер, Эйве и Таль».

Мне кажется, основной причиной проигрыша матча-реванша явился внутренний настрой Эйве: звание чемпиона мира завоевано, я оправдал надежды тех, кто верил в меня, кто помогал мне, барьер взят, жизнь продолжается. Именно этот настрой предопределил его поражение, а не пробелы в чисто шахматной подготовке и усыпившая бдительность Эйве неуверенная игра Алехина в ранге экс-чемпиона, как Эйве объяснял свой проигрыш. Перспектива постоянно доказывать свое превосходство, отодвинув на второй план все другие аспекты жизни, совсем не привлекала Эйве; он был лишен необходимых качеств, а может быть, и недостатков, чтобы долго оставаться чемпионом мира.

Среди гениев и философов, фанатиков и суперменов, которых нетрудно отыскать в ряду шахматных чемпионов, Макс Эйве выделяется скромностью, обычностью, создающей впечатление, что его путь доступен едва ли не каждому. Я думаю, что к Эйве применимы слова, сказанные в свое время о Флобере: его мастерство не бросается в глаза, и можно подумать, что так под силу писать каждому, только вот почему-то никто не пишет.

Всех чемпионов мира, начиная с Алехина, можно разбить на три категории. К первой я бы отнес Алехина и Фишера. При всей разности этих двух гениев шахмат (первый закончил одно из самых престижных высших учебных заведений Петербурга и защитил диссертацию в Сорбонне, второй не закончил и школы) у них есть немало общего. И для Алехина, и для Фишера самовыражение в шахматах и связанная с этим обязательная победа являются смыслом всей жизни. Всё остальное играет второстепенную роль, поэтому носит противоречивый и переменчивый характер. Словом, сама жизнь проходит у них как бы на заднем плане.

Ко второй группе относятся все советские чемпионы. Дело даже не в том, что они играли под флагом с серпом и молотом и получали стипендию в Спорткомитете. Все они в определенные периоды жизни, а некоторые и всю жизнь, были подвластны правилам игры, принятым тогда в Советском Союзе. И это объединяет их всех, независимо от того, были ли они искренне советскими людьми, как Ботвинник, или религиозными, как Смыслов, пытались жить в безвоздушном пространстве, как Таль, или приспосабливались, как Петросян, стараясь извлечь наибольшую выгоду для себя и «своих» людей, были чистыми прагматиками, возведенными в символ системы, как Карпов, или стали ярыми ее противниками, как Спасский или Каспаров.

Третья категория чемпионов мира состоит из одного человека. Это - Макс Эйве. Единственный подлинный представитель Запада с его ценностями, принципами и моральными категориями, заложенными в детстве и оставшимися таковыми и в восьмидесятилетнем возрасте.

Все мои первые шахматные успехи на голландской земле так или иначе связаны с Эйве. Международным мастером я стал в 1974 году. Я впервые играл тогда на Олимпиаде в Ницце за сборную страны и выполнил требуемую норму еще до конца соревнования. Эйве, который был президентом ФИДЕ, подошел ко мне сразу после партии: «Формально все комиссии уже закончили свою работу, но если вы заполните этот формуляр на представление звания, то, вероятно, удастся что-либо сделать». Это удалось.

В январе 1975 года, когда я играл в Вейк-ан-Зее, его попросили прокомментировать для публики наиболее интересную партию тура. Он выбрал мою партию с Брауном, и по ее окончании мы еще долго разбирали вместе головоломные варианты. Ему было тогда семьдесят три года, но в анализе, особенно в комбинационных ситуациях, взор его был по-прежнему остр. А через пару дней Эйве поздравил меня с

выполнением первой гроссмейстерской нормы. Я называл его Профессором; он говорил мне «господин Сосонко» или «Генна», смотря по обстоятельствам. Разумеется, мне и в голову не приходило называть его по имени, хотя однажды я услышал, как совсем юный ван дер Виль назвал его Максом. «Ему ж только приятно. А то все «господин Эйве» да «господин Эйве», - пояснил он тогда удивленному мне.

...12 июня 1975 года Эйве и я давали сеансы одновременной игры в Гронингене. Дату эту я запомнил очень хорошо: Профессор только что вернулся из Таллина, где 10 июня был на похоронах Пауля Кереса, друга и соперника еще с довоенных времен.

Сеанс был нелегким. Игршш мы в студенческом клубе, и молодые люди с длинными по тогдашней моде волосами насыпали табак на папиросную бумагу и ловко, едва смачивая ее слюной, скручивали настоящие сигареты. Для них не существовало авторитетов, они играли волжский гамбит, норовя при первой же возможности привести своего коня на d3; многие после сделанного хода тянулись рукой к несуществующим часам, что выдавало в них испытанных турнирных бойцов. Одним словом, это был трудный сеанс, и Эйве пришлось, конечно, еще труднее, чем мне.

В купе поезда по дороге в Амстердам он сразу извлек из папки, которая всегда была при нем, стопку документов и углубился в чтение, время от времени делая пометки. «Через несколько дней заседание Исполкома ФИДЕ, и я должен всё привести в порядок», — сказал он, встретившись с моим вопросительным взглядом. Был уже поздний вечер, но Эйве совсем не выглядел усталым, наоборот, он был скорее доволен: шахматный праздник в Гронингене удался, сейчас он на пути домой, он пишет, он работает, и время не проходит Даром, и поезд движется, и он пишет, и время не проходит даром, и поезд движется, и он работает...

Когда мы уже подъезжали, он взглянул на часы и начал о чем-то переговариваться с проводником: «Поезд запаздывает, и я боюсь, что жена, не дождавшись меня, вернется домой», - объяснил он. «Ну, так что ж, Профессор, — неосторожно заметил я, - тогда вы возьмете такси». Эйве внимательно посмотрел на меня: «Четвертый номер трамвая идет до моего дома, господин Сосонко». У четвертого номера амстердамского трамвая по-прежнему тот же маршрут, и от его кольца до дома на Менсинге, где он тогда жил, надо было пройти еще порядочный кусок...

Перед матчем с Алехиным у маленькой Элс Эйве спросили в школе: «Что произойдет, если твой отец станет чемпионом мира?»

— «Тогда у нас будет курица на обед», — отвечала девочка.

После выигрыша матча Эйве в ответ на предложение Флора отдохнуть с месяц на Ривьере заметил: «У меня нет и гривенника для того, чтобы добраться до станции». У него не было денег на такси после выигрыша последней партии матча, трамваи из-за сильного снегопада не ходили, и он отправился домой пешком. Сорок лет спустя Эйве, разумеется, мог позволить себе взять такси, но дело было не в деньгах. Определение «скупой» было бы неверным для его характеристики. Понятия «экономный», «бережливый» ближе к истине, но тоже, по-моему, не вполне отражают существа дела. Его почти аскетический образ жизни был вызван не отсутствием материальных средств — в последние десятилетия жизни он мог уже многое себе позволить, — но воспитанием и внутренней установкой на полную независимость от жизненных обстоятельств. Здесь свою роль сыграли и кальвинистская среда, в которой он рос, и скромный быт в семье школьного учителя, и весь комплекс понятий, которым более других соответствует голландское слово «fatsoen»[10].

Одет он был всегда очень аккуратно и очень буднично. Его это мало интересовало, равно как и то, что он ел: мысли и заботы об этом оторвали бы его от многочисленных обязанностей. Он никогда не ходил в ресторан, ужиная обычно за полчаса, после чего уходил к себе. «У нас дома ели в восемь часов, в час и в шесть часов вечера, на ночь нам давали стакан молока, — вспоминает Еле Эйве. — Во время еды отец всегда слушал последние известия по радио. Если он смотрел по телевизору какой-нибудь пустой сериал, то делал при этом, как правило, что-либо еще. Нередко были включены и радио, и телевизор, и он слушал и смотрел одновременно. Он постоянно бывал в разъездах, но условия в этих поездках были всегда спартанские, он избегал малейшего комфорта, в поезде не брал спального места».

Он никогда не вел дневников, но аккуратно записывал все расходы в специальную тетрадь. Несколько таких хранятся в центре Макса Эйве в Амстердаме, только в графы прихода и расхода аккуратным мелким почерком внесены анализы шахматных партий...

По природе своего шахматного таланта он был в первую очередь тактиком, но, как заметил Карпов, просматривавший однажды партии Эйве с целью собрать материал по теме жертва ферзя, ни одной такой в его партиях он не обнаружил.

Крогиус пишет, что у Эйве «заметно преувеличенно-почтительное отношение к материалу. Надо сказать, что многие ошибки Эйве, и не только в дебюте, связаны с преувеличением

роли материального фактора».

Отражение жизненной концепции? Не совсем. Даже когда единственным источником дохода являлось жалованье преподавателя математики в женском лицее, у него всегда кто-нибудь гостил. Смыслов вспоминает до сих пор о трех замечательных днях, которые он провел в Амстердаме, оставшись с Кересом после какого-то турнира в доме Эйве. Средства на его многочисленные поездки по миру в качестве президента ФИДЕ шли, как правило, из фонда Эйве, пополнявшегося им самим за счет сеансов, лекций, показательных партий.

Он мог отправиться домой после трудного сеанса на трамвае, но на другой день, не задумываясь, пожертвовать крупную сумму на дело, которое считал правильным и полезным. Он нередко одалживал деньги нуждающимся шахматистам, как, например, Давидсону, Ландау и ван ден Бергу, хотя и знал, что одолженных денег, возможно, придется ждать долго, очень долго...

В конце 70-х был создан комитет, чтобы помочь Яну Тимману в борьбе за первенство мира, и Эйве стал одним из его членов. Он поддерживал комитет лично, платя немалые суммы из своего кармана, но избегая афишировать это. Очевидно, что он хотел продолжить традицию комитета Эйве: мне помогли тогда, теперь мой черед помочь.

В его мировосприятии это было долгом (ключевой термин для понимания сущности Эйве) и правильно во всех смыслах: для Тим-мана, для шахмат, для Голландии. Последнее слово не было для Эйве пустым звуком. Дочери вспоминают, что видели его плачущим единственный раз в жизни — 15 мая 1940 года: «Мы еще не ушли в школу — отец сидел в кресле и его брил парикмахер, который обычно приходил к нему по утрам. Радио было включено, и отец услышал сообщение о капитуляции Голландии».

Он никогда не ходил в музеи и почти ничего не читал - для этого У него просто не было времени. Однажды, взяв с собой в отпуск несколько пустых книжонок, он быстро прочел их, а потом всё оставшееся время маялся от безделья. Он обладал абсолютным слухом, любил классическую музыку — Бетховена, Шопена, но в филармонию не ходил - ведь для этого нужно время. Музыка проходила у него как бы на заднем плане, сопровождая какое-либо другое занятие. Голландский мастер Ханс Баумейстер, пианист-любитель, живший под Утрехтом, вспоминает, как Эйве приехал к нему однажды на домашний концерт: «Уже при исполнении первой вещи он листал расписание поездов, чтобы уточнить время последнего на Амстердам...»

Каролин Эйве: «Он всегда шел спать в половину

одиннадцатого и перед сном слушал по радио последние известия. Больше всего на свете он не любил беспорядок. Он всё планировал: отпуск, свободное время. Он и для мамы составлял схемы, когда и как должно быть что-то сделано. Всё должно было быть всегда в порядке, всё на своем месте. Он сердился, когда мы приносили плохие отметки из школы. И еще он сердился, когда он сидел и работал, а я под его окном играла с мальчишками в футбол»...

Характеризуя отца Яна Тиммана, профессора математики Рейна Тиммана, Эйве писал: «Я знал многих профессоров, но только редчайшие из них сочетали в себе глубокие профессиональные знания с такими превосходными качествами, как объективность, скромность и сдержанность». Это, конечно, о нем самом. То, что было присуще ему самому, и то, что он так ценил в людях: объективность, скромность и сдержанность.

Самокопание и самобичевание, присущие многим шахматистам, были ему совершенно незнакомы. Первая половина неудачно сложившегося для него матч-турнира на первенство мира проходила в Гааге. Возвращаясь вечером домой в Амстердам, он располагался обычно на заднем сиденье машины с Карелом ван ден Бергом, помогавшим ему в том турнире. Проанализировав позицию на карманных шахматах, он объявлял: «Нужно сдаваться - позиция проигранная». И тут же начинал говорить о других вешах так, как будто шахмат не существует вовсе.

Вспоминает Смыслов: «Был Макс симпатичный, и, хотя в наших встречах успех ему не всегда сопутствовал, а неудачи, наоборот, чаше случались, удивлялся я всегда его абсолютно корректному поведению после партии и во время разбора ее. В Гронингене в 1946 году играл Макс прекрасно, но посчастливилось Ботвиннику очень — нашел ничью в отложенной позиции в партии с Эйве, хотя казалось всем: проигрывает он. Мы обедали тогда вместе, и Михаил Моисеевич всё анализировал позицию на карманных шахматах, нервничал очень...»

Ботвинник утверждал, что был период, когда его отношения с Эйве носили очень острый характер. Мне это трудно себе представить. Вероятно, и сам Эйве удивился бы, узнав об этом: у него с Ботвинником; во всяком случае, острых отношений не было. Его друг и секундант Ганс Кмох писал, что Эйве был более всего счастлив, когда мог доставить кому-нибудь удовольствие.

Тиммaну было неполных двенадцать лет, когда он сыграл первую партию с Эйве. Было это в сеансе одновременной игры в Гааге. Партия — был разыгран вариант «каменная стена» — получилась интересной и закончилась вничью. Но любопытно

другое. «Я сидел рядом с моим старшим братом Тоном, который получил преимущество в дебюте и предложил ничью, — вспоминает Ян. — Эйве улыбнулся и сказал: «Нет, у тебя не скоро еще будет шанс сыграть со мной». И Тон в конце концов выиграл. Типичный Эйве: дружеский, ободряющий молодого жест, когда результат партии неважен, он как бы отходит на второй план».

Он говорил на основных европейских языках. Самым сильным был немецкий — международный язык шахматистов до Второй мировой войны. Уже в пожилом возрасте он стал брать уроки испанского; помню спич Эйве по-испански на открытии Олимпиады в Буэнос-Айресе в 1978 году. Труднее было с русским. Его выступление по-русски на закрытии турнира в Гронингене (1946) вызвало шутку Котова: «Этого не смог бы понять даже голландец!» Хотя он в дальнейшем неоднократно бывал в Советском Союзе и даже пытался учить язык, его познания ограничивались отдельными фразами. Я слышал несколько таких на закрытии межзонального турнира в Биле в 1976 году. С их помощью и с вкраплениями английских и немецких слов Эйве вел полумимический разговор с Геллером и Петросяном. Но когда те, обрадованные возможностью беседы без помощи переводчика, превышали допустимую скорость речи - обычная ошибка всех, говорящих только на одном языке, — Профессор лишь восклицал: «Да! Да!» — и кивал приветливо, что бы те ни говорили.

В молодые годы он регулярно по воскресеньям играл в футбол, боксировал, плавал. Элс Эйве: «Отец довольно часто играл в настольный теннис, предпочитая оборонительную тактику. Он нередко вытягивал труднейшие мячи, побеждая игроков, превосходящих его по силе. Он стал учиться вождению самолета, и мы, дети, замирали от восторга, когда отец описывал круги, пролетая над нашим Домом. К счастью, ему не удалось сдать последнего экзамена, и он так и не получил разрешения на вождение самолета, так как в этом случае он, без сомнения, был бы мобилизован, а почти все летчики погибли в первый же день войны».

Когда у Эйве спросили о самом счастливом событии в жизни, он ответил: «День в 1964 году, когда я стал профессором». Слова эти произвели фурор в шахматном мире: как? Чемпион мира оценивает какой-то другой факт как более значительный? Факт, сообщающийся в любой шахматной энциклопедии разве что короткой строкой. Тем не менее, я думаю, Эйве сказал то, что думал: чувство кокетства ему было чуждо. И дело тут не в чудачестве или в неверно понятых масштабах сделанного. Примеры Ньютона, считавшего величайшим созданием своей жизни «Замечания на книгу пророка Даниила», или Вагнера,

ценившего свои стихи выше, чем свою музыку, здесь неуместны. Он прекрасно понимал, что чемпион мира по шахматам -один, а профессоров математики в мире — тысячи. Признание это говорит в первую очередь о том, какое место он отводил шахматам в шкале человеческих ценностей, в шкале, размеченной им самим.

Слова Ласкера, сказанные ровно век назад, определяют отношение Эйве к шахматному профессионализму: «К таким шатким профессиям принадлежит турнирная шахматная игра. Едва ли можно назвать ее в полном смысле слова профессией, ибо она не приносит стабильного заработка для семьи. Но... она приносит известность. А бедность легче переносится, если чувствуешь свою незаурядность. Известность можно использовать также в деловых сношениях, она дает некий шанс для выбора других занятий, типа работы страхового агента или учителя, или дает возможность получить рекомендацию на получение легкой работы со сносным жалованьем».

В представлении римлян только государственная служба была делом — «negotium», тогда как все остальные занятия — досугом — «otium». В Западной Европе в 20—30-е годы эти два римских понятия почти точно соответствовали представлениям общества о настоящей профессии и шахматах. Любопытно, что в то время в Советском Союзе профессионализм в шахматах, ставший обычным явлением там во второй половине века, тоже был внове. Аспирант Миша Ботвинник вспоминал о горькой пилюле, которую он был вынужден проглотить, вернувшись в Политехнический институт после матча с Флором. «Все аспиранты выполнили свои планы, кроме двоих: один был болен, а другой был отозван... для общественной забавы», — сказал его руководитель. К тому же времени относятся и шуточные строки, обращенные к студенту Александру Котову - будущему гроссмейстеру: «Маэстро можешь ты не быть, но инженером быть обязан!»

Еще в царской России шахматы были довольно популярны: международные турниры в Петербурге являлись значительными событиями, а гастроли Ласкера, Капабланки, других ведущих гроссмейстеров собирали полные залы, хотя, как и всюду тогда в Европе, шахматы были игрой преимущественно для высших слоев общества. Но не только давней традицией объяснялся огромный интерес к шахматам в СССР. «А что же им еще делать?» — отвечал Алехин на вопрос о причинах популярности шахмат там. Изолированность страны от остального мира, требовавшая выхода энергия масс, поддержка на самом высоком уровне — всё это породило феномен, просуществовавший более полувека:

советские шахматы. Шахматы стали политическим инструментом, имеющим назначение показать всему миру превосходство социалистической системы. Самый первый чемпионат, выигранный Алехиным, был проведен в России уже через три года после установления советской власти.

Наряду с крупнейшими международными турнирами в стране проводятся сотни соревнований самого различного уровня. По силе игры советские мастера сначала достигают уровня лучших профессионалов Запада, а затем и превосходят их. Шахматным Эльдорадо называют Советский Союз западные профессионалы, играющие в знаменитых московских турнирах. Толпы любителей, жаждущих посмотреть на прославленных мастеров игры, с трудом сдерживаются конной милицией. Такой феномен был известен на Западе только в шоу-бизнесе, шахматы там ютились, как правило, в прокуренных кафе, и профессия «шахматист» вызывала недоуменное поднятие бровей.

Настоящая профессионализация шахмат произошла только после войны. Появился новый отряд молодых советских гроссмейстеров, уровень игры которых был настолько высок, что на послевоенных Олимпиадах речь шла лишь о том, с каким отрывом от второго призера выиграет советская команда. Результат Олимпиады в Буэнос-Айресе (1978), когда Венгрии удалось завоевать золотые медали, оттеснив Советский Союз на второе место, был расценен как едва ли не крупнейший провал за всю историю советских шахмат!

К тому времени процесс профессионализации шахмат захватил и другие страны. Не только сборные соцстран, но и сильнейшие команды Западной Европы и США были полностью укомплектованы профессионалами. Несмотря на это, мнение Эйве о шахматном профессионализме оставалось неизменным до самого конца. Вот что он писал своей ученице Анеке Тимман в 1975 году: «К решению Яна расстаться с шахматами как с профессией и основное время посвятить учебе в университете я отношусь положительно и очень рад за него и всю вашу семью. Разумеется, наряду с основной профессией шахматы останутся в его жизни, но к ним он будет относиться значительно менее серьезно, чем раньше. Я рассматриваю его намерение как очень достойное: это будет поступок, являющийся данью памяти отца и заслуживающий полного уважения. Радуюсь его решению, как очень благоприятному поворотному пункту в карьере Яна, в которой шахматы не вполне будут оставлены».

Именно таким отношением к игре, я думаю, объясняется решение Эйве в начале 50-х годов окончательно расстаться с игрой в турнирах, а не только расхожей истиной: всё, что

перестает удаваться, перестает и привлекать.

Период, когда Эйве вел жизнь профессионала, был для него труден. Хотя он и работал постоянно с О'Келли и ван Схелтинга, секунданты советских участников матч-турнира 1948 года откровенно смеялись над его подготовкой: Ботвинник, Керес и Смыслов легко опровергли заготовленные им схемы в открытом варианте испанской партии и в меранском варианте. Сеансы одновременной игры, нередко в прокуренных залах кафе, вечная материальная зависимость от шахмат не только были тяжелы психологически, но и сказывались на общем состоянии Эйве. Во время турне по Швейцарии дочери должны были постоянно прикладывать лед к его вискам, а Тайманов вспоминает, как во время турнира претендентов 1953 года жена постоянно массировала Эйве голову, пока соперник думал над ходом. «В том турнире Эйве играл не хуже остальных, но, я бы сказал, тяжелее, труднее, чем остальные. У меня, впрочем, он выиграл, хотя я был вдвое моложе. Вариант защиты Нимцовича, который встретился в нашей партии, мы с Флором проанализировали, как нам казалось, досконально, но Эйве опроверг этот анализ, выиграв важный теоретический диспут».

В 1960 году перед Олимпиадой в Лейпциге он получил в министерстве задание подготовить сильную команду: голландские спортсмены на Олимпийских играх в Риме выступили неудачно, и шахматисты должны были поддержать честь страны. Хотя команда и вышла в финал, сам Эйве играл на редкость слабо: проиграв Аарону и Найдорфу, он должен был временно вернуться в Голландию для чтения какой-то лекции. Через два года в Варне он играл лучше, хотя очень боялся повторить фиаско Лейпцига, и было видно, какого напряжения стоит ему каждая партия. Это была его последняя Олимпиада.

Элс Эйве: «Настоящий достаток пришел в дом, только когда отец стал профессором. В доме появились деньги, и ему это было очень приятно, и он сказал жене: «Ты можешь купить себе шубу», и ему было очень приятно сказать ей это. Однажды в аэропорту мы были в VIP-салоне, и он явно наслаждался пребыванием там, равно как в конце жизни — замечательной просторной квартирой, уютом, центральным отоплением».

Этот период его жизни совпал с появлением в Западной Европе, и прежде всего в Голландии, общества благоденствия, тотальной раскрепощенности и сексуальной революции. Если сравнить серьезное, сосредоточенное лицо Макса-школьника и Макса-студента с часто улыбающимся Эйве-профессором и Эйве-президентом, невольно приходит мысль: он родится старым и молодел с годами. С возрастом он становился как-то мягче и

раскованнее, и те, кто был знаком с ним близко, знали, что за костюмом классического покроя и строгим галстуком скрывается эмоциональный человек, живо реагирующий на радости жизни и ее удовольствия, которые он раньше не замечал или от которых отказывался сознательно. Ему уже не нужно было привязывать себя к мачте, как Одиссею; он дал жизни больше, чем взял у нее, и пришла пора подумать о себе самом.

В последний год жизни Эйве вместе с дочерью был в круизе. Среди книг, захваченных ею с собой, он увидел брошюру о стрессе и принялся читать. «Элс, - удивился он, - я не понимаю, что это такое, у меня никогда не было стресса». Тогда же он сказал: «Ты, я вижу, болтаешь здесь со всеми, а я, честно говоря, не знаю, о чем говорить с этими людьми». Он привык говорить сразу со многими или в присутствии многих: перед классом, перед студенческой аудиторией, на конгрессе ФИДЕ, на открытии Олимпиады, и каждый такой разговор, выступление или речь несли в себе какую-то цель. И кто знает, может, его постоянная занятость, разнообразные дела и обязанности, эта туго заведенная пружина жизни объясняются тем, что он не знал, что сказать, оставшись наедине с самым трудным собеседником — самим собой.

Я не думаю, что ему было хорошо на этом круизе. Ограниченный пространством, он был приговорен к занятиям, чуждым для него, а главное — не имевшим для него никакого смысла и цели: разговорам в баре или с соседями по столу, когда предмет разговора забывается уже через минуту, переодеваниям к ужину (ведь на каждом круизе царит культ еды), всевозможным играм и развлечениям, просмотру вечернего шоу... Или еще бессмысленнее: лежа на палубе в шезлонге, следить за проплывающими облаками, слушать шум воды за бортом и ничего не делать. Ничего.

Я никогда не смотрел на него как на исторический объект и тем более как на литературный; может быть, оттого, что, когда я несколько раз заговаривал с ним о прошлом, он быстро переводил разговор в настоящее или близлежащее будущее. Эйве был человеком действия, а не философствования. И что бы он ни делал, он старался делать наилучшим образом. Слова амстердамского мудреца: «Чем больше совершенна в своем роде какая-либо вещь, тем больше она действует и тем менее страдает. Можно сказать и наоборот: чем более что-либо действует, тем оно совершеннее» - относятся прямо к нему.

Эйве не был верующим. Очень религиозной была его жена, и он полагал, вероятно, что за эту сторону жизни отвечает она. Вспоминаю, как после кремации вдова, принимая

соболезнования, отвечала с твердой убежденностью: «Я не сомневаюсь, что наша разлука с Максом временная...» В его же представлении о миропорядке и ценностях человеческой жизни главная роль отводилась времени. Это был его единственный бог.

Самый большой грех заключался для него в неоптимальном использовании этой единожды данной ему жизни. Вслед за Эйнштейном он мог бы сказать: «Если бы я узнал, что через три часа должен умереть, это не произвело бы на меня большого впечатления. Я подумал бы о том, как лучше всего использовать эти три часа». Он работал постоянно: за письменным столом, за шахматной доской, за кафедрой в аудитории, в самолете, поезде, даже в карете, отвозящей его на церемонию собственного бракосочетания. Роденовский девиз «Toujours travailler»[11] был и его девизом; хотя, может быть, еще точнее кантовское: «Работа — лучший способ наслаждаться жизнью». Термин «трудоголик» был применим к нему, когда этот термин еще не был известен. Кмох говорил: «Эйве может только тогда дышать свободно, когда он задыхается от работы».

Возвращаясь из-за границы, он, не раздеваясь, первым делом подходил к письменному столу и перебирал накопившуюся корреспонденцию. Он всегда отвечал на письма в тот же день и очень страдал оттого, что лишен такой возможности из-за частых поездок. Не сомневаюсь, что новые времена с их техническими возможностями понравились бы ему чрезвычайно.

После того как он брал в жизни какой-либо барьер: выигрыш чемпионата страны, гроссмейстерский титул, звание чемпиона мира, профессорство, — он устремлялся к следующему, полагая, что достигнутое - уже пройденный этап. Переехав на новую квартиру, он не взял с собой ни одной газетной вырезки или журнальной статьи о былых успехах — всё это было в прошлом. Не думаю, чтобы он рассматривал эти барьеры как конкретные цели, поставленные перед собой. Он просто следовал испытанной формуле: «Fais ce que dois, advienne que roigga»[12]. Вся его манера жизни хорошо вписывается в положение Книги о Дао, что путь, а не цель составляют смысл жизни.

Вероятно, эти философские попытки осмыслить его жизнь вызвали бы у Профессора улыбку. Скорее всего, он похлопал бы меня по плечу, посмотрел бы на часы, сказал бы, что на носу очередной конгресс ФИДЕ или что-нибудь в этом роде. Это отношение к жизни математика, кем он и был, отношение по принципу: не надо удивлять этот мир, а надо просто жить в нем. Что он и делал.

В мае 1981 года Максу Эйве исполнилось восемьдесят. Он выглядел прекрасно. Загорелый, улыбающийся, с гвоздикой в

петлице, Эйве принимал поздравления в амстердамском отеле «Карлтон», и никто даже мысленно не примерял черточку справа к первой дате, чтобы поставить итоговую цифру. Он был полон планов: известно ведь, что действительно здоровые люди не только не думают о смерти, но живут и поступают так, будто они бессмертны.

На его карманных шахматах всегда были расставлены позиции из партий первенства страны по переписке, которые он постоянно анализировал. Эйве намеревался принять участие и в чемпионате мира по заочной игре — турнире, длящемся обычно несколько лет. «Увидите, — говорил он Авербаху за полгода за смерти, — я еще стану чемпионом мира по переписке!» Он совершенно не поддался влиянию возраста, был уверен, что проживет до ста лет, и, несмотря на то, что достиг преклонных годов, обделил нас уроком старости и умер еще не насыщенный днями.

В начале ноября Эйве отправился в Израиль, на Мертвое море. Путь получился нелегким: он вылетал из Базеля, куда приехал ночным поездом из Роттердама после сеанса одновременной игры, не взяв по обыкновению спального места. На второй день пребывания на Мертвом море у него случился сердечный приступ. Придя в себя через несколько дней, он первым делом попросил комплект шахмат. Врачи настаивали, чтобы он остался в больнице хотя бы на неделю. «Если врачи говорят «неделя» — значит, через пару дней можно вылетать домой», — сказал Эйве. Разрешение было получено при условии, что в Голландии он немедленно обратится к врачам.

Вернувшись в Амстердам, он сразу же приступил к работе, но врачи настояли на госпитализации: предстояла серьезная операция на сердце. Эйве не терял оптимизма и надеялся скоро встать на ноги: начинался чемпионат мира среди компьютеров, в котором он обещал принять участие. Перед операцией он сказал: «Мое самое большое желание сейчас — это сидеть под яблоней и ничего не делать. Ничего. Просто сидеть под яблоней...»

Май 2001

Достоверное прошлое (Р.Ваганян)

В начале 70-х годов на арену вышла целая плеяда молодых многообещающих шахматистов. Это было одно поколение: Анатолий Карпов, Ян Тимман, Любомир Любоевич, Ульф Андерссон, Энрике Мекинг, Золтан Рибли, Дьюла Сакс. Андраш Адорьян, Эуге-нио Торре, Александр Белявский, Олег Романишин. И — Рафаэль Ваганян.

Летом 1969 года в Ленинграде состоялся турнир, целью которого было определить представителя СССР па чемпионате мира среди юношей. К участию были приглашены сильнейшие молодые мастера: Толя Карпов, Рафик Ваганян, Саша Белявский и Миша Штейн-берг, исключительно одаренный харьковский шахматист, рано ушедший из жизни. Белявский отказался, и было решено, что оставшиеся три участника проведут между собой по шесть партий. Состязание получалось долгим, и Рафик попросил меня помочь ему.

«Что бы сыграть на защиту Нимцовича?» — спросил он, когда мы начали подготовку к одной из партий с Карповым. Этот дебют с юношеских лет был основным в репертуаре будущего чемпиона мира в ответ на l.d4. «Пойди на четвертом ходу g3, — посоветовал я, уже тогда имевший склонность к фианкеттированию королевского слона. — Ход неплохой, да и теории здесь фактически нет...»

Прикинули варианты. «А что, если на 4...c5 вместо сразу закрыть центр ходом 5.d5?» — предложил Рафик. «Почему бы и нет? Позиция нешаблонная — твори себе за доской», — поддержал его я. На том и порешили.

Партии этого странного матч-турнира игрались в шахматном клубе Дворца пионеров — бывшем кабинете Александра Третьего в Анич-ковом дворце. Столик стоял у огромного окна, выходившего на Невский проспект. Дети разъехались на каникулы, зрителей не было вовсе, разве что участник, свободный от игры, забредал посмотреть на партию конкурентов. Я пришел в клуб к самому началу. После l.d4 £>f6 2.c4 еб 3.&c3 йЪ4 4.g3 c5 5.d5 были сделаны еще ходы 5...^e4 6.Wc2 Wf6, и Рафик, скорее, жалобно, чем укоризненно смотрел на меня: легко убедиться, что позиция белых на грани проигрыша. Впрочем, ему в конце концов удалось добиться ничьей.

Выиграл тот турнир Карпов, победил он и на мировом юношеском чемпионате, что явилось началом его блистательной карьеры. Но и взлет его соперника был впечатляющ: заняв первое место на сильном турнире в Югославии, Ваганян становится

гроссмейстером в двадцать лет - это редко кому удавалось тогда. На турнире он не только опередил целый ряд известных шахматистов, но и выиграл у Решевского удивительную по красоте партию, начатую французской защитой.

Уже в те годы сформировался его дебютный репертуар. Вензеля коня — самой необычной фигуры в шахматах, напоминающей нам, что игра пришла с Востока, более других создают предпосылки для неожиданного решения, открывают широкий простор для фантазии. Ваганян имеет пристрастие к этой фигуре и с детства замечательно играет конями. Может быть, не случайно поэтому, что белыми он очень часто избирает дебют Рети, а черными регулярно применяет защиту Алехина - дебюты, где конь вступает в борьбу уже на первом ходу. Но основной защитой против первого хода королевской пешки у него была и остается французская. Это идет, конечно, еще от Петросяна и вообще характерно для армянской школы: вспомним Лпутяна, Акопяна, да и других армянских шахматистов. Эта восточная вязь, эти гирлянды пешечных цепей, особенно в системах с закрытым центром, как будто свисают с вырубленных в горах монастырей и церквей Армении.

В двадцать лет Рафик выглядел очень импозантно. С огромной шапкой вьющихся волос - прическа «а-ля Анджела Дэвис», в заграничных ботинках и фиолетовом пиджачке — таким рядовой Ваганян был представлен потерявшему дар речи генералу, посетившему один из армейских турниров. Формально Рафик проходил тогда действительную службу, но вряд ли кто припомнит его в гимнастерке.

В последующие два десятилетия жизнь Ваганяна насыщена шахматами. Он неустанно играет: командные соревнования и Спартакиады народов СССР, мировые студенческие первенства, Олимпиады и первенства Европы, и, конечно, чемпионаты Советского Союза. Он выигрывает международные турниры — таких побед в его карьере более тридцати. В 1985 году побеждает на межзональном в турнире Биле, а вслед за этим делит первое место на турнире претендентов в Монпелье. Он играет кандидатские матчи на первенство мира. Он — в мировой элите шахмат. Но дело не только в победах и призах: производил впечатление сам стиль его игры; и, по мнению многих, спортивные результаты Ваганяна не соответствовали его огромному потенциалу.

Коллеги Ваганяна, сыгравшие с ним десятки партий, — Гулько, Тукмаков, Разуваев, Атьбурт в один голос говорят о нем как о незаурядном игроке и замечательном природном таланте. Он умел в шахматах всё, и всё выходило у него самым

естественным образом. Техника была высочайшая, ведение эндшпиля очень тонким

— сравнение с Капабланкой напрашивалось само собой. Но главное, в его игре присутствовала гармония, и тактика органично вписывалась в партитуру партии. За шахматной доской в нем просыпался композитор, и то, что он творил, воспринималось чем-то законченным, частью некоего этюда, настолько ошеломляющим порой бывал его замысел.

Юсупов вспоминает, как однажды, оценив отложенную позицию в партии с Ваганяном как равную, он предложил ничью. Рафик отказался. Удивившись, Артур еще раз прикинул варианты, потом показал позицию гроссмейстерам — товарищам по команде. Те недоумевали: ничья казалась очевидной. И вдруг перед самым доигрыванием как будто током ударило: хитрый, не бросающийся в глаза ход, который и записал Ваганян, требовал предельной точности и аккуратности в защите.

Он не зажимался в игре и, раскрываясь, порой проигрывал, но он играл сам и давал играть другим. И его не заботило, что думали другие, он не искал в их глазах оценки позиции на доске, он видел и чувствовал ее так, как чувствовал только он. Здоровье его было отменным, и все слагаемые, определяющие великого шахматиста: фантазия, очень тонкое понимание позиции, ювелирная техника, — присутствовали у него. И все же он никогда не сыграл матча за чемпионский титул, более того, всякий раз останавливался на довольно дальних подступах к нему.

Если отрешиться от постулата Платона «ничто в мире не заслуживает больших усилий» и не подвергать придирчивому анализу смыс-ловское «значит, звезды на небосклоне не были расположены благоприятным образом, и не было ему на роду написано этого» — надо искать причину в чем-то другом. В чем?

Карпов полагает, что тормозом на пути к еще большим успехам явилось то, что Ваганян — игрок настроения. Есть настроение — есть игра, нет настроения — и игра блекнет. К этому могу добавить, что порой причиной проигрыша был переизбыток идей, которые Рафик не мог держать под контролем. Иногда он так увлекался, что забывал жесткую истину: в шахматах, как и в футболе, реальное значение имеют не изящные финты и дриблинг, а забитые голы.

Большинство коллег Ваганяна считают, что если бы он больше занимался шахматами — хотя бы по часу в день, если бы строго соблюдал спортивный режим, если бы был постоянный тренер, поставивший ему дебют, как Фурман Карпову, ну и если бы счастья побольше... На это трудно возразить.

Более дальновидные полагают, что Рафику, совершенно неуправляемому в молодые годы, жившему напропалую, без оглядки, не столь тренер был нужен, как человек, который был бы постоянно рядом, как Бондаревский у Спасского. Если бы сегодняшний Ваганян, с его богатейшим опытом и житейской мудростью, был бы с ним тогдашним, двадцатипятилетним, возможно, и развился бы до конца его выдающийся природный талант. И с этим трудно не согласиться.

Но все-таки главное, думается, в другом. У самого Ваганяна не было этого страстного желания стать не просто одним из лучших, а самым-самым лучшим, подчинить, пусть на время, всё в жизни этим деревянным фигуркам, попытаться взять верхнюю ноту, сделать последнее сверхусилие. Для такого сверхусилия надо было поступиться жизнью. Жизнью, к которой он привык, жизнью, текущей широкой рекой и наполненной не только шахматами, турнирами, поездками, но и встречами с друзьями, застольями, переходящими глубоко в ночь, свиданиями и гулянками, картами и домино, шутками и розыгрышами, — да мало ли еще чем, что составляет нескончаемую круговерть бытия. Он слишком любил радости жизни, чтобы бросить всё только для того, чтобы попытаться навеки запечатлеть себя в ряду апостолов на стене шахматного клуба.

Однажды в первой лиге чемпионата СССР он, обреченный на долгую пассивную защиту, доигрывал тяжелейший эндшпиль. Сделав очередной ход, он подошел к мастеру Владимиру Дорошкевичу. «Дора, — сказал он, — купи вино, хлеб, закуску, не забудь карты: идем в ночь». Он уже смирился с тем, что вечер утекал так бездарно, но ночь, ночь принадлежала ему!

Были неистощимые запасы сил и та беззаботная уверенность, которую дает молодость. И казалось, что так будет всегда. И всё сходило с рук, и всё получалось само собой, без философствования, самоанализа и самопрограммирования, потому что молодость сама по себе запрограммирована на успех. Пословица: «Если бы молодость знала, если бы старость могла» - кажется мне лишенной смысла. Если бы молодость знала, она не была бы молодостью, всегда остающейся в долгу у рассудка, логики и здравого смысла.

В молодые годы Ваганян играл много, очень много. В 1970-м он сыграл больше 120 партий — рекорд по тем временам. Ботвинник, узнав об этом, только осуждающе качал головой: Патриарх советовал играть 60 партий в год, посвящая остальное время подготовке и анализу. Турниры длились тогда по две-три недели, когда и месяц, и Ваганян подолгу не бывал дома, но где бы он ни был, он всегда знал, что его дом - в Ереване.

Он вырос на Востоке, и семья, близкие играли и играют для него большую роль, неизмеримо большую, чем на Западе, где члены семьи, обмениваясь изредка телефонными звонками и поздравительными открытками, собираются вместе разве что на Рождество и семейные праздники. В 1988 году во время Кубка мира в Брюсселе у Ваганяна умер младший и единственный брат, и он не раздумывал ни мгновения, когда организаторы стали осторожно выяснять его планы в смысле продолжения игры в турнире. Провожая его, безутешного, в аэропорт, я понял тогда, что значат для Рафика родные, какое место занимают семья и дом в шкале его жизненных ценностей.

Начиная с юношеских лет, с самых его первых успехов, имя Ваганяна стало известно каждому в Армении - маленькой стране, в истории которой так много трагических, порою кровавых страниц. Быть известным человеком в любой стране почетная, хотя и непростая обязанность, но вдвойне почетна и трудна роль национального героя там, где на тебя с гордостью и любовью устремлены глаза всего народа. В середине 50-х годов, когда советские шахматисты стали регулярно выезжать за границу, в аэропортах разных стран их нередко встречала группа людей, скандирующих только одно имя: «Пе-тро-сян! Пе-тро-сян!» Так армянская диаспора, рассеянная по всему миру, приветствовала свою гордость, своего любимца. Когда Петросян играл матч с Ботвинником, армяне рассыпали на ступенях Театра эстрады землю, привезенную из национальной святыни -Эчмиадзина, а день, когда он завоевал чемпионский титул, стал в республике всенародным праздником.

Но если Петросян был королем Армении, то Ваганян стал ее кронпринцем. Было всё: восторженные встречи в Ереване после каждого выигранного турнира, интервью в газетах и на телевидении, узнавание на улице, раздача автографов, поздравления друзей детства, приемы у отцов города, бесконечные застолья, когда от угощений ломились столы и щедро лился знаменитый армянский коньяк. Гроссмейстеры, бывавшие в те времена в Армении, вспоминают: стоило случайно выясниться, что ты коллега или друг Рафика, как тут же ты сам становился почетным гостем, а об оплате счета в ресторане или кафе не могло быть и речи. Надо ли говорить, что для серьезных занятий шахматами у него времени почти не оставалось.

Ботвинник как-то заметил, что Ваганян играет так, будто до него шахмат не существовало. В этих словах слышится и порицание за нежелание работать, изучать наследие прошлого, — но и удивление естественностью и непредвзятостью мышления. Может быть, поэтому суждения Ваганяна о тех или иных аспектах

игры могут быть острыми и нешаблонными. Так, он сказал однажды, что разница между Рети и Нимцовичем заключается в том, что в позиционном плане Рети был больше атакующий игрок, а Нимцович - защитник, и вся его «система» на этом и построена.

На турнирах Рафика часто можно было видеть с Полугаевским. Несмотря на солидную разницу в возрасте, что-то тянуло их друг к другу, и они являли собой живописную пару. Роль Пьеро, печального и всего опасающегося, исполнял Полугаевский, а Ваганян был жизнерадостным, всегда готовым к шутке Арлекином.

«Да не слышал он, не слышал!» — уверял Рафик на каком-то заграничном турнире Полугаевского, испуганно повторявшего, что руководитель делегации стоял в коридоре близко у двери и мог слышать всё, что он, Лёва, находясь в комнате, говорил о нем. «По возвращении в Москву он напишет обо мне куда надо, и я стану невыездным», — твердил в отчаянии Полугаевский. «Нет, мы должны проделать эксперимент, - наконец решил он. — Я выйду в коридор, а ты громко что-нибудь скажешь. Я должен знать точно, слышал он или не слышал...» — «Полугаевский — мудак!» — заорал Рафик так, что посыпалась штукатурка с потолка. «Действительно, ничего не слышно, даже от сердца отлегло», — согласился Лёва, открывая дверь комнаты и стараясь ни на кого не смотреть....

Большую часть жизни Ваганян прожил в несуществующем уже государстве — Советском Союзе. Конечно, он должен был считаться с общепринятыми в стране нормами, но его отношение к этому было сродни талевскому: он принимал правила игры, но воспринимал это просто как данность, в любой ситуации оставаясь самим собой. Ежедневный контакт с государством выражался у него, как и у многих в то время, исключительно в чтении газеты «Советский спорт».

Во время Олимпиады в Буэнос-Айресе (1978) он, тайком читая Солженицына и переворачивая очередную страницу, ограничивался комментарием: «Да, много еще у нас бардака». Отличаясь трезвым взглядом на жизнь, Ваганян очень здраво судил о мотивах поступков людей, привык ничему не удивляться, хотя, конечно, ни он сам, да и никто другой не мог предвидеть тогда, что всего через десяток лет незыблемая, казалось, империя прекратит свое существование. Что он будет жить в небольшом немецком городке, Миша Таль станет его соседом, а маленькая Армения, обретя независимость, получит взамен целый ворох огромных, до сих пор не решенных проблем.

Он и сейчас живет в Германии, недалеко от Кёльна, с женой и

двумя детьми. Вот уже десятый сезон играет в Бундеслиге за клуб «Порц». Это его основной и фактически единственный турнир.

Есть еще партии в командном голландском чемпионате, бывают какие-то случайные выступления. Он не припомнит, когда в последний раз играл в круговом турнире. Он больше не занимается шахматами, если не считать занятиями просмотр по компьютеру партий текущих турниров. Он давно всё понял. «Шахмат, в которые мы с тобой играли, больше нет», - сказал он Борису Гулько еще десять лет тому назад.

Как и в молодые годы, он не выигрывает партий по дебюту. Более того, белый цвет у него далеко не всегда является гарантией получения преимущества. Тем не менее результаты его стабильны: каждый сезон Ваганян набирает под 80 процентов очков, и успехи «Порца» в немалой степени и его заслуга. Ему до сих пор удаются партии, удивительные по рисунку и мастерству. Но не всегда. Не всегда. Только когда есть настрой и желание играть.

Он по-прежнему выступает за Армению на Олимпиадах и с удовольствием бывает в Ереване: слишком многое связывает его с этим юродом. Дети говорят по-армянски, по-русски, по-немецки. Сам Рафик предпочитает общаться на первых двух языках: его немецкий как-то завяз в зубах, и, по-моему, он не делает никаких усилий для его изучения. Сын играет в шахматы, но не более того. Родители — жена Ваганяна тоже бывшая шахматистка — далеки от мысли поощрять такое занятие. «Сейчас это — не профессия. В большинстве случаев это тяжелая и низкооплачиваемая работа, и вообще заниматься этим всю жизнь...» — в голосе Ваганяна слышатся интонации Лессинга, удивлявшегося профессиональному валторнисту: как это можно всю жизнь только и делать, что кусать дерево с дырками?

Он прекрасно понимает, что и в былые времена пятьдесят было критическим возрастом для шахматиста, а тем паче сейчас, в эпоху тотальной интенсификации игры. Спуск с вершины горы давно начался, но и в нем есть своя прелесть. Спешить больше некуда. Можно остановиться в ложбине и взглянуть на тех, кто только карабкается вверх. Когда он говорит о них, в его голосе нет зависти: он слышали литавры и знает относительность славы. Он говорит спокойно и без раздражения, может быть, оттого, что в тридцать значительно труднее уступать двадцатилетним, чем на пороге шестого десятка. Опасность, подстерегающая многих к старости — капкан общественных обязанностей, - ему не грозит совершенно.

У него характерная манера говорить с поднятием интонации к концу фразы - так, словно он обижается на кого-то или жалуется

на что-то. Голос его не перепутаешь ни с каким другим. «Это Ваганян», - сказал мне как-то Тимман, когда мы только подходили к комнате для участников, откуда доносился чей-то смех.

«Нет, кумира в шахматах у меня не было. Был пример — Фишер. Я знал все его партии, восхищался его игрой. Как и он, ничьих старался не предлагать — жесткая игра до конца. А Бронштейн ? Как он играл! А Корчной в годы расцвета ?! А Теиыер ?! Ну и Таль, мы с Мишей были очень близки — тот быг, конечно, чистый гений. Ведь как Таль играл? Может, он знал пару схем лучше, чем соперник, но он творил за доской. Вообще раньше была другая игра. Мы все немножко знаги, что-то изучали и импровизировали за доской. Сегодня же идет игра ход в ход, всё выверено на компьютере, позиция после тридцати ходов часто стоит дома. Сегодня — террор и фетиш рейтинга. Согласен, похоже на ностальгию и брюзжание, но мне больше по душе шахматы 70—80-х годов, тех первенств СССР, где творили на глазах у публики. Западные шахматисты тогда и не скрывали, что учились на партиях тех турниров.

Я всегда мечтал стать чемпионом СССР, но выиграть удалось только в 1989 году в Одессе. Но тогда уже был не тот чемпионат. Я хотел стать чемпионом в югассическом турнире, где все корифеи играли бы: Таль, Петросян, Спасский, Бронштейн, Корчной...

Стиль свой я охарактеризовал бы как универсальный, разве что защита страдала; в обороне я стремился сыграть, как Корчной, на контратаку, а вот в аккуратной, терпеливой защите был слабее. Здесь Петросян хорош был, великий был шахматист...

Сильнее всего я играл, наверное, в 1985 году, когда выиграл четыре турнира подряд: и межзональный с отрывом, и первое место в турнире претендентов поделили!... Срывы, конечно, бывали. Отчего? Потеря вкуса к игре; вероятно, не хватало и спортивных качеств: я ведь не Корчной и не Белявский. А так — где-то цели не хватаю, где-то характера, да и друзья, сам знаешь: всё было веселю, всем было весело... У Толи ведь капитально всё было поставлено, у меня же тренеры бываги на неделю, на месяц, на время турнира. Хотя на рубеже 70-х я у Карпова часто выигрывал.

Что с годачи уходит? Всё понемножку: мотивация, память, желание, напор. Но не только: равное, начинаешь думать, что шахматы - это еще не всё! Ну и потери, конечно, потери в жизни, оставляющие шрамы в душе...»

Почти сорок лет назад маленький мальчик выиграл в сеансе с часами у Макса Эйве. С тех пор он переиграл со всеми чемпионами и великими игроками ушедшего века.

Жизнь каждого большого шахматиста неотделима от партий,

которые он играл. Лучшие партии Ваганяна неотделимы и от времени, в которое они игрались. Как отделить его партию с Белявским от переполненного, на две тысячи мест, зала Ереванской филармонии, от грома вспыхнувших оваций, после того как он поставил мат неприятельскому королю?!

В тюркских языках есть такое время - недостоверное прошлое. Именно такой кажется та эпоха в приложении к сегодняшним шахматам. Но она была, и был этог удивительный мир шахмат, и были замечательные игроки, и он, Рафаэль Ваганян, тоже был частью этого мира!

Осенью 2000 года в Стамбуле я разговаривал с Корчным. «Ваганян? Он обладает чем-то, что заставляет фигуры двигаться по доске так, как видится только ему. Его игра — это нечто особенное, а я многих видел на своем веку. Он ведь в цейтнота не раз попадал, хотя позицию мгновенно схватывал. Происходило это оттого, что ему хотелось не просто играть, а играть по-своему. Может быть, поэтому он и не принимал непосредственного участия в борьбе за первенство мира. Потому что был он всегда не практиком, а художником шахмат, фантастическим художником шахмат!»

*Июль **2001***

Кот, гулявший сам по себе (Э.Майлс)

На турнире в Ноттингеме Капабланка и Александер анализировали вместе только что закончившуюся партию. «Вот это да! — восклицал английский мастер, весело посматривая на присутствующих. — Капабланка меня поймал. Ну и ход! Изумительно», — повторял он, с восхищением глядя на своего знаменитого соперника. Двукратный чемпион Великобритании Конел Хью СГДонел Александер закончил школу Короля Эдуарда в Бирмингеме, в которой провел свои школьные годы и будущий первый английский гроссмейстер Тони Майлс.

Александер выиграл звание чемпиона Англии среди школьников в 1926 году, Майлс — четыре с лишним десятилетия спустя. Но как различен был их подход к игре и к шахматным корифеям. Нет сомнений, что, если бы Майлсу пришлось играть с Капабланкой, у него и в мыслях не было бы осыпать легендарного кубинца комплиментами, ни после партии, ни даже мысленно во время ее. Скорее всего, он подумал бы: «Ну, держись, красавчик, посмотрим, каков ты в деле, проверим твою хваленую интуицию!»

Довоенное поколение английских мастеров, садясь за доску с гроссмейстерами, пределом мечтаний считало ничью. Их редкие выигрыши можно пересчитать по пальцам, да и то они были, скорее, результатом необоснованной игры на победу именитых соперников, не желавших отдавать даже половинку очка откровенным любителям, чем результатом агрессивной стратегии со стороны самих островитян.

После войны ситуация мало изменилась. Советские гроссмейстеры доминировали на мировой арене и держали английских шахматистов в состояния безграничного уважения. Неудивительно, что в более или менее пристойных международных турнирах англичане, как правило, замыкали турнирные таблицы. Так продолжалось до тех пор, пока не появился Тони Майлс.

Он был словно рожден для шахмат; у него было природное чувство уверенности в себе, так необходимое для успешной игры на высоком уровне, не наносное, развитое ггосле аутогенных тренировок или походов к психологу, а именно врожденное. Безграничная вера в себя при любых обстоятельствах и несмотря ни на что! Страсть к игре, к выигрышу отодвигала всё в его жизни на второй план. Эта одержимость, эта страсть выделяла Майлса среди других английских шахматистов.

Он побеждал Спасского, Таля, Карпова, Смыслова, Корчного, Геллера, Полугаевского. Один уважаемый советский гроссмейстер

жаловался тогда: «Мне нравятся все шахматисты Англии, за исключением Майлса. Он не относится ко мне с тем уважением, к которому я привык».

Весь его шахматный путь можно условно разделить на три периода. Первый начался в 1968 году, когда он стал чемпионом Англии среди мальчиков до 14 лет. Затем - растущие успехи в уикэнд- и опен-турнирах, завершившиеся блестящей победой на чемпионате мира среди юношей на Филиппинах и взятием гроссмейстерского норматива. Он стал гроссмейстером в двадцать лет, выполнив заключительную норму на турнире в Дубне, — барьер, дававшийся только немногим в те времена. «Если тебе это удастся, отправь, пожалуйста, нам телеграмму», - попросил его перед поездкой секретарь Британской шахматной федерации. Телеграмма, посланная Тони, содержала только одно слово «Телеграмма» и означала не только получение Майлсом суммы в 5000 фунтов стерлингов — премии, установленной финансистом Джимом Слейтером первому британскому гроссмейстеру, но и победу в импровизированном соревновании за этот приз с Биллом Хартстоном и Реймондом Кином.

Появление первого гроссмейстера вызвало в стране шахматный бум. Майлс стал лидером целого поколения шахматистов — Джонатана Спилмена, Джона Нанна, Майкла Стина и Джонатана Местела, выведших Англию из многолетнего захолустья и превративших ее в мощную шахматную державу.

Второй период карьеры Майлса начался в 1976 году выигрышем вместе с Корчным сильного ИБМ-турнира в Амстердаме и продлился примерно десять лет. Тони был тогда одним из сильнейших игроков мира, а некоторое время — лучшим шахматистом Запада, За это десятилетие он добился немало звонких побед. Наиболее впечатляющие из них — Интерполис-турниры 1984 и 1985 годов, сильнейшие в то время.

Последний турнир Майлс играл, лежа на массажном столе. Но, несмотря на боль и физические неудобства, был ли он так уж недоволен создавшейся ситуацией? Ведь был брошен вызов всем остальным участникам, часть которых бурно реагировала на необычную обстановку в турнирном зале, вынесшую тогда шахматы на первые полосы газет. Но главное написал сам Майлс в статье об итогах турнира: «Мало вещей в жизни могут меня мотивировать больше, чем преграда, которую надо преодолеть. Но есть еще более высокая цель: преодоление непреодолимой преграды. Непреодолимая преграда была ясна: полуинвалидом выиграть все-таки "Интерполис"».

Третий, заключительный этап карьеры начался с проигрыша матча Каспарову в 1986 году с разгромным счетом (0,5:5,5), после

чего кривая его успехов пошла вниз.

В последние годы, потеряв во многом практическую силу и приговоренный к игре в открытых турнирах, он уже нечасто встречался с сильными соперниками. Уверен, однако, что даже те, кто по рейтингу превосходил его, знали: садясь за доску с Тони Майлсом, надо держать ухо востро.

Как он играл? В его подходе к шахматам можно было заметить влияние столь разных по силе и стилю шахматистов, как Басман, Ларсен и Андерссон. От первого в игре Майлса можно найти элементы оригинальности и экстравагантности, от второго — боевой дух, бескомпромиссность и полное отсутствие уважения к признанным авторитетам, от третьего — блестящая техника эндшпиля. Тони мог превратить в очко даже крохотное преимущество: терпения, энергии и желания у него хватало. Я думаю, что Майлс начал изучать шахматы с эндшпиля, а не с дебюта и в отличие от подавляющего большинства шахматистов не очень интересовался дебютом. Он всегда рассматривал его как прелюдию к миттельшпилю, к эндшпилю, к длительной борьбе с придумками и ухищрениями.

В былые годы опытные тренеры в Советском Союзе советовали своим подопечным завести особую тетрадь, куда следовало заносить необычные маневры, нешаблонные решения, оригинальные планы, парадоксальные комбинации. Из партий Тони Майлса можно было бы набрать материала не на одну такую тетрадь. Мне кажется, что это было наиболее характерно для него: придумать что-то необычное за доской, изобрести новую, еще не встречавшуюся идею. Да притом такую, которая бы увела соперника с накатанных теоретических путей, внесла дискомфорт в его душевное состояние. Помню, в одной из наших партий Тони после ходов с4 е5 ответил 2№о2 и, ухмыльнувшись, посмотрел на меня: кончилась твоя теория, не проигрывает же этот ход, а что до белого цвета, то какое это имеет значение...

Тот факт, что в свои лучшие годы он в ответ на ход 1.е4 применял почти исключительно вариант дракона, имеет свое объяснение. Этот вариант не был тогда еще настолько хорошо разработан, как в наши дни, не было той жесткости и обязательности ходов, что характерно для него сейчас. Любопытно, что Тони и я, считавшиеся крупнейшими знатоками варианта дракона, никогда не обсуждали его тонкостей, хотя, разумеется, следили за партиями друг друга. Только однажды, на турнире в Индонезии в 1982 году, во время моей партии с местным мастером, пожертвовавшим всё за атаку и оставшимся в итоге без ладьи, Майлс, поравнявшись со мной, тихо произнес: «Ну, ты уже всё оприходовал, что внесли на твой счет?»

Будучи оригинальным шахматным мыслителем, он уже в начальной стадии партии предпочитал идти собственным путем. Так он делал и на пике своей карьеры, потом же это стало необходимостью, потому что Майлс никогда не любил работать над дебютом, тем более так, как того требуют современные профессиональные шахматы: проводя долгие часы перед экраном компьютера и изучая партии других. Фактически он пытался играть в «шахматы Фишера», хотя фигуры на доске стояли на своих обычных позициях.

В последние годы Тони называл представителей молодого поколения «детьми базы данных», вероятно, не задумываясь над тем, что это дети «детей "Информатора"», как называл четверть века назад молодых Тигран Петросян. Уверен, впрочем, что к Майлсу это не относилось.

В ответ на 1.e4 он мог вывести по настроению то ферзевого, то королевского коня; играя черными, мог уже на втором, а то и на первом ходу приступить к фианкеттированию ферзевого слона (стратегия, безоговорочно осуждаемая дебютными руководствами), причем не боялся делать это на самом высоком уровне. В вариантах, которые применял Майлс, зачастую отсутствовала академическая кладка классиков дебюта, с первых ходов выстраивающих солидное здание. Но он и не претендовал на это, варианты служили ему для вполне конкретных целей: успеха в данный момент, в этой конкретной партии, именно в этом турнире, потому что Тони Майлс очень любил шахматы, но еще больше любил выигрывать.

Как у бегуна, регулярно занимающегося этим занятием, в крови вырабатывается особое вещество, к которому он привыкает, так и у Майлса это вещество поступало в кровь с нажатием кнопки часов. Он рассматривал шахматы как борьбу на 64 клетках, причем как борьбу не классическую, а вольную или как бокс, но и бокс его был не английский, а, скорее, азиатский, с захватами, подножками и выпадами на грани фола. Он не относился к той небольшой группе шахматных профессионалов, которым совершенно неведомы такие поступки, как соглашение на ничью до партии, предложение ничьей при своем ходе или в очевидно худшей позиции, предложение ничьей два, три раза подряд, игра сериями ходов в цейтноте соперника или удары по кнопке часов только что снятой с доски фигурой.

За четверть века мы сыграли два десятка партий; он выиграл четыре, я — три. Хорошо вижу его входящим в турнирный зал и направляющимся к нашему столику. Вот он уже снимает с руки немалых размеров часы и кладет их рядом с бланком для записи партии»: через мгновение общепринятое время остановится и

пойдет другой отсчет, определяемый положением стрелок на циферблатах шахматных часов. Время, потраченное на каждый ход, будет фиксироваться им на бланке — он, как я помню, всегда делал это. В ходе партии часы будут лежать на бланке, прикрывая текст: он имел обыкновение сначала записывать ход и только потом делать его на доске; в случае принятия наиболее ответственных решений Тони приподнимал часы и, защищая ладонью запись от возможного взора соперника, проверял записанный ход еще раз.

Вот он ставит своих коней плашмя к противнику - так, как они расположены на диаграммах. Вот он уже говорит «j'adoube», поправлял идеально стоящие фигуры; и фразу эту, и само движение он повторит не раз во время партии. Начинается тур, он принимает боевую стойку: изогнувшись по-кошачьи и подавшись вперед, обхватывает виски руками, он весь — концентрация и напор, взор устремлен на доску. Время от времени он выпрямляется и, отбрасывая назад длинные волосы, снова занимает прежнюю позицию. На запястье одной руки — золотая цепочка с надписью «Tony», на пальце другой — перстень. Вот он достает большой платок и, несмотря на отсутствие какого-либо насморка, начинает трубно прочищать нос, повторяя периодически эту процедуру по ходу игры.

Партнер погрузился в раздумье; Тони встает, опоясывающим движением подтягивая штаны. Пришло время что-нибудь выпить, и вот уже стакан в его руках: двухлитровый кувшин молока, всегда стоявший в холодильнике игрового зала на турнире в Тилбурге, постепенно пустел к концу тура. Изредка он отрыгивает, когда заслоняя рот рукой, когда — нет. Иногда бросает короткие блики на соперника, в них всё: усмешка, торжество, тревога, удивление, презрение — в зависимости от положения на доске. Он никогда не смотрит, как это делают робкие души, в глаза остановившихся у столика коллег, чтобы прочесть оценку позиции в их глазах: он привык полагаться только на самого себя, и ему нет дела до того, что думают другие.

Наступает цейтнот. Выпрямляясь на стуле. Тони разводит руками, отстраняя вторгшихся в поле его зрения, в его жизненное пространство людей, стоящих вокруг столика: участников, судей, демонстраторов.

В партии — глубокий эндшпиль, его пешка достигла предпоследней горизонтали, сейчас он превратит ее - в ладью? в слона? Это встречалось не раз в его партиях, в том числе и в наших. Вот уже разменены все фигуры, исчезла с доски последняя пешка, но он любит позиции, когда на доске остается только по королю. И такое случалось у нас.

Партия кончилась: часы снимаются с бланка, вот они снова на запястье, пошло обычное время. В анализе после игры он никогда не проявлял снисходительности к партнеру, даже после выигрыша, отпуская время от времени короткие шутливые замечания.

Точно таким же был и стиль Тони Майлса - автора многочисленных статей и комментариев. Отличительные качества их: специфический юмор, скептицизм, ирония и самоирония, безжалостность в оценке соперника, да и самого себя. Он, разумеется, избегал цитировать кого бы то ни было: в шахматах, как и в жизни, для него не существовало авторитетов. Он был мастером коротких уколов, саркастичных замечаний и никогда не лез за словом в карман. Рецензия на одну из шахматных книг, написанная Майлсом, состояла из одного-единственного слова: барахло.

Тринадцатилетний Стюарт Конкуэст, впервые встречаясь за доской с известным гроссмейстером, в каталонском начале на пятом ходу дал шах ферзем, по-детски объявив при этом: «Шах!» Реакция Майлса последовала незамедлительно. «Неужели?» — сказал он.

В одном из открытых чемпионатов Нью-Йорка Борис Гулько стартовал крайне неудачно и после трех туров отставал от своей жены, гроссмейстера Анны Ахшарумовой, на целых полтора очка. «Ты тоже играешь в этом турнире?» — приветствовал его Майлс, когда Гулько появился рядом со столиками, за которыми встречались лидеры.

«Как ты нашел ее игру?» — спросили того же Гулько после партии с Софией Полгар. «Ошибалась на каждом шагу», — сгоряча ответил тот, после того как спас проигранный эндшпиль. «Ошибалась на каждом ходу, заставив своего соперника добиваться ничьей в эндшпиле без двух пешек», — написал Тони в статье о турнире.

Когда я впервые увидел Майлса, ему было восемнадцать лет; с длинными, до плеч, вьющимися волосами, нежной кожей, он напоминал чем-то оскаруайльдовского Бози. Потом вид его изменился: в лице, манере передвигаться появилось нечто кошачье, он стал походить на одного из мушкетеров, сначала на Арамиса, потом на Портоса. В самый последний период своей жизни он неимоверно раздался, лицо приняло немалые размеры, но его по-прежнему обрамляли длинные волосы до плеч, а во всей фигуре было что-то от капитана Сильвера из «Острова сокровищ», разве что не хватало попугая на плече и бутылки рома.

Если людей огромного мира профессиональных и любительских шахмат разделить на две категории — тех

немногих, о ком говорят, и тех, кто говорит, — то Майлс относился, без сомнения, к первой категории. Его похождения, чудачества, экстравагантность, эпатаж тотчас становились известными в этом искусственном мире шахмат, где все знают друг о друге всё. При всем при том Тони совершенно не интересовало, что о нем скажут, подумают в британской федерации и в ФИДЕ, что не понравится Карпову или как будет реагировать Каспаров; он не боялся показаться смешным, приехав тренером женской команды Австралии на Олимпиаду в Манилу или играя лежа на массажном столе, как это было в Тилбурге в 1985-м, и просто на матрасике, положенном для него в углу зала, как на опен-турнире в Остенде несколькими неделями позже. В том тилбургском турнире Майлс, отправляясь в один из дней на тур и пытаясь найти оптимальное положение для спины, решил просто лечь на заднее сиденье такси. В статье о турнире он напишет: «Я решил не обращать внимания на условности».

Условности? Всю свою жизнь он не очень-то считался с ними.

Тони научился играть в шахматы в пять лет. Потом игра была забыта, и настоящий интерес к ней пробудился только через четыре года, когда в школу, где он учился, кто-то принес комплект шахмат. «Если бы этого тогда не произошло, — вспоминал он впоследствии, — я бы, наверное, никогда не приобщился к ним».

Он проучился один год на математическом факультете университета в Шенфилде, после чего полностью переключился на шахматы. Позже он признался, что скучал на лекциях: «Здесь не было соперника, которого надо обыграть, — не то что в шахматах. Я хотел прямой конфронтации». За заслуги на поприще шахмат университет присвоил ему звание почетного доктора. Голоса при принятии этого решения разделились: некоторые настаивали на присуждении бывшему студенту Майлсу почетного звания, другие требовали его исключения из списков за нерадивость.

Тони не любил торжественных церемоний и иронически относился к ним; известен его спич на закрытии турнира в Брюсселе в 1986 году: «Я ненавижу такого рода выступления, но здесь буду краток: на этом турнире не было ничего, что я мог бы подвергнуть критике».

В благодарственном слове в Шенфилде юбиляр сказал, что присвоение почетного звания является для него большим сюрпризом, так как он не был хорошим студентом. Но Тони не скрывал, что ему очень приятно, что его заслуги в шахматах отмечены таким образом.

Он не получил академического образования, но, как и в

шахматах, не очень в нем и нуждался и не испытывал особого пиетета к своим коллегам — гроссмейстерам, окончившим Оксфорд или Кембридж. Хотя его отношения с будущим королем английских шахмат Найджелом Шортом далеко не всегда были безоблачными, Майлс признавал, что и сам Найджел, и впоследствии Микки Адаме были по духу ему ближе, чем «оксбриджские» ребята.

Кем бы стал Тони Майлс, если бы не ушел в шахматы? Гипотетический вопрос, конечно. Уж, наверное, не служащим в банке, работающим каждый день с девяти до пяти. Кем тогда? Одним из героев рассказов Моэма, действие которых развертывается где-нибудь в Океании? Шкипером на паруснике, участвующим в чайных гонках и вечно входящим в клинч с администрацией судоходной компании? Вторым Ником Леесоном, по вечерам выпивающим свой джин-тоник в баре где-нибудь в Сингапуре, а днем совершающим транзакции на сотни миллионов фунтов? Думаю, что последнее сравнение ему понравилось бы, что же касается остального, то вижу, как, прикрыв рот тыльной стороной ладони, он говорит в сторону: «A big philosophers»

Весной 1985 года мы играли на межзональном турнире в Тунисе. Перед началом соревнования выяснилось, что условия для игры в столице страны не вполне удовлетворительны, и устроители предложили перенести турнир в новый, только что построенный отель в сорока километрах от города, на берегу моря. Участники отрядили Тони и меня для осмотра альтернативного варианта.

Когда мы приехали, было уже совсем темно, и, мельком бросив взгляд на новые, пахнущие свежей краской комнаты, бассейн и расположенный тут же зал для игры, мы высказались за перенос турнира на побережье. Решение наше оказалось ошибочным: гостиница, первыми и единственными постояльцами которой оказались шахматисты, была еще не вполне достроена, и шум от работ, раздававшийся с самого утра, продолжался почти весь турнир, несмотря на протесты. Как бы в отместку за свой поспешный выбор Тони и я играли в турнире неважно, ни в один момент реально не претендуя на выход в следующий этап. «В Тунисе было бы лучше», — приветствовали мы несколько раз друг друга при встрече.

«Знаешь. — сказал я через пару месяцев, увидев Майлса где-то в Голландии, — блюда странного вкуса, которыми нас потчевали во время турнира, оказались на поверку приготовленными из мяса осла, умершего натуральной смертью».

Я не успел закончить фразы. «Теперь я понимаю причину

моей идиотской игры в турнире», — ухмыльнулся Майлс.

Я не знал тогда еще о его конфликте с Реймондом Кином, с Британской шахматной федерацией, конфликте, разросшемся, принявшем серьезные формы. Этот конфликт сыграл, безусловно, немалую роль в его серьезнейшем нервном срыве и тяжелой душевной болезни.

Осенью 1987 года на юбилей шахматного клуба в Хилверсуме были приглашены Ян Роджерс, Джон ван дер Виль, Тони Майлс и я. В программу праздника входили консультационные партии и сеансы одновременной игры, которые гроссмейстеры давали членам клуба и друг другу.

С первых часов пребывания Майлса в Голландии были заметны странности в его поведении. Еще более очевидными они стали в день игры. Выходя к публике, наблюдавшей за ходом борьбы в сеансе, Тони брал у кого-нибудь из зрителей чашку чая и начинал медленно помешивать его снятой с доски пешкой. В ответ на недоуменные взгляды он пояснял, что чашка - это Кин, а сэндвич -Андертон[13]. В ходе сеанса Тони неожиданно предложил ничьи на всех досках; в случае отказа — согласился только Роджерс — следовала немедленная сдача партии. Тогда это казалось еще одним чудачеством и без того экстравагантного маэстро, а не тяжелой формой ментального заболевания, чем это оказалось в действительности.

Вернувшись в Англию, Тони был задержан полицейскими, когда он пытался перелезть через заграждение на Даунинг-стрит, 10, — то ли для того, чтобы объяснить Маргарет Тэтчер, в чем состоит неверность политики ее кабинета министров, то ли чтобы пожаловаться на Кина, не раз, по утверждению Майлса, покушавшегося на его жизнь. В другой раз он был задержан, когда швырял камни в проезжавший мимо грузовик.

Тони Майлс стал пациентом психиатрической клиники и пополнил и без того значительный список душевнобольных шахматистов. Врачи советовали ему навсегда оставить игру. Надо ли говорить, что совет этот был столь же правильный, сколь и бесполезный. Да и правильный ли? Известно ведь, что для организма людей, имеющих психические проблемы, польза от того факта, что они бросают курить, перечеркивается усугубляющимся общим состоянием: апатией, эмоциональной замкнутостью, уходом в себя и новыми нервными срывами.

И Майлс продолжал играть, играть и играть. Он всегда играл много, очень много. Вижу, как будто это было вчера: поздним вечером, после закрытия международного турнира в Тилбурге, он седлает свой «мерседес» — его ждет Германия и партия в Бундеслиге, а уже через два дня начнется очередной опен-турнир

в Мексике...

Следующий срыв произошел у него через несколько лет в Китае, где он играл в турнире. Другая, необычная страна, другие люди, непонятный язык. Кровати в номерах были низкие, и Тони, и до того уже удивлявший хозяев своим поведением, попросил, чтобы ее подняли. Когда два служащих отеля выполнили его просьбу, выяснилось, что хозяин номера ничего не искал под кроватью: улегшись на пол, он попросил поставить ее на место... В конце этого злополучного турнира, когда Кэтти Роджерс позвонила ему, чтобы узнать, примет ли он участие в опене, начинающемся через несколько дней в Австралии, Майлс дал утвердительный ответ, а на вопрос, когда прилетает, ответил: «Вчера». Он никогда не появился на этом турнире.

К этому времени Тони покинул Англию. Сначала он попытался жить в Америке, принял участие в чемпионате страны — и неудачно. Потом жил в Австралии, регулярно играя в турнирах и намереваясь даже выступать под австралийским флагом на Олимпиаде. В этот период жизни он был женат вторым браком на очень молодой женщине, австралийке китайского происхождения, приехавшей с семьей из Малайзии. Семейная жизнь длилась недолго и закончилась очень тяжелым разводом, усугубившим его ментальные проблемы и создавшим материальные.

Считается, что его попытки эмиграции связаны с психическим состоянием, проигрышем матча Каспарову в 86-м году и, не в последнюю очередь, фактом потери лидирующего положения в английских шахматах в связи с появлением Шорта. Вероятно, всё это так, хотя охота к перемене мест была заложена в его беспокойных генах, и профессия шахматиста, конечно, только способствовала этому. В конце 70-х годов, когда на небосводе его карьеры не было видно и облачка, он как-то сказал мне, что не прочь бы переехать во Францию. «Ты говоришь по-французски?» — спросил я. «Еп peu. J'ai etudie francais a Геco1e», — отвечал Тони с таким акцентом, что у любого француза это немедленно вызвало бы восклицание: «Quoi?»

Проблема его отношений с Найджелом Шортом выходит за пределы чисто шахматных; она много шире и сводится к вопросу: что должен чувствовать спортсмен, когда вынужден уступить лидирующую роль? Роль, с которой он свыкся, которая, кажется, забронирована за ним навсегда. Когда он становится номером вторым, третьим, четвертым, когда не получает приглашений в соревнования, к которым привык, когда вообще не попадает в команду? Этот феномен неизвестен в социальном плане, где завоеванные позиции теряются только вследствие чего-то

экстраординарного и заслуженная пенсия и почет венчают, как правило, конец жизни.

Шорту было всего десять лет, когда он впервые встретился с Майлсом в одном из опен-турниров. И Майлс был первым гроссмейстером, у которого четырнадцатилетний Найджел выиграл турнирную партию.

«Нельзя сказать, чтобы Тони был моим другом, - рассказывает Шорт. — Некоторое время наши отношения были плохие, даже очень. Хотя мы всегда чувствовали какую-то связь между собой. Когда я был совсем маленький, Тони ревниво следил за моими партиями. «Этот ребенок хочет перенять мое дело», — как-то сказал он. Ему было непросто играть со мной, и я выигрывал у него довольно часто. В 1986 году отношения достигли низшей точки, когда Майлс, будучи в отборочной комиссии, поставил себя на первую доску в сборную страны на Олимпиаду в Дубае, хотя к тому времени мой рейтинг превосходил его очков на пятьдесят. Помню, Каспаров был совершенно изумлен тем, что я не играю на первой доске. Тогда я был очень задет этим фактом, признаться, и сейчас чувствую раздражение, говоря об этом. Наша команда, кстати, играла там превосходно, но все очки мы набрали на досках со второй по пятую, а наша первая доска - провалилась...

Майлсу было очень трудно смириться с тем, что он больше не номер один, в стране, и его отъезд сначала в Америку, потом в Австралию помимо психических проблем связан и с этим фактом.

По-моему, всё его поведение за доской было достаточно осознанно: чтобы вывести соперника из душевного равновесия, он не брезговал порой и сомнительными средствами.

Впоследствии наши отношения наладились, и, например, в Элисте мы проводили немало времени вместе, нередко смеясь до слез, и я всегда получат удовольствие от чтения его статей: у Тони было сильно развитое чувство юмора, статьи эти никогда не были сухими, и писал он их в своем особенном стиле. Я общался с ним достаточно часто в последнее время. Так, мы довольно долго обсуждали игру по интернету с Бобби Фишером. Для нас было ясно, что мы играли с одним и тем же соперником, это был очень вежливый, эрудированный и развитый во всех смыслах человек, кем бы он ни был на самом деле. Еще за два дня до чемпионата Европы в Леоне он жаловался, что его не взяли в команду, предпочтя молодого Люка Мак-Шейна, хотя его, Майлса, рейтинг и был выше. Он очень хотел играть здесь...»

За последние четверь века в Англии появилось немало сильных гроссмейстеров, но только трое из них, на мой взгляд, были лидерами: Тони Майлс, Найджел Шорт и — в настоящее

время — Майкл Адаме. Мне кажется, кстати, что причина улучшения отношений между Майлсом и Шортом объяснялась просто: взошла звезда Адамса. Так после появления новой главной жены в гареме султана гуляют, мирно беседуя друг с другом, вторая и третья жены, бывшие когда-то на главных ролях.

В конце жизни физическое и психическое состояние Майлса определяли его результаты за шахматной доской. В 1995 году на зональном турнире в Линаресе он лидировал после шестого тура, демонстрируя солидную, уверенную игру. В седьмом туре он проиграл Ильескасу, фактически не выйдя из дебюта. Вечером я встретил Тони в коридоре гостиницы. «Всё кончено, у меня нет шансов», — сказал он неожиданно. «Да что ты, - возразил я, удивленный столь необычными для него словами, — твои позиции всё еще хороши, плюс, который ты имеешь, вполне достаточен для выхода...» — «Ты не понимаешь, — прервал он, — я совсем не могу спать! Я уже звонил своему врачу в Бирмингем, ты не знаешь, что такое не спать...»

Начиная с этого момента на турнире появился другой Майлс. Дело было даже не в том, что он проиграл еще раз, не выиграв ни разу, - было видно, что он уже не может не только концентрироваться, но и просто думать, у него появился «дергунчик», знакомый всем шахматистам. Он не мог справиться с волнением и держать партию под контролем. В решающей встрече с ван дер Стерреном, где его белыми устраивала ничья, Майлс играл молниеносно, и уже к 15-му ходу его позиция напоминала руины. Когда через несколько ходов он сдался, было впечатление, что он заранее смирился с неизбежным и другого исхода и не ожидал.

В эти последние годы Тони, некогда получавший экстра-гонорары, значительно превышавшие стартовые коллег-гроссмейстеров и уступавшие разве что карповским, соглашался на игру в опенах на условиях, узнав о которых молодые шахматисты только удивленно качали головами. Полагаю, они просто не понимали, что означало бы для Майлса не играть вообще, выпасть из обоймы, изменить образ жизни, к которому он привык. Не думаю, что он играл только из-за заработка, и я спрашиваю себя: как был он поступил, если бы ему предложил и выступить в таком турнире, предварительно самому заплатив стартовый взнос? Несколько лет назад Майлс предложил шефу команды «Порц» игру за клуб на следующих условиях: если он не набирает за сезон 90 процентов очков, то не требует за свой труд никакого гонорара. Каждый, кто знаком с уровнем игры в Бундеслиге, понимает, что означали такие условия, и не приходится удивляться тому, что в конце сезона Майлс не

получил ни пфеннига.

В конце 70-х годов, после утомительного перелета из Европы в Лос-Анджелес и пятичасового автобусного пробега до маленького калифорнийского городка Лон-Пайна, я встретил Тони на главной и фактически единственной улице столицы сильнейшего в те годы опен-турнира и стал жаловаться на усталость и самолетный шум в ушах. Майлс только пожал плечами — это состояние было для него привычным: хотя у Тони хватало мест проживания — Бирмингем, Андорра, Порц, его настоящим домом всегда были гостиничная кровать, кресло самолета, постель в поезде или кабине корабля, сиденье автомашины.

По названиям городов и стран, где он играл, можно изучать географию, а линия, которая соединила бы все места его пребывания, причудливо изогнувшись, не единожды опоясала бы земной шар. Ему было все равно где играть: на Кубе, в Колумбии, Новой Зеландии. Китае, Голландии, Египте или Советском Союзе. Во время Олимпиады в Элисте (1998) он прикидывал, как будет добираться на турнир в Ираке: сначала самолетом до Дамаска, потом на верблюде или яке — до Багдада. Большая часть карьеры Майлса пришлась на доин-тернетовское, докомпьютерное время, и будущему его биографу предстоит немалый труд, разыскивая партии Тони в архивах египетской, колумбийской и китайской шахматных федераций.

Его талант был очень натуральный, очень природный и сочетался с огромной жизненной силой, которая била в нем и ощущалась едва ли не физически. Он мог как следует выпить, много ел, приученный долгими поездками быть не особенно привередливым.

Стюарт Конкуэст вспоминает, как однажды он делил с Тони каюту на пароходе, отправляющемся из Англии на Континент: «Храп его был настолько оглушителен что я не мог сомкнуть глаз. В конце концов я оделся и отправился в бар, где, кстати, встретил мою подругу, с которой мы вместе вот уже четыре года».

Майлс был дважды женат, у него были подруги, хорошие знакомые, редкие друзья или те, кто считал себя таковыми. Несмотря на это, он был, конечно, волк-одиночка, со своим внутренним миром, своими комплексами и проблемами. Как каждый англичанин, он был несколько эксцентричен, но хотел казаться еще более эксцентричным, чем был на самом деле.

Любопытно, что Майлс недолюбливал Лондон и никогда не жил в нем - в отличие от большинства английских шахматистов, а может быть, как раз по этой причине. В конце жизни Тони вернулся в свой родной Бирмингем; странствуя по миру, он

наслушался ломаного английского, сам же всегда оставался англичанином, и не только из-за любви к крикету, которую сохранил с детства.

1982 год, Индонезия. Выходной день на турнире протяженностью в 25 туров. Экскурсия в одно из семи чудес света — Борободур. Солнце печет неумолимо. Белокурый Тони — в панамке, но уже прилично обгоревший. Держится, разумеется, особняком от всего шахматного каравана. Сотни Будд, сидящих в различных позах. Около одного из них всегда толпятся туристы. Это - полый монумент, в который полагается просовывать руку, загадывая желание. Замечаю, что Майлс долго стоит у статуи, к неудовольствию ждущей своей очереди группы американцев, возглавляемой гидом с нераскрытым зонтиком от солнца, высоко поднятым над головой. Наконец Тони отходит от сидящей в позе лотоса фигуры и замечает меня. Прикрыв рот ладонью, как будто хочет сообщить что-то доверительное, он произносит шепотом: «Я не мог придумать ни одного желания...»

Во время турниров Майлс нередко играл в бридж. Это была игра шахматной элиты в начале и первой половине прошлого века: обычно после ужина в гостинице почти все недавние соперники собирались у карточного стола. Сейчас бридж совсем не в моде у молодых, а в свое время за этим занятием можно было увидеть Доннера и Ларсена, Горта и Корчного, Карпова и Штейна, Ульмана и Любоевича. В последний день своей жизни, 11 ноября 2001 года, Тони Майлс не пришел вечером в бирмингемский клуб, где он обычно играл в бридж...

В 1980 году на командном чемпионате Европы в Скаре Майлс выиграл у чемпиона мира Карпова, ответив на ход королевской пешки 1...a6. Я спросил Джонатана Спилмена, получил ли Майлс разрешение на столь экстравагантный дебютный эксперимент у капитана команды. «Разрешение? — переспросил Джонатан. - Тони Майлс никогда ни у кого не спрашивал разрешения ни на что!»

Он был одним из лучших игроков мира в то недавнее и уже такое далекое время, когда не было ни компьютеров, проверяющих каждый ход и каждый вариант, ни огромных баз данных с миллионами партий. Время это кажется сейчас наивным, примитивным и даже диким, равно как и лучшие игроки того времени кажутся... «дикими-предикими и дико блуждающими по Мокрым и Диким Лесам. Но самым диким был Дикий Кот — он бродил, где вздумается, и гулял сам по себе».

Ноябрь 2001

Тимоха (Я.Тимман)

Он принадлежит к поколению, в котором немало славных имен. Родившиеся в начале 50-х, они доминировали на турнирах 70— 80-х годов, и Ян Тимман может с гордостью оглянуться в прошлое: он стоял почти на самой вершине огромной шахматной пирамиды.

Я сыграл с ним больше партий, чем с кем-либо в мире. Мы провели вместе долгие месяцы в разных городах и странах, играя в Олимпиадах, европейских чемпионатах и международных турнирах. Я был свидетелем на его свадьбе. Вот уже без малого три десятка лет мы живем в Амстердаме на расстоянии четверти часа ходьбы. Именно поэтому непросто написать о нем: привыкая к человеку, невольно перестаешь обращать внимание на особенности характера, манеру разговора, привычки, склонности, лучше замечаемые теми, кто видит его только время от времени.

Ян Хендрик Тимман родился 14 декабря 1951 года в Делфте, где его отец был профессором математики в университете. Дом был очень открытый, и это отразилось на воспитании детей — троих сыновей и дочери: они росли без каких-либо запретов и ограничений. Яну было восемь лет, когда старший брат научил его играть в шахматы. Поначалу Ян хотел играть только в шашки, но Тон показал ему другую игру. Брат достиг силы вполне приличного кандидата в мастера, но оставил игру много лет назад, Ян же в возрасте четырнадцати лет стал чемпионом страны среди юношей, а еще через год занял третье место на юношеском чемпионате мира.

В этот период он занимается с мастером Хансом Баумейстером. Понятие тренера по шахматам в Голландии тогда не существовало, и Тимман просто приезжал к Баумейстеру каждую субботу домой, и они смотрели классику: эндшпили Рубинштейна, партии Ботвинника, анализировали. Но главным было не это: Баумейстер научил Яна, как учиться самому. Этот период продолжался полтора года. Баумейстер вспоминает, что уже тогда Тиммана отличали замечательное стратегическое чутье, редкая работоспособность и любовь к анализу.

После того как Ян окончил гимназию, встал вопрос: что дальше? Родители хотели, чтобы он продолжал учебу, и Тимман стал студентом математического факультета Амстердамского университета. Он даже прослушал первый час какой-то лекции, но на большее его не хватило... Через несколько лет, после скоропостижной смерти отца, Ян, к тому времени уже гроссмейстер, скажет, что хотел бы, не оставляя шахмат, снова

начать изучать математику, но это был скорее эмоциональный порыв: шахматы стали уже его жизнью.

Молодые годы Тиммана пришлись на время хиппи, биттлов и рол-лингов, студенческих волнений в Париже и Амстердаме, сексуальной революции и тотальной раскрепощенности. Всё это не могло не коснуться и шахматистов. Но голландские шахматисты имели репутацию самых бесшабашных, длинноволосых и совершенно не обращающих внимания на свой внешний вид: дырявые джинсы, стоптанные башмаки и видавшие виды футболки были их униформой.

Впервые я увидел Яна в декабре 1972 года в маленьком голландском городке Вагенингене. Там находилась тогда редакция журнала «Schaakbulletin» - предшественника «New in Chess», редактором которого он сам сейчас является. Красивый, очень худой юноша, на лице которого еще не было каких-либо признаков растительности, но с волосами до плеч, в старых джинсах и потертой вельветовой куртке, он только что вернулся из шахматного рая тех времен — Югославии, где можно было играть в турнирах едва ли не круглый год. Несмотря на то, что он ловко делал самокрутки и лихо курил, вид у него был очень женственный: семнадцатилетнего Яна, когда он играл в Вильнюсе, кто-то, приняв за девушку, пригласил на танец.

Выбранная Тимманом карьера шахматного профессионала означала бесконечные переезды с одного турнира на другой, безденежье, но и веселую, беззаботную, полную приключений жизнь. Обычно они путешествовали втроем: он, Ханс Бём и - за рулем маленького автобусика — их роттердамский приятель, довольно слабый шахматист, но верный друг и болельщик обоих. Они и спали в этом автобусике, хотя однажды, перед рождественским турниром в Стокгольме 1971 года, их предупредили, что ожидаются большие холода и можно замерзнуть. Друзья вынуждены были остановиться в гостинице, но для того чтобы расплатиться за постой, Ян должен был взять первый приз в турнире, что и сделал, выиграв в последнем туре черными у Брауна. Он был в том возрасте, когда ветер удачи дует почти всем, но в отличие от многих он знал, когда и как следует поднять паруса. Однако и приз в лурнире, и звание чемпиона Голландии, и даже гроссмейстерский титул были для Тиммана только сопутствующими факторами, интересовали его постольку поскольку. Главным же было — стремление к совершенствованию, любовь к игре, желание сразиться с теми, чьи имена он встречал лишь в первых строках таблиц сильнейших лурниров, решимость достичь самых вершин шахмат.

Эта решимость сопутствовала ему на протяжении всей

шахматной карьеры — карьеры, в которой блестящие взлеты перемежались с тяжелыми падениями. Спустя годы, будучи уже гроссмейстером экстракласса, Тимман после проигрыша полуфинального матча претендентов Юсупову напишет: «В 1985 году я достиг высот, которые раньше казались недостижимыми. Внезапный конец не означает, что это предел моих возможностей. Даже если я должен буду в деревянной бочке преодолеть ревущий водопад и внизу меня будут ждать вооруженные до зубов туземцы, я буду продолжать борьбу». И он продолжал борьбу, вновь и вновь играя в соревнованиях на первенство мира.

Перечисление успехов Тиммана за все эти годы заняло бы не одну страницу, да и не окончена еще его карьера. Девятикратный чемпион Голландии, победитель многих элитных турниров, постоянный участник матчей претендентов, Ян Тимман в середине 80-х считался сильнейшим шахматистом Запада и занимал вторую строчку в мировом рейтинг-листе.

Воспитанный на партиях Ботвинника, сам он считает идеальным стиль другого чемпиона мира — Смыслова: оригинальная стратегическая линия, ясность в игре и виртуозное ведение эндшпиля. Все эти качества во многом характерны и для него самого. Но все же главным в его партиях является динамика, он мгновенно реагирует на перемену обстановки на доске, и не случайно Карпов назвал его большим мастером контратаки, игры на перехват инициативы, которую Тимман чувствует очень тонко.

По стилю и манере игры Ян похож на своего сверстника — Рафика Ваганяна, только в чем-то был жестче, строже, профессиональнее, чем тот; достаточно сказать, что Тимман выиграл у Ваганяна первые семь партий. С другим своим одногодком - Карповым - Тимман провел за доской сотни часов, и, хотя общий счет явно не в его пользу, он выиграл у своего именитого соперника десять партий.

Все эти годы Тимман рассматривался в Голландии как преемник Эйве, и в 1979 году был учрежден специальный комитет Тиммана, который должен был помочь Яну в борьбе на первенство мира. Одним из его основателей явился Эйве: он хорошо помнил, как аналогичный комитет когда-то помог ему самому. Увы, комитет Тиммана просуществовал недолго: в 1980 году умер один из его членов — Валинг Дейкстра, а на следующий год и Макс Эйве.

Тимман - природный оптимист. Даже в последнее время, когда он нередко оказывается в нижней половине турнирной таблицы, все проигранные им партии кажутся ему нелепыми недоразумениями, а вот вьшгрыши — чем-то само собой разумеющимся. Конечно, между двумя безрассудными

крайностями — убеждением, что ты всё можешь в шахматах, и убеждением, что тебе никогда ничего не удастся, — нужно твердо держаться середины, но коли уж выбирать, то мне кажется, что переоценка своих возможностей наносит меньший вред шахматисту, чем их недооценка. К тому же от супероптимизма легче излечиться: падая и набивая шишки, поневоле учишься объективности, в то время как боязнь угроз противника (как действительных, так и мнимых), страх перед именами, мысли о том, что будет в случае проигрыша, являются куда более трудным барьером на пути к высшим достижениям.

Абсолютная уверенность в правильности избранного плана, правильности именно этого маневра или варианта всегда отличала Тиммана, как и всех очень сильных шахматистов, с которыми мне довелось встречаться. Точно такой же он и в жизни.

Профессор Амстердамского университета мастер Барендрехт был в шахматах типичным любителем, но из числа тех, кто побеждал в турнирах Ботвинника и Портиша. Когда он заболел, мы с Яном несколько раз навещали его в больнице. «Что-то мне не нравится, как выглядит Йохан сегодня», — качал головой я после очередного посещения. «Чепуха, - говорил Тимман, - на следующей неделе он будет дома». Когда через пару дней мы узнали о неприятном диагнозе, Ян только пожал плечами: «Обойдется. В наше время лечатся многие виды рака». Болезнь развивалась бурно, и через две недели Барендрехта не стало. Я позвонил Яну. «Японская акупунктура, — уверенно произнес Тимман. — Если бы они с самого начала прибегли к японской акупунктуре!»

У Набокова мелькает где-то персонаж, у которого слишком добрые глаза для писателя. Шахматист, садясь за доску, в еще большей степени должен быть жёсток и собран: на борьбу и на победу. Тим-ману присущи и эта жёсткость, и этот настрой. И если ему не удавалось доказать свою правоту во время партии, то оставались еще журналы и книги. Он написал много книг, полных оригинальных идей и глубоких анализов. Нельзя сказать, что его анализы всегда свободны от ошибок, но за ними неизменно видна напряженная работа мысли и поиск истины.

Сейчас не укладывается в голове, но еще десять лет назад он не записывал ни своих анализов, ни теоретических разработок, полностью полагаясь на память. И это при наличии обширного дебютного репертуара. Теперь он пользуется компьютером, но, как и большинство гроссмейстеров старшего поколения, использует его только как базу данных. Ян записывает партию полной нотацией, регистрируя на бланке и время, затраченное на

обдумывание; его почерк очень отчетлив, и буквы никогда не пляшут, как бы ни был силен цейтнот.

Есть у него еще одна черта, важная для профессионального спортсмена. Если шахматистов разделить на две категории — тех, кто начинает настраиваться на партию задолго до ее начала, полностью уходя в себя, и тех, кто еще за минуту до пуска часов смеется веселой шутке, с тем, чтобы через мгновение совершенно естественно перейти в совсем другой мир, — то Тимман относится ко второй. Это, конечно, врожденное качество, дар, который, как и устойчивую нервную систему, не развить тренировками.

Он игрок настроения, и по мере успешного выступления в турнире растет его уверенность в себе, становится более мощной игра, появляется другой взгляд и другая походка. В таком состоянии он способен выдать серию побед, независимо от силы соперника или цвета фигур. Я всегда чувствовал эту перемену в нем и перед партией с «таким» Тимманом говорил себе: «Внимание! Повышенная бдительность!»

Хотя я старше Яна на восемь лет, мы почти одновременно начали играть в больших турнирах, и, может быть, поэтому разница в возрасте между нами не ощущалась. Я сыграл с ним множество партий и имею положительный счет, и немалый. Он был безоговорочным первым номером в Голландии, а я вторым, и всякий раз в личной встрече он старался доказать это, нередко даже тогда, когда положение на доске не давало дтя этого достаточных оснований. Но в очередной партии он снова неизменно шел вперед, независимо от цвета фигур. Впрочем, и у меня перед поединком с ним всегда бывал особый настрой.

В течение четверти века состав команды Голландии все время менялся, но первые две доски оставались постоянными и почти всегда были основной ударной силой.

Во время Олимпиад голландцы нередко получали замечания от судей за разговоры во время игры. Грешили этим и мы с Тимманом. В наше оправдание скажу только, что в разговорах этих очень редко обсуждались позиции на досках. Они велись, например, о совсем не шахматных качествах второй доски женской команды Аргентины или о вчерашнем вечере, когда в баре гостиницы бессменный лидер финской сборной Хейкки Вестеринен, внимательно выслушав наставления опытного гроссмейстера о необходимости соблюдать строгий режим во время турнира, сказал: «Я уважаю вашу точку зрения, коллега, но пока: "Официант! Еще кружку пива!1'»

На протяжении долгих лет секундантом и спарринг-партнером Тиммана был Ульф Андерссон. Тончайший

позиционный игрок, Андерссон не помнит ни одной своей партии и никогда не играет на дебютный выигрыш. Блестящий аналитик, обладающий высочайшей техникой эндшпиля, Ульф является типичным примером шведской сдержанности и корректности. Но в отличие от символа шахмат Швеции предыдущего поколения — Штальберга, да и самого Яна, из напитков Андерссон предпочитает лимонад или кока-колу.

Вечернее дружеское застолье всегда было одним из составляющих образа жизни Тиммана, так что у молодых шахматистов, видящих его после тура с почти обязательным бокалом в руке, может создаться впечатление, что когда-то в молодости он крепко выпил и с тех пор так и находится в этом состоянии. Во время Олимпиад он любит вечерний час, когда после ужина, с сигаретой в одной руке и с бокалом в другой, с шутками и смехом разбираются только что сыгранные партии; любит посиделки с друзьями в баре или холле гостиницы, затягивающиеся нередко далеко за полночь. Но в годы безграничной уверенности в себе, которую дают молодость и сознание собственной силы, он мог отдать Бахусу Бахусово, а Каиссе — Каиссово.

По молодости лет богиня шахмат вообще легко уживается со своими более легкомысленными подружками, но по мере того, как шахматист стареет, Каисса становится всё более ворчливой, эгоистичной и мстительной и требует внимания только к себе. Хотя и в этом случае она далеко не всегда отвечает благосклонностью, но это является непременным условием успеха: ради нее жертвовать всем. Всем? Легко сказать. Ведь трагедия старости состоит не том, что стареешь, а в том, что остаешься молодым, и хотя Тимману уже пятьдесят, он до сих пор отмечен беззаботной печатью юности.

Поговорка «Всё приходит вовремя к тому, кто умеет ждать» на шахматы, увы, не распространяется. Эта жестокая профессия, как никакая другая, требует колоссальных затрат «жизненного горючего» — нервной энергии, и для пожилых гроссмейстеров шахматы нередко являются тем же, чем для монаха средневековья являлась власяница, добровольно надетая на голое тело. Игроки тактического склада с возрастом зачастую становятся нетерпеливыми, начинают играть еще острее, стремясь поскорее вызвать на доске кризис. Шахматисты же стратегического направления, как, например, Карпов, наоборот, стараются решить партию голой техникой, что заметно в последнее время и у Тиммана. Увы, это удается только с соперниками, значительно уступающими в классе игры.

Ясно, что чемпионом мира он уже не будет, а играть на очки

рейтинга, денежные призы, места в турнире - всё это уже было, было...

Приглашений в круговые турниры становится всё меньше, и в последние годы он начал играть в опенах. Это скользкий путь, которого стараются избегать сильные гроссмейстеры: особых лавров здесь не пожнешь, зато легко перейти в затяжное пике, откуда нет возврата в сильные турниры.

Ему постоянно снятся сны. Как правило, цветные. Обычно это пейзажи, острова, водопады. Случаются и шахматные. Один из давних: Олимпиада, он играет с Гортом, который предлагает ничью. Тимман отвечает: «Я должен спросить у капитана». Получив категорический запрет, возвращается к столу и, протягивая руку партнеру, говорит: «It's OK, Vlastimil». Другой - недавний. Вместе с Каспаро-вым — у какого-то замка. Вокруг — то ли озеро, то ли море, волны. «Мы разговариваем о позиции, где у меня двумя пешками меньше, зато два слона. Мы спорим, и в конце концов Каспаров соглашается со мной, что компенсация за материал достаточная...»

Задумчивость, мечтательность, переход в собственный мир были характерны для него еще в детские годы. Случалось, во время урока он, вздрагивая от голоса учителя: «Тимман! Не лови ворон! Ты слышал, что я только что сказал?», — возвращался в мир падежей немецкого языка, чтобы через минуту снова уйти куда-то далеко. В те же гимназические годы он составил свой первый этюд, но тетрадка, в которой он записал его, не выдержала испытания временем.

С тех пор общее число этюдов, составленных Тимманом, перевалило за сто. В среднем у него уходит примерно десять часов на проблему, но случается, конечно, что конструкцию не удается оформить и тогда замысел требует много больше времени. Леонид Куббель, Марк Либуркин и Владимир Брон — его любимые композиторы. Он восхищается творчеством Леопольда Митрофанова, и совсем недавно составил этюд, посвященный его памяти. Тимман внимательно следит и за творчеством Василия Смыслова, полагая, что его последние этюды напоминают произведения Селезнева. Книжечка селезневских этюдов, скромно изданная в Германии с предисловием Ласкера еще в начале прошлого века, хранится в библиотеке Тиммана.

Шахматная композиция — это благородное занятие гроссмейстеров старого закала — совсем не распространено сегодня в кругу молодой элиты. В практическом смысле искусство это не может дать молодым шахматистам ничего, и нынешнее поколение, конечно, очень далеко от Тиммана и лучших игроков

того, вчерашнего времени. Но будет ли оно ближе к тем, кто придет им на смену завтра?

Быть может, этой любовью к этюдам объясняются обширные эндшпильные познания Тиммана. Невозможно представить себе, чтобы он проиграл окончание ладья против ладьи и слона или не выиграл эндшпиль ферзь против ладьи. Но он знает и множество редких концов игры. Так, он выиграл у Велимировича на межзональном турнире в Рио-де-Жанейро окончание, ставшее новой страницей в теории эндшпиля.

Он хорошо говорит на основных европейских языках. Самым сильным, как и у всех почти в Голландии, является английский, потом немецкий, французский.

Когда Яну было четырнадцать лет, он получил в подарок от отца, побывавшего на конгрессе в Москве, «Миттельшпиль» Романовского и попытался сам прочесть эту книгу, обнаружив, что почти все шахматные термины в русском языке идентичны немецким. И сейчас чтение шахматной литературы на русском не является для него большой проблемой.

В 1973 году я дал Тимману и Бёму несколько уроков русского языка: друзья собирались в Ленинград на межзональный турнир. Кое-какие плоды эти уроки принесли: появившись в пресс-центре турнира, они важно поздоровались по-русски, а когда к Хансу Бёму, пользуясь возможностью поговорить с иностранцем без переводчика, обратились с тирадой, тот, внимательно выслушав собеседника, без какого-либо акцента переспросил: «Что вы говорите?», чтобы после подробных объяснений задать тот же вопрос...

Во время долгих прогулок друзьям нередко попадались памятники человеку, имя которого носил тогда город, и Бём всякий раз обращался за разъяснениями: «Кто это? Кто это? Солженицын?», но ответа от ускорявших шаги прохожих почему-то не получал.

После окончания гимназии Ян получил в подарок «Русскую библиотеку» и прочел почти всего Достоевского («только до «Бесов» не дошли руки»), Тургенева. Прочел «Обломова» — книгу, очень популярную на Западе, и плакал, когда умер Илья Ильич. По совету учителя греческого языка он прочел Бабеля и до сих пор помнит героев одесских рассказов.

Он был в России семнадцать раз; многие обычаи ему здесь по душе, даже если они преподносятся иностранцу в театрально-ретушированном виде. В характере Яна присутствуют и элементы русского «авось», и, в еще большей степени, известная формула, что всё как-то «образуется». И его здесь любят, называя ласково-крестьянским именем Тимоха.

Его фотография на первых страницах газет появилась в 74-м году не в связи с шахматными успехами. Нераспечатанные конверты из военного комиссариата, приходившие на имя Яна Тиммана, громоздились на его столе, пока жандармерия не арестовала уклонявшегося от призыва в армию молодого гроссмейстера и не препроводила его в военную тюрьму, где он и пробыл десять дней. «Это было не такое уж и плохое время, — вспоминал он позднее, — за исключением ранней побудки и столь же раннего отбоя. А так — я мог бы долго выдержать в камере: стол, стул, шахматная доска, книги и прогулки время от времени. Что еще нужно?»

Мы встречаемся с Яном в кафе на Лейденской площади в самом центре Амстердама. Почти тридцать лет тому назад он жил в нескольких десятках метров отсюда, в комнате на третьем этаже, с большим портретом Че Гевары над кроватью, деревянным столом, усеянном следами от винных стаканов, шахматной доской на нем с позицией, сохранившей контуры ночного анализа. Здесь же можно было найти стопки шахматных журналов, несколько густо исписанных листков со статьей, начатой для «Schaakbulletin», приглашение на турнир в Югославию, остатки вчерашнего ужина, письмо девушки, которая играла с ним в сеансе в Гронингене («в синем свитере с оленями, если не помните»), бюллетени турнира в Испании, откуда он вернулся на прошлой неделе... Рядом лежала пятигульденовая бумажка и центовая мелочь, и репортер бульварной газеты, пришедший к Яну для интервью, тут же спросил: «Это то, что вам удалось выиграть вчера в кафе?»

Окна этой комнаты выходили на Рийксмузеум, и светящиеся ночью часы музея отбивали время. С тех пор они отбили тридцать лет. Это были годы, наполненные замечательными победами, горькими разочарованиями, написанными книгами и составленными этюдами, падениями и подъемами, смертью родителей, женитьбой, рождением детей, разрывом, жизнью самой. Жизнью, меньше всего напоминавшей житие.

Две недели тому назад Тимману исполнилось пятьдесят. Человек в таком возрасте знает уже тот невольный испуг, когда, просыпаясь, спрашиваешь себя: «Неужели мне уже тридцать... сорок... теперь пятьдесят?» У него непривычно короткая стрижка видавшего виды американского десантника — я никогда не видел Яна таким. Волосы его как-то выцвели и теперь кажутся русыми, но я знаю, что это не совсем так: он давно уже начал седеть. Он раздался и погрузнел. Для того, кто не видел его длительное время, непросто признать в нем длинноволосого худенького юношу с мечтательными глазами. Мы заказываем по бокалу

красного вина, потом еше по одному... «Ты же и так всё сам знаешь», — говорит он.

«...Конечно, мой отец очень хотел, чтобы я стал математиком. Однажды он разговаривал с Кересом, который после турнира в Вейк-ан-Зее давал в Делфте сеанс одновременной игры профессорам и студентам университета. Керес оценивм математику выше шахмат, хотя я не уверен, так ли он думал в действительности или говорил это только из уважения к отцу. Но когда я стал гроссмейстером, отец успокоился, считая, что гроссмейстерское звание может быть приравнено к университетскому диплому; и если рассматривать шахматы с научной, исследовательской точки зрения, я думаю, мне удалось кое-что в них сделать...

Мои путешествия по миру в те годы? Это было замечательное, незабываемое время. В Буэнос-Айресе я разговаривал с Борхесом; он был тогда уже совершенно слепой. Мы говорили о многом, и о шахматах тоже. Ему нравились шахматы как одно из проявлений человеческого духа, как высокое искусство и был неприятен в них соревновательный, разрушительный элемент.

Какой турнир я считаю самым большим своим успехом? Мар-дель-Плата, 82-й год, когда я не только победил, но и выиграл у Карпова, а ведь он почти всегда был первым в то время. Ну, и межзональный в Таско в 85-м, когда я опередил второго призера на два очка. Всё это было на твоих глазах.

Голландию я не очень люблю, здесь не умеют ценить своих героев, к которым за границей прояв/гяют большее уважение. Нет, я говорю не только о себе, и футболисты тому пример, это скорее голландский менталитет. Я чувствую себя гражданином мира и легко мог бы жить в другом месте. Лондон, например, очень приятная альтернатива.

С Фишером я встречался в Брюсселе в 1990 году. Всюду, где бы мы ни были — в машине, ресторане, ночном клубе, — он доставал карманные шахматы и начинал анализировать...

Что уходит с возрастом? В первую очередь пропадает способность длительной концентрации, без которой невозможно постоянно держать партию под контролем. Уходит энергия, ментальная энергия. Я восхищаюсь Корчным, но не завидую ему, потому что знаю, чего стоит ему это колоссальное напряжение.

Конечно, докомпьютерные шахматы были и интереснее, и приносили больше удовольствия от анализа. Помню, как я был горд, когда нашел в партии Длуги — Сакс, выигранной белыми, удивительный тактический удар, неожиданно меняющий оценку позиции. Нет никакого сомнения, что компьютер нашел бы эту комбинацию в одну секунду...

Стал бы я профессиональным шахматистом, если бы мне снова надо было выбирать профессию сегодня ? Никогда, ни в коем случае. Я выбрал эту профессию потому, что не хотел сидеть пять-шесть лет на студенческой скамье, хотел играть и быть свободным и заниматься тем, что мне нравится, не давая отчета никому. Теперь же шахматы — это точное знание, добытое тяжелым и постоянным трудом, многочасовое сидение перед компьютером, исчезновение игрового элемента. Ушла магия шахмат...»

Двадцать лет назад, осенью 1981-го, мы оба играли в тройном матче Голландия - Австрия - Польша, отборочном к европейскому первенству. Маленький австрийский городок Браунау был совсем непримечательным, если не считать дома в самом центре его: в конце 19-го века в нем родился Адольф Шикльгрубер.

Голландия была явно сильнее своих соперников, состязание превратилось в простую формальность, и сразу после него мы с Яном отправились к главной цели нашего австрийского вояжа - в Мерано, где игрался матч Карпов — Корчной. В Инсбруке мы увидели, что поезд на северную Италию только что ушел, а следующего надо дожидаться почти три часа. Ян предложил добраться до Мерано на такси, и мы вступили в переговоры с шофером, красавцем-тирольцем с пышными усами, очень одобрявшим планы Тиммана. Я был против. Хотя шофер и не понимал языка, на котором мы с Яном говорили, но догадывался о природе моих контраргументов, которым Ян и внял в конце концов.

Был теплый еще октябрь, и всё вокруг было окрашено в желто-зеленые тона. Бутылка вина, которую мы заказали в станционном ресторанчике, была распита довольно быстро, за ней вторая, третья. Рислинг был приятен на вкус, и время за разговором шло незаметно.

Когда мы расположились в купе поезда, я спросил у старушки в традиционной тирольской одежде, в котором часу мы прибываем в Мерано. «Aber, das ist ein Zug zu Kufstein», - отвечала она. «Что вы, -вступил в разговор Ян, — это поезд на Мерано». «Nein! Nein! — твердо стояла на своем старушка. — Das ist ein Zug zu Kufstein». Я всё уже понял и тянул Яна за рукав: быстрее, у нас только две минуты, но он не сдавался: «Нет, я знаю точно, этот поезд идет в Мерано...»

«Если бы ты тогда меня послушал, — говорил Ян, когда такси везло нас к итальянской границе, — мы бы уже приближались к Мерано».

На Бреннерском перевале мы сделали остановку. Шофер

пошел пить кофе, мы же подошли к обрыву. Похолодало. Уже начинало смеркаться. Всюду лежали изрезанные глубокими морщинами горы, в расщелинах здесь и там затаились маленькие рваные облака. Когда мы приехали в Мерано, было уже совсем темно.

Январь 2002

Лука (А.Лутиков)

Он сыграл немало партий с Фишером и имеет с ним положительный счет. Партии эти, правда, игрались блиц, и Бобби было только пятнадцать лет.

Время действия — лето 1958 года. Место — Москва, Центральный шахматный клуб. Фишер только что выиграл чемпионат Соединенных Штатов и вот сейчас вместе с сестрой Джоан приехал в столицу мировых шахмат. Сестра с утра отправляется в музеи, но музеи мало интересуют Бобби: он днями напролет играет в шахматы. Он приходил в клуб на Гоголевском бульваре, когда там еще никого, кроме вахтера, не было. Постепенно собирались сотрудники: методисты, тренеры, сам директор - все мастерской силы. Бобби громил их нещадно. Досталось и подвернувшемуся под руку Владимиру Ала-торцеву. Стали обзванивать более титулованных. Флор вспоминал, что телефонный звонок поднял его с постели: «Вставайте, Саломон Михайлович, Родина зовет!» Наконец вызвали на подмогу тяжелую артиллерию: молодых, наигранных мастеров, к тому же специалистов по блицу - Евгения Васюкова и Анатолия Лутикова.

Тогда-то и состоялся этот памятный для Лутикова матч. Он вспоминал позднее, что они сыграли около тридцати партий, из которых он выиграл примерно две трети. Фишер с детской непосредственностью переживал неудачу, а когда в одной из партий соперник в пылу борьбы сдался в выигранной позиции, Бобби не мог скрыть радости.

Вскоре на межзональном турнире в Порторожe Фишер вышел в число победителей и завоевал право играть в турнире претендентов. Он стал тогда самым молодым гроссмейстером в мире. Его сопернику по московскому блицматчу пришлось ждать этого звания долгих пятнадцать лет.

В шахматы Лутикова привел случай. Ленинград, 1946 год. Лекция во Дворце культуры. Тема ее «Новый чудодейственный препарат — пенициллин». Но до лекции еще есть время, и мальчик с рабочей окраины вместе с приятелем заходит в шахматную комнату. Мальчику неполных тринадцать лет. Сосредоточенные лица людей, передвигающих деревянные фигурки по клетчатой доске. Для Толи всё в диковинку: играть он не умеет. Друг берется быстро обучить его. О лекции они вспомнили, когда шахматная комната уже закрывалась...

Его первым учебником стал «Самоучитель шахматной игры» Шифферса. О дебютах в этой книге говорилось мало. Так, об ответе

1...c6 на первый ход королевской пешкой сообщалось кратко: неправильное начало. Зато подборка партий была хороша: их было несколько сот, и все они представляли острые, комбинационные схватки. Эта книга, несомненно, повлияла на Лутикова и определила его творческое лицо.

Шахматную науку Толя начал было постигать во Дворце пионеров. Но независимым характером, бесшабашностью, всей манерой поведения он как-то не вписывался в академическую обстановку турниров по вторникам и четвергам и теоретических занятий по пятницам, и в итоге его единственным тренером стала сама игра. Играл он когда угодно и где угодно. В Чигоринском клубе, в Домах культуры, летом в садах и парках и, конечно, на Островах. Турнирные и тренировочные партии, их разбор, анализ дебютных вариантов, игра вслепую, игра по два хода, по три и, разумеется, блиц.

Блиц! Классические пятиминутки, блиц навылет, двое на двое, трехминутки, а то и по минуте на партию — формула боя была самой разнообразной. И всё - со звоном и смехом. Со словечками и прибаутками, в которых шахматные термины были так переплетены с городским фольклором, что человек, незнакомый с этим миром, просто не понял бы, о чем идет речь. Толя следит за партиями сильнейших ленинградских шахматистов того времени, ловит каждое их выражение, слово, шутку. Влюбленными глазами смотрит на Толуша, когда тот, открывая коробку «Казбека», закуривает очередную папиросу и, нанося тактический укол, наклоняется к сопернику, участливо спрашивая: «Не беспокоит?» Или, не смущаясь потерей пешки, приговаривает загадочное: «Фартовые не смотрят на бимбра-сы» — и объявляет своему партнеру, оказавшемуся в итоге в проигранном положении: «Аминь пирожкам!» Или просто подбадривает себя своим же фирменным: «Вперед, Казимирыч!» Многие выражения, употреблявшиеся уже взрослым Анатолием Степановичем, пришли из того далекого ленинградского детства.

В 1949 году Толя Лутиков в составе юношеской сборной Ленинграда становится чемпионом страны. Какая это была команда! Возглавлял ее Корчной, а в составе были двенадцатилетний первозраз-рядник Боря Спасский и ставшие позже мастерами Володя Лявданс-кий и Саша Геллер. Тренерами были Владимир Зак и кумир Лутикова — Александр Толуш.

Долгие ленинградские вечера нередко делили с Лутиковым молодые кандидаты в мастера Витя Корчной, Коля Крогиус, Боря Владимиров. И курилось во все легкие, и шуткам не было конца, и бездонное время утекало с обоих циферблатов шахматных часов, и вечер незаметно переходил в ночь, и всё было еше

впереди.

Эти вечера, эти шахматные бдения, наконец, сама турнирная игра и явились шахматными университетами Анатолия Лутикова. Теорию дебютов он изучал главным образом во время турниров. У него не было тетрадок с секретными анализами варианта дракона или тонкостями атаки пешечного меньшинства в ферзевом гамбите. Зато он бережно хранил одну — с аккуратно переписанными партиями Алехина.

В 1950 году в чемпионате Ленинграда наряду с известными мастерами Таймановым, Фурманом, Кламаном, Копыловым, Жухо-вицким приняли участие и двое молодых: Корчной и только что ставший кандидатом Лутиков. Прическа ежик, видавший виды старенький пиджачок, штопаная рубашка с выпущенным воротником — так выглядел тогда рабочий одного из ленинградских заводов Толя Лутиков. Он занял последнее место, но несколько партий провел в «блестящем атакующем стиле с жертвами». Слова эти станут ярлыком, фирменным знаком Лутикова на протяжении всей его шахматной карьеры.

Двадцать лет спустя Лутиков выступал в составе команды гроссмейстеров на турнире в Сочи. Им противостояли подающие надежды мастера.

Позиция молодого Бори Гулько была примерно равной, когда он в поисках шансов на выигрыш спровоцировал соперника на жертву фигуры, на поверку оказавшуюся очень опасной. «Лутикова не надо соблазнять жертвой материала, он сам вам всё пожертвует», - заметил Корчной, наблюдавший за ходом борьбы.

Сам Анатолий Лутиков так охарактеризовал свой стиль: «По натуре я тактик. Раскрепощенные, открытые шахматы, дарящие радость зрителям, нравятся мне всю жизнь. В юности я подолгу следил за игрой Толуша. Это было зрелище! Я считаю его одним из моих учителей. Шахматы должны, просто обязаны быть зрелищными. И они могут быть такими, если не высушивать их излишним практицизмом... Я считаю турнир удачным, вне зависимости от спортивного итога, если мне удалось дать несколько комбинационных партий».

Он становится мастером, выигрывает чемпионаты России, играет в первенствах Советского Союза. Лутиков _ сильный шахматист со своим видением игры, прекрасно чувствующий инициативу, но и с недостатками, которые он так и не смог изжить до конца: недостаточное владение техникой позиционной игры на высоком уровне, технические погрешности в эндшпиле и слабо отработанный дебютный репертуар за черных. Как это часто бывает у шахматистов тактического плана, его результаты белыми были намного выше: борьба за академическое уравнение

была ему не по душе, а игра на перехват уже в дебюте может иметь для черных тяжелые последствия. И еще. Он не привык работать самостоятельно, ему нужен был визави, напарник, которому в момент дискуссии об оценке позиции можно было сказать коротко: «Ходи!»

Нельзя сказать, впрочем, что Лутиков совсем не занимался шахматами. Его дебютный репертуар стал более уравновешенным. Он прекратил играть королевский гамбит — любимое оружие молодости, но его всегда тянуло к тактике, по возможности уже в дебюте. Нередко в ответ на 1.e4 он выводил ферзевого коня, он же в конце 60-х ввел в турнирную практику экзотический вариант l.d4 Kf6 2.c4 Kc6 — настоящее кавалерийское шоу! Но и в солидной испанской партии его тянуло на боковые варианты: так, в улучшенной защите Стейница он применял рискованную систему, где уже на пятом ходу начинается подрыв королевской пешки белых.

В начале 1978 года в Минске он сомнительно разыграл дебют против четырнадцатилетнего мальчика из Баку - будущего победителя турнира. Хотя Лутиков долго сопротивлялся, избежать поражения ему не удалось. Эта памятная дтя Каспарова партия была первой, которую он выиграл у гроссмейстера один на один.

Кое-кто полагает, что если бы Лутиков прилежно занимался шахматами, изучал классику, играл солидные построения, его талант заблестел бы еще ярче и он достиг бы много большего. Не уверен. Он относился к тому типу игроков (как правило, тактиков), которые играют каким-то внутренним, животным инстинктом. После на одном дыхании проведенной атаки им непросто объяснить, почему они сыграли так, а не иначе: рука сама потянулась к нужной фигуре. Попытки изменения сложившейся в молодости манеры игры, изменения стиля за счет приобретенных знаний могут иметь только негативные последствия: ухудшится то уникальное, что было дано от природы, а приобретется то, что умеют многие. Симптоматично, что и хронометраж, вошедший в моду в 70-х годах, не пошел у Лутикова: запись времени, потраченного на обдумывание, только отвлекала его от игры.

Дебют на международном уровне принес Лутикову одни огорчения. Правда, турнир ЦШК 1959 года получился очень сильный. Первое место в нем поделили Бронштейн, Смыслов и Спасский. Но и имена остальных участников впечатляли: Олафссон, Филип, Портиш, Ларсен, Симагин, Аронин, Васюков... Лутиков все партии провел в своей обычной лихой манере и, так же как в своем первом чемпионате Ленинграда, занял последнее

место. Это случится с ним еще не раз: за игру по принципу «пан или пропал» приходилось расплачиваться. Доморощенный поэт писал тогда в турнирном бюллетене:

Увял во цвете Лутиков,
Пророчить погоди.
То лишь цветочки-лютики,
Жди ягод впереди.

Лутиков не впал в отчаяние и не изменил своему стилю. В том же году он выигрывает чемпионат России, а в следующем - турнир в Бад-Залыдунгене. Но звания международного мастера ему пришлось ждать целых семь лет.

На турнире в Бевервейке 1967 года играли по традиции многие ведущие шахматисты мира: Ларсен, Сабо, Доннер, Глигорич, Дарга, Кавалек... Выиграл тот турнир Спасский, а Лутиков занял второе место, отстав только на пол-очка и не проиграв ни одной партии. Это был его звездный час! По свидетельству Спасского, Лутиков играл тогда собранно и с полной ответственностью, как никогда в жизни. Хотя его результат и был гроссмейстерским, на следующий год в Амстердаме Лутиков играет только в мастерской фуппе ИБМ-турнира: слишком много шахматистов экстракласса было тогда в Советском Союзе, слишком многие претендовали на место в гроссмейстерском турнире.

Во время турниров в Голландии Лутикова нередко можно было видеть с мастером Диком ван Гейтом, шахматистом оригинального стиля, пропагандировавшим начало, которое и получило название «дебют ван Гейта» - 1.Кс3. Необычные позиции, которые они анализировали, были, очевидно, по душе обоим, и хотя немецкий Лутикова офаничивался в основном терминами «bessen> и «nicht gut», они прекрасно понимали друг друга.

Международным гроссмейстером Лутиков стал только в сорок лет, поделив с Гортом первое место на турнире в Лейпциге (1973), но за четыре года до этого он занял третье место в чемпионате Советского Союза в Атма-Ате, опередив многих известных гроссмейстеров, за что получил звание национального гроссмейстера — достижение, удававшееся очень немногим.

Его линия в шахматах была в чем-то продолжением линии Чигорина с его знаменитым: «Господин Тарраш предпочитает защиту, мы же, по свойственной нам слабости, стремимся к атаке». И, как и Чигорин, он испытывал трудности после l.d4. С его любовью к блицу, к упору на игровой момент и пренебрежением к спортивному режиму он никак не вписывался в ботвинниковские шахматы, на гербе которых было

выгравировано: успех ожидает того, кто к нему хорошо подготовился. Он был самоучка, самородок, и его линия в многогранных советских шахматах была линией игроков разной силы и степени таланта: Шамаева, Шишкина, Антошина, Холмова, Чаплинского, Выжманавина, Арбакова...

Турниры, турниры, турниры. Сборы и снова турниры. Чемпионаты городов и армейские соревнования, командные первенства и первенства спортивных обществ, Спартакиады и чемпионаты России, иногда — если пошлют - международные турниры и, конечно, полуфиналы и финалы чемпионатов СССР — сильнейшие в то время турниры в мире. Турниры, длящиеся неделю, две, три, иногда и месяц. Жизнь на колесах.

Города, города, города. Потребовался бы очень подробный атлас Советского Союза, чтобы отметить все те места, где играл Анатолий Лутиков.

Гостиницы, гостиницы, гостиницы. Номера на шестерых, на четверых, реже на двоих. Дежурные по этажу. Молодые и не очень. Талоны на питание. Официантки, меняющие их на деньги и не делающие этого. Сохранение заработной платы. Отчитаться в спорткомитете. Обеспечение жилплощадью. Суточные. Поллитровка. Плюс три. Характеристика. Соцстрана. «Ну, дрогнули». Плавленый сырок. Литерный билет. Почасовая оплата. Зубровка. Инструктор по спорту. Капстрана. Сертификат. Путевка на сеанс. Методист. Закусить мануфактурой.

Понятия эти, несущие в себе непреодолимые трудности для переводчика на любой язык, были знакомы Лутикову с юношеского возраста. Деньги, порой легко достающиеся, но так же легко и быстро утекающие.

Плотно сбитый, ширококостный, простое крестьянское есенинское лицо, волосы, зачесанные назад, — так выглядел Лутиков в те годы. И бабочка, нередко надеваемая им во время турниров, только контрастировала со всем его видом.

У него было прозвище — Лука. Он был обязан ему не столько созвучием с фамилией, сколько часто поминаемым им героем бар-ковской поэмы, которую часто и с удовольствием цитировал.

Коллеги, друзья, собутыльники. Долгие застолья. И веселье, и выяснения отношений, и разговоры, содержание которых невозможно вспомнить мутным утром следующего дня. Он обладал редким здоровьем и в молодые годы спокойно мог принять за вечер литр водки, а то и больше. В таком состоянии он набрякал, фузнел, и вечер мог кончиться когда угодно и где угодно.

Выписка из милицейского протокола: «Гражданин Лутиков А.С. в состоянии крайнего алкогольного опьянения тащил на

спине другого гражданина, впоследствии оказавшегося Талем М.Н.».

Однажды на банкете он обратился к присутствующим с речью, начав так: «Леди и гамильтоны...» А на чемпионате страны 1969 года в Москве подрался с Леонидом Штейном. Оба были крепко на взводе, когда по звонку дежурной по этажу прибыла милиция. Особенно буйствовал Штейн, наступавший на стража порядка и даже порвавший на нем рубашку. «Как вы его вяжите? Да вы же вязать не умеете, кто же так вяжет?» — деловито давал советы Лутиков, наблюдая за процессом со стороны.

Не обошлось без вмешательства милиции и на полуфинале чемпионата СССР в Свердловске. Дежурная по этажу, увидев ночью в коридоре близоруко озирающегося совершенно голого человека, пытающегося найти дверь в свой номер, откуда его выставили приятели, расписывающие очередную пульку, решила, что это привидение, и перепугалась насмерть. Прибывшим через какое-то время милиционерам открылась, однако, идиллическая картина: Лутиков, в костюме и при галстуке, сидел за шахматной доской, погруженный в глубокие раздумья...

В другой раз, в Новосибирске, шутнику, отпускавшему язвительные замечания, пришлось убедиться, что «интеллигент в очках» обладает к тому же немалой физической силой.

Истории эти, и без того впечатляющие, обрастали всевозможными подробностями, делаясь шахматным фольклором и создавая красочный образ Анатолия Лутикова. Впрочем, сам он утверждал, что всё держит под контролем: «Я всегда знаю, сколько принял накануне вечером, — утверждал Лутиков. — Как-то в молодые годы, вставая утром с кровати, я наступил на очки. С тех пор, перед тем как идти спать, я всегда кладу очки под кровать, и чем больше я выпиваю, тем дальше под кроватью оказываются очки...»

И многое прощалось, и на многое закрывались глаза, потому что знали, что вечером тот же самый человек вдохнет жизнь в деревянные фигурки так, как умеет только он.

Хотя Лутиков несколько раз бывал за границей, мир за пределами своей страны оставался для него чужим, заморской сказкой, и по взглядам на жизнь он был вполне советским человеком. Спасский вспоминает, как в 67-м году в Москве Лутиков был у него в гостях: «После двух-трех стаканчиков я рассказал пару анекдотов о Василии Ивановиче, входивших тогда в моду. Вдруг Толя напрягся: «Я попросил бы в моем присутствии о героях гражданской войны подобных историй не рассказывать».

Последний период его жизни был нелегким. К старости недостатки, камуфлированные в молодости оптимизмом,

напором, становятся еще более рельефными. В его случае это происходило на фоне тяжелой, изнуряющей болезни: содержание сахара в крови превышало все допустимые нормы. Пить он уже не мог: плыл после первой рюмки. Не мог и концентрироваться за доской, и рука, раньше сама выбиравшая нужные поля для фигур, теперь посылала их в скороспелые гусарские наскоки, легко отражаемые соперниками. Его атаки стали больше походить на авантюры, жертвами которых становился он сам.

После поражений Анатолий Степнович не привык отсиживаться, пережидать, зализывать раны. «Я понимаю, что после проигрыша надо играть сдержанно. Но все мои благие пожелания тут же исчезают, когда я сажусь за доску и невольно вспоминаю вчерашнюю неудачу», - признавал он сам. Роль дебюта с годами возросла еще больше, а эта стадия партии не была его сильной стороной, даже в лучшие времена. И всё чаще в его словах звучала обида за несложившуюся жизнь.

Вдобавок у Лутикова просто не было средств для существования — участь, ожидающая многих профессиональных шахматистов, не входящих в элиту, независимо от страны проживания: общество не рассматривает шахматы как профессию, и все последствия за выбор их в качестве таковой несет сам человек. Государственной стипендии Лутиков не получал никогда. В его трудовой книжке значилось немало профессий: методист, инструктор по спорту, тренер, но фактически всю жизнь он был шахматным профессионалом. Это было единственное, что он умел делать, — играть в шахматы. Парадокс в том, что, будучи профессионалом, он по отношению к игре оставался чистым любителем, особенно если рассматривать профессионализм в спорте через определение, данное мэтром советского футбола Андреем Старостиным: любитель заработанные деньги пропивает, а профессионал кладет на книжку.

Он всегда рассматривал себя только как турнирного игрока. Уже перевалив через свой пик, он продолжал надеяться: «Жизнь шахматиста не кончается одним турниром, каким бы интересным он ни был. Все время приходится думать о новых соревнованиях, готовиться к новым боям. Шахматы дают нам спортивное долголетие, и я надеюсь еще не раз сыграть в больших турнирах гроссмейстерского класса».

В поисках лучшей доли он намотал тысячи километров дорог огромной когда-то страны. Ленинград, Челябинск, Новосибирск, Тирасполь, Ярославль, Анапа, снова Тирасполь. Вот точки, где делал остановки в своей кочевой жизни Анатолий Лутиков. Ему казалось, что на новом месте всё устроится, наладится,

образуется. Турниры, в которых он принимал участие, становились всё слабее и слабее, равно как и его результаты в них...

В голодном послевоенном Ленинграде пятнадцатилетний мальчик мечтал: дайте мне сковороду жареной картошки, и я выиграю у кого угодно! Ему не было суждено подняться на самые вершины шахмат, но те, кому удалось это сделать, очень хорошо знали, что он, Анатолий Лутиков, может выиграть у кого угодно. Он стал гроссмейстером, но в первую очередь — гроссмейстером атаки. Он разносил в щепки, и не раз, позиции Таля и Корчного, он выигрывал у Кереса, Бронштейна, Геллера, Полугаевского, Тайманова, Авербаха, Нежметдинова...

Анатолий Степанович Лутиков: Ленинград 1933 — Тирасполь 1989.

Март 2002

Эссиг флейш (С.Флор)

Май 2002 года. Прага, гостиница «Редиссон-Сакс». В холле гостиницы то здесь, то там слышатся незамысловатые трели. Это, не переставая, звонят мобильные телефоны Каспарова, Крамника, их менеджеров, журналистов. Решается вопрос об объединении шахматного мира, о матче на первенство мира.

Май 1938 года. Та же гостиница на Степаньской улице, известная всем пражанам под названием «Алькрон». Здесь подписывается соглашение о матче на мировое первенство, который должен состояться в следующем году в нескольких городах Чехословакии. Финансирует его крупнейший обувной фабрикант Европы Томаш Батя, им же гарантирован необходимый призовой фонд в 10 000 долларов. Повсюду в Праге можно видеть портреты улыбающегося молодого человека, призывающего покупать ботинки только этой фирмы. Его имя — Сало Флор.

Историческая сцена в гостинице «Алькрон» была заснята на пленку и показана в пражских кинотеатрах. Соглашение о матче подписали чемпион мира Александр Алехин и претендент на это звание Сало Флор.

Если выйти из гостиницы «Алькрон» и через переход Люцерн пройти на Водичкову улицу и повернуть направо, то очутишься у здания, тоже известного всем пражанам: «У Новака». До войны здесь помещалось варьете, а днем в кафе собирались шахматисты.

Летом 1931 года «У Новака» проводилась IV шахматная Олимпиада, называвшаяся тогда Турниром наций. Собрались все сильнейшие гроссмейстеры мира во главе с Алехиным. Как и на прошлогоднем Турнире наций в Гамбурге, команду Чехословакии возглавлял Сало Флор. Ему двадцать два года. Кажется невероятным, но еще восемь лет назад он не умел играть в шахматы. Игре обучил его старший брат Мозес, когда Сало было уже тринадцать, и игра захватила его сразу.

Сеанс одновременной игры вслепую Жака Мизеса - маленькое чудо, на которое мальчик смотрит во все глаза. Проходит полгода, и Сало уже сам играет в сеансах с теми, с кем очень скоро ему придется встречаться за доской один на один: Алехиным, Рети, Шпильманом. Он посещает шахматный клуб Прокеша, участвует в турнирах. Сало играет в острокомбинационном стиле, он атакует, жертвует пешки и фигуры. Успехи его растут. Флор трижды побеждает на мемориалах Каутского, где играют все сильнейшие шахматисты страны: Громадка, Опоченский и другие. В эти годы Сало Флора почти не видно в пражских кафе. Он появляется лишь на короткое

время, чтобы выпить чашечку кофе. И в шахматных клубах Сало не задерживается после того, как сыграна партия. Что он делает целыми днями? Рискну предположить: занимается шахматами.

Это было время, когда память свежа, податлива и остра, всё врезается в нее само собой и остается навсегда. Ему был дан от природы абсолютный шахматный слух: Флор принадлежал к той редкой категории людей, которые уже знают то, чему никогда не учились. Годы спустя он скажет: «Шахматист, как музыкант, должен иметь в кончиках пальцев чувство — какую фигуру, когда и на какое поле поставить». Это чувство было дано ему от рождения, оставалось только отполировать его.

Шахматными университетами Флора становятся турниры, которые он освещает, будучи корреспондентом чешских газет. В этом качестве он и появляется впервые на международной сцене. Он видит Ласкера, Капабланку, Нимцовича, Рубинштейна, Шпильмана, Маршалла, Рети, Тартаковера. Он наблюдает за их игрой, анализом после партий. Международный язык шахматистов тогда — немецкий, и газеты, в которые пишет Флор, тоже выходят по-немецки: «Bohemia», «Prager Tageblatt». Для него это совсем не трудно: еврейское население составляло тогда значительную часть немецкоязычной общины Праги.

Время действия — 1928 год. Место - Берлин, переполненное кафе «Кёниг». Турнир газеты «ВегНпег Tageblatt». Зарисовка с натуры Ганса Кмоха: «Особенно обращает на себя внимание корреспондент из Праги, по внешнему виду которого хочется сострадательно предложить ему ладью вперед. Он, однако, этой предупредительности никакого значения не придает, наоборот, очень охотно идет на повышение ставки и выигрывает с прямо-таки раздражающей систематичностью. Сто раз ему уже говорили, кричали, что он несчастный пижон, что он во всех партиях стоял на проигрыш и выигрывает только благодаря безумному везению. Но этот корреспондент глух, он улыбается, продолжает неутомимо играть и побеждает даже самых постоянных посетителей. Ему сажают более сильных партнеров - он продолжает выигрывать. Тогда хотят, чтобы он сразился с кем-либо из мастеров, однако те не проявляют особой охоты и по возможности уклоняются от игры. Храбрецы же должны вскоре убедиться, что имеют дело с ужасно крепким орешком... Как же его фамилия? Да, действительно Флор! Эту фамилию придется запомнить».

Рекомендательное письмо на свой первый международный турнир он получил от Нимцовича. Турнир в Рогатска-Слатине (1929) оказался сильным. Тем не менее Флор занимает второе место, позади Рубинштейна, но опередив Мароци и Грюнфельда;

выигрывает у Земиша, который когда-то в сеансе объявил ему мат на 13-м ходу. Турниры, гостиницы, города, страны — жизнь кажется легкой и многообещающей, и невозможно еще предсказать, какими крутыми окажутся виражи истории 20-го века.

У Флора не было тренеров, секундантов; всё, чего он добился в шахматах, было достигнуто за счет природного таланта и опыта, приобретенного на практике. Он занимался шахматами, переезжая из страны в страну и с турнира на турнир, во время соревнований и в короткие промежутки между ними.

Этот подход к игре повторили лучшие шахматные профессионалы Запада 70—80-х годов прошлого века, такие разные по стилю и судьбе: Ян Тимман, Тони Майлс, Любомир Любоевич, Уолтер Браун, Ульф Андерссон. Пожалуй, именно Андерссон своего лучшего периода, с классическим, прозрачным стилем игры и выдающейся техникой, более всего напоминал молодого Флора.

На фотографиях того времени он удивительно похож на Чарли Чаплина: маленького роста брюнет с резко очерченными глубокими глазами, приглаженные волосы с узкой ниточкой пробора, тонкие черты лица, брови вразлет, всегда в костюме и при галстуке, завязанном широким узлом.

В 1933 году Флор играет на Олимпиаде в Фолкстоне. Ему двадцать пять лет. Во время одного из матчей в зале появляется девушка. Ей всего восемнадцать, она чешка и ее зовут Вера Мейснерова. В Фолкстоне она изучает английский язык. Жизнь здесь довольно скучная, и она с подругами решает посмотреть на необычное зрелище.

Их роман длится больше года: они видятся в Англии, в Праге, пишут друг другу едва ли не каждый день. Чешский язык Сало достаточно хорош, но когда он говорит на нем, сразу слышно, что это не его родной язык, поэтому они чаще говорят по-немецки, самом сильном языке Флора. Дело шло к свадьбе, но родители Веры воспротивились браку, жизнь каждого из них пошла по своему руслу, но всякий раз, приезжая в Чехословакию, Сало Флор виделся с ней, в последний раз за год до смерти. Сейчас пани Мейснеровой восемьдесят семь, она живет в маленьком городке недалеко от Праги.

В это предвоенное десятилетие Флор не раз опережает в турнирах бывших и будущих чемпионов мира. Его имя произносится на одном дыхании с именами Ласкера, Капабланки, Алехина, Эйве. На матч с Алехиным Флор был рекомендован ФИДЕ, выиграв голосование со счетом 8:5 у другого кандидата. Имя этого кандидата? Хосе Рауль Капабланка.

Ботвинник, вспоминая те годы, признается, что «перед Флором трепетали, сравнивали его с Наполеоном». Высоко оценивал его и Керес: «Я много раз встречался с Флором за доской, а также анализировал с ним, и больше всего мне нравится в нем ясная оценка позиции и выдающееся общее мастерство в позиционной игре. Никто из остальных шести претендентов не может в этом отношении с ним сравниться».

А вот как комментировал успех Флора в московском турнире 1935 года Эйве: «Результаты турнира соответствуют всеобщим ожиданиям. Флор, который должен рассматриваться как лучший турнирный боец современности, эффектно укрепил свою репутацию».

Сам Ласкер, скупой на похвалы, так отзывался о нем: «За последнее время, начиная приблизительно с 1932 года, среди шахматной молодежи сложилось направление, которое проявляет интерес к индивидуальным, неповторимым особенностям позиции и держится в стороне от всякого рода легковесных, поверхностных обобщений. Пионером этого течения был Флор».

В эти годы уже сформировались стиль и манера его игры. Сало Флор - блистательный позиционный шахматист, мастер использования малейшего преимущества, выдающийся техник, понявший, что шахматы — это простая конечная игра, цель которой — мат неприятельскому королю. Он — профессионал самого высокого класса. Кто лучше Флора мог использовать преимущество двух слонов, изолированную пешку, слабый пункт в позиции соперника?

Он как-то написал: «Для меня сосчитать форсированную комбинацию на десять ходов значительно легче, чем найти в стратегически простом положении один, но единственно лучший ход». Флор владел этим сложнейшим компонентом игры — умением разыгрывать простые позиции. Тем, что спустя сорок лет довел до совершенства Карпов.

Флору принадлежит выражение: две половинки — одно очко (хотя в конце своей карьеры он советовал придерживаться утверждения, что две половинки — один проигрыш). Он не имеет права занимать низкие места, проигрывать, поэтому надо свести риск к минимуму. И Флор проигрывает редко, очень редко. Побеждать слабых и делать ничьи с сильными — вот его девиз. На турнире в Кемери (1937), например, Флор выигрывает у семи участников, оказавшихся в нижней половине таблицы, и делает ничьи с первой десяткой. В середине 30-х годов был период, когда он, сыграв сто партий в сильных турнирах, проиграл только одну!

Может быть, поэтому страдание и горечь после проигрыша были для него по шкале эмоций несравнимы с радостью от

выигрыша.

Флор тяжело приходил в себя после поражений или просто неожиданных перегрузок во время партии. В матче против Ботвинника (1933) после двух нулей подряд он предлагает в двух оставшихся партиях закончить дело миром, а через два года в Москве, лидируя вместе с тем же Ботвинником, он снова предлагает им обоим не играть в последнем туре, предложив ничьи своим соперникам. И в обоих случаях получает согласие. В московском турнире 1936 года Флор в партии с Капабланкой, попав в сильный цейтнот, «поплыл» в совершенно выигранной позиции и позволил кубинцу уйти на ничью. Это подействовало на него так, что он проиграл в турнире — неслыханно! - четыре партии.

Глобальная установка «не проигрывать» имеет и другие теневые стороны: пропадает недовольство собой от ненайденных маневров, неслучившихся комбинаций, от жертв, на которые не решился, потому что основная цель выполнена — партия не проиграна. Как расплата за уклонение от борьбы всё реже приходит вдохновение -интеллектуальный энтузиазм и власть держать свои способности в напряженном состоянии.

В его наследии трудно найти партии, которые он бы выиграл нокаутом; обычно он побеждал по очкам. И слова Флора «по партиям Файна, замечательного практика, можно учиться, но восхищаться ими трудно» можно отнести к нему самому.

Результаты Флора впечатляли, но не всем, однако, нравился его стиль игры и отношение к шахматам. Во время турнира 1935 года один московский поэт, наблюдая за игрой Флора, сказал:

Как странно юным быть,

А жаться, как старик...

Но критика пришла и со стороны коллег. Понятие «файно-фло-ровский стиль» было пущено в обиход Романовским и подхвачено журналом «Шахматы в СССР» в грозном 37-м году: «Советские шахматиста могут творить и бороться свободно. Над ними не висит дамоклов меч материальных соображений и расчетов, давление которого так хорошо знакомо буржуазному профессионалу. Шаблон, стандарт, рутина, голая техника, всё, что не без основания квалифицируется Романовским как «файно-флоровский стиль», органически чужды творчеству советских мастеров».

«Флор, — писал Романовский в другой статье, — поднявший знамя рутины над всем шахматным миром, пытается доказать неизбежность завоевания им в будущем звания мирового чемпиона». И риторически вопрошал: «На кого в конце концов равняться? На рутинера-прозаика Флора, на строгого стратега

Эйве, на дебютмейстера Раузера или на «антирутинера» Рюмина и экспериментатора Рагозина?»

В 1937 году «буржуазный гроссмейстер, представитель капиталистического Запада», как писали о Флоре советские газеты, еще не был подданным СССР и мог писать то, что думал, а не то, что следовало думать. Многие строки из его ответа Романовскому не потеряли своего значения и сейчас:

«Молодой мастер часто начинает свой путь с бурных комбинаций. Затем под влиянием опыта жизни он эволюционирует в сторону современной игры. Этот процесс неизбежен. В противном случае молодой «комбинатор» не поднимется выше среднего уровня и будет оттеснен более совершенными шахматистами». Вспоминая окончание шестой партии из матча с Ботвинником, Флор писал: «Я доказал, что этот трудный эндшпиль выигран, несмотря на отсутствие «помощи» со стороны моего противника. Для любителей «бессмертных» партий это окончание является пустым звуком или скучнейшим шахматным этюдом. Между тем Алехин, ознакомившись с этим эндшпилем, признал его чуть ли не вершиной современной практической игры... Конечно, очень трудно сравнивать достижения мастеров прошлого столетия и современности, но можно с уверенностью сказать, что наша эпоха выдвинула таланты не меньшей силы, чем Морфи. Что касается прогресса шахматного искусства, то 20-й век принес неизмеримо больше, чем вся предшествующая история».

Линия Флора в шахматах — это продолжение линии Рубинштейна и Капабланки. Наиболее яркими ее представителями явились Ботвинник (многому научившийся у Флора), Петросян, Карпов и Крамник. Но и корифеи, в чьем творчестве риск, эмоции и чисто игровой момент играют большую роль, такие, например, как Алехин или Каспаров, не смогли бы достичь вершин, если бы не обладали высочайшей техникой позиционной игры.

Конечно, в современных шахматах появилось много такого, чего не знал Флор, но немало того, что считается сейчас само собой разумеющимся, появилось благодаря Сало Флору.

В 1933 году Флор впервые приезжает в Советский Союз. Он играет матч с молодым чемпионом страны Михаилом Ботвинником. Первая половина проходит в Москве, в Колонном зале, и на партиях матча ежедневно бывает до двух тысяч человек. Такого Флор не видел нигде! На него смотрят, как на чудо. Он выигрывает первую и шестую партии, и соревнование продолжается в Ленинграде. Энтузиазм публики здесь не меньший. После того как Ботвинник выигрывает девятую и

десятую партии, овации в зале длятся пятнадцать минут, в течение которых зрители скандируют: «Ботвинник — Флор! Ботвинник — Флор!» Шахматная литература в обоих городах раскуплена вся, участников матча узнают на улице, для них забронированы правительственные ложи в театрах, а в гостиницах отведены лучшие номера.

И в Москве, и Ленинграде Флор проводит сеансы одновременной игры против сильнейших соперников на 50 досках. Сеансы, длящиеся более восьми часов. После матча он напишет: «Отвечая на упреки, что я не должен был во время такого ответственного матча брать на себя другие утомительные обязательства, хочу объяснить, что я считал своей прямой обязанностью не уклоняться от сеансов одновременной игры, о которых меня просили». Разумеется, после каждой партии Флор посылал, как обычно, сообщения о ходе борьбы в различные европейские газеты.

Он еще не знает, что профессия, приносящая кусок хлеба, и творчество должны быть четко отделены друг от друга. И что еще придет время, когда ему аукнется всё: и бесчисленные сеансы, и ночные репортажи в газеты Германии и Чехословакии, и другие обязательства, от которых «уклониться нельзя».

Смыслов, Бронштейн, Спасский и Корчной вообще скептически относятся к проигрышу Флором двух партий подряд. Смыслов: «Сало рассказывал мне, что тогда в Ленинграде получил в конце матча роскошный подарок — соболиную шубу. Правда, когда он в Праге пошел к меховщику, оказалось, что шуба совсем не соболиная, а из хорька...»

После первого визита Флор бывает в СССР очень часто. И всегда его ждет королевский прием: официальные лица, фотографы, журналисты, болельщики. Вот заметка из хроники тех лет: «Прибывший в Москву чехословацкий гроссмейстер Флор вместе с доктором Ласкером присутствовал на первомайском параде на Красной площади». А вот еще одна, от 27 июня 1938 года: «Гроссмейстер Флор прибыл в нашу страну в шестой раз. Он намерен пробыть здесь несколько месяцев, отдохнуть и подготовиться к АВРО-турниру».

Несколько дней спустя Флор давал сеанс в московском Доме пионеров. Пятнадцатилетнему Яше Нейштадту навсегда запомнился этот день: «Мы стали готовиться к сеансу задолго до этого — шутка ли: сам Сало Флор! Наконец он появился, со свитой сопровождающих, улыбающийся, в светлом бежевом костюме — таких тогда и не носил никто - и был встречен бурей аплодисментов». Такой же прием оказывали Флору всюду, где бы он ни появлялся: в Харькове, Киеве, Кисловодске...

Неудивительно, что он писал тогда: «Да, шахматным мастерам прекрасно живется в Советском Союзе!», «Да здравствует первая в мире шахматная страна — Советский Союз!». Флор, как и большийство писателей и интеллектуалов Запада, отважившихся до войны посетить СССР, судил о стране только по блестящему фасаду, и она казалась ему необычной и замечательной, так же, как Генриху IV показался восхитительным маленький городок, где он ненадолго остановился. «Для проезжающих, но не для тех, кто здесь постоянно живет», — почтительно заметил королю старый монах.

После оюсупации Чехословакии Флор скитается по дымящейся уже Европе. «Гитлер как будто преследовал меня по пятам, — вспоминал он позднее. - Когда я был в Англии, начались бомбардировки Лондона. Я вернулся на континентальную Европу — Голландия капитулировала в течение двух недель». Флор играет в нейтральной Швеции, где уже поселился эмигрировавший из Австрии Шпильман, но кто может знать, как повернутся события, ведь Норвегия в конце концов тоже была оккупирована. Конечно, он помнит, что есть еще Советский Союз, его друг Андрэ Лилиенталь живет там несколько лет и уже получил гражданство. Флор принимает решение.

Когда римляне употребляли термин «emigrare», его значение для них было однозначно: «переселиться». У Цезаря это слово изменило окраску на — «покинуть родину». Позже оно стало означать насилие: «выгнать из страны». Если принять за определение эмиграции вынужденное или добровольное переселение в другую страну по политическим, экономическим или другим причинам, то в случае Флора это было и одно, и другое, и третье.

Парадокс его эмиграции заключался в том, что он уехал из свободного мира в несвободный. Но не только. Дело, которое являлось делом его жизни, было в этой стране несвободы делом государственной важности, а сам он — в большом почете. Правда, и за этот почет, и за сравнительно безбедное существование он должен был расплачиваться душой, частично умиравшей, частично перерождавшейся.

Через полгода война приходит и на его новую родину. Флор с женой покидает Москву и эвакуируется сначала в Среднюю Азию, а потом в Грузию. 1942 год. В Тбилиси его как знатного иностранца поселили в гостинице «Интурист». Там же жил и приехавший из Латвии известный певец Михаил Александрович, с которым Флор очень подружился. Как-то вечером в номер Александровича кто-то постучал. На пороге стоял расстроенный Флор: «На днях пришла повестка из милиции. Когда мы пришли

туда, нас стали горячо поздравлять. Оказывается, советское правительство удовлетворило мое ходатайство о предоставлении мне советского гражданства. У меня взяли мой чехословацкий паспорт и вручили советский. Напомнили, что по возвращении в гостиницу паспорт необходимо зарегистрировать. Я так и сделал. Утром мы с женой ждали, как обычно, что принесут завтрак. Его почему-то не несли. Не принесли и обеда. Когда я обратился к администратору, чтобы узнать, в чем дело, он объяснил, что кормить нас больше не будут, потому что мы не иностранцы. И добавил, чтобы мы подыскали себе новое жилье, ибо нам не положено занимать номер: это гостиница для иностранцев».

Получив советский паспорт, Флор оказался в той же самой - и в совсем другой стране. В стране, где справедливость не имела силы, а люди верили или притворялись, что сила — это и есть справедливость. Спасаясь от фашизма, он даже не задумывался над тем, что зеркальные противоположности оказываются одной из форм тождества. И хотя ты еще заморская птица, с тебя уже слетело оперение, и тебе вручен документ, написанный уже не латынью, а кириллицей, и относиться к тебе можно, как к остальным пернатым, даже если у тебя и осталось необычное имя: Сало Флор. Он получил теперь возможность увидеть страну изнутри, а не только глядя на Кремль из номера «Метрополя» или «Националя».

После длительного проживания в России иностранцы утрачивают национальные черты, хотя никогда и не растворяются среди местных жителей. Иностранцы, оказавшиеся в то время в Советском Союзе, даже те, кто всё видел и понимал, вынуждены были мимикрировать и приспосабливаться. Вступали в действие первичные законы, а ведь еще Дарвин говорил, что выживание полностью зависит от способности к приспособлению и изменению.

Быть исключительно осторожным. Не болтать лишнего. Не привлекать к себе внимания. Некоторые животные знают эту тактику: притаиться, переждать. Сидеть тихо. Чтобы потом жить. Чтобы вообще жить. Он прекрасно понял, что очень легко впасть в немилость, превратиться из почетного гостя в персону нон грата, и последствия этого могут быть непредсказуемы. Одно неосторожное слово могло стоить головы, как случилось с Владимиром Петровым, замечательным гроссмейстером из Риги, с которым Флор разделил победу на турнире в Кемери.

Он оказался в стране, полностью контролируемой госбезопасностью, и сам, как бывший иностранец, был зависим от этой организации. «Можно, конечно, потом притворяться, что это была просто уловка и что вы сказали так только затем, чтобы они

перестали мучить вас, а на самом деле вы этого не хотели. Но всё это неправда. В то время, когда это произошло, вы думали, что сказали». Жестокие слова оруэлловской утопии; но, приняв правила игры, сам начинаешь следовать им, потому что жить несколькими жизнями сразу, как умели герои итальянского Возрождения, было и мучительно, и просто опасно в Советском Союзе.

Людям, не знающим таких раздвоений и содержащим свои принципы и убеждения в образцовом порядке, не позволяя проникать туда микробам сомнений, страха, конформизма, лжи, трудно понять то время и страну, в которой очутился Флор. И вторую его — советскую - жизнь можно рассматривать только с той временной площадки: все остальные дадут искаженную перспективу.

Что чувствовал он, когда воздух эпохи был перенасыщен фанатизмом? Во время кампании против низкопоклонства перед Западом, против тайных агентов буржуазии, «безродных космополитов», когда летели головы и поважнее его? Ведь ты тоже являешься космополитом в советском смысле этого слова, то есть попросту «безродным евреем».

Имя Флора упоминается в книге «Советская шахматная школа» издания 1951 года, хотя концовка очерка о нем звучит скорее как приговор: «У советских мастеров, которые вносят много разнообразных идей в шахматную борьбу и неуклонно стремятся к инициативе, нельзя выигрывать, используя лишь техническое превосходство».

В энциклопедическом словаре «Шахматы», вышедшем уже после смерти Флора, его фамилия написана только по-русски, в отличие от всех остальных иностранцев, включая Лилиенталя. «Ваш Флор», — говорили Смейкалу советские шахматисты. «Ваш Флор», — в тон им отвечал Ян, и обе стороны были правы по-своему, потому что Флор, живший в Москве, был, конечно, и пражским Flohr'oM.

Он жил на Второй Фрунзенской, где его можно было всегда увидеть выгуливающим любимую болонку Пешку. Она была как две капли воды похожа на ту, довоенную — Берри, выбежавшую во время футбольного матча в Риге на поле и пойманную хозяином под аплодисменты зрителей. Но и у московской Пешки были свои причуды: прежним хозяином собака была приучена таскать деньги из кармана, в чем убедилась однажды развесившая пиджаки на спинках стульев карточная компания, собравшаяся в двухкомнатной квартирке Флора и только после игры обнаружившая пропажу.

Первая жена его, Рая, не понимала и не хотела понимать

того, чем занимался муж. Круг ее интересов был ограничен, и Флор не раз говорил, что всё. что читает его жена, ограничивается одной фразой: напишите сумму прописью. Ботвинник, которого нелегко было вывести из себя, заметил как-то, что если бы он был женат на Рае и узнал, что ему остается жить только один день, он посвятил бы этот день разводу с ней! Флор сам подумывал об этом, и, случалось, они с женой неделями не разговаривали друг с другом. Они познакомились у Большого театра, но, когда в браке возникли проблемы, Саломон Михайлович утверждал, что всегда обходит этот театр стороной. Жена не оставалась в долгу и не раз говорила: «Меняю сало на яйца», — и улыбалась одним ртом: она принадлежала к тому типу женщин, которые полагают, что смех способствует появлению морщин.

Немного было людей, с которыми он мог бы быть полностью откровенен. Одним из них был Пауль Керес - старый друг и коллега, человек похожей судьбы. Не случайно поэтому, что при встречах они нередко говорили по-немецки: не только потому, что это был язык их юности, но и потому, что он возвращал их в то время, когда они могли говорить, что думали, и бывать там, где хотели, не давая никому отчета.

Однажды в Центральном шахматном клубе, остановившись перед портретами чемпионов мира, которых он всех, кроме, разумеется, Стейница, хорошо знал, Флор произнес: «Вот самые нормальные великие сумасшедшие». Сам он не хотел быть таким, он просто хотел вести нормальную жизнь, спокойную и комфортную, без переживаний и волнений. Спасский сказал как-то: «Чтобы стать чемпионом мира, нужно быть немножко варваром, у вас должен быть развит инстинкт убийцы. В профессиональном спорте это обязательное условие».

У Флора не было такого инстинкта, а одного таланта недостаточно, чтобы стать чемпионом мира. Ему был дан талант с походом, но характер с недовесом, а для достижения постоянных успехов лучше иметь не такой уж выдающийся талант, но сильный характер, чем наоборот. У людей с сильным характером он, впрочем, обычно бывает скверным, и, несмотря на то, что Алехин иногда ходил в церковь, по складу характера он никак не принадлежал к последователям того, кто объявил, что «кроткие наследуют землю». Хотя современники обычно не склонны смотреть сквозь пальцы на недостатки характера великих, история прощает их почти всегда, потому что память и бессмертие не знают нравственности и безнравственности, добра и зла, — мерилом служат только деяния и мощь, а это требует человека всего целиком.

В Персии имелась такая кара: тюремное заключение и смертная казнь через несколько лет. Это путь, который проходит каждый шахматист-профессионал: прежде чем становится ясно, что конец карьеры неизбежен, наступает период спада, постепенного, а иногда и резкого ухудшения результатов. У Флора этот период наступил в сравнительно молодом возрасте: последний его крупный успех относится к 1939 году, когда он выиграл турнир в Ленинграде, в котором наряду с Кересом и Решевским принял участие весь цвет советских шахмат, за исключением Ботвинника. Конечно, почти всё великое в шахматах сделано молодыми, но тогда ему был только тридцать один год - пора расцвета по меркам профессиональных шахмат того времени. Почему же Ботвинник ничего не зарыл в землю и на данные ему три таланта принес другие, а Флор, закопав свои, не принес на них ничего?

Он сам ответил на этот вопрос в конце жизни: «Война подорвала мое здоровье, расшатала нервы. Ряд моих шахматных концепций требовал решительного пересмотра. Особыми познаниями в теории дебютов я никогда не блистал, но в молодости это компенсировалось другими факторами. После войны по всему шахматному фронту повели наступление советские мастера. Они оттеснили не только меня, но и остальных ведущих мастеров Запада. И все-таки главная причина моих послевоенных неуспехов в другом. Борьба за шахматный трон требует фантастического трудолюбия, а у меня его не было. Я не проливал пота над шахматами. Без этого не обойтись. Избалованный своими прежними успехами, я после первых же неудач опустил руки, у меня не хватило характера, я перестал бороться».

Неудачами кончаются для него межзональный турнир 1948 года и турнир претендентов двумя годами позже. Он еще играет в Советском Союзе, в каких-то второразрядных турнирах за границей, но того Флора, перед которым трепетали, уже нет. Он и внешне изменился в этот период: округлился, постарел, потух. Конечно, когда стареешь, начинаешь хуже играть в шахматы; но, может быть, и стареешь оттого, что начинаешь хуже играть? Жить процентами с былой славы он не мог, потому что страна, в которой он оказался, требовала в первую очередь доказательств силы. А таким доказательством мог быть только успех.

Практическая игра отходит у него на второй алан. Теперь она только дополняет его геральдику, но занимает всё меньшее и меньшее поле герба. Однако понимание игры по-прежнему было замечательным, и Флор помогал многим: Ботвиннику, Тайманову, Петросяну.

В матче Ботвинник — Бронштейн решающей явилась 23-я партия: чемпиону мира, проигрывавшему матч, победа была нужна как воздух. Партия была отложена в позиции, где два слона Ботвинника были явно сильнее коней Бронштейна. В то время матчи за мировую корону длились месяцами: играли не спеша - три партии в неделю, с откладываниями и свободными днями. После длительного раздумья Ботвинник записал ход и вместе с Флором покинул игровой зал. Записанный ход был весьма очевиден, и довольный Флор, перебирая в уме победные варианты, по обыкновению проводил Ботвинника до дома. Поужинав, они еще раз взглянули на позицию, и Сало отправился домой для окончательной шлифовки вариантов.

На следующее день Флор снова был у Ботвинника. «Сало, вы не могли бы показать варианты Ганочке? Я хотел бы один еще раз взглянуть на позицию», - сказал хозяин дома. Флор несколько оторопел, но все же принялся показывать что-то жене Патриарха, хотя та едва знала ходы фигур. Через некоторое время Михаил Моисеевич вышел, друзья пообедали и направились к месту игры. Перед тем как подняться на сцену, Ботвинник тихо, чтобы никто не мог услышать, признался своему помощнику: «Вы знаете, Сало, я записал другой ход...» Слезы навернулись на глаза Флора, и он долго не мог забыть обиду от подозрительного и не доверявшего никому старого друга Миши.

За свою жизнь Флор дал тысячи сеансов одновременной игры. Это не только удовольствие для любителей и зрелище для публики, но и сравнительно легкий, лишенный стресса турнирной партии заработок для гроссмейстера. Сало Флор считался одним из лучших мастеров своего дела, хотя сеансы, даваемые им на Западе, не шли ни в какое сравнение с выступлениями в Советском Союзе. Флор очутился в стране, где поколения сидели за шахматной доской — такое даром не проходит. Не только в турнирах, но и в сеансах он сталкивался с игроками, порой знавшими дебют лучше, чем он сам, иногда даже ловившими его на варианты.

Шахматный коммивояжер, он исколесил с запада на восток и с юга на север эту огромную карту, на которой наискосок были напечатаны буквы: СССР. Нередко гроссмейстерам, приезжавшим в Бурятию или на Чукотку, сообщалось: вы у нас второй гроссмейстер, первым был Сало Флор. Он привык к этим частым поездкам: он всегда знал себя неоседлым, даже в своей поздней московской оседлости. Его стиль был словно создан для сеансов одновременной игры, которые он называл по-западному — симультанами: не делать ошибок, играть на технику, используя ошибки соперника. Как-то в Гааге, подойдя к столикам, где Флор

давал сеанс, я увидел, что уже после дебюта почти во всех партиях разменены ферзи, и Саломон Михайлович с удовольствием разыгрывает равные или чуть лучшие окончания. Несмотря на возраст, он ненадолго задерживался у столиков.

В начале 80-х годов в венском «Пратере» Флор и Разуваев давали сеансы одновременной игры. Увидев количество желающих сразиться с гроссмейстерами, Разуваев подошел к немолодому коллеге: «Саломон Михайлович, если я раньше кончу, я вам помогу, конечно». Когда у Разуваева оставалось еще с десяток досок и он задумался над одной из позиций, кто-то легонько дотронулся до его плеча: «Юра, вам помочь?»

Если шахматные книги разбить на две категории - сиюминутные и «вечные», то всё, что написал Флор, в отличие от книг Тартаковера, Нимцовича, Алехина можно смело отнести к первой категории. Более того, книги, написанной Флором, вообще нет! Небольшой сборник, вышедший уже после его смерти, состоит из статей, разбросанных по разным журналам и газетам, зарисовок, репортажей с турниров и матчей на мировое первенство. Если «писать» — это просто другой термин для «разговаривать», то Флор писал, как говорил, не мучаясь в поисках слова, тем более что это и не привело бы к чему-нибудь путному: он писал не на родном языке. Но был ли у него такой? В его чешском слышались перепевы польского, немецкого. По-русски он говорил очень хорошо, хотя тоже не без акцента. Флор, как почти все, для кого русский язык не является родным, был не в ладу с буквой «ы», злоупотреблял в речи и при письме мягким знаком. Возможно, это неполное владение грамматикой и лексикой давало ему ту свободу обращения с языком, при которой иногда достигается большая выразительность речи; но редакторская правка была совершенно необходима для всего, что он писал.

Флор поездил по Европе, у него были лоск западной цивилизации, манеры, в той или иной степени он знал языки, были опыт, память и знание этого необычного мира — мира шахмат. Но так сложилась его жизнь, что он не очень-то любил читать книги: он был сам слишком наполнен мыслями, чтобы поглощать мысли других. Флор не принадлежал к тому слою людей в Советском Союзе, которые всю жизнь, преподавая, например, математику в школе, вечерними и ночными часами могли рассуждать с редкими единомышленниками о философии Гегеля, раннем христианстве или иллюзорной природе материального мира. Либо вели дневник, в котором внешняя жизнь проходит контурной линией на фоне мощной жизни духа.

Как это нередко случается, будучи весьма остроумным, он не

обладал ни основательным умом, ни широким образованием, но зато был доброжелательным, отзывчивым и добрым человеком. Когда он писал, то окунал свое перо в патоку и никогда не был ни Зоилом -критиком строгим, но придирчивым, ни даже Аристархом - суровым, но справедливым. Он писал благожелательно обо всех гроссмейстерах, хотя боготворил только одного — Мишу Таля.

Его статьи и репортажи, наполненные шутками и анекдотами, точно соответствовали французской поговорке, так часто повторявшейся Свифтом: «Viye la bagatelle!»[14]

И юмор его беззлобно-мягкий, которому скорее улыбаешься, чем смеешься, незамысловатый, как будто пришедший из еврейского анекдота, где соль нередко рассказывается в самой истории.

Флор в журналистике король,
Но я всё чаще замечаю:
Его острот малейших соль
Годится на десерт и к чаю.

Это из подписи к шаржу, висевшему много лет в ЦШК вместе с карикатурами на многих других известных гроссмейстеров.

Но и от таких репортажей Флора на не избалованных разнообразием стилей советских читателей веяло чем-то теплым, особенным. Он приоткрывал для них занавес в Гастингс и Лондон, Прагу и Амстердам, в загадочный и неведомый им Запад, частичкой которого был когда-то сам. Он стал тамадой на празднике предвоенных шахмат, полных славными именами, звучавшими как музыка: Ним-цович, Рубинштейн, Тартаковер. Шпильман, Маршалл. Но и его имя и фамилия, прозносившиеся обычно на одном дыхании: Са-лофлор, сразу создавали аромат чего-то необыкновенного, и многолетняя рубрика его в «Огоньке» была читаема всеми, даже теми, кто был равнодушен к шахматам.

Он соблюдал правила игры: если по поводу повествований Тацита историки до сгтх пор не пришли к единому мнению, являются ли они заверениями в лояльности или хорошо замаскированным издевательством, то в писаниях Флора не следует искать двойного смысла: самоцензурой он владел не хуже любого советского журналиста.

Он всегда был готов предложить пари — на исход партии, турнира, матча, разыграть коллегу, обронить острое словцо. По окончании турнира в Гастингсе (1935) корреспондент рижской газеты Кобленц обратился к Флору с просьбой об интервью. «Поднимемся ко мне в номер, там будет спокойнее», — сразу согласился один из победителей турнира. «Which floor?» - спросил служитель в лифте гостиницы. «First, second and third with Euwe

and Thomas», - отвечал Флор опешившему лифтеру.

В том же году Флор побывал на гастролях в Палестине. «Это вы тот самый Шмулик, который приезжал сюда мальчиком давать сеансы одновременной игры?» — спросили Сало. Нечего и говорить, что для всех коллег Сэмми Решевский с тех пор навсегда остался Шмуликом.

Хорошо вижу Флора в пресс-центре матча Геллер — Корчной летом 1971 года. Короткая седая стрижка, мешки под глазами, очки, поднятые на лоб. Перед ним две пишущие машинки - с русским и латинским шрифтом, к которым он поочередно прикладывается: отчеты о партии должны быть готовы уже через несколько часов. Вот он отрывается от текста и, опуская очки на переносицу, вглядывается в позицию на демонстрационной доске. Потом встает и подходит к группе коллег. Его замечают. «Что вы думаете, Саломон Михайлович, много лучше у белых?» — кто-то обращается к нему. «А вы знаете, почему у Фишера нет секундантов?» - вдруг отвечает он вопросом на вопрос. Одновременно с московским матчем в Ванкувере проходит матч Фишер — Тайманов, и все ждут новостей из-за океана. Выдержав паузу, Флор объятяет: «Им для поездки в Канаду оформить характеристику в нью-йоркском спорткомитете не успели». И, не дожидаясь реакции слушателей, возвращается к своим пишущим машинкам.

Легким отношением к жизни и постоянными шутками он создавал впечатление жизнерадостного оптимиста, хотя оптимизм его, скорее, подходил под определение Кандида, объяснявшего своему слуге, что оптимизм - это страсть утверждать, что всё хорошо, когда на самом деле всё плохо.

Он был обидчивым и легкоранимым. В 1936 году на банкете в Ноттингеме Капабланка выступал с речью. Он сравнил этот турнир с Лондоном-1922, Нью-Йорком-1927, Москвой-1936 — со всеми, где он брал первые призы. Его прервал Флор: «А Москва 1935 года? А Маргет? А Гастингс?» — с места закричал он.

Во время матча в Багио Флор позвонил, как обычно, Смыслову и, продиктовав отложенную позицию, поинтересовался ее оценкой. «Ну а что эксперты говорят?» — спросил в свою очередь экс-чемпион мира. «Эксперты? Да какие еще могут быть эксперты! Мы вот с вами и есть самые главные эксперты! Скажет тоже, эксперты. Эксперты, эксперты...» - еще долго ворчат он.

Мог выговорить мечтательному Аронину, забывшему поздороваться с ним, а Спасский вспоминает, что, зайдя как-то в ЦШК, он увидел Флора и Кереса. «Привет старинным игрокам!» — приветствовал он обоих. Керес спокойно и с юмором отнесся к словам Бориса, но Флор почему-то вспылил: «А ты сам-то кто

такой? Мелкий игрочишка, не более...»

Впервые я увидел Сало Флора в сентябре 1965 год в Сухуми, где проходило всесоюзное студенческое первенство. Знаменитый маэстро, отдыхавший тогда в Абхазии, появился на пляже в легком белом костюме и с панамкой на голове. Его, конечно, все узнали, появились шахматы, и кто-то из участников турнира тут же спросил у Флора мнение об эндшпильной позиции, встретившейся у него накануне. Флор задумался на мгновение, а затем показал удивительный маневр слона, позволяющий решающим образом усилить давление на центральную пешку. Наблюдая за анализом молодых, он ничего не говорил, только изредка улыбался, следя за мельканием рук над доской, и только иногда, в случае слишком уж порывистого хода пешкой, указывал пальцем на соседнее поле, отдающееся в вечное владение неприятелю. Жест, который я перенял у него и употребляю до сих пор при анализе с молодыми шахматистами.

Он приезжал довольно часто в Голландию, и мы виделись: на турнире в Тилбурге, где он гостил несколько дней вместе со своей второй женой Татьяной, племянницей Есенина, или в офисе ФИДЕ, расположенном тогда в Амстердаме. В последний раз - ранней весной 1983 года, за несколько месяцев до его смерти.

Мы встретились на площади в центре города и медленно прошли вдоль цветочных лотков, расположенных прямо на канале, до Монетной башни. Маленький, кругленький, седые, сильно поредевшие волосы, мешочки под слезящимися глазами, выцветшие зрачки, фазаньи складки кожи на подбородке, старомодный костюм, классический галстук, манжеты, запонки - он уже не был похож на Чарли Чаплина, скорее его можно было принять за рантье или служащего банка, наслаждающегося заслуженным отдыхом последнего периода жизни. Он останааливался то и дело, чтобы купить семена цветов, луковицы тюльпанов — друзьям на дачу, сувениры, подарочки: бело-голубые чайные полотенца с мельницами, брелоки для ключей, футболки «Аякса» — обычный туристский набор. «Ну, кажется, никого не забыл», — он заглядывал время от времени в длинный, заготовленный еще в Москве список.

Помимо шахматного был у Флора еще один дар. не многим данный: дар дарить. С этим чувством - дарения - рождаются, и не случайно во многих языках мира слово это - «дар» - имеет два значения. Когда его благодарили, он не понимал за что, хотя и мог бы сказать, как говорил изменившийся Дон Кихот: «Полноте, друзья мои, какой я рыцарь Ламанчский, я просто - Алоизо Добрый».

Мы прошли до конца цветочного базара и остановились у

отеля «Карлтон», где в ноябре 1938 года Сало Флор присугствовал при переговорах Алехина и Ботвинника о матче на первенство мира. Его собственный, подписанный пол гола назад контракт потерю! всякий смысл: война в Европе становилась реальностью.

«Чемпион мира был в прекрасном настроении, даже сам заплатил за чай, — Флор улыбнулся, — это было на него совсем не похоже: Александр Александрович нелегко расставался с деньгами». Разговор зашел об Эйве, Ласкере, Капабланке, потом о Кмохе и Тартаковере. Для него история шахмат была не писаной книгой, а прожитой жизнью, и он дошел до той возрастной черты, когда прошлое будоражит сильнее настоящего, не говоря уже о будущем.

Иногда он спрашивал меня: «А вы помните Земиша?» или «Вы застали еще Боголюбова?» Как многие старики, он не учитывал возраста собеседника. Ему было тогда семьдесят четыре, он давно уже почувствовал ускорение времени, и дистанция в десять — пятнадцать лет не казалась ему таким уж долгим сроком, но те предвоенные десять лет, полные замечательных триумфов, растянулись для него на бесконечные годы. Это был лучший период его жизни, когда молодость, здоровье, успех и свобода слились в одно, и он с удовольствием возвращался в разговоре к людям того времени.

«Кофе, кофе, пора отдохнуть!» - воскликнул он. Как природный ленивец и сибарит, он принадлежал к той категории людей, которые начинают отдыхать, не успев устать. «Напротив этого моста должно быть кафе. Так было, во всяком случае, в 1932 году, когда я играл матч с Максом». Мы вышли к реке, на другом берегу уже виднелось массивное здание гостиницы «Амстел», в которой он жил во время АВРО-турнира, самого неудачного в его жизни. Был конец 1938 года, запах гари обволакивал уже Европу, и для Флора рухнуло буквально всё: матч на мировое первенство, страна, в которой жил, образ жизни, к которому привык.

«Вы знаете, когда я последний раз видел Боголюбова? Могу сказать точно: 18 марта 1939 года на турнире в Риге. Я помню этот день, потому что 15 марта немцы вошли в Прагу, и Боголюбов весь сиял, говорил, что наконец-то будет порядок в Европе; он ведь обожал тогда фюрера. Мы играли через три дня, и можете представить, как я хотел выиграть. В конце партии он сидел красный, как рак. Когда он сдался, у меня была единственная мысль: это тебе за Прагу...»

В кафе он неожиданно ударил себя по лбу: «Вот ведь, старый дурак, я же кое-что для вас захватил из Москвы, памяти совсем нет! — и вытащил из сумки шахматную книгу. — Хотите, я

надпишу вам?»

Он заговорил с официантом по-голландски, только изредка вставляя немецкие слова: еще до войны он прожил в Амстердаме в общей сложности около года и наслушался голландского вдоволь. Ирония и самоирония, игра слов, каламбуры и незамысловатые шутки были вплетены в ткань его речи, на каком бы языке он ни говорил. Он снова вспомнил Эйве: «Да, видно, я опять в чем-то проштрафился, если они меня не пустили на похороны Макса». И вздохнул.

«А кофеек-то был отличный. Да и солнышко, смотрите, выглянуло, не всё у вас дождю идти», — сказал Флор, когда мы снова вышли на набережную. У него была мудрость, присущая всем животным и нечасто встречающаяся у людей: испытывать удовольствие от радости момента — от чашечки кофе, от прогулки по амстердамской набережной, от неожиданно блеснувшего солнечного луча, от таксы, принявшейся обнюхивать обшлага его брюк, от этой неторопливой беседы.

В отличие от многих людей в возрасте он не уходил от темы, когда речь заходила о смерти и умерших. Он говорил о друзьях и коллегах, превратившихся в надгробья и мемориальные доски, так, как говорили об ушедших римляне: они жили. Флор говорил о прошлом так, что я бы не удивился, если бы на ближайшем перекрестке мы встретили Тартаковера, только что отправившего в газету отчет о туре и решившего провести вечер в казино, дабы проверить, действительно ли число 26 такое счастливое, как вчера вечером в баре уверял его Алехин. Или увидели Файна с его голландской подругой, с которой Ройбен познакомился во время турнира и, женившись, увез к себе в Нью-Йорк. Он был, что называется, «causeur»[15], и слушать его было много интереснее, чем читать. Было жаль, что он не захотел или, скорее всего, просто не мог, живя в Советском Союзе, написать откровенно об Алехине и Капабланке, Эйве и Ласке-ре, — так, какими он их видел и знал, вместо сильно ретушированных портретов, вышедших из-под его пера.

«А какие дебюты вы стали бы играть с Алехиным, если бы такой матч состоялся? А если бы на дворе опять был сороковой год, поехали ли бы вы снова в Москву или остались бы в Лондоне?» — допытывался я у него.

«Если бы да кабы, — философски парировал он мои наскоки. — Знаете, как говорят поляки: если бы у тети были усы, она была бы дядей!» — и смеялся сообщенному мной еще более прямолинейному русскому эквиваленту о бабушке и дедушке. «Конечно, я избежал бы ошибок, которые сделал, но зато наверняка сделал бы много других...»

Мы снова пили кофе, а ранним вечером ужинали в китайском ресторанчике, неподалеку от зала «Беллевю», где почти полвека назад игралась последняя партия матча Алехин — Эйве и Флор был помощником своего друга Макса, ставшего в тот день чемпионом мира.

«Вы точно знаете, Гена, что это китайский ресторан? — спрашивал он. — Что-то мясо у них кисло-сладкое, прямо, как эссиг флейш. Вы знаете, что такое эссиг флейш?..»

Это был чудный день, и, как любой такой день, он прошел быстро. При прощании неожиданно прослезился и стал говорить о себе в третьем лице: «Сало Флор больше уже не приедет в Голландию», повторяя самую трогательную фразу из всех платоновских диалогов, тоже сказанную о себе самом: «Платон, кажется, заболел...» На мои решительные возражения отвечал, что чувствует наверняка, что больше уже не увидимся. И сколько бы я ни повторял: «Что за чепуху такую вы говорите, Саломон Михайлович?» - твердо стоял на своем, и оказался прав, и я больше никогда не видел его.

Саломон Михайлович Флор умер в Москве 18 июля 1983 года.

Он родился в галицийском местечке Городенка, в Польше, входившей тогда в состав Российской империи (сейчас это небольшой городок в Ивано-Франковской области на Украине). Официальная дата рождения — 21 ноября 1908 года, но ни он, ни его брат Мозес, единственные оставшиеся в живых после погрома члены большой еврейской семьи, не могли припомнить точного числа, и в графе их рождения записали один и тот же день: 21 листопада. Брат, который был старше Сало на четыре года, заменил ему отца, и связь между ними никогда не прерывалась, даже когда Сало уехал в Советский Союз, а Мозес остался в Чехословакии.

Маленький Мотл из рассказа Шолом-Алейхема говорит: «Мне хорошо — я сирота», но вряд ли Флор мог повторить эти слова. Он не люби.'! вспоминать о своем детстве и никогда не говорил о том времени, может быть, потому, что в зрачки его глаз навсегда были врезаны картины тех дней. Из детского приюта в моравском городке Липник он был взят на воспитание в семью в городе Литомежице, когда местный раввин попросил прислать самого смышленого мальчика. Но Сало всю жизнь был далек от религии, в то время как Мозес до конца дней (он пережил брата) соблюдал обряды.

В 1924 году братья переезжают в Прагу; в том же году на их имя приходит вызов от Менделя Вилнера, владельца бакалейной лавки в Бруклине, отца троих детей, недавно

натурализовавшегося гражданина Соединенных Штатов. Дядя приглашал обоих племянников к себе, и они стали собираться в дорогу. Но кончилась квота на въезд в Америку, и Сало остался в Праге. Он закончил только два класса экономической школы и рано начал работать.

Красивый миниатюрный мальчик, одетый в униформу, должен был стать живой рекламой фирмы, занимавшейся продажей пищевых продуктов. Новичок справился с первым заданием отлично: уже через полчаса он вернулся за очередной порцией. Сало снова выкатил свою тележку на пражские улицы, но когда вскоре он вернулся за новым товаром, это уже вызвало подозрения, и решили проследить, как происходит процесс рекламы у нового служащего. Завернув в первый же переулок, мальчик стал жадно поедать содержимое бочонка со съестным...

В писчебумажной фирме он продержался дольше, но работа там стала только прелюдией к чудным вечерним часам, когда можно было играть в шахматы.

Как сложилась бы судьба Сало Флора, попади он тогда в Америку? Стал бы он завсегдатаем какого-нибудь шахматного кафе в Бруклине или членом Манхэттенского клуба? Конкурировал бы с Решев-ским и Файном в местных чемпионатах, а потом и в крупнейших европейских турнирах, став тем, кем он стал: одним из сильнейших гроссмейстеров мира и звездой первой величины? Или бросил бы игру, став, как и многие эмигранты, приезжавшие тогда в Америку из Восточной Европы, доктором, адвокатом, бухгалтером, актером или, как дядя, торговцем и благопристойным отцом семейства?

Что было бы, останься Саш во время войны в Праге? Мозеса, попавшего в 1943 юлу в лагерь, спасло то, что он брат известного шахматиста. Но что стало бы с самим Флором в то кровожадное время, когда грань между жизнью и смертью почти стерлась?

Он не оставил мемуаров. Всё отшучивался: «Я еще слишком молод, чтобы писать воспоминания». Время, в которое выпало ему жить, оказалось нелегким, но я думаю, что еще труднее Флору было бы рассказывать о своей жизни. Она получилась такой, какой получилась, и оказалась совсем не короткой. И кисло-сладкой, как всякая жизнь, как «эссиг флейш» — блюдо, которое так замечательно умела готовить его мама в маленьком кьлицийском местечке.

***Июль** 2002*

Улыбка Джоконды (Э .Гуфельд)

Все рассказы Светония о двенадцати цезарях построены по одному принципу: сначала описываются светлые стороны императора, потом повествование резко меняет тональность. Метод римского историка очень уместен, когда речь идет об Эдуарде Гуфельде, и говорить о нем, как, впрочем, и обо всех ушедших, следует, избегая сомнительной ценности формулы «De mortuis aut bene, aut nihil»[16], тем более что римляне имели другую, пусть и менее известную: «De mortuis — veritas»[17].

Скажу сразу: это был очень одаренный шахматист. В свои лучшие годы Гуфельд был хорошим гроссмейстером с ярко выраженным стилем игры. И не его вина, что он оставался в тени блистательных сверстников: Таля, Спасского, Штейна, Полугаевского. Гуфельд играл в восьми чемпионатах Советского Союза, турнирах, в которых сверкали имена Кереса, Смыслова, Бронштейна, Петросяна, Геллера, Корчного, Тайманова. Характерно, однако, что никто из игравших с Гуфельдом в пору его расцвета, не называет его сильным шахмтис-том. Ярким, интересным, способным под настроение и в своей игре победить каждого, но — несильным.

Принято считать, что Гуфельд — типичный тактик. Мнению этому во многом способствовал он сам, постоянно публикуя свои лучшие, действительно замечательные партии, выигранные комбинациями с жертвами. На самом деле, прекрасно чувствуя динамику, он был скорее мастером инициативы, нагнетания угроз, напора. И конечно — атаки.

Были у него и крупные недостатки, прежде всего — отсутствие настоящей школы. Но если Леониду Штейну, выросшему, как и Гуфельд, из практической игры, удаюсь компенсировать пробелы в шахматном образовании расширением своего кругозора уже в зрелом возрасте и, конечно, колоссальным талантом, то Гуфельд так и остался довольно однобоким игроком — достаточно вспомнить его приверженность к фианкеттированию чернопольного слона. Защищаясь, он любой ценой стремился вызвать кризис, нередко с непоправимыми последствиями: терпения у него, как и в жизни, не было вовсе. Случалось, зарывался в атаке, переоценивая свои шансы, требуя от позиции больше, чем она содержала в себе. Ну и, разумеется, уступал соперникам, просто превосходившим его в классе игры. Тем не менее в послужном списке Гуфельда победы над Смысловым, Талем, Спасским, Корчным, Бронштейном, Глиторичем, Полугаевским, Белявским, Гортом, Хюбнером. Не

каждый может похвастать таким созвездием.

Если в собственных партиях ему нередко мешали излишняя эмоциональность и впечатлительность, то в тренерской работе эти качества не играли такой роли. Он мог заразить своей энергией и верой в конечный успех, мог быть очень предан своему подопечному — Геллеру, с которым работай долгие годы, или Майе Чибурданидзе, признавшей, что до Гуфельда она играла в детские шахматы и что ему она в первую очередь обязана тем, что стала чемпионкой мира.

Ян Тимман с теплотой вспоминает о Гуфельде, который помогал ему во время тбилисского турнира 1971 года. Впрочем, кроме того, что Эдик хорошо подготовил его к партии с Багировым, да интересных позиций, предлагавшихся ему Гуфельдом для решения, Тимман ничего припомнить не мог. Разве что грузинские застолья с обязательными многочисленными тостами, в чем Эдик был большим докой, да стаканы вина, которые Тимман должен был осушать одним духом. Для того чтобы овладеть этим нелегким искусством, молодой голландец упорно тренировался в гостинице со стаканом, наполненным водой.

Тренерские методы Гуфельда нельзя было назвать ортодоксальными. Однажды, когда он вел за!тятия в детской шахматной школе, к демонстрационной доске вышла совсем маленькая девочка. «Сколько ж тебе лет?» — спросил Гуфельд. «Восемь», — ответила та тихим голосом. «Если тебе восемь лет, — сказал тренер, — значит, ты можешь уже оценить позицию». — «У белых лучше», — произнесла девочка после некоторого раздумья. «Принеси табуретку», — попросил Эдуард Ефимович. «Принесла? Так, теперь встань на нее, чтобы тебя всем было видно, а тебе должно быть стыдно, что тебе уже восемь лет, а ты неправильно оценила позицию. Где ж тут у белых лучше, когда...»

В 1974 году по возвращении с турнира в Маниле Петросян и Васюков по тогдашнему обыкновению отчитывались перед шахматной аудиторией. «Покажу свою победу над Портишем, — сказал победитель турнира, — хотя Тиграну Вартановичу будет неинтересно, он уже видел эту партию». - «Ничего, ничего, хорошее блюдо можно съесть и дважды», — благосклонно заметил экс-чемпион мира, склонный порой к восточной цветистости слога.

У каждого гроссмейстера еслъ несколько хороших, зачастую блестящих партий, которыми он гордится. Но ни одному из них и в голову не приходило из года в год публиковать их под претенциозными названиями в книгах и шахматных журналах всего мира. «Бессмертной» и «вечнозеленой» называли партии

Андерсена с Кизерицким и Дюфренем восхищенные современники. «Жемчужиной Зандворта» назвал Тартаковер партию, выигранную Эйве у Алехина в матче 1935 года. «Джокондой» именовал свою красивую победу над Багировым Эдуард Гуфельд. И хотя его соперник писал позже, что Эдик после завершения «Джоконды» не мог показать ни одною осмысленного варианта, трясся от страха во время игры, выпил литры кофе, - это выглядело скорее как попытки оправдаться. «Этой "бессмертной" Эдик меблировал свою квартиру», - мрачно шутил Багиров, но Гуфельд не уставал показывать свой шедевр еще и еще, и я удивлялся, как он может в тысячный раз повторять набившие оскомину ходы.

Сказал ему как-то: «Смотри, как бы на том свете тебе не пришлось, уж не знаю, в награду или в наказание все время разыгрывать эту партию». Смеялся только: «Это зависит от гонорара...»

Роберт Музиль заметил однажды, что наибольший успех сулит маленькая, в обрез отмеренная добавка суррогата, то есть чего-то упрощенного, общедоступного; без этого никакой гений не будет воспринят публикой. Но слова эти справедливы не только для гения, каковым Гуфельд, разумеется, не был, но и для просто талантливого человека, кем он безусловно был. Вот только суррогатная добавка, привносимая Гуфельдом в свой талант, вернее — в его подачу публике, далеко переходила грань легкой приправы, превращаясь в общедоступность и пошлость, и становилась, несмотря на это, или, точнее, благодаря эгому, принимаемой широкой аудиторией.

Его страстная борьба за красоту и творческий элемент в шахматах заслуживали бы только уважения, если бы и здесь он, не зная меры, не предлагал оценивать игроков не по количеству набранных очков, а по красоте продемонстрированных идей. Презрительно говоря о «рационалистах», как он называ1 гроссмейстеров, опережавших его в турнирах, он превозносил творческих игроков, к коим причислял себя. И над всем, что дела1 или предлагал Эдик, неизменно висело облако личной выгоды.

Гуфельд написал массу книг - сорок семь, как подсчитал кто-то. Но не надо обманываться: у него всегда были литературные негры, фактически и являвшиеся авторами его книг; сам он писать не любил, предпочитая устное творчество. Геллер после проигрыша Корч-ному второй партии четвертьфинального матча (1969) сказал своему секунданту Гуфельду в ответ на упреки, что встретившийся вариант указан еще в его книге: «Твоих книг, Эдик, я не читаю». А в другой раз заявил в сердцах: «Что касается

теории, то ты знаешь только вариант дракона, да и вариант-то, прямо скажем, некорректный...»

Не уверен, знал ли Гуфельд слова поэта о вдохновении, которое нельзя продать, и о рукописи, которая продается, но свою продукцию он обычно старался сбыть сразу в несколько изданий. В старое время статьи и комментарии к партиям писались им под копирку, второй экземпляр поэтому был плохо читаем, не говоря уже о третьем или четвертом. Появление ксерокса стало с\щим благом для Гуфельда. Не знаю, вышли ли его книги по-китайски, но после визита в Китай Эдик с гордостью показывал статью в газете, которую всегда возил с собой, с крупным заголовком, набранным иероглифами, который тут же сам и переводил: «Гуфельд открыл китайцам глаза на шахматы».

Правда у него часто перемежалась с выдумкой, и «не было, но могло быть» являлось важной составляющей его рассказов. «Скажи, - спрашивал Эдик у мастера Куинджи, — у тебя такая редкая фамилия, ты ведь приходишься родственником известному художнику?» — «Да нет, — отвечал москвич, — просто однофамилец». «Жалко. — вздыхал Гуфельд. — Да я написал уже. что ты в родстве с ним; ничего не поделаешь, придется уж так оставить...»

Жанровая сценка тех лет: Петросян. любивший захаживать в ЦШК, играет блиц с Антошиным, работавшим тогда тренером сборной. Появляется возбужденный Гуфельд с книжкой в руках. Это его «Вариант дракона». Эмоции переполняют Эдика, он едва может дождаться конца партии. «Вот, Тигран Вартанович. с пылу, с жару, свеженькая — лучшая книга, вышедшая за последнее время! Это бестселлер, бестселлер, у меня уже есть заказы из-за границы! Это вам, она займет достойное место в вашей библиотеке, она...» Петросян слушает, не прерывая, и, воспользовавшись паузой в словесном водопаде, смотря на Гуфельда снизу вверх, холодно произносит: «Эдик, ты что-то перепутал, у меня все-таки библиотека, а не макулатурная палатка...»

Гуфельд не любил долго сидеть над материалом и мог создать книгу в несколько дней (при помощи ножниц и клея) задолго до наступления компьютерной эры. Даже сборник его лучших партий «My life in chess», изданный в Америке и получивший хорошие отзывы, является почти дословным переводом книги «Эдуард Гуфельд», вышедшей в Советском Союзе в 1985 году и наполовину написанной киевским журналистом Теплицким. Издавая книгу под собственным именем, Эдик просто заменил третье лицо на первое. Выбросив несколько уже не отвечающих времени верноподданнических

абзацев, он оставил для доверчивого западного читателя следующий: «Я очень горжусь пятью медалями, которые вручены мне от имени правительства. Среди них «10 лет безупречной службы» и «15 лет безупречной службы». Эти медали напоминают мне, что, находясь в рядах Советской Армии, я не только играл в шахматы, не только обучал молодых шахматистов, но и честно нес нелегкую, но почетную службу. Конечно, лишь сочетание добросовестной службы и спортивных достижений принесло мне эти почетные награды. Они вдохновляли меня на дальнейшее совершенствование в шахматах...»

Эту книгу Гуфельд посвятил матери. Не оригинальное, но всегда трогательное посвящение. Но и здесь Эдик остался верен себе: не удержался от того, чтобы оптом проданный товар не продать еще и в розницу. Добрая половина глав и партий имеют отдельные посвящения. Не только выдающимся гроссмейстерам, с которыми Гуфельд встречался за шахматной доской, но и редактору книги, автору хвалебного вступления к ней, тем, кто писал его книги: Теплицкому, Стецко, Калиниченко, Несису, а также людям, которые были или могли еще оказаться полезными: Флоренсио Кампоманесу, Виктору Батуринскому (дважды), Николаю Крогиусу, Дато Тану, Александру Чикваидзе (названному Давидом), Александру Рошалю, разного рода деятелям из Сингапура, Малайзии, Гонконга, Филиппин, чьи фамилии ничего не скажут рядовому любителю шахмат.

Когда я сорок с лишним лет назад впервые увидел Гуфельда, это был еще стройный, разве только чуть начинающий полнеть молодой человек яркой, броской красоты. В тех нескольких партиях блиц, что мы сыграли, Эдик, делая рокировку белыми, ставил одновременно ладью на e1, а черными в голландской зашите со стуком переводил ферзя на b5 прямо с d8, чтобы не терять темпы в атаке.

Конечно, в турнирных партиях Гуфельд не мог пользоваться подобными приемами, зато у него был целый арсенал других. Так, двигая в эндшпиле проходную пешку, Эдик нередко демонстративным движением выхватывал стоявшего рядом с доской ферзя, хотя до поля превращения оставался еще длинный путь. В те времена, когда партии еще откладывались, он мог написать на бланке «сдаюсь» и не прийти на доигрывание. А однажды в Вильнюсе Гуфельд, уже идя на доигрывание и обнаружив, что записанный им ход форсированно проигрывает, ворвался в турнирный зал и, выхватив из рук судьи конверт, вскрыл его и... съел бланк партии, похоронив в себе тайну записанного хода!

Очень часто он предлагал ничью, когда шли его часы. Если

соперник говорил: «Сделайте, пожалуйста, ход», — Эдик мог ответить: «По международным правилам — не обязан». Что, разумеется, не соответствовало действительности. Однажды он таким манером предложил ничью мастеру Подгайцу. Тот попросил Гуфельда сделать ход, чем вызвал неудовольствие Эдика. Ход он все-таки сделал, но когда Подгаец, подумав, согласился разойтись миром, заявил: «Теперь уж ты сделай ход». — «Да, но ведь ты предложил ничью?» — «А кто это слышал?» — холодно ответил Гуфельд. Одна из глав его книги называется: «А кто видел? Кто слышал? Кто сказал?» Хотя он описывает в ней случай из собственной молодости, где сам был потерпевшим, но учеником он оказался очень способным, и выражения эти слышали многие, игравшие с Гуфельдом.

Вспоминая одну из партий с молодым Штейном, он писал: «Перед тем как сделать выигрывающий ход, я спросил: "Лёня, хочешь ничью?" - "Да, конечно", - ответил мой соперник, в ответ на что я сказал: "А я - нет!"»

Он нередко отпускал замечания во время игры. Иногда, как в этом случае, казавшиеся ему остроумными, но нередко говорил и что-то неприятное или обидное. Не случайно поэтому, играя с Гуфельдом, каждый соперник, кроме именитых, по отношению к которым он не осмеливался на подобные трюки, должен был быть все время настороже, особенно в цейтноте, и многие не раз просили судью держаться в конце партии поближе к их столику. «Ничья», — услышал от Гуфельда мастер Бегун. «Это оценка позиции или предложение?» - на всякий случай уточнил он. Даже сборник партий Гуфельда открывается такой, где противнику было разрешено взять ход назад, с тем чтобы наказать его после того, как он избрал другое, «лучшее» продолжение.

В матче Голландия — СССР на студенческом первенстве мира в Хельсинки (1961) решающей оказалась партия Йонгсма — Гуфельд. Силы были явно неравны: наигранному профессионалу противостоял чистый любитель, хотя и с острым тактическим зрением. Леке Йонгсма разыграл один из своих любимых дебютов: на первом ходу он вывел ферзевого коня, а на втором — королевского. Гуфельд получил хорошую позицию, но при выходе из дебюта сделал неосмотрительный ход ферзем на a5, который мог повести к немедленному поражению. Игравший за соседним столиком Франс Куйперс, увидев сделанный Гуфельдом ход, пошел разыскивать гулявшего где-то товарища по команде, чтобы сообщить ему о щедром подарке. Не нужно было обладать острым тактическим зрением, чтобы увидеть очевидный выпад белого коня, сразу заканчивающий борьбу. Когда Йонгсма подошел к доске, чтобы сделать ход и принять поздравления, он увидел, что

соперник сидит, обхватив голову руками, а черный ферзь стоит на совсем другом поле. Партия закончилась в конце концов победой Гуфельда.

С тех пор при встречах с Йонгсмой Эдик был с ним особенно приветлив: «Мой дорогой голландский друг, я так рад тебя видеть, какие новости в самой шахматной стране Европы?» Однако на настойчивые просьбы честно признаться в содеянном отвечал, улыбаясь, что просто не понимает, о чем идет речь. Гуфельд не был бы Гуфельдом. если бы не опубликовал впоследствии сразу в нескольких журналах статью, включающую подобный эпизод (позиция была изменена), где он был уже потерпевшей стороной, играя в каком-то прибалтийском турнире.

Двадцать лет спустя, на Олимпиаде в Салониках, Йонгсма снова повстречал Гуфельда, как всегда дружески бросившегося ему навстречу. В свободный от игры день голландец пригласил Эдика в ресторан. Качество еды было превосходным, вино лилось рекой, и, когда старые бойцы приступили к десерту, растроганный Гуфельд сказал со вздохом: «Ты знаешь, Леке, я вдруг вспомнил: тогда в Хельсинки я действительно пошел ферзем на a5...»

Говоря о первенстве Советского Союза 1961 года, являвшемся отборочным к межзонатьному турниру, Корчной вспоминает: «В итоговой статье Гольдберг писал, что один из участников был предупрежден о недопустимости проигрыша нарочно и что, несмотря на это предупреждение, после сдачи одной партии в его глазах сверкала радость поражения. Гольдберг имел в виду партию Гуфельда со своим патроном Геллером, которому он проигрывал не раз подобным образом».

Перед сдачей партии Гуфельд иногда использовал последний шанс: он ставил фигуру — как правило, ферзя или ладью — на незащищенное поле в расчете на то, что противник не заметит этого, и тогда он следующим ходом сам заберет у него ферзя или объявит мат. Для усиления эффекта иной раз громко кричал: «Шах!» Прием мог оказаться эффективным, особенно в цейтноте, когда появлялся шанс, что соперник сделает инстинктивный ход королем.

Понятия Элика о морали были довольно просты и полностью вписывались в представления о ней какого-нибудь африканского вождя: если я уведу жен и стадо коров у вождя соседнего племени -это хорошо, если он сделает то же самое со мной - это плохо.

В шахматах существовало несколько Гуфельдов. Один — в общении с западными журналистами и могущими быть полезными коллегами. Другой - при контактах с шахматным начальством, от которого зависела посылка его на заграничные

турниры. Третий — в общении с элитными гроссмейстерами, которые отмечали такие его черты, как «общительность, остроумие, доброжелательность» (Таль). Всё поведение Гуфельда с ними разительно отличалось от его отношений со «своими» или с теми, кто стоял, по его мнению, ступенькой ниже на иерархической шахматной лестнице. В этом случае он настраивал себя на борьбу на всех фронтах. По натуре Эдик был трусоват, и психологический допинг был ему просто необходим. «Я ему встрою, я ему врежу сегодня, он узнает, что значит - играть с Гуфельдом», — взбадривал он себя перед партией. Встретив своего противника за завтраком в гостинице, мог демонстративно отвернуться и не поздороваться, приводя себя еще до игры в состояние полной боевой готовности.

Играя в чемпионате Украины или полуфинале первенства страны с соперником, который, опять же на его взгляд, был ниже по классу игры, Эдик мог громко говорить кому-то, прогуливаясь, пока партнер думал над ходом, так, чтобы тот слышал: «Играет, как перворазрядник, не более...» Мог применить и более сильный лексикон, мог после проигрыша не подать руки, даже оскорбить. В 1979 году в Бельцах, он, сдавая партию Семену Палатнику, встал и, обращаясь к залу, громогласно заявил: «Я не подаю руки другу изменника Родины!», имея в виду Льва Альбурта, тоже, как и Палатник, одессита, незадолго до этого попросившего политического убежища в Германии.

На турнире в Овьедо (1992) Гуфельд в партии с Дорфманом сделал несколько ходов подряд, не записывая, на что обратил внимание его соперник. «Судья, — на весь зал закричат Гуфельд, — на помощь! Мое правительство выслало во Францию этого известного скандалиста...»

В молодости у Эдика была кличка Босяк. Когда в 1957 году его призвали в армию, то вскоре в часть, где он служил, пришла телефонограмма о командировании Гуфельда на первенство Украины. Увидев Эдика в турнирном зале в военной форме, удивленные приятели воскликнули: «Братцы, Босяк явился». Когда Гуфельд парировал: «Не босяк, а защитник Отечества», - те дружно воскликнули: «Отечество в опасности!»

Четверть века назад в Нью-Йорке умер Яков Юхтман, как и Гуфельд, выигравший у Таля в чемпионате СССР 1959 года. Они были в чем-то похожи: манерой поведения, разговора, отношением к жизни. Но была и разница. Если Юхтман держался подальше от начальства, был нелюбим им, никак не принимал, пусть даже внешне, правила игры и перед отъездом на Запад даже подвергся дисквалификации, то Гуфельд был босяком рафинированным, понимающим, как действуют рычаги власти и

от кого зависят жизненные блага и зарубежные поездки, до коих он был так охоч.

В некрологах, появившихся в западной прессе сразу после его смерти, можно прочесть, что тайну — был ли он сотрудником КГБ — Гуфельд унес с собой в могилу. Патетические слова. Для тех, кто жил в то сказочное время, факт, что Эдик регулярно выезжал за границу, когда и один, да еще в капстраны, говорит о многом. Но дело, конечно, не в том, хранятся ли еще где-нибудь в архивах этой организации отчеты, подписанные его именем. Те, кто давал ему добро на поездки, прекрасно знали, что Эдуард Ефимович Гуфельд, дабы оправдать оказанное доверие, может выполнить любое поручение.

В 1980 году на Олимпиаде в Люцерне Гуфельд успокаивал интересующихся судьбой Ашхарумовой и Гулько, уже в течение полутора лет не получающих разрешения на эмиграцию: «Да что вы так волнуетесь, разрешение уже получено, их выезд - дело нескольких дней». Только спустя пять лет им удалось покинуть страну.

Он открыто общался с невозвращенцами Корчным и Альбуртом в те жесткие, насквозь пропитанные политикой времена. Корчной вспоминает, как на командном чемпионате мира в Люцерне (1985) Гуфельд заговаривал с ним: «Ну, чего ты уехал? Зачем ты это сделал? Для чего? Ты можешь это сказать?» А Альбурту на Олимпиаде в Салониках годом раньше прямо говорил: «Не ровен час, всё может случиться, здесь ведь и граница болгарская недалеко, да и родители твои просили передать, чтобы ты получше думал, прежде чем что-то сказать или сделать...»

Немалую часть жизни Эдик провел за карточным столом. Карты были почти единственным развлечением в то далекое уже время, когда турниры длились неделями, и многие участники собирались каждый вечер в гостиничном номере, где игра в невообразимых клубах сигаретного дыма затягивалась зачастую до серого рассвета, а когда и до начала следующего тура. Владимир Тукмаков вспоминает: «Сам я играл редко, но любил наблюдать за игрой. Участие в ней Гуфельда сопровождалось безудержным звоном, когда и оскорблениями, и почти всегда заканчивалось скандалом. Он не был игроком высокого класса, а при проигрыше никогда не расплачивался сразу, стремясь оттянуть так нелюбимую им процедуру отдачи денег».

Для достижения выигрыша Эдиком могли использоваться любые способы. Это Гуфельду принадлежит выражение, что в карты начинают играть каждый за себя, потом игра идет двое на двое, а кончается всё сражением трое против одного. Он

прекрасно знал термины «зарядить», «дать маяка», «сделать вольт», «врулить динамо». Не было, казалось, игры, в которую бы не играл Гуфельд, но одной из самых любимых была бура - довольно простая игра, где многое основано на везении, и искусство Эдика «на всякий случай» иметь лишнюю карту, зажатую в его огромном кулаке, не всегда сходило ему с рук. Случалось, эта карта обнаруживалась соперниками по игре, бывало и наоборот. Такие приемы входили в «большой джентльменский набор», и нередко после выяснения отношений бойцы как ни в чем не бывало продолжали игру.

Всюду, где появлялся Гуфельд, слышались его голос, шутки, смех. Что и говорить, Эдик не принадлежал к поклонникам Конфуция, утверждавшего, что чем меньше нужно слов, чтобы выразить свою мысль, тем лучше. Он имел репутацию весельчака и остроумца. Действительно, он постоянно балагурил, рассказывал байки и анекдоты. Но странное дело, его шутки, сообщаемые приблатненным говорком, высоким характерным голосом, почти всегда с дерганьем собеседника за рукав, начинали надоедать, а потом и раздражать. Почти каждая его фраза включала в себя личное местоимение в первом лице единственного числа. «Нет, ты послушай, что я придумал...»

Его юмор редко был добродушным, в нем напрочь отсутствовала самоирония, если, конечно, не считать дежурной шутки: «Это было еще сорок килограммов тому назад». Или вопроса: «Какой у тебя рейтинг?» — и независимо от ответа: «А у меня двадцать два сантиметра», хотя в последнем случае имел место очередной случай саморекламы.

Еще в молодые киевские годы мог обзвонить родственников, включая живущих на другом берегу Днепра, с просьбой немедленно приехать к дяде Миле, у которого начался пожар. Недоумевающий дядя Миля встречал многочисленную родню, не понимая, чем обязан столь неожиданному знаку внимания. Человека, первым откликнувшегося на его смерть прочувствованным некрологом, он называл за глаза Дворнякович или Говнюкович, в зависимости от настроения.

Что и говорить, юмор Гуфельда был на любителя (и были любители), но почти всегда в его рассказах содержались элементы подковырки, подкола, когда и на грани оскорбления, когда и переходящие такую грань. Но в этом пошлом, плоском потоке попадались иногда и искорки, особенно сверкавшие на фоне того фантасмагорического времени.

Олимпиада в Ницце, 1974 год. Лазурный берег. Автобус с советскими туристами, пару дней назад прилетевшими из Москвы, движется по автостраде, вьющейся вдоль берега моря.

Солнце и пальмы, фешенебельные отели, теннисные корты. Кто-то робко спрашивает: «Это уже Монте-Карло?» В тот же миг слышится характерный голос Гуфельда: «Нет, это еще "Монте-Карло — Сортировочная"!»

Другая Олимпиада, снова вожделенная капстрана, снова советские туристы, только что получившие от организаторов сумку с сувенирами. «Да-а, о такой ручке я давно мечтал!» — восхищенно восклицает Гуфельд. Мелькание рук - глубже, глубже, и хор разочарованных голосов: «А у меня нет, мне не положили...»

В полуфинале первенства страны один гроссмейстер, неравнодушный к стаканчику, проиграл совершенно выигранную, по мнению Гуфельда, позицию. «Текст этой партии, — заявил Эдик после ее окончания, — надо вывесить во всех вытрезвителях Советского Союза!»

Любил заключать пари, любил розыгрыши, мог быть и обаятельным и милым по-своему, и даже сердечным с теми, к кому был расположен, при условии, конечно, что эти люди никоим образом не затрагивали его жизненных интересов.

Те, кто близко знал Гуфельда, знали и несколько страстей, от которых он не избавился до конца жизни. Одной из таких страстей была купля-продажа.

Вячеслав Эйнгорн не видел Гуфельда несколько лет и неожиданно столкнулся с ним нос к носу в самом центре Белграда. «Так, — сказал ему Эдик вместо приветствия, — пойдешь прямо, потом вторая улица направо, там за углом обувной магазин, скажи, что от меня, получишь скидку, советую взять сразу несколько пар...» И пошел своей дорогой.

На кожевенной фабрике в Севилье группе шахматистов предложили после экскурсии купить товар по сниженным ценам. Гуфельд и здесь потребовал скидку, объяснив простодушно: «Понимаете, я иначе не могу: я никогда в жизни не покупал вещи по стоимости, указанной на ярлыке».

Как-то в Дубае, зайдя в очень дорогой магазин, стал рассматривать ремни, надел даже один, взял в руки другой, потом заговорил, как водится, о скидке. «Если вы купите первый ремень, на который я даю вам пятьдесят процентов скидки, второй можете взять бесплатно», — сказал хозяин магазина. «В таком случае я забираю второй, а о покупке первого еще подумаю», — согласился Эдик, описывая эту историю потом в различных журналах и всякий раз ее по-разному аранжируя.

На Олимпиаде в Маниле в 1992 году он заметил, что я расплачиваюсь за какие-то сувениры в магазинчике неподалеку от гостиницы. «Остановите его, он - сумасшедший! — закричат Эдик, ринувшись ко мне. — Всё положи назад, это преступление

покупать что-либо здесь, у тебя что, не все дома?»

«He is joking», — сказал он опешившему продавцу и, вырвав у него деньги из рук, ушгек меня за собой. Дорогой, явно ему хорошо знакомой, мы пришли на базар. Шум, зазывные крики продавцов. Эдик, не обращая на них никакого внимания, шествовал в дальний конец базара. Был жаркий день, и пот лил с него ручьями. Наконец он остановился у смуглого человека в рваных шортах, с лицом, изрытым оспой, и прекрасными белыми зубами, которого сердечно приветствовал. Судя по всему, тот тоже видел Гуфельда не в первый раз.

Джонни, - сказал Эдик, - этот молодой человек (тут он показал на меня) хочет купить подставку из морских ракушек.

Конечно, - сказал Джонни одобрительно, — вот замечательная. Very good.

И сколько ты хочешь за нее, my friend? - вкрадчиво поинтересовался Эдик, даже не взглянув на подставку.

Восемьдесят, — отвечал продавец сувениров.

Что, восемьдесят? — не понял, Эдик. — Восемьдесят за весь набор? - он показал на десяток подставок, лежащих стопкой на прилавке. Джонни засмеялся. Засмеялся и Эдик. Они почти обнялись и стали похлопывать друг друга по спине.

Дай нам настоящую цену, и мой юный друг, — здесь Эдик снова показал на меня, - возьмет весь набор.

Но мне не нужны десять подставок, Эдик, — сказал я.

Это уж не твое дело, — оборвал меня Гуфельд. — Предоставь всё мне. Ты получишь свою подставку.

Триста пятьдесят за все, - произнес Джонни и сделал жест, означавший, что он готов упаковать покупку.

My dear friend, — снова сказал Гуфельд, — ты же видишь, мы не туристы, будь серьезным, не глупи, мы хотим купить твои подставки. Я даю тебе сто двадцать за все десять. Прямо сейчас. Наличными, — при этих словах Эдик достал туго набитый кошелек и начал отстегивать кнопочку.

Триста, — закричал продавец. - Я продаю себе в убыток! Ты убиваешь меня, — резким движением он провел рукой по горлу.

Весь разговор велся на английском, если можно было так назвать те несколько слов, главным образом числительных, и коротких восклицаний типа «my dear friend», «you are crazy», «be serious», «give me a real price», «let'go — he is joking», употребляемых Гуфельдом, «you are killing me», «no way», повторяемых продавцом, и «this is my last price», произносимых время от времени обоими.

Пойдем, Генна, я думал, что мы имеем дело с коммерсантом, а нам попался жалкий жмот, - удрученно сказал Эдик на смеси

языков и взял меня за локоть. — Джонни, ты видишь, я пошел на попятную, дай и ты настоящую цену! - в голосе Эдика звучали примирительные нотки. Продавцы за соседними лотками подошли поближе и молча наблюдали за толстым, обливающимся потом и энергично жестикулирующим смешным человеком.

Эдик, дай ему то, что он просит, пойдем отсюда.

Мой робкий лепет не встретил у него никакого понимания. «Ты просто фраер, - Эдик презрительно взглянул на меня. — Он уже мой!»

- Хорошо, — торжественно произнес Гуфельд, снова обращаясь к продавцу, - слушай меня внимательно. Сегодня твой день. Моя последняя цена - сто пятьдесят. И, — здесь Эдик поднял кверху указательный палец, — my dear friend, ты получаешь к тому же от меня царский подарок, прими мои поздравления!

Эдик вынул из сумки и положил на прилавок значок с эмблемой Олимпийских игр в Москве двенадцатилетней давности: «Поверь мне, this is — specially for you»

Двести пятьдесят, - с отвращением произнес продавец, рассматривая, впрочем, с интересом изображение медведя на эмали.

По рукам, - сказал Эдик. — Ни нашим, ни вашим - сто семьдесят пять.

Сто девяносто, — уныло сказал Джонни.

Сто восемьдесят, ты победил меня, — вздохнул Эдик и протянул руку ошалевшему продавцу. — Кстати, ты не мог бы заменить первую подставку - мне не очень нравится цвет этой ракушки. И уж заодно упаковать каждую подставку отдельно: моему юному другу предстоит длинный путь...

Где бы я ни встречал Гуфельда — в Севилье, Салониках, Куала-Лумпуре или Маниле, его гостиничный номер выглядел одинаково. Повсюду — на кровати, столе, кресле, телевизоре — лежали стопки книг, большей частью его собственных, предназначаемых для продажи. Здесь же находились и разной степени готовности статьи, писавшиеся Эдиком обычно по ночам во время турниров или привезенные с собой из Союза, которые он в спешке не успел закончить.

Вторая кровать была обычно завалена матрешками, матерчатыми бабами, надеваемыми на чайник, дабы сохранить в нем подольше тепло, шкатулками, разрисованными «под Палех», огромными картонами с наколотыми на них сотнями значков: никогда не знаешь, когда пригодится такая безделица; стоит она - ничего, а для члена шахматной федерации какой-нибудь страны либо просто продавца в магазине или официанта в ресторане такой презент может оказаться весьма кстати. По всему номеру

валялись бумаги самого различного содержания: визитные карточки функционеров ФИДЕ, переписка с президентом федерации экзотической азиатской страны, записанные на клочках телефоны, владельцев которых Эдик и сам не всегда держал в памяти, бланки партий, выдвинутых на приз за красоту и представленных ему как главе комиссии «Искусство в шахматах». Тут же и магнитная доска с позицией из партии какого-нибудь женского матча. Помню, на той Олимпиаде Эдик подрядился помогать девочке из команды Бангладеш; деньги, конечно, небольшие, однако если перевести доллары на рубли, то как сказать: одно занятие было эквивалентно двум месячным зарплатам советского инженера.

Рядом с минибаром можно было обнаружить целую батарею бутылочек и баночек, извлеченных оттуда Гуфельдом и замененных припасами, прихваченными с завтрака, которыми он время от времени подкреплялся. На столике у кровати лежали обернутая в недельной свежести газету «Советский спорт» бутылка «Столичной», электронагреватель, недопитый стакан чая, термометр, таблетки в самой разнообразной упаковке — с некоторых пор у Эдика появились хвори, и он брал с собой пилюли на все случаи жизни.

Рядом возвышалась стопка визиток самого Эдика, где с двух сторон — по-русски и по-английски - особым тиснением были обозначены все звания владельца. Набраны они были очень мелким шрифтом, иначе просто не поместились бы. Длинный перечень выглядел так: Международный гроссмейстер, Заслуженный тренер СССР и Грузинской ССР, член Союза советских журналистов, тренер сборной команды СССР, член Международной ассоциации журналистов, пишущих на шахматные темы, председатель комиссии ФИДЕ «Искусство в шахматах». Отдельной стопочкой лежали визитные карточки с диаграммой из его «Джоконды».

Эдуард Гуфельд был коммивояжером от шахмат и, для того чтобы показать товар лицом, полагал, что для него требуется глянцевая упаковка. Он продавал свой товар с вдохновением, и недаром глава одной фирмы уже после переезда Эдика в Америку писал ему: «Вы являетесь не только гроссмейстером шахмат, но также и Большим Мастером по продаже игры рядовым любителям. Если бы вы работали в моем бизнесе, я присвоил бы вам степень "Продавца Высшего Разряда"».

Вдобавок Эдик был мастером лоббизма, причем еще тогда, когда это понятие употреблялось в советской прессе исключительно в сочетании: «лоббисты Белого дома, заинтересованные в гонке вооружений». Вот только предметом

его лоббизма был он сам. В нем так и кипела избыточная энергия, которая не могла быть сполна реализована в стране, где он прожил почти всю свою жизнь.

На одной из Олимпиад прекрасно выступала женская команда Индии, за которую играли сестры Кадилкар. «А ну-ка покажите секрет своего успеха», — спрашивал у них Эдик, помогавший тогда девушкам. Застенчиво улыбаясь, те доставали и показывали значки с изображением Гуфельда...

Редкое зрелище являл собой Эдик в ресторане. Помню один его завтрак в пятизвездочной гостинице во время Олимпиады в Маниле. Он появился в зале с полиэтиленовым пакетом, в который складывал провиант со шведского стола, чтобы унести с собой; пока же в нем лежала книжка его избранных партий: никогда не знаетль, с кем столкнешься во время соревнования, где участвуют команды почти всех стран мира.

Шесть стаканов сока Эдик выпил один за другим в качестве разминки. Затем он выбрал две тарелки побольше, нагружая их всем, что попадалось ему на глаза: фруктами, вяленой рыбой, шампиньонами и яичницей, яйцами вкрутую, картофельными лепешками, ветчиной, сыром и множеством других произведений кулинарного искусства, названий которых я не знал. Чашка с супом — нередко встречающееся блюдо за завтраком в азиатских странах — тоже, конечно, не была забыта. Потом он занял свободный столик неподалеку от стола, уставленного всевозможными блюдами, чтобы контролировать поле боя, - и принялся за еду.

«Tea or coffee, sir?» — спросил его подошедший официант. «СотТее, my friend, coffee, — ответил Эдик с набитым ртом. И, спешно проглотив, крикнул ему вслед: — And tea as well!»

В бытность свою в Советском Союзе Эдик вел себя в ресторане более скромно, хотя и там старался сразу захватить инициативу: сделав заказ, он мог с милой улыбкой, еще не притронувшись к еде, попросить принести жалобную книгу, чего работники общепита боялись как огня. Либо же, вызвав директора, осведомиться: «У вас в меню выход бифштекса обозначен ста пятьюдесятью граммами. А я вот взвесил, — здесь Эдик показывал на стоявшие рядом весы, которые, он, как выяснилось, захватил с собой, — оказалось только девяносто восемь. Это как же понимать?» И продолжал уже на профессиональном языке: «А гарнир, значит, у вас сложный? А капуста, значит, белокочанная?..»

В начале 60-х годов в стране, особенно в провинции, случались трудности с продуктами. Приехав в Челябинск на полуфинал чемпионата страны, Эдик сразу же отправился на

базар и, купив там мешок картошки, отнес его прямо на кухню ресторана гостиницы, где питались участники. «Теперь вы будете жарить мне каждый день большую сковороду картошки», — заявил он опешившим поварам.

Иногда, поражая официантов, Гуфельд заказывал всё меню. «Как всё?» - переспрашивали его. «Вот всё, что у вас есть, и принесите», — здесь Эдик проводил рукой по листу сверху вниз. Чтобы у читателя не создалось превратного впечатления, поясню, что речь идет о столовых и кафе советского времени, когда список всех блюд, включая десерт, мог легко уместиться на двух, а то и на одном листочке.

В белградской гостинице, где во время матча СССР — Югославия жили советские участники, у них был открытый счет. Гуфельд, заказывая длинный перечень всевозможных салатов, говорил обычно: «Молим, укупно» (всё вместе, пожалуйста), чем поначалу приводил в замешательство даже видавших виды официантов.

«На тех же условиях, что и Гуфельд». — сказал Тайманов, когда ему в Сингапуре предложили дать сеанс одновременной игры. Он знал, что за несколько месяцев ло него здесь побывал Гуфельд, и решил, что Эдик уж никак не мог обидеть себя, обговаривая с организаторами гонорар. «Нет, только не это! — в ужасе отвечали они. — Ваш коллега, правда, не запросил никакого гонорара, ограничившись гостиницей и питанием, но раз очутившись в ресторане, он ел до глубокой, ночи без остановки...»

Сам Эдик относился к этой своей страсти достаточно философски и даже не пытался с ней бороться. «Я теперь на диете, — нередко говорил он. — За обедом я совершенно отказался от первого блюда. Зато съедаю пять вторых...»

Из бесконечной устной эпопеи о раблезианских подвигах Гуфельда можно извлечь еще немало рассказов. Но кто знает, может быть, за огромным, в конце жизни весившим 130 килограммов человеком скрывался худенький, вечно голодный киевский мальчишка, дорвавшийся наконец до еды и, начавши раз есть, так и не смогший остановиться?

Еще Кант знал, что кроме тоски по родине человеку присущ и другой недуг — тоска по чужбине; но у советских людей этот недуг был развит в гипертрофированном виде. Был он, конечно, и у Гуфельда. Он всю жизнь гонялся за лучшей жизнью: Украина, Грузия, многочисленные поездки во все, часто очень отдаленные уголки земного шара, наконец, Америка.

Но в отличие от многих, смотревших на зарубежье глазами Остапа Бендера: «Заграница — это миф о загробной жизни; кто

туда попал -обратно не возвращается», - для Гуфельда выезд за границу означат только временный, но такой приятный выгул на сочных заливных лугах. Лугах, на которых пасутся стада наивных откормленных коров, которых нужно доить и доить; и здесь его отношение к иностранцам было схоже с отношением великого комбинатора, продавшего американцам, встреченным где-то в российской глубинке, за двести рублей рецепт пшеничного самогона. И так же как американцы восторженно повторяли за Остапом слово «pervatsch», которое им приходилось уже слышать в Чикаго и о котором они имели прекрасные отзывы, — их потомки, любители шахмат, с восхищением внимали на лекциях Эдика в Лос-Анджелесе скалькулированным им — для лучшего усвоения материала — расценкам пешек для дебюта и миттельшпиля: «e» и «d» - доллар, «c» и «f» — 90 центов, «b» и «g» - 80, «a» и «h» - 70 центов.

Сказать, что он не любил Каиссу, было бы неверно, но в не меньшей степени он любил Маммону, хотя и не знал, что делать с ее дарами. Уже перевалив за шестьдесят, он сокрушался, когда слышал или читал о сеансах одновременной игры на сотнях досках, длящихся сутками: «Эх, жаль, что у меня возраст уже не тот. Мировой рекорд, значит?.. Да килограммов бы пятьдесят назад я бы им такое шоу за двадцать тысяч устроил, закачались бы!»

Несколько лет назад он тяжело заболел и провел несколько месяцев в больнице. «Знаешь, — позвонил он мне, выздоровев, — я едва не умер. Я долго думал и решил: кому всё это надо, не в деньгах счастье, надо жить сегодняшним днем, здоровье — главное. Ну что я суечусь все время, зачем это, к чему...» Я внимательно слушал эти, совершенно невероятные для него слова, хотя и являющиеся обычной реакцией всех, кто впервые с глазу на глаз столкнулся со смертью. Надо ли говорить, что Эдик вскоре вернулся к старому образу жизни, снова став тем Гуфельдом, выйти из которого он так и не смог.

Он так и не понял, что дверь к счастью открывается вовнутрь, а самое большое удовлетворение, какое могут принести выигранные им замечательные партии, он уже испытал, создавая их. Ощутив удивительное состояние, как бы ни называли его — интуицией, озарением или, как в науке сегодняшнего дня, закодированными в генах качествами, проявившимися у индивидуума при данных обстоятельствах.

В нем сочетались черты многих героев романа Ильфа и Петрова: Шуры Балаганова, получившего свои пятьдесят тысяч, но польстившегося-таки в трамвае на грошовую дамскую сумочку, Паниковского, говорившего тому же Шуре: «Обязательно

поезжайте в Киев. Поезжайте в Киев и спросите, что делал Паниковский до революции» и твердившего постоянно: «Я хочу есть, я хочу гуся». Были черты даже бухгалтера Берлаги, симулировавшего сумасшествие в психиатрической лечебнице: «Я вице-король Индии! Отдайте мне любимого слона».

Но, конечно, больше всего в нем проступал Остап Бендер. Вслед за ним Эдик мог сказать: «Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость. Я не налетчик, а идейный борец за денежные знаки». Акушерский саквояж, в котором у Остапа хранились различные вещи, мог принадлежать и Эдику. В этом саквояже среди прочих полезных вещей, как-то: нарукавной повязки, на которой золотом было вышито слово «Распорядитель», милицейской фуражки с гербом города Киева, четырех колод карт с одинаковой рубашкой находилась и афиша, удивительным образом содержавшая в себе вехи из биографии самого Эдика. На афише было написано:

ПРИЕХАЛ ЖРЕЦ
(Знаменитый бомбейский брамин — йог)
— сын Крепыша —
Любимец Рабиндраната Тагора
ИОКАЯААН МАРУСИДЗЕ
(Заслуженный артист союзных республик)
Номера по опыту Шерлока Холмса.
Индийский факир. — Курочка-невидимка. —
Свечи с Атлантиды. — Адская палатка. —
Пророк Самуил отвечает на вопросы публики. —
Материализация духов
и раздача слонов.

«Я хочу уехать, товарищ Шура, уехать очень далеко, в Рио-де-Жанейро, — не раз говорил Остап. — Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия». У Эдика в отличие от потомка янычар разногласий с советской властью не возникало. Более того, распад Советского Союза Гуфельд воспринял как личную трагедию: он мог нормально функционировать только в той системе ценностей и отношений, которые существовали в исчезнувшей теперь империи.

Некоторое время он скитался, живя подолгу то здесь, то там, пока в 1995 году не осел в Соединенных Штатах. Он был похож на Вечного Жида из остаповского рассказа: «Лет полтораста он прожил в Индии, необыкновенно поражая йогов своей живучестью и сварливым характером. Одним словом, старик мог бы порассказать много интересного, если бы к концу каждого столетия писал мемуары. Но Вечный Жид был неграмотен и к

тому же имел дырявую память». Правда, в отличие от героя Бендера, никогда не бывавшего на Днепре и нашедшего там свою смерть в 1919 году, Эдик не раз возвращался в свой Киев — как и все киевляне, он с пристрастием любил свой город. Он скучал по стране, из которой уехал, обзванивая едва ли не каждый день своих знакомых не только в других городах Америки, но и в России, Украине, Грузии, Германии, Израиле — всюду, где жили бывшие соотечественники. «Слушай, — начинал он обычно и после предложения какого-нибудь проекта или ошеломляющей идеи, пришедшей ему в голову, говорил всегда грустные слова: — А помнишь...»

Иногда, разумеется, уже в постсоветское время, звонил и мне. Хотя интервалы между звонками могли составить пару лет, он не представлялся: «Привет, ты узнаешь, кто говорит?» Голос Гуфельда, очень высокий, с характерными интонациями, нельзя было перепутать. «Слушай, — переходил с места в карьер Эдик, — ты не можешь сказать в редакции журнала, что у меня есть сногсшибательный материал? Рукопись уже готова, это будет бестселлер, бестселлер, какого они и не видали!» — «Белочка?» — спрашивал я. «Еще лучше. Только для вас». Неожиданно он резко менял пластинку: «Кстати, ты бывал когда-нибудь в Тасмании? Ты думаешь, они могут дать какие-нибудь условия? Цикл моих лекций я мог бы прочесть по телевидению, у них ведь должно быть телевидение, поверь мне, эти лекции уникальны...»

Переехав в Америку, Эдик не изменил своим привычкам: всюду, где бы он ни играл, облако скандала неизменно витаю нат его партиями, и многие залы, где проходили открытые турниры, слышали его возбужденный голос. Инцидентам в его партиях было несть числа, время от времени он разражался в американской и русской прессе открытыми письмами по поводу того или иного фоссмейстера или организатора турнира, обвиняя их во всевозможных грехах, вплоть до организации заговоров против него. В эти последние годы круг людей, с которыми конфликтовал Гуфельд, расширился, приобретя международную амплитуду. Он был Страстный борец, хотя далеко не всегда было понятно, за что; ясно было только, что его личные интересы стояли в этой борьбе отнюдь не на последнем месте.

В Америке ему на первых порах очень помогал Арнольд Денкер. Но на каком-то турнире ветеранов Гуфельд обвинил старейшего американского гроссмейстера в том, что кто-то из участников проиграл Денкеру нарочно, дабы вывести на первое место. Он мыслил категориями, к которым привык сам за свою долгую жизнь в шахматах; качества же, присущие ему в молодые годы — несдержанность, вспыльчивость, легко переходящая в

грубость, хвастовство и бахвальство, отсутствие манер, — к старости, увы, не исчезли. В декабре 2001 года на турнире в Лас-Вегасе, одном из последних в своей карьере, Эдик, попав в критическое положение, включил кнопку сирены безопасности, находившуюся на стене как раз нал. головой соперника, который совершенно обезумел и потерял в условиях недостатка времени всякую ориентацию.

Он начал было вести рубрику в журнале «Chess life», но после двух публикаций редакция стала получать возмущенные письма читателей о том, что старые анекдоты, рассказываемые новым софуд-ником, оставляют странное впечатление, и от его услуг пришлось отказаться. Свой английский он называл Гуфельд-инглиш, объясняя этот смешной язык в своей обычной манере: «Better than your Russian». Конечно, он уже не делал рожек и не блеял, как много лет назад, когда, будучи вместе с Тимманом в ресторане, пытался объяснить официанту слово «баранина», но упорно называл изолированную пешку «пешкой, которая не имеет друга», гордясь своей находкой и повторяя ее, как и большинство своих шуток, по многу раз.

Гуфельд продолжал играть в открытых турнирах до самого конца, хотя, без сомнения, понимал, что его шансы на успех минимальны. Отчасти это объяснялось не прошедшей любовью к игре, отчасти — призрачной мечтой получить какой-нибудь приз, но главным образом, как мне кажется, — атмосферой, царящей на любом шахматном турнире, атмосферой, к которой он привык с детства и без которой не мог жить. Даже если атмосфера эта была совсем иной, чем на полуфинале первенства Союза где-нибудь в Ивано-Франковске.

В какой-то момент его рейтинг опустился почти до отметки 2400; недостатки в игре, присущие ему и в лучшие годы, усилились, а проблемы со здоровьем и возраст лишь усугубили общую картину. Он не успевал следить за последними теоретическими новшествами, да и не мог уже: дебютные варианты, которые он играл еще в юношеском первенстве Украины, встречались у него на турнире в Лас-Вегасе ровно полвека спустя.

Отношение к молодым шахматистам и к современным шахматам было у него однозначным: «Да какой-нибудь Янкель Юхтман ему бы здесь так впендюрил, что он мама не успел бы сказать, я уж не говорю о Геллере. Да попадись он и мне в те годы, от него бы мокрого места не осталось - размазал бы по стенке». — говорил он обычно, когда речь заходила о ком-нибудь из молодых.

В последний период жизни в его «Академии шахмат Эдуарда

Гуфельда» в Лос-Алтджелесе. как помпезно именовались две небольшие комнаты, которые он арендовал на первом этаже дома, где жил сам, стоял старенький, купленный по случаю компьютер. В этих комнатах Эдик устраивал воскресные турниры по быстрым шахматам, сеансы одновременной игры, разбор сыгранных партий. Вел какие-то индивидуальные занятия и, конечно, продавал шахматную литературу, в первую очередь свои книги. Иногда выезжал к ученикам, вернее, его возили. Машиной не обзавелся, учиться водить так и не собрался, да и не хотел. Постоянного помощника или компаньона не нашел, и через пару лет всё постепенно сошло на нет...

Как и большинству людей на склоне жизни, ему была свойственна тоска по молодости. В его случае прошлое означало не только ушедшую навсегда молодость, но и ушедшую навсегда атмосферу тех времен. Поэтому, когда умирали люди, с которыми он провел годы жизни на турнирах и сборах: Лутиков, Полугаевский, Геллер, Гипслис, Суэтин, Либерзон, - от него самого откалывались маленькие кусочки. «"Джоконда" осиротела», - сказал он, когда умер Багиров, не подозревая еще, что спустя два года она станет круглой сиротой.

Известно, что все мы сотканы из кусочков, и Эдуард Гуфельд не являлся исключением. В нем сочетались яркий, талантливый шахматист и беспринципный склочник, преданный тренер и деляга, острослов и беззастенчивый хвастун, бойкий журналист, скорее даже сказитель и обжора, любящий сын и нечистый на руку карточный игрок, обаятельный человек и пошляк.

Пламмер-парк — место отдыха и контактов русскоязычной эмиграции Западного Голливуда, одного из районов компактного проживания выходцев из Советского Союза в Большом Лос-Анджелесе. Одну из зон в этом парке облюбовали любители настольных игр: шахмат, домино, карт, нард.

От авеню Лабреа, где в последние годы жил Гуфельд вместе со старушкой-матерью, до этого парка рукой подать — минут семь неспешного хода. Надо ли говорить, что Эдика здесь все знали и бывал он там часто, в последнее время практически ежедневно. Публика тут собирается разнообразная, атмосфера нередко накаляется и, бывает, дело кончается конфликтными разборками. Пару лет назад Эдик был жестоко бит за вмешательство в процесс карточной игры, и если бы не защита старого знакомца — кандидата в мастера из Харькова, отвезшего его, всего в синяках и кровоподтеках, домой, кто знает, чем могло бы всё кончиться

Это случилось десятого сентября. Эдику стало плохо во время его любимой буры. Тем не менее он заявил: «Ничего страшного,

будем продолжать играть...» Прямо из Пламмер-парка его отвезли в больницу Cedars-Sinai. Тяжелый инсульт.

Шестьдесят лет назад в Манхэттенском клубе Нью-Йорка Капабланке стало плохо тоже за карточным столом. Он умер, не приходя в сознание, в больнице Mount-Sinai. Какие аналогии провел бы сам Эдик с этим фактом? С этим названием? Мы никогда не узнаем этого. Потому что этого не произойдет. Ничего больше не произойдет. Останется несколько блестящих партий и образ — звонкого, неординарного, очень противоречивого человека, чувствовавшего себя, как рыба в воде, в удивительном, навсегда ушедшем государстве.

Последние два дня он был в коме. Что виделось ему тогда, какой свет в конце туннеля? Красивейшая атака в партии со Смысловым? «Белочка», переведенная на монгольский язык? Еще одна заманчивая поездка в Малайзию? Далекое киевское детство?

Он умер к вечеру двадцать третьего сентября, когда в его Киеве было уже утро. Эдуард Ефимович Гуфельд прожил 66 лет, 6 месяцев и 6 дней. Попытался ли бы он сам — любитель ассоциаций — создать какой-либо образ из этой круговерти шестерок или, наоборот, отказался бы от опасной затеи?

Он любил животных, особенно птиц, и мог часами наблюдать за ними. В Даугавпилсе в 1978 году кормил чаек, подбрасывая пищу прямо в воздух. Хищные птицы с гамом и криком хватали добычу на лету, вырывая куски друг у друга. Не такими ли виделись Эдику и человеческие отношения, в которых главным и единственным должен был быть элемент личной выгоды, постоянной борьбы за место под солнцем. «Рос я в типичной для всего Советского Союза нищете, в жутких условиях. Жизнь нередко загоняла меня на край обрыва и просто-таки вынуждала оскаливать зубы, любой ценой цепляясь за всё, что можно», ~ вспоминал он о своем детстве.

В чем-то так и оставшийся большим ребенком, он до самого конца не соответствовал своим годам и даже не прилагал усилий убедить себя, что он давно уже в возрасте тех людей, которые казались ему старыми, когда он сам был молод. Для всех он оставался Эдиком или Гуфой, и если кто-нибудь и говорил ему Эдуард Ефимович, это звучало скорее как шутка.

Я думаю, что в сущности он был очень одиноким человеком.

Его отец погиб в первые месяцы войны, и Эдик рос в обстановке безграничной любви матери, которая так и не вышла замуж, посвятив всю свою жизнь сыну. Она боготворила его, но, будучи классической «а идише мутер», хотела решать за сына все его жизненные вопросы. И для нее Эдик всегда оставался маленьким Эдинькой, в военные ли годы эвакуации в

Самарканде, в голодном ли сорок шестом в Киеве, когда болельщики, стоявшие у кромки футбольного поля, кричали «Гуфа, бей!» худенькому, беспрестанно вступавшему в пререкания с судьей мальчишке. В пору ли расцвета его, когда фамилия Гуфельд звучала по радио и не сходила со спортивных страниц. И в так быстро пролетевших десятилетиях, проведенных им в бесконечных поездках, вплоть до последнего объявления в американской русскоязычной «Панораме» от девятого октября: «Нет слов, чтобы выразить боль утраты моего единственного сыночка, любимого и дорогого мне человека, Эдуарда Гуфельда. Мое сердце залито кровью. Дорогой сын, ты всегда будешь со мной. Одинокая любящая мать».

«Здесь я родился, здесь стал играть в шахматы, здесь каштаны, которых нет нигде в мире, в Киеве и воздух какой-то особенный», — говорил Гуфельд. От улицы Лысенко, где Эдик жил с матерью в однокомнатной квартире, совсем недалеко до парка Шевченко. Там с незапамятных времен в любую погоду собираются шахматисты, играя блиц или просто так - навылет.

Играют и сейчас.

Ноябрь 2002

Клуб на Гоголевском

Дом под номером четырнадцать на Гоголевском бульваре в Москве - Центральный дом шахматиста имени Ботвинника. Так он теперь официально называется, но все зовут его по старой памяти просто Клуб. Это одно из самых привлекательных мест города: напротив, если перейти бульвар, начинаются переулочки Старого Арбата, где почти каждый дом — история.

Дом на Гоголевском не всегда принадлежал шахматистам. Чтобы не забираться совсем уж в седое прошлое, отметим, что 120 лет назад особняк на Пречистенском бульваре — так тогда назывался Гоголевский бульвар — принадлежал баронессе Надежде Филаретовне фон Мекк, горячей поклоннице и покровительнице музыки. В этом красивом, с выдержанными пропорциями двухэтажном здании хранилась замечательная коллекция скрипок Страдивари, Амати, Гварнери. Но в истории музыки имя баронессы фон Мекк связано прежде всего с Чайковским: ежегодная субсидия, получаемая от нее композитором, избавила его от материальных забот, позволив полностью отдаться музыке. Четвертая симфония Чайковского посвящена бывшей владелице особняка на Гоголевском. Чайковский и его богатая покровительница никогда не видели друг друга, но сохранившаяся обширная переписка, насчитывающая 1200 писем, является замечательным свидетельством музыкальной жизни того времени.

С конца 19-го века и до революции дом принадлежал представительнице богатого купеческого рода Любови Зиминой — сестре оперного мецената Сергея Зимина. Нередко здесь устраивались музыкальные вечера с участием известных исполнителей. Здесь пел Шаляпин, в особняке бывали Рахманинов, Глазунов, Танеев, Метнер.

После 1917 года здание было национализировано, и началась новая история его. В 20-х годах здесь размещался Верховный суд, учреждение, далекое от шахмат, хотя бывавший здесь не раз народный комиссар юстиции Крыленко стоял во главе советских шахмат и был большим поклонником игры.

В 30-е годы и до начала войны в здании получили приют политические эмигранты: французские, польские, болгарские, немецкие коммунисты и их семьи. Здесь не раз бывал Миша Волков — Маркус Вольф — будущий всесильный глава секретных служб ГДР.

Большой зал дома, где четверть века спустя на полированных шахматных столиках пошли вперед пешки и ладьи, был своего

рода интернациональным клубом; здесь звучала речь на многих языках. Надо ли говорить, что многие обитатели этого дома погибли во времена Большого террора. После войны особняк на Гоголевском занимала организация, ведавшая освоением природных богатств Дальнего Востока — Магадана, Колымы. Она носила маловыразительное название «Дальстрой», на деле же была одним из подразделений МВД. Организация использовала подневольный труд людей, так ярко описанных в рассказах Шаламова. После смерти Сталина контингент этих людей пошел на убыль, и организация захирела. Наступили хрущевские времена.

В обществе, где связи значили больше заслуг, важно было иметь нужных знакомых. В этом случае, правда, и проситель был человек известный: Василий Васильевич Смыслов к 1956 году уже сыграл один матч на звание чемпиона мира с Ботвинником и был готов ко второй попытке, увенчавшейся успехом. Его соседом по лестничной клетке одиннадцатого этажа в высотном доме столицы был тогда главный архитектор Москвы М.В.Посохин. Он и внес на рассмотрение проект о предоставлении шахматистам какого-нибудь здания в центре города. Предложение это встретило поддержку наверху: шахматисты, выигравшие к тому времени все возможные титулы и звания в мировых шахматах, были гордостью страны и козырными тузами в колоде коммунистической пропаганды.

В дело вступил Ботвинник, побывавший на приеме у будущего министра культуры Фурцевой, и вопрос был решен: 18 августа 1956 года дом на Гоголевском бульваре стал Центратьным шахматным клубом СССР.

В последующие годы, вплоть до начала 70-х, с деятельностью Клуба неразрывно связано имя Бориса Павловича Наглиса — его директора, личности харизматической и всеобщего любимца. Наглис был на шахматной работе еще до войны; одно время работал детским тренером.

Яков Нейштадт вспоминает, что как-то на занятия Наглиса заглянул инспектор из отдела народного образования и, незаметно усевшись в углу комнаты, начал наблюдать за тренировочным процессом.

«Ну, посмотрим, посмотрим, что вы там насочиняли. Испанскую, значит, разыграли, или, как говорили раньше, Рюи Лопеца. Рюи Лопец — веселый хлопец!» - объявлял он юным воспитанникам, переигрывая первые ходы партии. «Так, так, — продолжал он и, водружая коня на e5, пояснял ситуацию: — Встал на поле он, как Наполеон!» Спустя пару ходов: «Ну, а здесь, какой лучший ход, Миша? Слон эф-шесть? Ну и фраер же ты, Миша.

Шах тебе в розовые губки!» Через несколько дней Наглиса уволили с формулировкой: «За непедагогичную манеру изложения материала».

Во время войны Борис Павлович был на фронте. Случалось всё: и в шахматы играл с будущим маршалом Чуйковым в ходящей от взрывов землянке под Сталинградом в 1942 году, и под расстрелом стоял. Конец войны Наглис встретил в Берлине, а вскоре длинный язык привел его в тюрьму. Он провел несколько лет в заключении, подавая время от времени апелляции на пересмотр дела, но всякий раз получал отказ. Как он сам позже рассказывал, под резолюцией: «Отказать» - на его прошении стояла подпись помощника главного военного прокурора Батуринского, который спустя четверть века сменил Наглиса на посту директора Клуба.

Амплуа директора Центрального шахматного клуба удивительно подошло Наглису, и, по общему свидетельству, годы его директорства (1957—70) были лучшими во всей истории Клуба на Гоголевском.

Рабочий день Наглиса начинался так: придя на службу часам к одиннадцати, он первым делом играл несколько партий блиц, сопровождавшихся шутками и звоном. Одним из его партнеров был Борис Равкин, тоже уже покойный. Как водится у опытных блицоров, Борис Павлович всегда играл одни и те же варианты. Так, во французской защите после ходов 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Кc3 Наглис отвечал только 3...f5, изучив это сомнительное продолжение до тонкостей. Это знали, разумеется, и его соперники, и зрители, внимавшие шуткам директора, но и сами не остававшиеся в долгу. В директорском кабинете, двери в который никогда не закрывались, всегда толпился народ: методисты, тренеры, сотрудники журналов «Шахматы в СССР» и «Шахматный бюллетень», находившихся тогда на том же этаже. Во время блицпартий к Наглису подносили бумаги, которые он подписывал, стараясь не отрываться от процесса игры.

Обедать Борис Павлович всегда уходил домой, но блиц продолжался и в его отсутствие. Как-то мастер Юрий Васильчук, в то время председатель Московской шахматной федерации, проигрывая партию за партией маленькому, провинциально одетому мальчику, поинтересовался наконец его именем. «Меня зовут Толя Карпов», — жестко отвечал тот.

К пяти часам Наглис возвращался в Клуб - пахнущий шипром, всегда при галстуке и в накрахмаленной рубашке — и оставался там уже до позднего вечера.

Какие только турниры и матчи не игрались в Клубе! Спартакиады и претендентские матчи, чемпионаты Москвы и

спортивных обществ, знаменитые матчи на сорока досках между старыми соперниками — командами Москвы и Ленинграда, где на первых досках нередко играли чемпионы и экс-чемпионы мира, или просто турниры разрядников. И самые массовые: первенства самого Клуба с потоками «воскресенье — среда» или «суббота — четверг», в которых принимали участие сотни людей. Призов в этих турнирах, разумеется, не было никаких — награда ожидала только Одного победителя: участие в турнире ЦШК с мастерской нормой. А вот его победитель мог уже рассчитывать на воистину сказочный приз: участие в международном турнире, регулярно проводившемся тогда Клубом в своих стенах.

В Клубе же проходили доигрывания отложенных партий матчей на первенство мира. Именно здесь задумался, забыв о часах, Ботвинник и просрочил время в выигранной позиции в 15-й партии матча-реванша со Смысловым. Может быть, этот факт сыграл свою роль в том, что сама идея доигрывания партий в Клубе не очень воодушевляла Патриарха. Перед матчем с Татем Ботвинник, имевший обыкновение перед началом каждого соревнования лично осматривать поле боя, не упуская из виду ни мельчайшей детали, спросил, !де находится гуалег. Выяснив, что из комнаты, где должно было происходить доигрывание, по дороге к цели нужно преодолеть большее число ступенек, чем ему казалось приемлемым, он наотрез отказался заканчивать партии в ЦШК. Компромисс, впрочем, был найден: в комнатке позади зала, где доигрывались партии, был установлен специальный чан для нужд чемпиона мира, хотя злые языки поговаривали, чго никакого чана нет. а для этой цели используется Кубок Гамилыона-Рассела, вручаемый за победу на Олимпиадах и имевший тогда постоянную прописку в стенах Клуба.

Гордость Клуба — Большой зал. Этот зал видел не только соревнования самого различного масштаба; в нем регулярно устраивались лекции и отчеты мастеров и гроссмейстеров, вернувшихся с международных турниров, сеансы одновременной игры.

Зал тогда заполнялся полностью, замечательная, еще старых времен люстра сверкала, за спинами играющих плотной стеной стояли болельщики, которым не достаюсь места в сеансе, — подсказчики или просто зрители, с восхищением глядя на неторопливо передвигающегося по кругу знаменитого фоссмейстера. Особое внимание привлекали сеансы на десяти досках с часами, которые ежегодно давали Ботвинник, Смыслов или Пефосян сильнейшим юным шахматистам города — будущим мастерам и гроссмейстерам. В одном гаком сеансе с часами - против Ларсена - играл пятнадцатилетний Боря Гулько. Было это

в 1962 году, и ему единственному удалось выиграть у восходящей шахматной звезды Запада.

Всё было нарядно и празднично, и хотя далеко не все были в черных костюмах и при галстуках, действо это, пусть и отдаленно, напоминало фотофафию: Капабланка дает сеанс одновременной игры где-нибудь в Русском Охотничьем клубе на Воздвиженке в 1914 году. Неудивительно: среди посетителей Шахматного клуба тогда можно было еще встретить сильно пожилых уже людей, в которых по манере разговаривать, одеваться и вести себя угадывались московские гимназисты начала века. Регулярно бывал тогда в Клубе Николай Петрович Целиков, игравший с Алехиным еще в 1911 году. Здесь же можно было встретить драматурга и театрального критика Владимира Волькенштейна, пианиста Якова Флиера, академика-арабиста Харлампия Баранова, дирижера Юрия Файера. Внизу, в буфете, для любителей (и были любители!) всегда можно было выпить рюмку коньяка или перекусить.

В Большом зале же проводились и юбилейные вечера гроссмейстеров и мастеров. Сначала несколько слов произносил сам юбиляр. Им мог быть, к примеру, Кан, Панов, Майзелис или Константинопольский. Виновник торжества показывал свои партии, выступали друзья и коллеги, вручались адреса, звучали аплодисменты. Вечер заканчивался в небезызвестной «молельне».

Комната эта получила свое название еще в незапамятные времена, когда по преданию хозяином особняка был старообрядец, использовавший ее именно в этом качестве. Обычно в «молельне» игрались турнирные партии, но сейчас там стояли уже накрытые столы, с закуской и коньячком, до которого директор был большой охотник. И выпивали рюмочку, потом другую, и вот уже сам Борис Павлович приятным баритоном начинал свою любимую: «Как бы мне рябине...» И все дружно подхватывали: «К дубу перебраться, я б тогда не стала гнуться и качаться...»

Чигоринский зал расположен прямо напротив Большого. В нем под строгим взглядом основоположника отечественной школы по средам читались лекции, а иногда игрались консультационные партии с гроссмейстером. Устанавливагась демонстрационная доска, перед ней рассаживались несколько десятков любителей, которые вслух обсуждали возможные продолжения. Когда консультанты приходили к согласию, ход передаваюя маэстро, располагавшемуся обычно в Гроссмейстерской комнате, но прения в ожидании ответа не прекращались.

В Клубе работали детская и юггошеская школа и кабинет

мастеров, которым руководил Александр Котов. Разносторонний гроссмейстер не только разбирал партии со своими подопечными, но и проверял здесь свою теорию о «ходах-кандидатах», «дереве расчета» и «кустарнике вариантов», пытаясь проникнуть в тайну мышления шахматиста.

При Клубе существовало лекционное бюро, куда поступали заявки от предприятий и учреждений на лекции и сеансы одновременной игры. Мастерская ставка за сеанс была десять рублей, равно как и за лекцию. Наиболее привлекательна была сдвоенная путевка -лекция и сеанс (или сокращенно — «лис»), соответственно с двойной оплатой. Если учесть, что обычная ставка выпускника высшего учебного заведения была тогда девяносто рублей, деньги эти были не такие уж маленькие. При распределении заявок решающую роль играли связи, предприимчивость и имя. Иногда кандидаты в мастера получали больше сеансов, чем мастера и гроссмейстеры; я знал одного перворазрядника, который ничем другим и не занимался благодаря находке, которой позавидовал бы сам Бендер. Он именовал себя мастером первой категории. Его квалификации хватаю за глаза и за уши для пионерских лагерей и ремесленных училищ, не говоря уже о сеансе где-нибудь в агитпункте, когда должна была быть проставлена галочка о проведении мероприятия и израсходованы средства, отпущенные на культурно-воспитательную работу. Но случались и разгромы, конечно.

Сильные сеансы издавна были не в диковинку в Советском Союзе. Еще в 1935 году перед началом международного турнира в Москве в сеансе на 30 досках Капабланка проиграл четырнадцать партий, сведя вничью девять. В последней партии, закончившейся уже ночью, он добился ничьей с помощью «бешеной» ладьи с первокатегорником Батуринским — будущим директором Клуба. Конечно, состав сеанса тогда был отборным, многие из его участников впоследствии стали мастерами, но и в рядовых сеансах можно было встретить немало сильных игроков. Помню сам один такой: на 35 досках, где-то в Кохтла-Ярве, начавшийся в бравурном темпе с намерением поспеть в тот же вечер на поезд в Лени играл и обернувшийся одиннадцатью проигрышами, двенадцатью ничьими и неспокойным коротким сном в местной гостинице.

Подход к игре в России и на Западе всегда был различным, и это ясно чувствовалось во время выступлений. В январе 1973 года Таль и я давали сеансы одновременной игры в одном из крупнейших супермаркетов Амстердама. Это был мой первый опыт такого рода на Западе. «Не волнуйся, если у тебя после

десяти ходов на многих досках будут стоять позиции из последнего "Информатора", - предупредил меня Миша перед началом. — Потом они начинают играть сами...»

В лекционном бюро Клуба постоянно сидел в те годы Владимир Соловьев. Он был чемпионом Москвы и сильным мастером и был талантлив не только в шахматах. Но он пил, и пил крепко, и ему постоянно не хватало на водку. Однажды Соловьев заглянул в редакцию журнала «Шахматы в СССР» с каким-то конвертом в руке. «Взгляни, Яша, я только что получил это по почте», — обратился он к оллзетственному секретарю Нейштадту, вынимая из конверта бланк Института судебной психиатрии имени Сербского. Официальное приглашение гласило: «Уважаемый Владимир Александрович! Настоящим уведомляем, что Вы приглашаетесь на лекцию профессора имярек в конференц-зал института. Вы будете использованы профессором на его лекции "Алкогольная деградация личности" в качестве примера». Далее следовала дата и подпись научного сотрудника института.

Соловьев уже нигде не работал и днями просиживал в Клубе, надеясь получить в лекционном бюро заказ на какое-нибудь выступление. «Володя, - предложили ему как-то, - тут звонили из одной строительной конторы и... в общем, они могут заплатить за сеанс только пять рублей». - «Как, пять рублей?» - «Ну, понимаешь, у них больше нет в смете...» Володя не дал договорить: «Передайте им, что я за пять рублей у них после сеанса еще и полы помою!»

На втором этаже находится проходной зал, который раньше назывался Портретным: на стенах зала висели портреты чемпионов мира. Сейчас они исчезли: в чемпионах мира сегодня можно легко запутаться. Рядом с портретами шахматных королей и королев висели и изображения чемпионов мира по шашкам. Шашечная федерация тоже находилась в Клубе; была она, разумеется, не такая представительная, как шахматная, хотя в те времена звание чемпиона мира было важно для государства в любой дисциплине. Отношение шахматистов к своим «меньшим братьям» было всегда несколько снисходительное. Михаилу Бейлину принадлежит вошедшее в обиход выражение, что играть в шашки — это все равно, что играть на фортепиано только на черных клавишах.

Здесь же размещалась в 60-х годах редакция журнала «Шахматы в СССР». Главным редактором его сначала был Рагозин, потом Авербах. Замом у них был Юдович, проработавший в этом качестве более сорока лет. Юдович постоянно играл в турнирах по переписке. Расставляя позицию из

одной из своих партий, он спрашивал у сотрудника журнала, молодого мастера Игоря Зайцева: «Игорь, как бы ты сыграл в этом положении? Ты ведь тактический шахматист, нет ли здесь какой-либо комбинации?» Игорь погружался в раздумье. Когда он заканчивал анализ, Юдович ставил ту же позицию перед мастером Олегом Моисеевым, работавшим в Клубе методистом: «Какой план ты избрал бы здесь, Олег? Ведь ты позиционный игрок, что ты думаешь?»

Самой престижной в Клубе была Гроссмейстерская комната. Прекрасная мебель, старинный камин из темно-красного мрамора, картины с сюжетами на шахматные темы, портреты гроссмейстеров, дружеские шаржи. Сто лет назад комната эта называлась Зеленой гостиной, из нее дверь вела в зимний сад, расположенный в угловой комнате, в которой позже сидели методисты и тренеры.

Гроссмейстерская комната немало повидала на своем веку: переговоры о матчах за мировую корону, доигрывания партий на первенство мира, совещания, когда и секретные, на которых решались судьбы советских, а зачастую и мировых шахмат. Нередко здесь бывали и иностранные гости: ведущие гроссмейстеры мира, президент ФИДЕ или чиновники этой организации. Кое-кто полагал, что помещение было оснащено специальным подслушивающим устройством, включавшимся по особенно важным поводам. «Да что же это я, машину забыл включить!» - воскликнул работавший в федерации Владимир Антошин, после того как в Гроссмейстерскую проследовали деятели ФИДЕ и совещание уже началось...

Но не только совещания и доигрывания партий проводились в этой комнате. Если, к примеру, оказавшиеся проездом в Москве Таль и Штейн заходили в Клуб и изъявляли желание поиграть блиц, торжественно открывалась Гроссмейстерская, куда в качестве зрителей допускались только избранные, которые, затаив дыхание, следили за небывалым зрелищем. Пешки и фигуры жертвовались направо и налево, гора окурков в пепельнице росла, незаметно за окном опускались сумерки, и первые посетители Клуба уже сдавали пальто в гардероб.

По понедельникам в Гроссмейстерской собирались композиторы. Здесь бывало немало людей, чьи имена широко известны в мире шахматной поэзии. Назову лишь некоторые: Александр Гуляев — доктор наук, профессор; Александр Казанцев - писатель-фантаст; Борис Сахаров — металлург, академик; Лев Лошинский — математик; а Абрам Гурвич был известным литературным и театральным критиком, пострадавшим во время борьбы с «космополитизмом».

В июне 1988 года я провел в этой комнате десять дней кряду с молодым Йеруном Пикетом на сессии школы Ботвинника. Стояло жаркое лето, в Клубе никого не было, разве что в соседней комнате играли тренировочные партии два маленьких мальчика («очень, очень способные», как пояснил однажды Патриарх, когда мы сделали паузу в наших занятиях и забрели туда). Это были Миша Оратовский и Володя Крамник. Ботвинник, как всегда, не ошибся. Разве что в степенях таланта: Михаил Оратовский только недавно выполнил на каком-то открытом турнире свою первую гроссмейстерскую норму...

Однажды во время занятий послышались звуки уверенно приближающихся шагов, дверь распахнулась и в Гроссмейстерскую вошел Батуринский. Он уже вышел на пенсию, но по старой привычке заглядывал еще иногда в Клуб. Увидев меня рядом с Ботвинником, он оторопел и, сказав: «Извините», - вышел из комнаты. «Дожили, — услышали мы его голос. - В следующем году Корчного в Москве принимать будем...» Что и впрямь произошло несколько лет спустя.

В хаотичные годы распада страны Гроссмейстерская комната временно сменила хозяина: совсем в духе тех лет в ней расположился экстрасенс, который и производил там свои сеансы...

Раньше в этой комнате висели фотографии знаменитых гроссмейстеров и дружеские шаржи Игоря Соколова с шутливыми подписями к ним Евгения Ильина. Шло время, кто-то из гроссмейстеров подался за границу, кто-то ушел из жизни, оставшиеся в живых сначала перестали походить на шаржи, а потом и на собственные фотографии. В конце концов со стен исчезли и картины, и шаржи, да и сама комната с обычной конторской мебелью напоминает сейчас тысячи других ей подобных во многих офисах Москвы.

Очень часто в Клубе можно было встретить Льва Аронина и Владимира Симагина, которые не всегда были только названиями вариантов в дебютных руководствах.

В конце 40-х — начале 50-х годов имя Аронина звучало на одной ноте с именами Петросяна, Геллера, Тайманова. Красавец-брюнет с восточными глазами с поволокой, в шахматах Аронин больше всего ценил логику и законченность. «Не может быть, чтобы такая божественная игра была создана разумом человека. Не иначе шахматы были занесены к нам инопланетянами», — не раз говорил он.

В чемпионате страны 1950 года Аронин разделил второе место, отстав от Кереса всего на пол-очка. Решающим в его карьере оказался следующий чемпионат СССР, который был

одновременно зональным турниром. В отложенной позиции со Смысловым к выигрышу вел практически любой ход. Аронин был настолько уверен в победе, выводящей его в межзональный турнир, что устроил банкет в гостинице «Москва», где жили участники чемпионата. Однако вариант, избранный им при доигрывании, нашел этюдное опровержение, и партия кончилась вничью. До конца жизни расставлял Аронин эту злополучную позицию из партии со Смысловым, демонстрируя один путь к победе, потом другой, третий...

И без того мнительный, он начат постоянно прислушиваться к своему организму, диагностируя у себя то рак, то предынфарктное состояние. Аронин начал говорить о себе в третьем лице; это была не мания величия, а скорее попытка посмотреть на себя со стороны. Он болезненно располнел и с трудом передвигался. Хорошо вижу его играющим в Клубе в каком-то малозначительном турнире в конце 60-х годов. Грузное тело едва помещалось на стуле, рядом сидела мама - маленькая, с серебряной головой и бездонными глазами старушка, влюбленно смотревшая на своего Лёвушку.

Если для Аронина, так и не ставшего гроссмейстером, были характерны мечтательность и задумчивость, подчас с неадекватной реакцией на ход мыслей собеседника, то Симагин был известен своей бескомпромиссностью и прямолинейностью.

1953 год, турнир претендентов в Цюрихе. Котов печально бредет из турнирного зала в гостиницу. «Как сыграли, Александр Александрович? — слышит он бодрый голос Симагина, который был секундантом Смыслова. — Проиграли? Так и я думал! Я же говорил вам: вы понятия в шахматах не имеете, вам и ехать на этот турнир никакого смысла не было!»

Играя партию, Симагин был сама сосредоточенность: нахохлившись, как воробей, обхватив лицо обеими ладонями и заплетя ноги в петлю, он был весь погружен в игру — шахматы Владимир Павлович любил самозабвенно.

В детстве он был хилым, болезненным мальчиком. Однажды мама решила показать его специалисту. Осмотрев ребенка, врач решил поговорить с матерью наедине. Медицинский приговор, подслушанный Володей: «Этот мальчик долго не проживет», — глубоко запал в душу Симагина, и он вспоминал о нем всякий раз в кругу близких. Играя в 1968 году на турнире ЦШК в Кисловодске, Симагин скоропостижно скончался от разрыва сердце. Ему было сорок девять лет.

Мастер Григорий Ионович Равинский, работавший в Клубе, был старым петербуржцем, пережившем ленинградскую блокаду. После войны он переселился в Москву, где до конца своих дней

жил в комнате коммунальной квартиры. Старый холостяк, заядлый театрал, он прослушал свою любимую «Пиковую даму» бессчетное число раз. Клуб был для него родным домом, отсюда он отправлялся каждый день характерной неспешной походкой в расположенное неподалеку кафе «Прага»: кафе славилось шоколадными пирожными, а Григорий Ионович был большой сластена.

Он, как это нередко бывает у тренеров, понимал шахматы лучше, чем играл в них сам. Его воспитанниками были Васюков, Никитин, Чехов и другие сильные шахматисты. «Это вам не Петрушки Стравинского — играют ученики Равинского!» — присказку эту знали тогда все в Клубе.

Не гнушался и черновой работы. Возглавляя квалификационную комиссию, Григорий Ионович годами просматривал партии разрядников, ожидающих повышения в чине. Случалось, он, смущаясь и по-петербургски грассируя, замечал соискателю: «Вот эту партию вы играли белыми, хотя если верить турнирной таблице, у вас должны были быть черные фигуры». Или: «Играли вы хорошо, только непонятно, зачем вы мою партию с Пановым тоже для просмотра представили?»

Работал в Клубе и недавно умерший международный мастер Олег Моисеев. Сильный позиционный шахматист, не без успеха игравший в чемпионатах страны начата 50-х годов, Моисеев довольно рано оставил практическую игру. Особым оптимизмом он не отличался и в свои лучшие годы. «Выиграл одну подряд», — обычно говорил он, если ему улыбалась удача. Во время партии он очень нервничал, багровел, давление резко шло вверх: было очевидно, что тяжелые перегрузки ему противопоказаны. Моисеев ста1 гроссмейстером по переписке. В жизни Олегу Леонидовичу было свойственно своеобразное, мрачноватое чувство юмора. Например: «Жизнь — это неудачная форма сосуществования белковых тел». На одном из туров чемпионата страны Моисеев притворно морщил лоб: «Ну и времена пошли: Лепёшкин Кересу шах дал...» Ему же принадлежит и другое философское наблюдение: «Пока мы с вами здесь разговариваем, молодые растут...»

Своеобразной фигурой был Федор Иванович Дуз-Хотимирский. Уроженец Киева, шахматист старого закала, игравший еще в первенствах России с Чигориным, побеждавший Ласкера и Рубинштейна, он завоевал звание мастера в Карлсбаде в 1907 году. Примерно в то же время начал давать уроки Алехину, который записывал все мысли своего ментора о шахматах и совместные анализы в объемистую тетрадь с характерным названием «Я и Дуз-Хотимирский. Москва — 1906

г.». Александру Александровичу было тогда четырнадцать лет.

Успехи Дуз-Хотимирского были неровны, но в отдельных партиях он мог блеснуть. На бланке для записи партий он обычно именовал себя просто «Дуз», а в графе с фамилией соперника выводил «Не Дуз». Был странный, с чудачествами человек, который мог спросить внезапно: «А вы знаете, что борода — это фактически без "в" три "е"?» И в ответ на недоумевающий взгляд пояснить: «Борода — это бор и ода. Бор - это лес, ода — это стих. А почему лес — стих? Потому что безветрие. Вот борода и есть: без "в" три "е" — безветрие».

Долгие годы Дуз-Хотимирский ютился в коммуналке, в маленькой комнатушке рядом с кухней, раньше служившей комнатой для прислуги. Из года в год он обращался в райисполком с просьбой об улучшении жилищных условий. «Сколько ж вам лет, дедушка?» — спросил чиновник, рассматривая его прошение. «Восемьдесят два», — с гордостью отвечал Федор Иванович. «Ну, зачем же вам, дедушка, новая площадь?» - цинично улыбнулся ему работник жилищного отдела.

Дуз-Хотимирский до конца жизни бывал в Клубе, выступая иногда с обзорами и лекциями. На одной такой лекции, посвященной творчеству Ласкера, маленький мальчик, набравшись смелости, предложил ход. «Смотри, какой молодой пижончик! - удивился лектор. -Да ты не смущайся, не смущайся: пижончик - это голубок по-французски», — объяснил он Юре Разуваеву.

На монументальный балкон второго этажа можно попасть из холла Клуба. На этом балконе стоял в свое время, покачиваясь и стараясь остаться незамеченным, талантливый мастер Эдгар Чаплинский, которого все звали просто Чапа, и, поглядывая в окно Чигоринского зала, слушал разбиравшееся там дело о его собственной дисквалификации за регулярное появление в Клубе в нетрезвом виде. Мнения членов дисциплинарной комиссии, в составе которой были, в числе прочих, Юдович и Тихомирова, разделились: кто-то настаивал на самой строгой мере, другие были за предоставление последней попытки исправления. В конце концов Чаплинскому надоела роль пассивного наблюдателя, и он перешел к активным действиям. Расстегнув брюки, он выступил вперед, пытаясь оросить членов комиссии. Этим поступком он положил конец всем дебатам и подписал себе, разумеется, официальное отлучение от шахмат.

У Эдгара Чаплинского было немало почитателей, по таланту его сравнивали даже со Спасским. Но он так и не смог отказаться ни от образа жизни, к которому привык, ни от бутылки. Явление это вневременное и не чисто русское: и в 19-м веке, и в прошлом,

да и сегодня повсюду можно встретить людей этого веселого и трагичного по-своему племени. В Амстердаме и Нью-Йорке, Праге и Тель-Авиве, указывая на человека, играющего бесконечные партии блиц в каком-нибудь кафе, мне говорили: «Он мог бы стать вторым Фишером». Либо: «Это была одна плеяда: Кавалек, Горт, Янса и он...»

Очень часто в те годы в Клубе бывал и Тарас Прохорович. Его имя и фамилия произносились обычно на одном дыхании — от них веяло раздольем степей и казацкой вольницей. Он и был родом из казаков. Отец его, главный врач знаменитой Морозовской больницы, богатырского сложения человек, был похож на персонажей знаменитой картины Репина, и здоровье было у Тараса в генах. Огромного роста, прекрасно сложенный, он в молодые годы играл за команду Московского университета в баскетбол, а тренер сборной страны по тяжелой атлетике, увидев его однажды, настойчиво советовал всерьез заняться штангой. Тарас Прохорович стал шахматным мастером.

Он жил на Сивцевом Вражке, в двух минутах ходьбы от Клуба, и его регулярно можно было застать там, играющим в турнирах, блиц или просто за беседой с друзьями. Он был всеобщим любимцем, красивым, доброжелательным и остроумным, при виде его все улыбались. В университете Тарас учился на разных факультетах, он излучал таланты, и это видели все, кто тогда общался с ним. Он был одним из лучших преферансистов Москвы в то, кажущееся таким далеким время, когда вечерние встречи за карточным столом являлись едва ли не самой распространенной формой общения, уводя от вопросов, над которыми лучше было не думать вообще. Хотя о силе его игры в преферанс ходили легенды, Тарас был желанным гостем в домах известных ученых, писателей и актеров Москвы, и двери их домов всегда были открыты для огромного обаятельного человека, сразу заполнявшего собой всё пространство.

Тарас Прохорович разделил участь многих талантливых людей: он начал пить и, как это нередко бывает на Руси, не мог остановиться. И пил он тоже не так, как это делают на Западе: за неторопливым разговором после ужина, согревая ладонями рюмку с коньяком, перекатывающимся по самому донышку, — нет, это было поглощение напитка в скоростном режиме из граненых стаканов под плавленый сырок, если таковой оказывался в наличии. Бутылку водки он мог легко опорожнить одним духом из горлышка, а личный рекорд — шесть бутылок ликера кряду теплым московским вечером в компании таких же бойцов, как и он сам, - мог бы вызвать недоверчивое поднятие бровей, если бы не оставались еще в живых свидетели этого

действа.

Он погрузнел и распух; с огромным свисающим животом и давно нечесаными волосами он целыми днями слонялся по Гоголевскому бульвару, выпрашивая у знакомых или полузнакомых людей взаймы трешку или рубль, честно предупреждая с обезоруживающей улыбкой своей: «Только, ты знаешь, я ведь, наверное, не отдам...» Его знало пол-Москвы, и Тарасу почти всегда удавалось собрать сумму, достаточную для похода в гастроном. Нередко он и пил прямо здесь, на скамейке бульвара, если поблизости не было милиционеров, или в сапожной мастерской на углу Сивцева Вражка. Он, разумеется, нигде не работал и не стремился к этому. Однажды в редакции «Шахмат в СССР» освободилось место, и Нейштадт, повстречав Тараса, спросил, что он думает, если бы... «Спасибо тебе, Яша, — не дал ему договорить Прохорович, — если бы я мог выбирать между собой, поступившим на службу, и тем, кого ты видишь сейчас, я бы выбрал себя теперешнего». И небритый, разящий перегаром Тарас медленно двинулся в сторону Арбата...

Во время хрущевской кампании по борьбе с тунеядством он провел какое-то время в ссылке на принудительных работах. Тарас Прохорович стал всеобщим любимцем и там, в разношерстной компании людей, лишенных свободы и попавших на стройки «большой химии» со всех концов огромной страны. Даже стражи закона — повышающие квалификацию милицейские чины, учившиеся заочно в институтах, смотрели удивленными глазами на человека, легко решавшего им математические задачи или писавшего обзоры русской литературы 19-го века.

Надо ли говорить, что по возвращении в Москву Прохорович вернулся к старому образу жизни, и вахтерам Клуба был дан указ не пускать больше этого человека, который был когда-то шахматным мастером. Он по-прежнему нигде не работал, предпочтя путь благородной деградации, путь, который выбрали многие несостоявшиеся писатели, философы, художники или просто высокоталантливые люди. Некоторым из них, как Веничке Ерофееву, удалось оставить после себя частичку своего «я», но имена большинства канули в Лету и навсегда исчезнут, когда уйдут те немногие, кто еще помнит их сегодня.

Тарас Ермолаевич Прохорович: 1929—1973.

В Клубе работал в те годы и Александр Маркович Константинопольский. За глаза все звали его для краткости Конский. Он, впрочем, привык к экспериментам над своей экзотической фамилией еще в далекие школьные годы, будучи для однокашников просто Стамбульским. Юность его прошла в Киеве, он начинал вместе с Всеволодом Раузером, первую партию

с которым сыграл в 1926 году. Своего лучшего результата Константинопольский добился в первенстве СССР 1937 года в Тбилиси. Это было время массовых арестов, общественных проработок, демонстраций протеста и чисток. За год до этого чемпионата целой группе мастеров, в том числе и ему, предложили в годичный срок подтвердить свое звание, и Константинопольский внял суровому предупреждению: поделив второе место, он отстал от победителя — Левенфиша только на пол-очка!

С молодых лет занимался он тренерской работой. Среди его воспитанников в киевском Дворце пионеров были Бронштейн, Хасин, Липницкий, Банник. Переехав после войны в Москву, Константинопольский стал в середине 50-х годов тренером женской сборной страны, оставаясь им в течение четверти века. Нельзя сказать, чтобы работа эта была такой уж изматывающей: советские шахматистки доминировали тогда в мире. Они постоянно выигрывали Олимпиады и были обладательницами всех мыслимых титулов. Слабую конкуренцию им составляли только югославки и румынки. В Китае шахматы тогда были в загоне, как и спорт вообще, если не принимать во внимание многочасовые и широко афишируемые заплывы Председателя Мао. Не могло быть серьезной конкуренции и со стороны венгерских амазонок: молодой Ласло Полгар еще только обдумывал свой столь блистательно воплощенный в жизнь педагогический метод и не был еще даже знаком со своей будущей женой Кларой, жившей тогда в украинском Ужгороде.

Работал в Клубе и мастер Абрам Иосифович Хасин, тренировки с которым летом 1969 года хорошо помнит белокурый юноша с волосами до плеч: так выглядел тогда Ян Тимман. Его ученики — Юрий Разуваев и Евгений Бареев. Под Сталинградом молодой минометчик Абрам Хасин лишился обеих ног, но закончил институт, стал сильным мастером, неоднократным участников первенств СССР, гроссмейстером по переписке и опытным тренером.

Колоритной фигурой был писатель и довольно сильный мастер Евгений Александрович Загорянский, регулярно игравший в столичных чемпионатах. Его полная фамилия и титул — князь Ки-сель-Загорянский. и подмосковная станция Загорянка названа в честь его родового имения. Он родился еще до революции и с детства свободно говорил по-французски: Загорянскому принадлежат первые переводы Сименона на русский язык. Барин и сибарит, любимец женщин, Загорянский имел репутацию одного из лучших преферансистов Москвы.

Иногда в Клуб заходил Григорий Яковлевич Левенфиш,

переселившийся в 50-х годах из Ленинграда в Москву. Первый отрезок жизни он провел еще в Санкт-Петербурге и с тех пор проживал в стране и в эпоху, которые мало соответствовали его умонастроению. Для любителей, спрашивающих у него, что нужно сделать, чтобы как можно скорее овладеть секретами шахматного мастерства, у него всегда был готов ответ: «А вы не играйте просто так, а начните по рублику. Только тогда и научитесь хорошо играть», — советовал Григорий Яковлевич, хмурясь.

В те времена в стенах Клуба довольно часто можно было видеть старичков-пенсионеров, с увлечением и прибаутками играющих легкие партии и блиц. Хотя они уже не участвовали в квалификационных турнирах, но приходили каждый вечер, и совсем не воспринимались тогда, как балласт: ведь настоящие мореходы знают по опыту, что кораблю необходима «балластная сила». Левенфишу было уже самому за семьдесят, когда он забрел как-то вечером в Клуб и, увидев их, задумчиво произнес: «Ну, теперь можно и умирать — смена есть!»

Юные посетители Клуба 60-х годов — сегодняшние ветераны — увидели приход компьютера в шахматы. Они встретили «железку» скорее с опаской, чем с уважением, полагая, что компьютер принес всем нам горькую весть о том, что никакой магии шахмат нет, что бога вдохновения, интуиции и озарения не существует, а есть только выверенные с математической точностью варианты, доказывающие, что жертва фигуры заманчива, но, увы, некорректна. Они играли еще в те «старые» шахматы середины прошлого века, полные импровизации, романтики, ошибок и наивных заблуждений, и вздыхают теперь о прежних временах, полагая, что современные шахматы так же похожи на те, в которые играли они, как зоологический сад походит на раздолье прерий.

В Клубе начинал свою карьеру и Владимир Либерзон, о таланте которого с большой похвалой отзывался скупой на комплименты

Ботвинник. Он выиграл чемпионат ЦШК и затем хорошо выступил в международном турнире. Коренной москвич, Володя был сильным гроссмейстером, не раз играл в чемпионатах страны. После эмиграции в Израиль в 1973 году Либерзон несколько лет вел жизнь шахматного профессионала. И не без успеха: он дважды выигрывал сильнейшие американские опены в Лон-Пайне и достойно выступал в европейских турнирах.

Володя любил порассуждать о политике. Помню прогулки с ним в Биле во время межзонального турнира 1976 года. Энергично рассекая рукой воздух, он давал оценку

международному положению: «Французы — усрались! Англичане — усрались!» Другим его хобби был футбол — он был болельщиком ЦСКА и оставался им даже после отъезда из Союза. В том же Биле видел его гуляющим вместе с Антошиным. Нельзя было представить себе двух более разных людей, но привязанность к футболу объединяла их. «Ну что «Спартак»? - доносились до меня обрывки их разговора. — Вот Мамы-кин... Шестернев...»

Осенью 1978 года увидел его в магазине русской книги в центре Тель-Авива. Володя стоял у прилавка и читал шахматный журнал. Я незаметно подошел сзади и обхватил его голову: угадай! «Уберите руки, — тихо сказал Володя, — снимется парик». Он рано облысел, но, не желая мириться с законами генетики, пытался бороться таким образом с природой.

Была пятница, чудный октябрьский день, спешить было некуда, и мы вместе отправились на рынок, где он должен был сделать покупки для наступающего шабата. Поговорили о шахматных делах, потом он перешел на политику: ситуация в мире была напряженной. «Англичане, - рубил рукой воздух Володя, - усрались! Французы -усрались! Да и твои голландцы, если разобраться, тоже хороши...» У него был характерный смех, мимика и нечасто встречающееся качество: говорить, что думаешь. «Половины того, о чем он рассказывает, - никогда не было и быть не могло; что же касается другой половины, то и этого никогда не было, но при определенном стечении обстоятельств могло и случиться», — говорил Володя о гроссмейстере, любителе прихвастнуть, жившем тогда в Израиле.

Я играл с Либерзоном два турнира подряд весной 1977 года: в Бад-Лаутерберге и Женеве. «Слушай, — спросил он у меня, — где ты держишь деньги во время турнира?» — «Обычно в сейфе гостиницы», — отвечал я. «Ты доверяешь служащим отеля? — удивился Володя и, ослабив ремень на брюках, показал мне оттопыренный карман трусов. — А я так всегда с собой».

В Женеве мне удалось выиграть у него важную в теоретическом отношении партию. «Да, хуже...» - вздохнул он, останавливая часы.

Профессиональные шахматы даже для неплохого гроссмейстера никогда не были синекурой, и Володя перешел на преподавательскую работу. Он окончи.1 Московский авиационный институт и некоторое время работал инженером. В Израиле он стал учителем математики в одной из школ Тель-Авива. Он рассказывал однажды, как весь класс, зная, что он приехал из России, при его появлении начал с выдохом скандировать коротенькое заборное русское словцо. «И ты что?»

— спросил я. «А ничего, - ответил Володя. — Стал ждать, когда они кончат, ведь должен же был иссякнуть когда-нибудь у них запал». Он был доволен своей новой работой. «Представь, раньше, чтобы заработать тысячу долларов, мне нужно было не просто играть, но и брать приз; теперь же я каждый месяц получаю этот приз независимо ни от чего...»

Язык он знал хорошо, и хотя, как и многие израильтяне, относился к Израилю с некоторым скепсисом, был большим патриотом. В отличие от более поздних эмигрантов из России, предпочитающих читать на языке, к которому они привыкли, Володя был многолетним подписчиком солидной газеты «Хаарец», которую изучал с большим вниманием. Но с шахматами он не порывал, написал две книги, изданные на иврите, и играл за команду большой компании, на работу в которую перешел из школы.

Владимир Либерзон умер пять лет назад. Последние годы он жил один. Его нигде не было видно один день, другой. Он не отвечал на телефонные звонки. Взломали дверь...

Безвылазно сидел в Клубе молодой мастер Яша Мурей. Считалось, что он работает над клубной картотекой. На деле же с утра и до глубокого вечера Яша играл блиц или анализировал позиции, быстрыми характерными движениями пальцев безостановочно меняя местами две фигуры, уже ушедшие на покой с доски. С тех пор прошло сорок лет, и фоссмейстера Мурея, для всех по-прежнему Яшу, можно видеть за тем же занятием в шахматных кафе Тель-Авива, Парижа или Амстердама.

Особенно людно было в Клубе, когда игрались командные первенства сфаны и турниры в рамках Спартакиады народов СССР.

Сотни любителей шахмат усфемились сюда в августе 1959 года, в тот день, когда встречались сборные Москвы и Латвии. Лидерами команд были два Михаила: чемпион мира Ботвинник и двадцатидвухлетний Таль, сфемительно шедший к матчу за мировую корону. Особый колорит предстоящей партии придавало то обстоятельство, что они еще никогда не играли между собой.

Однако пришедших ждано разочарование: предусмотрительный Патриарх решил не раскрывать карты, и вместо него играл Васюков. Но болельщики этого еще не знали, и наплыв был большой. Двери в Клуб были заблокированы, однако по другой причине: два небольшого роста человека с мастерскими значками на лацканах пиджаков сошлись в рукопашной перед самым входом в храм шахмат.

Одним из них был любимец Баку Султан Халилбейли, которого все звали Султанчиком, — талантливый

азербайджанский мастер, нелепо погибший в середине 60-х. Помню хорошо его по первенству «Буревестника» в Севастополе (1964). Несмотря на тридцатиградусную жару, Султан ежедневно заказывал себе водку в ресторане, где участники обедали перед туром. Водку приносили в большом фужере для минеральной воды, и он выпивал его одним махом, не поморщившись. Меры предосторожности объяснялись тем, что за соседним столом обедал главный судья турнира Равинский, известный своей непримиримостью к нарушителям спортивного режима. Милые девушки-официантки Дуся и Даша, посвященные, разумеется, в невинную шалость Султана, понимающе улыбались ему. «Дуся - спи с Дашкой, Даша — спи с Дуськой», - мечтательно вздыхал Султан, в отсутствии, понятно, Григория Ионовича. Молодые шахматисты смотрели на него влюбленными глазами.

Другим участником драки был мастер Яков Юхтман, отбывавший тогда в Москве воинскую повинность. Вызванный на дисциплинарную комиссию, он частично признал свою вину: «Действительно, перед входом в Клуб, на глазах у общественности драться не следовало. Но потом в буфете я врезал ему по делу!» В другой раз, появившись в Клубе в нетрезвом виде, Юхтман отказался покинуть его и, укусив за палец вызванного на подмогу Наглиса, нанес тому травму.

Уроженец Одессы, с типичным южным выговором, Янкель, как многие называли Юхтмана, был шахматистом исключительного таланта. Пора его расцвета - конец 50-х годов, когда он несколько раз принимал участие в чемпионатах Союза, побеждая Таля и других известных гроссмейстеров. Он был в первую очередь игрок, никогда всерьез не работал над шахматами, хотя и имел толстую тетрадь, где были собраны прокомментированные им собственные партии, в основном выигранные. «Всё. что надо знать о шахматах, имеется в этой тетради», — утверждал Юхтман.

Иногда Янкель выезжал «на гастроли». Это заключалось в следующем: подсаживаясь к какой-нибудь незнакомой пляжной компании, где шла игра в шахматы на деньги, Юхтман просит обучить его. Получая фору и забывая нажимать на кнопку часов, «новичок» проигрывал партию за партией, исправно платя за науку. Однако ученик оказывался очень способным, размер гандикапа постепенно уменьшался; наконец он сам давал вперед материал доверчивым любителям, уходя обычно с немалой добычей.

Такой образ жизни не мог не сказаться на карьере Юхтмана: кривая его успехов пошла вниз, а дисквалификация только подтолкнула его к эмиграции. Он поселился в Нью-Йорке и. как

это часто случалось с бывшими советскими шахматистами, первые его турнирные выступления были довольно успешными. Но ему не сиделось на месте, и он отправился покорять Европу. Зимой 1975 гола мне позвонили из бюро ФИДЕ, находившегося тогда в двух минутах ходьбы от моего дома. «Ну ни слова не понимает по-русски, - пожаловался Юхтман, поднимаясь мне навстречу, - ну совсем ничего». Инеке Баккер, которая была секретарем ФИДЕ и говорила на всех основных европейских языках, только виновато моргала.

Проведя сезон в Европе и успешно выступив в Бунлеслиге (запомнилась его красивая победа над Хюбнером), Юхтман вернулся в Нью-Йорк.

Он проводил дни и ночи в «Гейм-рум», которая находилась на первом этаже отеля «Бикон» на углу 75-й и Бродвея. Юхтман играл во всевозможные карточные игры, нарды, шахматы. Разумеется, на деньги. Игровой зал, равно как и бар, где не было недостатка в напитках, был открыт круглые сутки. Хотя Янкель жил буквально в двух шагах оттуда, он нередко засыпал прямо гам, на диване, чтобы, проснувшись через несколько часов, снова продолжить игру.

Видел его за несколько месяцев до смерти в этой самой «Гейм-рум» совершенно трезвого, осунувшегося, постаревшего, жалующегося на боли в сердце, но не отказывающею себе в удовольствии комментировать рискованные ходы другого завсегдатая этого давно несуществующего заведения — Романа Джинджихашвили: «Нет, ты только посмотри, как он играет! Он думает, что ему сейчас тузы и короли пойдут. Ну, кто ж так играет...»

Летом 1958 года в Клубе провел несколько пней юный Бобби Фишер. Пока его сестра Джоан знакомилась с достопримечательностями Москвы, он с утра до вечера, не зная усталости, играл блиц с московскими мастерами, причем с успехом. «Что я могу сказать о стране, в которой нет нормальных туалетов?» — прокомментировал будущий чемпион мира свое первое и единственное посещение СССР, обратив внимание на проблему, действительно всегда остро стоявшую в стране. Зато где еше можно было встретить надпись, украшавшую стенку одной из кабинок мужской уборной: «Здесь обдумывал жертву качества Тигран Петросян».

В начале 60-х в кулуарах Клуба нередко можно было встретить и Спасского, переехавшего в Москву из Ленинграда. Вокруг него все-гда толпился народ: Борис с большим мастерством рассказывал анекдоты о Ленине, замечательно имитируя дикцию и мимику вождя пролетариата. Времена были

сравнительно либеральные, но несмотря на это аудитория вокруг него постепенно редела...

Клуб того времени невозможно представить без тихого неулыбчивого человека, которого все знали и который тоже знал всех. Неопределенного возраста, с печальными глазами, всегда носивший синие нарукавники, он считался техническим работником, отвечая за инвентарь — шахматы и часы. Остатки его шевелюры с проседью не могли камуфлировать обширную лысину, впрочем, он и не старался этого делать.

Все звали его просто Изя, и сейчас, годы спустя, оказалось невозможным восстановить его отчество, и только знатоки могли припомнить безыскусную его фамилию — Землянский. Звездный час Изи Землянского наступал, когда в Большом зале читалась лекция или вернувшийся с зарубежного турнира гроссмейстер показывал свои партии. Изя был прирожденным демонстратором, можно сказать, что он был королем демонстраторов. Послушные его воле дрессированные фигурки сами собой перемещались по доске только от одного прикосновения его кия. «Если белые соблазнятся здесь заманчивым с!5, — говорил гроссмейстер, и в ту же секунду Изя дважды стучал кием по центральному полю, - то черные получат в свое распоряжение поле с5 (кий мгновенно перемещался на соседний квадратик), туда устремится конь, и у белых возникнут большие проблемы». Здесь Изя смотрел на аудиторию глазами еще более печатными, чем обычно.

За демонстраторскую работу ему причитался рубль в вечер, его ставка в Клубе была мизерной, но если надо было перехватить пятерку до получки, обращались почему-то только к нему, и Изя всегда открывал видавший виды кошелек и протягивал просителю синюю бумажку. Изю Землянского уволили в начале 70-х годов, когда в Клуб пришло новое руководство и работа его показалась ненужной.

Был в штате и Борис Беркин. Кандидат наук, математик, он разработал и начет пропагандировать систему рейтингов задолго до профессора Эло. Тихий, неприметный, и он был уволен тоже в начале 70-х по звонку из КГБ: Борис не был диссидентом, он просто открыто игнорировал выборы, и это каким-то образом стало известно.

Реликвией Клуба является проработавший в нем почти полвека Николай Андреевич Сиротин. Он был фактически завхозом, мастером на все руки. Если выходил из слроя телефонный аппарат или отказывало электричество, Коля Сиротин всё приводил в порядок. Однажды, ремонтируя решетку на балконе второго этажа, он сорвался и, упав на асфальт, сильно разбился. Коля до сих пор работает в Клубе, продавая в

вестибюле книги тех или о тех, кто прошел перед его глазами...

Невозможно представить себе Клуб тех дней и без Александры Алексеевны Королёвой, проработавшей в нем почти со дня основания. Шура Королёва не просто открывала и закрывала Клуб, выдавая шахматы, часы и бланки, — она была полноправным членом большой шахматной семьи. Она знала всех: Романовского, Ботвинника, Кереса, Дуз-Хотимирского, Левенфиша, Кана, Майзели-са. Она помнит еще по юношеским соревнованиям Спасского, Таля, Гургенидзе, Нея. Шура была в курсе всех домашних дел шахматистов, здоровья их жен, дней рождений детей, юбилеев и семейных праздников.

Шура Королёва едва знала ходы шахматных фигур, но для многих она была непререкаемым авторитетом. Во время доигрывания партий матчей на первенство мира в импровизированном клубном пресс-центре нередко раздавались звонки нетерпеливых болельщиков: как позиция? Обычно трубку брал мастер Соловьев. Если Володя затруднялся с ответом: «положение всё еще острое» или «эндшпиль носит неясный характер», — он мог услышать недовольный голос: «Если вы не можете дать оценку позиции, позовите тогда Шуру Королёву!»

Ее знала вся шахматная Москва. Каждый вечер из сотен грудей вырывалось горестное «ах!!!», когда ровно в одиннадцать после повторенного не раз предупреждения о том, что пора заканчивать и что завтра вечером Клуб тоже открыт, и послезавтра, и послепослезавтра тоже, Шура принимала радикальное решение — выключала свет! Еще несколько минут можно было впотьмах на ощупь передвигать фигуры, и где-то еще слышалась перестрелка шахматных часов, но постепенно всё стихало, последние посетители спускались по мраморной лестнице, гардеробщицы стояли внизу в обнимку с ворохами пальто, и толпа струйками растекалась к станциям метро «Кропоткинская» и «Арбатская» и к остановкам троллейбуса. До редких прохожих, оказавшихся в этот поздний час на Гоголевском бульваре, доносились обрывки странных, возбужденных речей:

«Позиция была, ну хоть в щи клади, к тому же Серега наш совершенно окостенел, и флаг у него набух до такой степени...» - «А мой-то начал сушить буквально с первых ходов, ну и такая рыба на доске стояла! Потом я его, знамо дело, в эндшпиле переходил. Ну и я хорош: остановись же, фраер, подумай! Так нет, на пятом часу я совсем мозгами пошел, напуделял так, что в отложенной...» — «А я, представляешь, чуть до цугцванговича не доигрался, так он мне турца на ровном месте поддал...»

Или что-то уж совсем странное: «И чем же твой конь лучше моего слона? Да что с того, что у меня слабости, твой же папа

гол, как сокол, к тому же и по седьмой обрезан...»

Мир шахмат того времени создал свой особый, звонкий язык, состоящий из ассоциаций и цитат, нередко нарочито передернутых, прибауток, заимствований из городского жаргона, блатных словечек и выражений. Язык этот, с обязательным элементом импровизации, беспрестанно обновлялся и был трудно понятен тем, кто не был знаком с этим удивительным миром.

«Не Ласкер, зевнет, — приговаривал Куница, любимец Измайловских шахматистов, играя блиц с моложавым подполковником, нервно мнущим в пальцах незажженную папиросу. И, делая рокировку, небрежно ронял: — Мы же пока перевернемся».

«Ша, киндерен, ша, папа снял ремень», - успокаивал он своих дружков, наблюдающих за ходом борьбы и заметивших, что подполковник совершил роковую ошибку. Поглядывая на ромбик выпускника артиллерийской академии, Куница левитановским голосом провозглашал: «Орудия поставлены на товсь!» — и, объявляя шах своему обескураженному партнеру: «Плюс к вам перфект. Шах ин шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви», - ловким движением снимал с доски ферзя на следующем ходу и, потрясая им в воздухе, добавлял: «И шахиня Сорейя!»

«Стою плюс четыре», — подводил он промежуточный баланс, пока соперник, сокрушенно качая головой, расставлял фигуры для новой партии. «Не пора ли нам домой, Артамоша?» — вопрошал Куница своего приятеля, играющего по соседству.

«Подожди немного, я профессору еще парочку встрою, тогда и пойдем», — отвечал Артамоша, спрашивая в свою очередь у партнера, продолжавшего мучить неповинный нос в поисках спасения, которого уже не было: «Ну что, может, по переписке играть начнем?»

«Пал!!!» — доносился торжествующий крик с другого конца зала, означавший просрочку времени у кого-то. Здесь сражались профессионалы блица, завсегдатаи шахматных павильонов в Сокольниках и Измайловском парке, по случаю наступивших осенних холодов перекочевавшие в Клуб. Это были испытанные бойцы, крепкие перворазрядники, а то и кандидаты в мастера, с наигранным дебютным репертуаром, собственными схемами, игравшие между собой или с любителями в садах, парках, а зимой в различных Дворцах и Домах культуры и, конечно, в Клубе. Играли они, как правило, навылет.

«Отсель грозить мы будем шведу», — устанавливая слона на d3, объявлял играющий белыми молодой человек.

«Ничего, ничего, не так страшен черт, как его малютка», — уводя короля в безопасное место, парировал его соперник,

мужчина средних лет с глубокими залысинами, по виду вечный студент.

Партнер тоже делал рокировку, неуловимым движением обеих рук переставляя одновременно короля и ладью. «Одной рукой, одной рукой, - возражал владелец черных фигур, добавляя известную присказку: — Атакуй не атакуй, все равно получишь ...»

«А мы подведем резервы главного командования», — молниеносно реагировал его противник, вводя в бой ферзевую ладью.

«А мы подкрепим завоевания Октября», — гнули свою линию черные, защищая лишнюю пешку на d4, не играющую, впрочем, никакой роли.

«Вам шах, читатель!» — со стуком снимая с доски пешку h7, объявлял молодой человек.

«От шахов еще никто не умирал, — сообщал «студент», бросая слона в коробку для фигур, — нет ли еще? Тоже мне Алехин нашелся»

«Александр Александрович Алехин рекомендовал в этом положении давать шах конем», — продолжал играющий белыми под одобрительный смех зрителей. Не все, впрочем, были настроены оптимистично. Пожилой мужчина, судя по мышиного цвета кителю служащий железной дороги, повторял, раскачиваясь, загадочные слова: «Сколько я тебя учил: сначала — тормоз, потом — ячка. Но сначала — тормоз...»

«Был ранен в лоб. сошел с ума от раны», - отступал королем на g8 хладнокровный защитник.

«Да он властей не признает», — в тон ему продолжал соперник, опуская ферзя на h5.

«Подаю по субботам. Зайдите завгра!» — защищая слоном уязвимое поле, парировал «студент». И, довольный произведенным эффектом, поднимал глаза на окружающих: «Недолго мучилась старушка в злодейских опытных руках. Оттащите старика! Сливай антифриз! Ну, кто на очереди?» Потом, обращаясь к задумавшемуся сопернику, склонялся над доской: «Ааа, не любишь...»

«У вас какой разряд будет, товарищ?» — спрашивал он очередного партнера, веснушчатого рыжеволосого мужчину в очках, хотя было видно, что они хорошо знают друг друга и вопрос задается больше для зрителей.

«Ах, пятый неподтвержденный? Я так и думат». И комментировал уже первый ход нового соперника 1.b4: «Каждый дрочит, как он хочет, как говорила жена Ласкера, - и, вздохнув, добавлял: - И права была, покойница!»

«Газават! Секир башка будем делать! Кинжаля будем делать!» — объявлял неожиданно его визави, выводя слона на большую диагональ.

«Мы теории не учим. Как говорил товарищ Ботвинников, пешки не орешки. Перед употреблением взбалтывать. Па-аправляю свое хорошее положение, — возвращал на место «студент» взятую уже было пешку, заметив, что в этом случае теряет фигуру, и переходил к самокритике: — Не права была Варвара, что Борису не давала, но не прав был и Борис...»

«Пощупал — женись», — доставая пачку болгарских сигарет, не соглашался соперник.

«Так мы ж до пережатия договаривались, - парировали черные, добавляя на неизвестном языке: — Не бздэ муа». И, делая ход, тянул: «А не попить ли нам кофию? — спросила графиня...»

«Ни куя, куя, как говорил японский посол. Оботремся. Михаил Исаакович Чигорин любил коней. Этого конского мы оприходуем за милую душу. Пролетарий, на коня!» — комментировал веснушчатый события на доске.

«Пролетарка, пролетарий - заходите в планетарий! Послушайте, так ведь то ж была кобыла, — неожиданно высоким голосом говорил «студент» и сам себе же отвечал баском: — Кобыла не кобыла, а хорошо было». И. смиряясь с потерей коня, вздыхал: «Спи. орлик боевой, на поле а5».

«Мама, куда вы? Тьфу ты, на какую падаль позарился, — символически сплевывал в сторону его соперник, заметив, что черные взяли пешку на а2, - сейчас ми ему показем, кому зовут Володья. От позиции такой дух Бандунга идет», — и веснушчатый, морща с отвращением нос, подносил к нему сжатые в перст пальцы и шумно втягивал в себя воздух.

«Пешака-то за что скормил? - вопрошал «студент». — Уж больно ты грозен, как я погляжу...» И подбадривал себя: «А мы отступим на заранее подготовленные позиции. Ничего, еще не вечер, еще не спето много песен...»

«А если мы так сходим, как вы запоете?»

«Запоем, запоем», — в тон ему продолжат партнер чичиково-нозд-ревский диалог, снимая еще одну пешку.

«Так донде же он не усладится», — жертвовал еще одну пешку веснушчатый и, подводя фигуры к вражескому королю, объявлял: «Все на лыжи! — звал плакат. Не пора ли мне его, братцы, уконтро-пупить. Да, это вам не в Кондопоге».

Он с удовольствием констатировал, что черные задумались не на шутку: «Мой-то, ребята, совсем одеревенел». И, тронув соперника за локоть, слегка тряс его: «Ксения, ты еще жива?»

«А то, что у меня два с хоботами остались, это что, теперь

совсем уже не считается? На разменчик с Верой Менчик! С молодежью в эндшпиль!» - предлагал размен ферзей «студент».

«Кого подсунули? Да он же просто — пчеловод! Здесь вам не собес. Отказать!» — уклонялись от упрощений белые.

«Так лих же нет! Всё для блага трущихся, в смысле трудящихся», — не давал смутить себя партнер. «А если мы так, вас не стошнит? — участливо спрашивал он. — Вам — шахуек! Получите и распишитесь».

Соперник начинал сопеть, пепел сыпался на доску, и он тревожно поглядывал на поднимающийся флажок. «Руби кон!» — энергичным движением снимал он коня, объявившего шах, а на следующем ходу - и слона: «Руби слон! Целуй маму и полей фикус!»

Партия все же перешла в эндшпиль, и мелькание рук над доской участилось.

«Карлик, — вводя в игру короля, провозглашал веснушчатый. — Карлик, но вот с таким», — и, приподнимаясь над столом, раскачиваясь и ударяя одной рукой о локоть другой, делал неприличное движение.

Черные, несмотря на недостаток времени, парировали с достоинством: «А мы на вашего карлика с прибором клали, - и, двигая вперед проходную пешку, заблаговременно эффектным движением придвигали поближе к себе только что снятого с доски ферзя: — Кто-то крикнул: гони!»

«Дышите глубже, вы взволнованы, - не давал себя смутить партнер и, создавая серьезные угрозы, восклицал: — Внимание! Ввожу шершавого!»

«Не физдипи, не физдипи! Стоит без трех на шестерной и еще выкаблучивается».

«Флаг!!! - радостно провозглашал веснушчатый. - Я же предупреждал: состоится вынос тела! Покойника знали лично».

«Ну и пёрочник мой-то! Совершенно выигранная позиция, — разводил руками «студент», качая головой. — М-да, такую партию налево пустил...»

«Партия — наш рулевой! — не давал ему закончить торжествующий соперник. — Ну, кто там следующий?»

Многочисленная шахматная паства, приходя по вечерам в Клуб, вместе с патьто в гардеробе оставляла строгую кастовость, пронизывавшую советское общество, возрастные категории и профессиональные различия. Здесь не было уже больше ни бухгалтера, крутившего весь день ручку арифмометра, ни полковника медицинской службы, в довоенное время ходившего в Дом пионеров на Стопани. Не было ни ученого с мировым именем, ни школьника, томившегося весь день в ожидании

вечернего блаженства. Когда они приходили в Клуб, кончалась их служба в институте, конторе, на фабрике или больнице и начиналось добровольное служение, и разница между этими двумя понятиями была особенно контрастна в то время.

Этот красивый особняк в центре Москвы с мраморной лестницей, залом, залитом светом хрустальных люстр, с лепными украшениями на потолке, ковровой дорожкой на паркетном полу и старинным камином для всех любителей шахмат был праздником! Это был их собственный Карлтон-клуб на Сент-Джеймс-стрит, куда можно было прийти каждый вечер, увидеть знакомые лица и провести этот вечер за занятием, которое любишь. А то, что в библиотеке Карлтон-клуба висели портреты Гладстона и Черчилля — его почетных членов, а в фойе Клуба на Гоголевском посетителей встречала картина «Ленин и Горький играют в шахматы», то что с того?

И что с того, что в отличие от членов лондонского клуба, приезжавших туда на собственных машинах из собственного же дома в Хэмпстеде, они добирались до своего Клуба на метро из однокомнатных квартир, замызганных коммуналок и студенческих общежитий? Зато здесь можно было встретить на лестнице живого Петросяна, вернувшегося в Москву с дачи и забежавшего на минуту в дом на Гоголевском. Или увидеть Лилиенталя - да-да, того Лилиенталя, что пожертвовал ферзя великому Капабланке, а рядом с ним — семенящего Сало Флора, статья которого «Миша большой и Миша маленький» была прочитана сегодня в «Огоньке». А если уж совсем посчастливится, увидеть самого Таля и — незабываемый день! — просидеть целый вечер почти рядом с ним, играющим блиц, и даже одолжить Талю сигарету, когда у того кончились свои...

Эти люди играли в шахматы, отдавая им всё свободное время, не ради гонорара, известности, признания, успеха, а только и исключительно ради самих шахмат. Все они были равны перед доской с шестьюдесятью четырьмя клетками, перед не расколдованными еще шахматами прошлого века. Из мира политинформаций, собраний, профкомов, писем в защиту или протеста они переходили в честный чистый мир, в котором исход борьбы определялся только мастерством и талантом. И тот, кто дышал этим шахматным воздухом, навсегда был уже отмечен какими-то особыми признаками, отличающими их и сейчас, в начале нового века.

Если в других областях - литературе, музыке, философии, истории, кинематографии - советские люди были вскормлены на суровой диете, включавшей многочисленные запреты, то шахматы это не затрагивало. Не случайно поэтому, что с конца 60-х до

середины 80-х годов представители других профессий — писатели, художники, философы, подчас замечательные, — уходили в дворники, истопники и сторожа. В шахматах этого не было. Наоборот, в них самих можно было уйти.

Китайские ученые эпохи Цин склонны были оценивать человека только по его знаниям, не принимая во внимание его политические позиции, моральные качества или образ жизни, что привело к расцвету поэзии и науки в то время. Так же и в шахматах: гроссмейстеры и мастера, отличавшиеся по воспитанию, образованию и национальности, оценивались в конечном счете только по мастерству, таланту и силе игры.

Всё совпало. И хрущевская оттепель, после мрачных предыдущих десятилетий показавшаяся свободой, приоткрывшая границы, сделавшая возможными мысли, поступки и шутки, за которые еще совсем недавно государство безжалостно карало. И шахматы, выплеснувшие целый ряд новых блистательных имен. И — чудо Михаила Таля. Но и прежние звезды продолжали светить ярким ровным светом, достаточным для многих славных побед. Это было время, когда любое место в зарубежном турнире, кроме первого, считалось едва ли не провалом и надо было писать объяснительную записку по этому поводу Батуринскому. Появление американского гения усилило интерес и внимание общества к шахматам, и без того пропитанного ими. Имена Бориса Спасского, Тиграна Петросяна, Михаила Таля знал каждый, и звучали они не меньшей музыкой, чем имена Ирины Родниной, Валерия Брумеля или Льва Яшина.

Время это по сравнению с эпохальными событиями конца века кажется скучным и малозначительным. Как посмотреть. Нет иногда ничего более интересного, чем жить в скучное время. Кто-то сейчас, глядя из начала нового века назад, путая несостоятельную и унижающую человека систему с людьми, которым выпала судьба жить тогда, пытается унизить и этих людей. Заблуждение. Тщетно они будут наносить удары по той поре расцвета шахматной игры, подобно тому, как во Флоренции в средние века ударяли по золотому шару, пытаясь сжать заключенную в нем воду: непокорная стихия проникала сквозь стенки, но не сжималась. Шахматы того периода не станут менее великими оттого, что они принадлежали к советскому периоду.

Лицо Клуба начало меняться с начала 70-х годов, с приходом нового директора — Виктора Давидовича Батуринского. «Это учреждение; учреждение, которое занимается шахматами, и не мешайте мне работать», — не раз повторял он. «Что же это вы моих сотрудников от дела отвлекаете?» — заметил он Разуваеву, когда тот решил показать, по обыкновению, только что

сыгранную партию Константинопольскому. Из кабинета директора уже не доносился перестук часов и веселый смех: ни сам хозяин, ни тем более молодые мастера в его отсутствие уже не играли блиц.

Если поначалу в распоряжении методистов и работников федерации была лишь одна комната, то теперь шахматам пришлось потесниться: аппарат стал разрастаться. И не случайно: в 1971 году на Центральный шахматный клуб были возложены функции отдела шахмат и шашек Спорткомитета СССР. Потеря звания чемпиона мира годом позже, невозвращение Корчного в 1976-м, жестокие противостояния его и Карпова в матчах на мировое первенство, эмиграция из страны гроссмейстеров и мастеров сделали и без того политизированные шахматы делом государственной важности.

И хотя внешне многое в особняке оставалось прежним, что-то ушло, пропала домашняя непринужденная обстановка — Клуб действительно стал походить на шахматное учреждение. В 1981 году был сыгран последний международный турнир ЦШК, фактически единственный традиционный турнир, проводившийся тогда в стране.

В 1980 году в Москве состоялись Олимпийские игры. Это были времена политического противостояния США и СССР, с обоюдными бойкотами и частыми конфликтами. Олимпиада в Москве должна была стать образцовой, и государство не жалело средств для этой цели. Задолго до начала соревнования Клуб был выбран в качестве центра для аккредитации журналистов. Потом планы изменились, журналистам отвели другое место, но главное было сделано: Клуб был отремонтирован. Не без потерь: исчезли старинные ворота, замечательные люстры, камин, за нецелесообразностью не были сохранены многие лепные украшения. Зато шахматисты получили в свое распоряжение до того пустовавший третий этаж здания, куда переселился весь управленческий аппарат, сохранив, впрочем, за тренерами и методистами и комнаты второго этажа.

В 1986 году, когда в воздухе уже запахло переменами, Таль, отвечая на вопрос, о чем он мечтает, сказал: «Хотя бы о том, что как-нибудь можно будет приехать в Москву, зайти в ЦШК. Там будут царить шахматы, и мы до хрипоты будем спорить по шахматным проблемам. И не станет никаких группировок, и исчезнут мелкие (извините, порой и глупые) обиды друг на друга. А в вестибюле будет, например, такое объявление: «Сегодня гроссмейстер Таль прочтет лекцию». И ребята, пришедшие в Клуб, будут видеть в каждом мастере и гроссмейстере учителя, с которого нельзя не взять пример».

В октябре 2001 года третий этаж Клуба заняла редакция журнала «64 - Шахматное обозрение». За пару месяцев до этого события главный редактор «64» Александр Борисович Рошаль легко перешагнул годами это шахматное число. Если журнал приживется на новом месте, то Рошаль имеет все шансы пополнить ряды местных аксакалов: работа в Клубе явно способствует долголетию.

Михаил Моисеевич Ботвинник, чье имя сейчас носит Клуб, последний десяток лет провел в его стенах, занимаясь своей шахматной программой. В декабре 94-го я беседовал с Патриархом в его рабочем кабинете. Ботвиннику было восемьдесят три, жить ему оставалось полгода, но едва ли не до последнего дня он ходил в Клуб, опоздав на работу только один раз, да и то по уважительной причине: переводили слонов в зоопарк, и на Садовом кольце перекрыли движение...

Главный редактор журнала «Шахматы в СССР» (в 90-е годы -«Шахматы в России») Юрий Львович Авербах, добрую половину жизни проведший в Клубе, только что отметил восьмидесятилетие. Многолетний ответственный секретарь журнала Яков Исаевич Ней-штадт, ныне житель Израиля, идет по его стопам, намереваясь в следующем году достичь этого библейского возраста, а Михаил Абрамович Бейлин, проработавший в Клубе на разных должностях не один десяток лет, уже преодолел заветный рубеж. Виктор Давы-дович Батуринский (87) штурмует девяностолетнюю вершину; только несколько недель отделяли от нее другого сотрудника «Шахмат в СССР», проработавшего в стенах Клуба почти сорок лет, — мастера и известного аналитика Германа Самуиловича Фридштейна, ушедшего из жизни в конце 2001 года. Покорилась эта заоблачная высота Льву Яковлевичу Абрамову, а Яков Герасимович Рохлин, с его блистательно придуманной «ленинской» формулировкой «Шахматы — это гимнастика ума», сошел с дистанции на завидной отметке — 94! Его гимназическая юность пришлась на бурное начало 20-го века, а закат дней, когда он уже с трудом мог следить за крутыми поворотами быстро меняющейся жизни, — на не менее бурный конец его. Годы эти обрамили огромный семидесятилетний период советских шахмат, создателем и вдохновителем которых Рохлин во многом и являлся.

Глобальные перемены, произошедшие в стране в последнее десятилетие, не могли, конечно, не затронуть и шахматы. Борьба, развернувшаяся за Клуб - лакомый кусок недвижимости в исторической части города, - была полна побед, поражений, уступок и судебных процессов.

В конце концов шахматистам удалось отстоять свой Клуб, но от того, чтобы сделать его действительно Домом шахматиста, каким он был в прежние годы, они еще далеки. Серость, будничность, обветшалость, непрезентабельность — все эти определения подходят сейчас для здания, которое было когда-то центром шахматной жизни. Объявление на его дверях, встречавшее участников второго тура чемпионата мира ФИДЕ 2001 года: «В связи с непредвиденными обстоятельствами - шахматным турниром — очередное занятие курсов английского языка переносится на следующую неделю», лучше всяких слов говорит о месте шахмат в нынешнем Клубе.

Если до революции в особняке на Гоголевском жили меценаты, жертвующие деньги на искусство, то сейчас существование Дома шахматиста полностью зависит от коммерческих структур — арендаторов престижного особняка в самом центре Москвы.

Первый день сентября 2001 года. Хотя по календарю уже осень, деревья еще совсем зеленые и на скамейках бульвара бабушки с внуками, как и много лет назад. От квартиры Давида Ионовича Бронштейна до Клуба — рукой подать, но гроссмейстер признается, что не был там целую вечность.

Клуб виден издалека. На старинном особняке - реклама: броские желтые щиты ресторана, занявшего всё правое крыло здания и продолжающего расширяться. Ресторан «Старый свет» арендует помещение у Клуба, равно как и букмекерская контора — она при входе налево. Возглавляет контору Анатолий Мачульский. Он отошел от игры на 64 клетках, предпочтя сделать ставку на организацию, предлагающую пари на всевозможные спортивные состязания, от бокса до американского футбола. Включая шахматы.

Мы входим в Клуб и в вестибюле, прямо напротив двери, видим охранника в обычной зеленоватой форме с черными разводами. Еще два года назад он записывал всех посетителей в большую амбарную книгу, теперь же ограничивается вопросом: «К кому?» Рядом с охранником — Коля Сиротин с книгами и журналами на стеллаже. Одинокий посетитель перелистывает свежий номер «64», единственного оставшегося в живых периодического шахматного издания. Когда-то здесь можно было купить «Бюллетень ЦШК», выпускавшийся самим Клубом, «Шахматную Москву», журналы «Шахматы в СССР» и «Шахматный бюллетень», популярные тогда рижские «Шахматы», не считая, разумеется, специальных бюллетеней, выходящих по поводу любого мало-мальски пристойного турнира.

Мы берем чуть влево и коридорчиком проходим в библиотеку

Клуба. В ней немало раритетов: первые издания Филидора, Петрова, комплекты русских и зарубежных журналов. «Шахматный вестник», как чигоринский, так и более поздний, издававшийся Алексеем Алехиным, братом будущего чемпиона мира. Здесь же и первая шахматная книга самого Тиши, как звали Алехина в детстве, — учебник Жана Прети на французском языке издания 1895 года с аккуратно проставленными галочками у каждой переигранной партии.

В библиотеке - тысячи книг на разных языках. Немало имеют автографы Григорьева и Зубарева. Эти книги когда-то принадлежали этим известным мастерам. Раньше в библиотеке был читальный зал и картотека с десятками тысяч партий, аккуратно переписанными от руки и классифицированными по дебютам студентами шахматного отделения Института физкультуры. Всем советским шахматистам вменялось за правило, играя за границей, обязательно привозить с собой второй комплект бюллетеней турнира и сдавать его в Клуб. В то далекое докомпьютерное время гроссмейстеры и мастера перед поездкой на международный турнир проводили здесь немало времени, просматривая партии будущих соперников.

Осенью 1958 года маленький мальчик стоял здесь, перебирая книги и никак не решаясь сделать выбор. «Возьми эту, не пожалеешь», - раздался голос, и рука протянула ему «Теорию жертвы» Шпильмана. Это был Давид Бронштейн, который потом прямо в библиотеке посмотрел несколько партий мальчика, врезав этот день навсегда в память будущего фоссмейстера Юрия Разуваева.

Сейчас библиотека закрыта, но для нас делается исключение, и мы входим внуфь. Пыль на полках, на столах выцветшие журналы 1993 года, по всему видно, что редко кто заглядывает сюда.

«Ни в коем случае, — префаждает нам путь хранительница музея Клуба и библиотеки Татьяна Михайловна Колесникович, когда мы хотим пройти во вторую комнату, — всё может обрушиться в любую минуту». Действительно, подпорки, поддерживающие потолок, не внушают особого доверия.

Мы выходим в вестибюль и поднимаемся по главной лестнице. Когда-то здесь висела большая карта мира, вся утыканная флажками — всюду, где побывали советские шахматисты. После Шестидневной войны 1967 года, когда Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Израилем, флажок был безжалостно выдернут из тела сфаны, где проходила Олимпиада фемя годами раньше.

На втором этаже налево — комната, где сейчас размещается

организация с загадочным названием Ассоциация шахматных федераций. На деле это туристическое бюро, которое занимается продажей билетов, оформлением виз и бронированием гостиниц для шахматистов. Еще полгода назад оно располагалось в собственном старинном деревянном особнячке неподалеку, но случившийся пожар вынудил его к переезду. Тоненькой нитью связывает нас фамилия директора бюро — Бах — с музыкальной историей особняка на Гоголевском.

Мы проходим по коридору и оказываемся в просторной комнате, в которой собрано немало уникальных экспонатов. Это музей Клуба. Он существует с 1980 года и называется сейчас Музей шахмат России. Его основу составила коллекдия известного ленинфадско-го собирателя Вячеслава Домбровского. Когда он умер, выяснилось, что на право наследования претендуют две женщины, обе объявившие себя вдовами покойного. Юридический казус длился довольно долго, но так и не был разрешен. Коллекция была поделена на две части, одну из которых приобрел Лотар Шмид, другая же досталась Клубу.

Здесь немало интересного: шахматы разных времен и народов, сделанные из дерева, фарфора, слоновой кости, металла, инкрустированные доски, барельефы. Бюсты Вольтера, Наполеона, Пушкина, Тургенева, на разных этапах жизни увлекавшихся шахматной игрой. Портрет первого русского мастера Петрова. Рисунок: Чигорин и Яновский в окружении лучших шахматистов Петербурга за партией, сыгранной ими зимой 1900 года.

Картина, изображающая шахматистов в знаменитом петербургском кафе «Доминик». Комплект фигур, которым игрался матч Рубинштейн — Сальве в Лодзи (1903), когда великий Акиба только начинал свою карьеру. Он достойно сражался со своим учителем, завершив матч вничью, хотя еще за несколько лет до этого проигрывал тем, кому Сальве давал вперед ладью.

Здесь же призы, награды, кубки, завоеванные советскими шахматистами в послевоенные годы. Бронштейн останавливается у специального приза, полученного за победу в радиоматче СССР — США, состоявшемся в сентябре 1945 года. Наши шахматисты разгромили тогда американцев 15,5:4,5 и удостоились похвалы Сталина. Молодой Дэвик Бронштейн принимал участие в том матче и дважды легко выиграл у Сантасьера. Он вспоминает, что партии начинались в пять часов вечера по московскому времени и длились по 10-12 часов.

На почетном месте в клубе - знаменитый Кубок Гамильтона-Рассела, о котором уже упоминалось. Шахматный стол, за

которым игрались партии матчей между Карповым и Каспаровым, с двумя красными флажками на нем с серпом и молотом, переносит нас во времена сравнительно недавние, но кажущиеся сейчас далеким прошлым.

Экспонаты музея, как, впрочем, и всё, имеют свою относительную ценность: если в советское время внимание посетителей обращали на комплект шахмат, которыми Ленин играл со своим двоюродным братом Ардашевым, то теперь гордостью музея являются шахматы из глины, сделанные по специальному заказу для детей последнего русского царя и выставленные в застекленной витрине.

В Большом зале пустынно: здесь давно уже не играют в шахматы, зато помещение нередко используется для свадеб и юбилеев. В декабре 2001 года в нем состоялся один из туров чемпионата мира ФИДЕ, после чего всё снова вошло в прежнюю колею. В Чигорин-ском зале изредка проводятся еше турниры, но портрета того, чье имя он носит, в нем уже нет: его ясный, но строгий взгляд мог бы смутить вечерних гостей, стол для приема которых уже накрыт.

В зале второго этажа, где когда-то шли шахматные бои, разместился Фонд Ботвинника, выпускающий книги, связанные с его творчеством. Нигде не видно не только людей, играющих в шахматы, но и шахматных фигур.

Вечереет. Мы спускаемся по лестнице. В вестибюле Коля Сиротин собирает уже свои книги. «Что-нибудь новенькое, Коля?» — «Да вот, только поступила». Он протягивает книгу в фиолетовом переплете, изданную Фондом Ботвинника: «Матч Ботвинник - Бронштейн» о матче на первенство мира, сыгранном ровно полвека назад. Давид Ионович начинает перелистывать книгу. Качает головой: «Посмотрите, что Ботвинник пишет о третьей партии. Хотите, я вам расскажу, как это было на самом деле...»

Мы выходим на бульвар, берем влево и не спеша доходим до станции метро «Кропоткинская».

«Кропоткинская»? Семнадцатилетним подростком играл я впервые в Клубе в соревнованиях студенческого общества «Буревестник».

Захудалая гостиница в нескольких автобусных остановках от метро «ВДНХ». Четверо в одной комнате. Дым от сигарет. Ночной анализ. Блиц. Зима. Переполненный автобус. Тяжелые двери метро. Пар, растекающийся из отопительных решеток. Приготовленный пятак. Несущийся в подземелье эскалатор. Меховые шапки, платки. Черная, неулыбчивая толпа. «Рижская», «Проспект мира», «Комсомольская». Станции, станции, снопами

света отлетающие к концу поезда. Но всё ближе, ближе, и вот уже металлический голос в вагоне метрополитена: «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — "Кропоткинская"».

Снег на скамейках бульвара. Толчея в гардероб. Последняя сигарета. И вот уже идет меж столиков судья турнира, сопровождаемый пистолетными выхлопами включаемых шахматных часов, и вот уже приближается к твоему.

Москва. Гоголевский бульвар. Клуб. Чудный январь 1961 года.

Февраль 2002

Мои показания (В.Батуринский)

Он был человеком эпохи грандиозных шахмат советского периода, когда тысячи людей в концертных залах, затаив дыхание, следили за передвижениями деревянных фигурок, эпохи специальных шахматных выпусков в последних новостях по радио и телевидению, тех шахмат, вопросы о которых решались на уровне правительства, ЦК партии и КГБ.

Как бы ни называлась должность, которую занимал Батуринский - директор ЦШК, начальник отдела шахмат, главный тренер-инспектор Спорткомитета СССР или руководитель советской делегации в матче на первенство мира, — он без малого два десятка лет стоял во главе советских шахмат и в таком качестве и воспринимался на Западе.

Но это была только его вторая жизнь, начавшаяся сразу после ухода на пенсию в 1970 году. В своей первой он был прокурором, военным прокурором, одним из служителей юстиции в то зловещее время, когда само слово «юстиция» было дальше от своего значения — справедливость, чем когда-либо в истории.

Эпоха, в которую он жил, еще не отстоялась; она еще не настолько далека от нас, чтобы герои стали бесплотными, превратились в исторические памятники, — как Капабланка, с которым играл в сеансе молодой Виктор Батуринский, или как Крыленко, по совету которого он поступил на юридический факультет. Речь идет о периоде советского государства, отстоящем от нашего времени лишь на несколько десятилетий и знакомом многим не понаслышке. Этот период и эта удивительная формация создали особый тип людей, к которым принадлежал и Виктор Давыдович Батуринский.

В один из последних дней апреля 1979 года мне позвонил Дон-нер. «Слушай, — сказал Хейн, - завтра днем пресс-конференция Батуринского. Тема — бойкот Корчного. Конечно, у Батуринского будет свой переводчик, но кто знает, как он будет переводить... Пойдешь со мной?»

В офисе Международной шахматной федерации Батуринский появился в сопровождении красивого молодого человека, которого я уже видел раньше: он сопровождал советских представителей на Олимпиадах и конгрессах ФИДЕ. Скажу сразу: опасения Доннера по части перевода оказались беспочвенными. Более того, вопросы западных журналистов, входящие в тесное соприкосновение с пятьдесят восьмой статьей Уголовного кодекса РСФСР, предусматривавшей длительные сроки заключения за антисоветскую пропаганду, он переводил особенно тщательно и,

как мне показалось, даже не без удовольствия.

Тема пресс-конференции была, в сущности, гораздо шире, чем только шахматы: был разгар холодной войны, и в зале находилось немало журналистов-международников. Всё, что было связано с именем Корчного, появлялось тогда не только в репортажах с турниров и матчей, но и в политических колонках, выходя порой даже на первые полосы газет.

Тема бойкота в шахматах - не новая. Еще Алехин после выигрыша матча у Капабланки соглашался играть с ним в одних турнирах только при условии, если его гонорар будет вдвое выше, чем у бывшего соперника, а то и вообще ставил условием своего участия неприглашение кубинца.

Однако в случае с Корчным бойкот осуществлялся не отдельным лицом, а страной, причем самым влиятельным и могущественным членом международного шахматного содружества. Схема была проста: перед тем как послать своих представителей на турнир, советская федерация запрашивала список участников и, обнаружив там имя Корчного, оказывала давление на организаторов, требуя исключить того из списка; если же это не удавалось, попросту сообщала, что участие советских шахматистов в турнире невозможно. Грустная правда заключалась и в том, что кое-кто из устроителей турниров быстро понял действие этого несложного механизма, и Корчной, тогда бесспорно второй шахматист мира, просто не получал приглашения, гарантируя тем самым участие в турнире двух-трех представителей Советского Союза, и в первую очередь Карпова.

Батуринский хорошо подготовился к пресс-конференции, и, хотя по роду своей бывшей профессии привык сам задавать вопросы, а не отвечать на них, его ответы были четки и обстоятельны. Виктор Давидович давал умные ответы, то есть такие, которые прекращают вопросы. Либо, применяя испытанный способ защиты, отвечал вопросом на вопрос. Несколько лет назад Батуринский дал отповедь корреспонденту радио «Свобода» в ответ на просьбу прокомментировать тот факт, что он является черным полковником и работает в КГБ: «Во-первых, я не черный, а лысый полковник, во-вторых, работаю я в области шахмат, в-третьих, никогда не спрашиваю собеседников, на какую разведку они работают, — ведь откровенного ответа все равно не получишь, не так ли?»

На этот раз его задача была сложнее: тема бойкота Корчного, проблема его семьи, всё еще остающейся в СССР, не сходила со страниц газет и очень раздражала советское руководство.

«Господа, - сказан Батуринский, — читали ли вы, что Корчной пишет о Геллере, Таіе, Петросяне, Полугаевском, других

советских гроссмейстерах? Немудрено, что они сами отказываются играть в одних турнирах с Корчным. Они не хотят иметь ничего общего с человеком, обливающим их грязью. Никакого организованного бойкота нет, и федерация к этому не имеет абсолютно никакого отношения. Это частная инициатива гроссмейстеров, добровольно решающих, принимать или не принимать приглашение на турнир».

Он знат, что это не так, он говорил неправду, но сознавал ли это сам? Ведь то же самое делали хозяева его огромной страны: они говорили хорошо аргументированную неправду, в которой были крупицы правды, что внешне нередко напоминато правду, но таковой не являлось. В политике Запад сталкивался с этим постоянно, здесь у Батуринского были примеры выдающихся мастеров; он и сам обладал способностью смотреть в глаза и скрывать истину, но он очень удивился бы, если бы ему сказали, что он осознанно лжет.

Его освободило от чувства ответственности за свои поступки государство; оно развязато ему руки, и он даже не задумывался над тем, лжет ли он или говорит правду, потому что мнение, пришедшее свыше, автоматически являлось правдой. В пьесе Шварца «Дракон» Генриху не грозит раздвоение личности. Ведь он не знает, что врет: он органически, всем существом верует, что он прав, что делает, как надо, поступает добродетельно, как должгго.

Батуринский говорил «представители печати», он говорил «международный турнир», «шахматная федерация страны», он употреблял те же термины, что и на Запате, но слова эти означали совсем другое. Он говорил: права человека — и западные журналисты так и воспринимали этот термин, хотя в Советском Союзе его писали всегда в кавычках, дабы высмеивать саму возможность сомневаться в наличии этих прав в Советском Союзе.

«Ну хорошо, — сказал Доннер, — вот вы говорите: Геллер, Петросян — это всё представители его. корчновского, поколения, однако в этом году в Лон-Пайн не приехали Цешковский и Романишин. Но это же молодые шахматтгсты, они с Корчным почти и не сталкивались, как вы это объясните?»

Батуринский раздумывал некоторое время, было почти видно, как работает его мысль. Огромное государство стояло за ним, и сейчас он, солдат этого государства, сражался за него на шахматной передовой. Наши взгляды встретились, и он, глядя мне в глаза (и я льстил себя мыслью, что только я могу оценить всё лицемерие его ответа), медленно произнес: «Отчего же, они действительно собирались поехать на этот турнир, но узнав, что

там играет Корчной, пришли к нам посоветоваться. Мы рекомендовали от поездки воздержаться, в остальном же они могли поступать, как им представляется правильным. Поразмыслив, они решили отказаться...»

Я недооценил западных журналистов: легкий смешок раздался в зале, и всем стало ясно, что спрашивать больше не о чем. Ханс Рей задал все-таки самый последний, несколько фривольный вопрос: «Пятьдесят лет назад в Советской России Алехина называли монархистом и белогвардейцем. Теперь в Москве играется турнир его памяти. Сейчас в Советском Союзе Корчной — изменник и предатель. Не думаете ли вы, что через двадцать лет у вас будет проводиться турнир его имени?»

В зале возникло оживление. По реакции Батуринского было видно, что он не ожидал этого вопроса. Виктор Давыдович взял сигару, не спеша раскурил ее и выпустил колечко, повисшее над его головой. В отличие от не курившего Дизраэли, потягивавшего сигару во время переговоров с Бисмарком, дабы не дать возможность немецкому канцлеру иметь больше времени для раздумья, он был большим любителем сигар и знал в них толк.

Стояла поздняя весна, но было уже очень тепло, все окна были открыты, и было слышно, как гулькают голуби, сидящие на железных прутьях широких окон, выходящих на амстердамский канал, и совсем недалеко прозвенел трамвай. Окна выходили прямо на зал, в котором каждый вечер устраивались концерты рок-музыки; в зале под названием «Млечный путь» уже тогда можно было легко купить всё, чем славится Амстердам, чтобы найти путь к звездам.

Батуринский не спешил с ответом: он слишком хорошо знал, что слова не вернешь, что минутное расслабление может привести к неприятным последствиям. Пауза затягивалась. Глаза по-прежнему холодно и напряженно смотрели сквозь толстые стекла очков, но вот, наконец, дрогнули и потянулись губы и что-то похожее на улыбку появилось на его лице. «Я не знаю, что будет через двадцать лет, — сказал Батуринский, — меня, во всяком случае, через двадцать лет не будет...»

Когда двадцать лет спустя я подходил к его московскому дому, многое вспомнилось тогда. Вспомнилась лето 1976 года, Швейцария, где видел его каждый день на протяжении трех недель долгого межзонального турнира.

Он прогуливался довольно часто по улицам Биля с Туровером, очень милым старичком, в самых звуках фамилии которого слышалось что-то шахматное. Еврей из Варшавы, Туровер покинул Россию еще до революции и поселился в Америке. Там он играл в турнирах, без особого, впрочем, успеха.

Туровер был из той категории игроков, о которых гроссмейстеры знают, что с ними надо играть до конца: даже если они хорошо поставят дебют, будут умело маневрировать в миттельшпиле, держать оборону в эндшпиле, все равно в какой-то момент обязательно допустят ошибку. Примерно по такой схеме и развивались партии Туровера с сильнейшими игроками того времени.

Сделав состояние, Туровер отошел от дел и на склоне лет вернулся к юношеской любви — шахматам. Это выражалось в том, что, бывая на всех крупных турнирах, он учреждал приз за красоту игры — обычно сто долларов, который сам же потом и вручал. Моту засвидетельствовать, что Туровер был настоящим миллионером: при каждом удобном случае он жаловался на дороговизну телефонных звонков из Швейцарии в Соединенные Штаты.

Батуринский в отличие от Туровера, хотя и не стал мастером, был шахматистом по-настоящему сильным. Он был в состоянии один на один выиграть и у мастера, и у фоссмейстера. И выифывал! Победы над Бондаревским, Смысловым, Пефосяном, Сокольским, Ароиным, Либерзоном говорят сами за себя. Понимание позиции и происходящего на доске оставалось с ним до последних лет. Помню, во время матча Карпов — Тимман в Амстердаме (1993) он несколько раз предлагал в пресс-ценфе какие-то ходы или варианты. И когда я, лениво оппонируя, пытался отделаться общими фразами или первыми пришедшими в голову ходами, он всегда продолжал вариант и, надо признаться, всегда по существу и всегда очень осмысленно.

Во время бильского турнира Батуринскому было слегка за шестьдесят, Туроверу — за восемьдесят, но внешне они очень походили друг на друга: оба невысокие, кругленькие, разве что у Туровера были шрамы на лице — следы перенесенной операции. Он называл Батуринского «господин комиссар» и был, в общем-то, недалек от истины. Не знаю, правда, какое значение он вкладывал в это слово, ведь в английском «комиссар» означает крупный чиновник, член совета или даже его председатель. В русском же языке это слово имеет совсем другой смысл.

Меня Виктор Давыдович тогда не замечал: исключены были не только любые формы общения, но даже приветствия. Впрочем, я его мало интересовал: как раз во время этого турнира попросил политического убежища в Голландии Корчной, и у Батуринского хватало забот без меня. Да и в межзональном дела складывались не блестяще: лидировал Ларсен, который в итоге и победил в турнире. Но и Портиш, и Хюбнер осфо конкурировали с советскими участниками.

Сделав короткую ничью с Талем, я стоял в фойе зала, где мы играли. Вдруг заметил направляющегося в мою сторону Батуринекого. Он подошел ко мне и, поздоровавшись, полуутвердительно произнес, улыбнувшись: «Вы ведь завтра играете с Портишем». Я кивнул. «Так вот, имейте в виду, у нас имеется полная документация на него, более того, мы можем помочь вам в подготовке — тренеров у нас достаточно...» Июль был, как это часто бывает в Биле, жарким, пот лил с него ручьями, и он поминутно вытирал лысину белым платком. Я вежливо, но твердо отказался: «Спасибо, я и так всё знаю...» Он посмотрел на меня с недоверием: «М-да... А то — смотрите. Проблем нет...»

На следующий день я заметил Батуринского в первом ряду зрительного зала. Стекла его очков поблескивали, а выражение лица навеивало строки «она глядит, глядит в тебя и с ненавистью, и с любовью», напоминая о покинутой родине. Я неудачно разыграл защиту Нимцовича, развел коней по краям доски, и после прорыва Портиша в центре моя позиция стала незащитимой. Вскоре я сдался. Надо ли говорить, что Батуринский тут же потерял ко мне всякий интерес.

Я видел его после этого не раз на различных турнирах и матчах, и мы раскланивались друг с другом, а в 1993-м на матче Карпова с Тимманом он был уже сама любезность.

Незадолго до поездки в Москву, в декабре 1998 года, я позвонил ему, чтобы спросить о Геллере, которого он хорошо знал. Батуринский сам взял трубку: «Ну, какое может быть здоровье в восемьдесят четыре года? Вот зрение совсем ослабло — и глаукома, и катаракта... Но я понимаю, что вы звоните не для того, чтобы справиться о моем здоровье, Геннадий, Геннадий... не помню по отчеству?»

Любому сказал бы — «просто Генна», но сейчас почувствовал, скорее даже чем понял, что это будет неуместно, — потому: «Геннадий Борисович».

«Чем могу служить, Геннадий Борисович? Геллер? Ну, так сразу не могу с мыслями собраться. Могли бы вы позвонить через три дня?» Помню, подумалось еще: умно, а то сразу, с налета, можно и не то сказать....

Позвонил через три дня точно в условленное время. Он был, разумеется, уже у аппарата и снял трубку мгновенно: «Нет, в Одессе Геллера не знал, я ведь уехал оттуда совсем маленьким. Нет, не помню. Выдающийся теоретик, блестящий тактик... Вот в "Шахматном словаре" про него хорошо написано, у вас ведь есть "Шахматный словарь"?»

Когда я видел его последний раз - в октябре 1999-го в Москве,

ему было восемьдесят пять; он вступил уже в тот возраст, когда каждый дарованный день — милость, но очень часто и кара: стареть вообще не для робких душ, тем более подвергнуться такой глубокой старости, которая выпала ему.

Законы возраста не обошли его стороной, и его нельзя было причислить к тому, редко, впрочем, встречающему, типу людей, которые к старости расцветают и хорошеют. Он еще более осел, один глаз не видел совсем, другой очень неважно, мог читать только газету, да и ту с очень сильной лупой. Плохо слышал, время от времени переспрашивал, но ум был еще острый, мысль формулировал очень ясно, держал ее под контролем. Мы беседовали несколько часов в его кабинете.

Редкие книги на полках. Шахматных — почти нет. «Было семь с половиной тысяч книг, вероятно, самая лучшая шахматная библиотека в Советском Союзе. Продал Карпову — деньги были нужны, — вздыхал он. - Но знаю, будет хотя бы в хороших руках...»

Он не принадлежал к тому разряду собирателей, которых в свою очередь собрали сами книги. Тем более что книги эти были шахматные. Он был из тех коллекционеров, которых, конечно же, большинство: знал на память года изданий, количество экземпляров, где они находятся, порой и поименно владельцев; нередко сам являлся владельцем такого раритета.

История этой библиотеки весьма любопытна. Рассказывает Авербах: «До войны библиотека принадлежала Самуилу Осиповичу Вайнштейну, известному деятелю советских шахмат и шахматному литератору. Даже в тяжелые дни блокады Ленинграда он не мог расстаться с ней. Но в суровую зиму 1942 года, когда норма хлеба составляла 125 граммов на человека, он предложил купить библиотеку мастеру Лисицыну за два фунта пшена. Тот отказался: по его словам, два фунта пшена стоили тогда дороже... Вскоре Вайнштейн умер, а библиотека каким-то образом перешла к Лисицыну. Последний переехал в Москву, жил в «Национале», занимая номер, в котором до него размещался турецкий посол, и производил впечатление человека с деньгами. Потом эта библиотека перешла к Майзелису, который и сам был собирателем. И уже от него библиотека перешла к Батуринскому. Я был тогда близок с Майзелисом и знаю эту историю от него».

Накануне отъезда в Москву я позвонил Корчному. «А имеем ли мы право судить о нем, ведь это разбор исторического прошлого?» — неожиданно спросил он, сформулировав как раз то, чем я собирался заниматься. Я понимал, что шансов на откровенный разговор будет немного: существенные эпизоды его жизни и работы - непроницаемы, и свидетелей почти не осталось.

Но говорил Виктор Давидович с удовольствием: из тихой вереницы похожих друг на друга дней он погружался во время, помнящее его энергичным и молодым. Он легко переходил из середины 20-х годов в Москву кануна нового века: ведь с точки зрения старости жизнь кажется очень коротким прошлым. Не могу даже сказать, что образы этого прошлого проходили перед ним с большей ясностью, чем события последних лет. Это часто бывает со стариками: их глаза, как и воспоминания, наиболее остры к вещам, находящимся на расстоянии.

Не скажу, чтобы он сообщил и что-либо новое, скорее он доставал из глубин памяти что-то соответствующее моменту, в большинстве случаев уже сказанное им или опубликованное. Он прокручивал пластинку, наговоренную однажды, разве что после паузы давал обтекаемые ответы на мои вопросы в лоб, но всегда норовя возвратиться иголкой в наезженную бороздку. Я осторожно спрашивал его о событиях 20—30-х годов. Идеалы молодости той далекой эпохи остались для него неизменными: он был по-своему очень цельный человек.

Если я пытался открыть двери, замок на которых давно заржавел и к которым он сам старался не подходить, Виктор Давидович задумывался. Он был похож на старого, умудренного льва в зоопарке, который в отличие от молодых львят, играющих с брошенным им куском мяса, создавая себе иллюзию свободы, давно и прочно знает, что в клетку живого мяса не бросают, что прутья ограды крепки и вечны, что свобода раз и навсегда потеряна... Если она вообще есть в природе.

Он никогда не приближался к тем увесистым ящикам в закоулках памяти, на которых было написано: «Хранить вечно». Сор из избы он не выносил, скорее сожалел, что изба сгорела, именно вся огромная изба, а не только тот маленький закуток, который когда-то был поручен ему.

Он знал много, очень много. Он писал речи для главных прокуроров армии: на его веку их сменилось пять — он пережил всех. Приходит в голову строка из Гумилева: «Старый доктор сгорблен в красной тоге, он законов ищет в беззаконье». Выдающийся военный юрист — говорил о нем на похоронах старый коллега его. На юбилее в военной академии, куда он был приглашен три года назад, генералы стояли шпалерами, аплодируя, когда он, ничего не видящий уже, поднимался по лестнице.

Не так давно к Батуринскому приезжали из Лондона, чтобы он рассказал о деле Пеньковского (полковника военной разведки, расстрелянного за шпионаж в пользу США и Великобритании в 1963 году). Журналистам из Би-би-си очень понравилась беседа,

он дал себя разговорить, и они отсняли четыре видеокассеты и о Пеньковском, и о многом другом; но я сомневаюсь, чтобы он дал провести себя на мякине и поведал обо всем, что знал и видел в своей долгой жизни. Были веши, которые не могли быть рассказаны никогда, и правила, через которые нельзя было переступить ни при каких обстоятельствах.

Помню, приехав в Амстердам на матч Карпова с Тимманом, он передал мне от друзей из Москвы пару книг, только что вышедших в России, но взять свежие газеты и журналы наотрез отказался: как можно? Есть инструкция — не положено! На дворе стоял, напомню, 1993 год...

Он был типичным деятелем сталинского времени, отдававшим системе все силы, всё время, всю энергию. Именно такие, как он, способные, энергичные, рвущиеся вперед, были двигателем того удивительного, несуществующего теперь государства. Это они не спали ночами, ожидая телефонного звонка, если не от «самого», то от непосредственного начальника, которому может позвонить «сам». Они верили в мифы, созданные властью, при которой началась их сознательная жизнь, и эта мифология прошлого века, сама власть освобождали их от «химеры совести». Но работу, которую им поручила партия, они делали не за страх, а за совесть.

Слово «советский» до последнего дня было для Батуринского тождественно понятию «хороший, правильный», а «антисоветский» — наоборот. Как-то сказал Борису Гулько, уже подавшему документы на выезд: «Но вы же советский человек» — прибегая к последнему, самому сильному в его глазах аргументу.

В разговоре с ним, так же как в свое время с Ботвинником, я всякий раз натыкался на стену, сложенную из плотины Волго-Дона, заводов Магнитки и Комсомольска-на-Амуре, Большого дома в Ленинграде и космодрома в Байконуре. Стену, созданную при их жизни и в каком-то смысле при их участии, стену, которую нельзя было взять никакими моими (или чьими бы то ни было) наскоками, логическими выкладками или эмоциональными всплесками, историческими параллелями или неопровержимыми фактами. Эта стена была возведена в годы их молодости. Советская молодежь воспитывались тогда на принципах классовой розни, на чувствах подозрительности, недоверия и вражды. К внутренним врагам, к империалистическому окружению. В той атмосфере, в которой происходило их умственное развитие, они получали готовые оценки и формулы мышления прежде, чем начинали мыслить сами. Они всё знали, прежде чем могли что-то узнать. Для них не было вопросов — всё было заранее решено: слово предшествовало мысли, а эмоции и

лозунги заменяли логику и попытки самому осмыслить происходящее. Они принадлежали по менталитету к поколению победителей и если и видели какую-то несправедливость, то только внутри системы, не покушаясь на ее основы, которые до конца остались для них незыблемыми.

«Сталин сделал народ образованным, развивал науку, создал промышленность вообще, а оборонную — в частности, после жестокой коллективизации наладил работу колхозов — в итоге построил сильную армию.

Для всего этого нужны были деньги. Господа капиталисты не помогали, пришлось рассчитывать на внутренние резервы. Люди жили бедно, но видели, что государство крепнет, — большинство это поддерживало.

Управлял Сталин страной с помощью Советов, но прежде всего с помощью партии. Дисциплина была строжайшая.

Смущала, конечно, террористическая деятельность, но разобраться в происходящем было нелегко, ибо это сочеталось с построением сильного государства. Поэтому большинство и верило Сталину, что он борется с врагами народа».

Так писал Ботвинник за два месяца до смерти, в феврале 1995-го.

Даже если в последние годы Батуринский робко говорил об отсутствии «общего искреннего горя» в день похорон Сталина в отличие от всенародной скорби в 1924 году, я думаю, что он обладал похожим взглядом на историю прошлого века. Оба они несли на себе мету эпохи, неизгладимый знак своего времени, и их обоих, таких разных по характеру и вместе с тем таких похожих, нельзя рассматривать, конечно, вне той эпохи и вне контекста того времени.

Когда я включал диктофон, Виктор Давидович слегка покосился на него: он слишком хорошо знал, что такое показания, но ничего не сказал.

«...Я родом из Одессы. Все мои предки и по линии матери, и по линии отца были евреи. Я уехах в Москву мальчиком, было мне десять лет. Но Одессу я очень люблю, бывал там постоянно, и сейчас есть у меня даже мысль съездить туда в последний раз. Да, действительно, французский мой еще из Одессы, он мне потом пригодился; хотя переводчики помогали всегда в зарубежных поездках, но с годами язык как-то восстановился.

Прекрасно помню очень холодный январь 1924 года, когда мы с мамой отправились поездом из Одессы в Москву. В Киеве была пересадка, потому что мост со времен гражданской войны еще не был восстановлен, мы пересели на сани, переехали по замерзшему Днепру и продолжали путь уже в другом поезде.

В Москве нас встретил отец, и на извозчике мы доехали до Старой площади. Мы поселились рядом со зданием ЦК партии, в бывшей гостинице «Боярский двор». Вдоль Китайгородской стены я катался на лыжах, съезжая прямо к Варварке. Помню хорошо и день похорон Ленина, прошел с отцом мимо гроба в Колонном зале, а затем и по Красной тощади...

Меня научат играть в шахматы соседская девочка. Я начал регу-трно играть с отцом и стал его обыгрывать. Прекрасно помню, как в 1925 году мы ходит на турнир в «Метрополе», и тогда я впервые увидел Ласкера. Ласкера я видел несколько раз десять лет спустя, когда он уже жил в Москве. С Капабланкой играл в сеансе в 1935 году. Конечно, Капа не предстает! себе сат игры перворазрядников в Советском Союзе и проиграл четырнадцать партий. Он обещал закончить сеанс через четыре часа, а последнюю партию — со мной — доигрывал уже глубокой ночью. У меня было совершенно выиграно — две лишние пешки в эндшпиле, но он был уже очень раздражен и подгонял все время: «Monsieur, vite, monsieur, vite» — и я нарвался на «бешеную ладью».

Если взять первую половину века, полагаю, что гениальными шахматистами нужно назвать Ласкера, Капабланку и Алехина, во второй же половине я к таким отнес бы Фишера, Карпова и Каспарова.

Почему я на юридический пошел ? По рекомендации Крыленко. Сначала я поступал на исторический факультет университета, даже один экзамен сдал, но Крыленко вызвал меня к себе и спросил: «Почему именно исторический? При вашем логическом мышлении и полемических способностях юридический вам очень подошел бы». Вот так всё и получилось. Было это в 1934 году. Тогда ведь при поступлении не играло никакой роли ~ еврей не еврей. Это только после войны начались серьезные проблемы, антисемитизм и всё такое. Жалею ли, что на исторический не пошел? Да нет, всё получилось, по-моему, неплохо...

А вообще знал я Крыленко еще с детских лет. Я бьиг совсем мальчиком, когда меня привели к нему и мы сыграли несколько партий. Он играл где-то в силу второго разряда. Потом я общался с ним часто по шахматным делам. Когда Крыленко объявит «врагом народа», я не верил, но, конечно, ничего показывать было нельзя. Я и Вышинскому сначала верил, только потом уже стал понемногу разуверяваться...

Я сотрудничал в газете «64», главным редактором которой был Крыленко. Шел 1938 год, он уже был в опале, отстранен от работы, ехать к нему боялись. Выбор пал на меня. Выгляд&л Николай Васильевич очень подавленно, на столе в кабинете лежал том из полного собрания сочинений Ленина и блокнот, в который

он делал какие-то выписки. Крыленко, не читая, подписал полосы газеты. Сказал ему еще: «Может быть, получите новое назначение, Николай Васильевич, останетесь в шахматах». Он только горько улыбнулся. Участь его была фактически решена после речи Багирова — помощника Берии — на первой сессии Верховного Совета СССР в начале 1938 года. Багиров говори!, что такие наркомы, то ли шахматисты, то ли альпинисты (альпинизм был другой страстью Крыленко), никому не нужны. Разгромная речь эта была, конечно, инспирирована свыше, и все поняли, что дни Крыленко сочтены...

Я стал полковником юстиции в 37 лет. Тяжелое бью время, но меня лично никто не притеснял, я не был репрессирован. Я был прокурором в бедственном отделе общего надзора, много ездил по стране, по округам, с генералами встречался, известными тогда людьми. Законы, конечно, суровые были, но для армии в то время необходимые. Сейчас ведь в армии что? Полный бардак...

Нет, я никогда не занимался политическими процессами. Никогда. Просил ли высшую меру и длительные сроки? Да, конечно, но всё это были не политические дела. Единственный период, когда я занимался политическими процессами, бьи в 1956 году. Я работал тогда в реабилитационной комиссии и просмотрел более тысячи дел. Был я и помощником главного военного обвинителя Горного на процессе Пеньковского, но ведь и это был не политический процесс. Помните это дело?..»

Мы путешествовали с ним назад по реке Времени, и он ловко маневрировал по ней, обходя коряги, отмели, остовы разрушенных кораблей, опасные течения, которые могли бы отнести его в бурные водовороты истории страны. Когда он говорил об этой стране, где прожил всю свою жизнь, он напоминал старого Фирса, которого спрашивают, какое несчастье он имеет в виду, о чем он говорит, — и выясняется, что речь идет об освобождении крестьян в 1861 году...

«С Ботвинником отношения были дружеские, знали друг друга еще с 30-х годов, но быт на «вы» и называли друг друга по имени-отчеству. Был он человек нелегкий и со странностями, это точно. Да, действительно мог спросить в разговоре: «Какое сегодня число — 28 октября 1958 года? До 28 октября 1960 года мы с вами не разговариваем!» Правда, со мною такого не случалось...

Мои отношения с Корчным быт хорошими вплоть до 1974 года. Они испортились после того, как он проиграл матч Карпову и дал интервью в югославские газеты с критикой Карпова. Мне позвонили об этом из ЦК партии, и Спорткомитет принял решение: вывести Корчного из состава сборной страны и снять с него стипендию. Когда Корчной остался за границей, я был в Биле

на межзональном; помню еще, как Геллер сообщил об этом, сказав: примите успокоительное. А почему я должен был волноваться, он что, со мной советовался? Хотя, конечно, время тогда было напряженное...

Помню, как Лльбурт остался в Германии и как Игорь Иванов попросил политического убежища в Канаде. Это последнее помню очень хорошо. Сообщили из КГБ — Иванов остался в Канаде. Буквально через несколько минут звонит Павлов: «Что же это такое у тебя творится?» Я: «Да Сергей Павлович, что ж мне было не послать его — молодой, перспективный, да и фамилия хорошая...» А он мне: «Причем здесь фамилия, у тебя и с другими фамилиями бегут!»

...Ну как же мне не жато шахмат, которые ушли? Жато, конечно, и еще как жалко. Тогда были другие шахматы, теперь вот всё только деньги, деньги... Что будет с шахматами в будущем и куда они придут, я не знаю, но тех шахмат мне жато, безусловно... Жалею ли еще о чем-нибудь?»

Он долго не отвечал, молчал и я. Умный, проницательный взгляд сквозь толстые стекла очков, две грядки серо-седых волос, обрамляющих лысый, значительных размеров череп; было слышно его тяжелое дыхание.

«Я не готов к этому вопросу... Ну, были, конечно, отдельные ошибки... но скорее не на шахматном фронте, в общем смысле, но время тогда такое было, а так, нет, ни о чем не жалею...»

Щелкнул остановившейся кассетой диктофон, возвращая его в Москву октября 1999 года.

— Да, заговорились мы. А есть ли у вас, Геннадий Борисович, моя последняя книжка?

Да, спасибо, мне ее передали в Амстердаме.

Ну, все равно, будет еще одна, я и надписал уже...

Потом пили чай с домашними, говорили о том, о сем, он вспоминал Эйве, Голландию, говорил о новых порядках в России, и на пороге стоял уже почти 21-й век.

В Одессу он так и не съездил, хотя город своего детства вспоминал часто; приезжая туда, всегда подходил к старому дому в переулке, что совсем рядом с Большой Арнаутской. Он долго стоял в раздумье около этого дома, где родился; здесь прошло детство, с дедушкой, бабушкой, родителями. Отсюда он ходил летом с дедушкой купаться к морю, на Ланжерон.

Это была очень зажиточная семья - Гальпериных, но отец Виктора, как это часто бывало в те времена, ушел в политику и, став членом Бунда, писал статьи в еврейскую газету по экономическим и историческим вопросам, взяв псевдоним Батуринский. Его звали, разумеется, Давид, хотя в паспорте сына

в графе отчества стоял о «Давидович»; замена одной буквы придавала имени русское звучание.

После установления советской власти Бунд раскололся на правых, большая часть которых эмигрировала, и левых, частично принятых в компартию. В их числе был и Давид Батуринский. Он перебрался в Москву, преподавал в институте Красной профессуры; в 1929-м опубликовал книгу «Земельное устроение еврейской бедноты»...

В июне того же 1914 военного года, когда родился Виктор Батуринский, известный критик Петр Пильский создал в Одессе «Кружок молодых поэтов», на вечере которого в театре на Большом Фонтане читал свои стихи молодой Эдуард Дзюбин, впервые под псевдонимом Багрицкий, выступали Катаев, Анатолий Фиолетов, Георгий Цагарели, будущий переводчик «Витязя в тигровой шкуре». В этом году Илюша Файнзильберг уже закончил училище и, перебрав несколько профессий, ушел в литературу, став вскоре Ильей Ильфом. Юрий Олеша ходил на поэзо-концерты Игоря Северянина, читал запоем всё, что попадется под руку, и играл правого крайнего в футбол за Ришельевскую гимназию. Исаак Бабель уже писал свои первые рассказы по-французски.

Их мировоззрение начало складываться в дореволюционные годы, и одесская гимназическая юность, о которой они вспоминали как об очень светлом периоде жизни, затруднила им потом вхождение в советскую действительность. Иное дело Батуринский. Ему не пришлось перевоспитываться, привыкая к новым понятиям и новым порядкам: других он не знал. Один из бальзаковских героев говорит: «Когда вы садитесь играть в белот, неужто вы оспариваете условия игры? Правила существуют, вы им подчиняетесь». Виктору Бату-ринскому не нужно было принимать, закрыв глаза, правила игры: он служил новой власти вполне искренне, без всякого душевного раздвоения.

Он сам стал частичкой этого государства и оставался верен ему всю свою жизнь, и государство знало, что верность эта не наигранная, потому что верность, которую удается сохранить ценой больших усилий, только ненамного лучше измены. Книга Белинкова о Юрии Олеше называется «Сдача и гибель советского интеллигента». К Виктору Давыдовичу название книги не относится никак. Он не сдавался и не погибал, а, переехав в Москву, стал пионером, затем членом комсомольской ячейки при Наркомюсте и, сразу после окончания школы, инструктором горкома Союза городских предприятий.

Но в основе было всё то же: Черное море, одесское солнце, бросившееся в голову этим мальчикам, с их жадной любовью к

жизни, крупноголовым, рано облысевшим, твердо стоявшим ногами на земле, покинувшем Большую Арнаутскую и Греческую и устремившимся в Москву. И кто знает, как сложилась бы судьба Вити Батуринского, даже внешне похожего на Бабеля, родись он на пятнадцать лет раньше.

Он закончил юридический факультет в 1939 году. Годы его учения пришлись на время знаменитых политических процессов в Москве и совпали с самым разгаром террора. Юрфак только обременял своих выпускников ненужным знанием. В советской правовой системе право и правда не играли ровно никакой роли: социалистическая целесообразность и классовое чутье — вот единственное, чем должен был руководствоваться юрист. Любое другое толкование права считалось буржуазным и реакционным. Так почитаемый Батуринс-ким Крыленко еще на заре своей карьеры сформулировал общие задачи советского суда, который был «одновременно и творцом права и орудием политики»:

«Трибунал — это не тот суд, в котором должны возродиться юридические тонкости и хитросплетения... Мы творим новое право и новые этические нормы».

«Каковы бы ни были индивидуальные качества подсудимого, к нему может быть применим только один метод оценки: это — оценка с точки зрения классовой целесообразности».

Студент Батуринский учился по книге Вышинского «Доказательственная теория в советском праве». Поучая прокуроров «искусству распознавания вредителей», Вышинский утверждал, что это достигается не путем объективной оценки собранных по делу доказательств, а «политическим обонянием». Он же заявил, что «не существует общеуголовных преступлений, что сейчас эти преступления превращаются в преступления политического порядка». Такое распознавание «врагов народа» очень нравилось Гитлеру, который говорил о Фрайснере — президенте народного суда в Третьем рейхе: «Он — наш Вышинский».

Не думаю, что в годы учебы Виктора Батуринского надо было читать первоисточники. Четвертой главы из «Краткого курса ВКП(б)» было достаточно. Иначе можно было бы призадуматься над словами Маркса: «Новая эра отличается от старой главным образом тем, что плеть начинает воображать, что она гениальна».

«Прокуроры рисковали более, нежели остальные граждане, и не один, проходя по двору, где приводили в исполнение смертные приговоры, вероятно, размышлял о том, что не пройдет и года, как его будут судить на этом месте», — писал Анатоль Франс о временах Великой Французской революции. Не следует думать, что профессия прокурора в сталинское время была более

безопасной, чем в 1793 году.

«Органы прокуратуры не только не устраняют нарушений революционной законности, но фактически узаконяют эти нарушения. За каждый неправильный арест наряду с работниками НКВД несет ответственность и давший санкцию на арест прокурор. Безответственным отношением к следственному производству и грубым нарушением установленных законом процессуальных правил нередко умело пользовались пробравшиеся в органы прокуратуры и НКВД враги народа», — говорил тогда Сталин и для того чтобы знали, что от расправы не застрахован никто, добавлял: «Объективно или субъективно — это все равно».

Слово «прокурор», означавшее в старой России лишь профессию, в советское время приобрело зловещий оттенок; прокурор и следователь - главные источники зла, и разница между ними была тогда действительно очень символична. В пересыльной тюрьме на Красной Пресне было даже специальное отделение для бывших прокуроров и следователей: их очень часто убивали на этапе.

Рассказывают, как на одном из заседаний федерации, когда обсуждалось поведение совершившего какой-то проступок шахматиста, Батуринский бросил в сердцах: «В 41-м под Москвой мы таких расстреливали». Хотя были уже 70-е годы, повисла тишина. Виктор Давыдович знал, о чем говорил: в начале войны он работал следователем в Москве, а потом в СМЕРШе, где функция прокурора была простой — штамповать решения военно-полевых судов...

Батуринский был, разумеется, членом партии. Если в 19-м веке для еврея свидетельство о крещении было, по выражению Гейне, «входным билетом в европейскую культуру», то в Советском Союзе членство в партии если и не яштялось полной компенсацией «сомнительной» национальности, то все-таки помогало приблизиться к подступам власти, хотя главные вершины не могли быть взяты никогда.

Свифт пишет, что когда в Лилипутии «открывается вакансия на важную должность вследствие смерти или опалы (что случается часто) какого-нибудь вельможи, пять или шесть соискателей подают прошение императору разрешить им развлечь его императорское величество и двор танцами на канате. Тот, кто прыгнет выше всех, не сорвавшись с каната, получает вакантную должность». Батуринский зна1, что его главная цель - не «прыгнуть выше всех», об этом не могло быть и речи, а попросту не сорваться с каната, что было очень легко в то кровожадное время. Он был помощником главного военного

прокурора, он был на генеральских должностях, но звания генерала так и не получил. Он сам прекрасно всё понимал и говорил о себе в домашнем кругу: я — ученый еврей при генерал-губернаторе.

Выйдя в отставку, Батуринский стал таким ученым евреем, ответственным за шахматы, при председателе Спорткомитета СССР Павлове. Но он был не просто ученым евреем при губернаторе, он был еще и, выражаясь старинным языком, имперским евреем, пришедшим на эту должность с очень высокого поста. Вот почему он был безжалостен в первую очередь к евреям же.

Юдофобство евреев — известный синдром. В советских условиях для объяснения этого синдрома не надо было прибегать к психологическим изыскам; это являлось скорее защитной реакцией тех, кто достиг определенных высот: обвинение в сионизме означало не только конец карьеры, но и потерю свободы, а нередко и жизни. С одной стороны, Батуринский был пожилой еврей, где-то по-своему и симпатичный, могущий вставить и словцо на идише — следствие его одесского детства, с другой — совершенно преображавшийся на службе. Он последовательно проводил государственную политику в той области культуры, где присутствие евреев особенно чувствовалось. Разумеется, он, как и высокое начальство, должен был мириться с тем, что многие вьщающиеся шахматисты — евреи, но в любом другом случае... Он без колебаний вычеркивал еврейские фамилии из списков кандидатов на стипендию, на зарубежные поездки, из представлений на звания.

В 1978 году в кабинете редактора еженедельника «64» Нейштадта раздался телефонный звонок. «Слушай, Яков Исаевич, я только что из Комитета, надо нам встретиться, обсудить кое-что», — услышал он в трубке голос начальника отдела шахмат. На следующий день Батуринский так начал служебный разговор: «Понимаешь, начальство поручило мне поговорить с тобой. Посмотри на национальный состав сотрудников газеты, ведь одни евреи...»

Иосиф Дорфман помогал Полугаевскому в подготовке к матчу с Корчным (1980) и собирался ехать в Буэнос-Айрес. После окончания сбора расстроенный Полугаевский сообщил ему: «Знаешь, я только что разговаривал с Батуринским. Ты не едешь: он сказал, что в этом случае в делегации будет слишком много евреев».

Сталина в кругу лояльной еврейской интеллигенции называли Балабос — большой начальник, строгий хозяин. Таким же стал и Батуринский для шахмат.

«Где твой отчет?» - спрашивал он у Ваганяна, вернувшегося из-за границы. В духе того времени он, как начальник, говорил всем, за исключением элитных гроссмейстеров, «ты», а они ему, как подчиненные, «вы». «А я уже вчера в Комитет сдал, Виктор Давыдович»,

— ответил Рафик. «В Комитет, значит, - хмурился Батуринский. — А кто тебе начальник, я или Комитет?» — наступал он на одного из сильнейших тогда шахматистов мира.

Также вполне в духе времени он легко допускал в своей речи непечатные выражения, особенно когда терял контроль над собой. После межзонального турнира в Биле советские участники делали покупки в Цюрихе, условившись встретиться у автобусика, отвозившего их прямо в аэропорт. Все были в сборе, но один гроссмейстер опоздал минут на десять, и Батуринский стал крыть его почем зря. «Ты — мудак! Мудак!» — в ярости кричат он и, обращаясь к шоферу, спросил: «Vouz comrenez monsier qif est-ce que c'est mudak?» — «Non», — виновато отвечал тот, моргая глазами. «Вот что такое mudak!» — и Батуринский сделал жест, помогающий швейцарцу понять, что означает это слово.

Вместе с тем в его грубости было что-то комичное; я думаю, что он мог бы играть какую-нибудь комедийную роль, не прибегая к гриму и просто оставаясь самим собой. Маленький, толстенький, пыхтящий, с постоянно хлопающими глазами. Миша Таль так и назвал его как-то: «Этакий мопс». В ответ на что Гулько мрачно заметил: «Кому мопс, а кому и барбос!»

У него был характерный голос с рыкающими интонациями, так что создавалось впечатление, что ты в чем-то виноват, только сам не знаешь в чем. В «Трех толстяках» граф Бонавентура считается очень умным и очень хорошим человеком только потому, что от его голоса «получалось ощущение выбитого зуба», что высоко ценилось в государстве. Похожее чувство возникало при общении с Батуринским. Каждый, кто заходил в его кабинет, должен был считаться с тем, что нарвется на грубость, разнос, топание ногами, брызгание слюной.

«Это почему же ты на день позже вернулся? Пиши объяснительную записку», — начал он отчитывать гроссмейстера, прилетевшего с зарубежного турнира. «Да забастовка была, Виктор Давидович, забастовка пилотов...» - стал оправдываться тот. — «Забастовка? А кто разрешил?!»

На Мальтийской олимпиаде женская сборная СССР сыграла вничью с китаянками. Тогда это была сенсация. «Как вы могли допустить такое, Нонна? Вы ведь член партии! — кричал он на Гаприн-дашвили. — Вот завтра, когда Москва будет звонить, я вам передам трубку — придется вам объясняться». Напомню: год

был 1980-й, и отношения с Китаем были тогда на редкость напряженные.

Но и чувством юмора обладал. В 1973 году Таль играл в Гастингсе. В гостинице, как это нередко бывает зимой в Англии, было холодно. Таль простудился и сообщил об этом позвонившей ему жене. Та, не долго думая, обратилась к Батуринскому за помощью. «Что я вам могу посоветовать, — сказал Виктор Давыдович. — Попробуйте отправить в Гастингс дрова или уголь...»

Батуринский — автор и составитель многих шахматных книг. Несколько лет он работал с Ботвинником над фундаментальным трехтомником его партий. По словам Виктора Давыдовича, Ботвинник настаивал на включении в него своей статьи об алгоритме в шахматах; Батуринский возражал. «Вы ничего не понимаете в этом, — заявил Ботвинник. — Можете выкинуть все мои семьсот партий, ибо идея, касающаяся программы, более важна для человечества: если ее осуществить, она станет в один ряд с изобретением огня!» — «Хотя я считал, что тема статьи не соответствует профилю книги, я вынужден был подчиниться», - бесстрастно замечает Батуринский.

Написал и книгу воспоминаний. Мне кажется, что его мемуары интересны для будущего историка не столь содержанием, сколь манерой мышления человека, жившего в то время, в той системе координат. Когда книга вышла, многие остались разочарованными: «Что же вы, Виктор Давыдович, только по поверхности прошлись. Вы же знаете гораздо больше, мы и сами от вас кое-что слышали...» Отвечал: «Не пришло еще время...» Он полагал, что секреты, которые он не выдаст, будут лучше сохранены в истории.

Мало кто знает, что Батуринский писал не только о шахматах. Когда в середине 50-х годов хлынул поток книг о подвигах чекистов, умных и добрых следователях, он понял, что может написать не хуже. Говорил ведь Козьма Прутков «Я поэт, поэт даровитый! Я в этом убедился; убедился, читая других: если они поэты, то я тоже!» Виктор Давыдович был способный, энергичный, по-советски образованный человек, и его потянуло к большой литературе.

В конце 50-х он написал пьесу, как он сам выразится годы спустя, - в стол. Но тогда он так не думал, вернее даже не знал этого понятия, потому что означало оно совсем иное: полная невозможность опубликовать свое произведение. Порой из письменного стола писателя рукописи перекочевывали на полки КГБ, случалось, их судьбу разделял и сам автор. Батуринский попытался проделать обратный путь.

На литературном поприще подвизались многие его коллеги. Высшие чины МВД Матусов и Свердлов сочиняли детективы. Отставной генерал-лейтенант КГБ Павел Судоплатов работал в издательстве «Детская литература» и в содружестве с бывшей коллегой Ириной Гуро писал книги под псевдонимом Анатолий Андреев. Полковник КГБ Зоя Рыбкина стала детской писательницей Воскресенской, а мягкий, с профессорскими манерами экс-комиссар госбезопасноста по вопросам культуры генерал Ильин возглавил Московское отделение Союза писателей.

Пьеса Батуринского носила романтическое название «Всегда в строю». Не уверен, не было ли уже такого названия. Впрочем, почему бы и нет. Чем оно хуже, чем «Секретарь обкома», «Щит и меч» или «Свет над землей»?

Содержание излагает сам Батуринский: «Капитан Советской Армии, будучи ранен, попадает в плен; из немецкого лагеря бежит, никаких компрометирующих его поступков не совершает. После войны его арестовывают и фабрикуют дело об измене Родине. Есть в пьесе и карьеристы, есть и честные чекисты, есть объективные свидетели и запуганные люди, дающие ложные показания. Есть и любовь. В 1953 году капитана реабилитируют».

Такая вот пьеса. Сам автор откровенно признался, что, используя свою полковничью форму, он пробился к ведущим тогда режиссерам - А.Попову и Н.Охлопкову. Перед этим показал пьесу Льву Шейнину, другу и коллеге, старшему следователю прокуратуры СССР, ближайшему соратнику и ученику Вышинского, автору расхожих «Записок следователя», которыми зачитывалась вся страна. Батуринский знал, что произведения того времени оказывались оценены еще до того, как их прочтут, собственно даже до того, как их напишут. Связи в издательствах, репутация пишущего, идейное содержание играли куда большую роль, чем литературные качества написанного.

Попов, который был художественным руководителем Театра Советской Армии, ознакомившись с пьесой, прямо спросил Батуринского: «Вы что, «там» работали?» И получил ответ: «Я работал не «там», а в военной прокуратуре», — что для Попова прозвучало наверняка не менее зловеще... Хотя режиссеры не решились прямо отвергнуть пьесу, разумеется, она никогда не была поставлена.

В годы «перестройки» Виктор Давыдович вновь обратился к пьесе, но, по его словам, она показалась профессиональным литераторам слишком пресной; точнее, они не решились и тогда сказать автору горькую правду. Один из самых известных драматургов страны вспоминает, как Батуринский, выслушав его

замечания, предложил ничтоже сумняшеся: «Если вы поправите какие-то места, я не возражаю, чтобы пьеса вышла за двумя именами...»

Звездный час Батуринского — матч между Карповым и Корчным в Багио (1978). Он был руководителем советской делегации и в таком качестве стал одним из главных действующих лиц этого поистине шекспировского действа. Дело тут, конечно, не в шахматной роли, хотя он и гордился, что при доигрывании 13-й партии Карпов использовал предложенную им идею (ему было важно не столько «попасть в историю», как написал позже Карпов, сколько не попасть в «историю» в случае неудачного для Карпова исхода матча).

Батуринский прекрасно знал, на каком уровне интересуются этим матчем. В приемной Павлова стоял шахматный столик, у которого во время партий в Багио постоянно дежурил кто-то из гроссмейстеров, чтобы дать компетентную справку, если позвонят из секретариата ЦК. Раздавались звонки и в ЦШК, звонили помощники генерального секретаря — Цуканов, Александров-Агентов; по словам очевидцев, Брежнев сам по нескольку раз на дню спрашивал: «Как там наш Толик?»

На всех заседаниях апелляционного жюри матча, в меморандумах, записках и заявлениях Батуринский с блеском отстаивал позицию советской стороны, доказывал свою правоту, раз за разом оставляя вражеский лагерь в растерянности, гневе и бессилии. Инеке Баккер, тогдашний секретарь ФИДЕ, вспоминает, что Батуринский не только всё знал, но и помнил многое наизусть — правила, параграфы, законы, статьи, — и был очень хорош в их интерпретации: «Здесь записано так, но надо понимать этак, вы не обращаете внимания на оговорку этого пункта...» И так далее.

Но и Корчной, называвший тогда Батуринского «заплечным дел мастером» и «человеком по общепринятой морали преступником», сегодня, спустя четверть века, говорит: «Хотя Батуринский был послушный солдат и хорошо исполнял приказы начальства, он был прекрасным юристом, и это его заслуга, что тогда в Багио советские так замечательно держались на переговорах и что Карпов обязан ему многим, очень многим. Батуринский был достойный защитник его, всей системы, и роль свою выполнил блестяще».

Еще до начала матча разгорелась дискуссия, имеет ли право Корчной, живущий в Швейцарии, но не являющийся ее гражданином, играть под швейцарским флагом. «Нет, — заявил Батуринский, — если у Корчного нет швейцарского гражданства, он не имеет права играть под швейцарским флагом». А когда

представители претендента стали возражать, он просто вышел из зала, громко хлопнув дверью.

Резко обрывал Помпей сицилийцев, ссылавшихся на традиции старинных законов: «Перестаньте приводить статьи законов тому, у кого за поясом меч». В отличие от Помпея Батуринский не имел за поясом меча, зато он знал, что за ним возвышается могучее государство, представителем которого он являлся. И когда не действовали больше статьи законов и пункты уставов, мог просто хлопнуть дверью, утверждая за собой это право.

Ему удалось добиться своего, и эта первая маленькая победа за столом переговоров открыла длинную серию побед на протяжении трехмесячного матча. «Батуринскому, — сказал в тот день Корчной, — удалось доказать, что я не предстаатяю никого, что я — никто, что я пришел ниоткуда и что охота на меня открыта».

Не удивлюсь, если именно Батуринскому пришла в голову идея включить в делегацию доктора Зухаря, - факт, сыгравший, полагаю, решающую роль в исходе борьбы: мнительный претендент потерял покой, и немалую долю его энергии и мыслей стали занимать вопросы, не имеющие отношения к шахматам. Зухарь был обнаружен уже в самом начале марта, но на все запросы Батуринский с достоинством отвечал: «Придет время, мы вам скажем, кто это такой, а пока это турист!» Вызывая тем самым еще большие подозрения у Корчного.

После того как профессия Зухаря была установлена (психолог и невролог), Батуринский задался целью представить Корчного ненормальным человеком, который даже обычную помощь науки спорту считает магией. Броскими заголовками типа «Шахматный матч на Филиппинах — не полигон дтя холодной войны» были украшены многие его заявления. В конце концов было достигнуто «джентльменское соглашение» о местонахождении Зухаря в зале, нарушенное советской стороной во время последней, 32-й партии матча. В ответ на заявление Кина о нарушенном соглашении Батуринский произнес знаменитую фразу: «Считайте, что мы не джентльмены». История, которую он любил рассказывать в лицах по возвращении в Москву.

Ни для кого не было секретом, что Корчной любит внимание прессы. Он и сейчас редко отказывает в интервью, и журналистам не составляет большого труда растормошить его, вызвать на откровенность, увести от шахмат в другие сферы. Думаю, что те, кто тогда «разрабатывал» Корчного в КГБ, не могли пройти мимо это-'го факта.

Вспоминает Лев Альбурт: «Это было в Москве, вскоре после

матча в Багио. У меня всегда были хорошие отношения с Батуринским, в тесной же компании, в которой мы встретились, его потянуло на откровенность. Он поведал, что по прибытии на Филиппины связался с двумя журналистами из таиландской газеты довольно правого направления, бывшими в действительности если и не советскими агентами, то во всяком случае настроенными очень просоветски. Батуринский объяснил им задачу и обеспечил приезд в Багио. Как и ожидалось, Корчной легко согласился на интервью, в ходе которого журналисты от шахматных проблем постепенно перешли к внешней политике Филиппин.

«В здешней печати идет ожесточенная кампания за вывод американских военных баз, и в поисках политической, финансовой, экономической помоши филиппинское правительство ориентируется отнюдь не на ближайших соседей», — заявил Корчной. После чего обрушился и на Кампоманеса, заигрывающего с Советами, и на самого президента Маркоса, употребляя очень сильные выражения. Газета с этим интервью поступила в советское посольство в Маниле, текст был переведен, затем через помощников Маркоса попал на глаза президенту, который, разумеется, не был доволен высказываниями претендента. Разъярен был и Кампоманес. Начиная с этого момента он, старавшийся до того соблюдать хотя бы внешний нейтралитет, был полностью на советской стороне. «Он даже принимал участие в наших совещаниях, где разрабатывались методы борьбы с корчновским лагерем», — хвастал Батуринский».

«Для пользы дела и церкви нечего бояться и крепкой лжи», - говорил Лютер. «Для пользы дела и церкви» Батуринский не гнушался ни крепкой лжи, ни многого другого, чем не брезговало государство, которое он тогда предстаатял.

Интересны мнения людей, знавших Батуринского в ту пору, когда он возглавлял советские шахматы.

Борис Спасский: «Наши отношения были строго разграниченны: я был государственная собственность, солдат на шахматном фронте, а он — высокопоставленный офицер. Он был в первую очередь -служака. Был ли он умный - не берусь сказать, но талант к интриге у него был; это, конечно, другое, нежели ум. Была тогда еще фигура очень зловещая — Юдович, известный своими связями с КГБ. Помню, как-то в Югославии они вдвоем плели свои кагэбешные интриги, я вошел к ним в комнату и сказал: «Не вернется 37-й год, запомните — не вернется!» С тем и оставил их. Да и Крыленко этот, которым они восторгались...»

Анатолий Карпов: «Он был замечательным администратором, и если бы мне снова пришлось играть матч на мировое

первенство, я, не задумываясь, пригласил бы его на роль руководителя делегации, ведь он представлял меня с 1978 по 1985 год в четырех матчах, и представлял достойно».

Виктор Корчной: «Разговор о Батуринском - это разговор об историческом прошлом, далеко выходящий за рамки шахмат; это история фашизма и коммунизма, и начинать здесь следует с разницы между этими двумя формациями. Фашизм был уггичтожен во время последней войны, а коммунизм остался в живых и был разбит только несколько десятилетий спустя. И к осколкам этого разбитого прошлого и относится Батуринский. Хотя он был только полковником, чин, может быть, и не такой высокий, но в свое время он занимал пост заместителя главного прокурора армии. Что это значит — объяснять не надо: на его счету тысячи жизней, конечно. Хотя лично своими руками, он никого, разумеется, не убил».

Исер Куперман был чемпионом мира по стоклеточным шашкам и до своей эмиграции из СССР встречался с Батуринским множество раз: «От него зависело очень многое: привилегии, стипендии, отличия, но самое главное - зарубежные поездки. Эти поездки были мощным оружием в руках Батуринского. С листом приглашений, поступивших в адрес федерации, он обходил начиная с чемпиона мира всех ведущих гроссмейстеров, принимая во внимание не только силу их игры, но и влияние наверху. Личные, именные приглашения тут не играли никакой роли, нередко приглашенный даже не узнавал об этом или узнавал случайно спустя годы. Список оставшихся турниров поступал в федерацию, которая занималась уже распределением остального. Он был решительным, хитрым и безжалостным человеком, но обладал удивительным видением людей и очень хорошо чувствовал их намерения. Еще задолго до того, как официально взошла звезда Карпова, Батуринский понял замечательным чутьем своим, на кого надо сделать ставку, и помогал тому безоговорочно и при любых обстоятельствах».

Лев Альбурт: «Он был, конечно, холуем и цербером одновременно, но старался при этом сохранять собственное достоинство. Конечно, он давил, когда надо было давить, брал подарки, вероятно, и взятки, как это делали тогда все наверху, но не так, чтобы выделяться как-то в этом смысле.

Когда он приехал в Одессу в 1974 году, ему было шестьдесят; у него недавно умерла жена. Я пригласил его в ресторан, он ожидал, что я начну просить о поездке на турнир или каком другом одолжении. Я же создал приятную атмосферу: было весело, было вино, девушки... Кличка Батуринского была Царь. Он об этом знал, конечно; это говорилось ему почти в лицо, в

открытую. Там же за столом он сказал, что я должен говорить ему «Виктор», можно и «ты». С девушкой, с которой я его познакомил, он вел себя безукоризненно, он вообще был щедрым... Она у нас проходила потом под кличкой Царская невеста.

Как-то, разоткровенничавшись, он сказал: вот обо мне говорят — приказы подписывал. Это правда, я осуждал людей на тюрьму, лагерь, смерть. Но не делай этого я, это делал бы кто-нибудь другой, так ведь? А очутись я на передовой во время войны с моим пятым пунктом, с моим слабым здоровьем — наверняка бы погиб... Вот Наглис говорит, что видел мою подпись на отказе ему в пересмотре дела. Это была моя работа, я делал то, что прикажут. Зато, когда он вышел из заключения, я старался помочь ему и с устройством на работу, и в других делах».

Юрий Авербах: «Будучи главой советских шахмат, Батуринский не только играл роль — все играют роли, - он еще и получал удовольствие от этого. Как третьеразрядный актер, получивший раз в жизни возможность сыграть Гамлега. Он дорвался до власти и, когда командовал, получал от этого полное удовольствие, и все это видели».

Инеке Баккер по долгу службы часто бывала в Советском Союзе: «У меня с Батуринским были очень хорошие отношения. Он был умный человек, с прекрасно развитым чувством ситуации, отношений, оценки людей. Мы говорили по-французски. «Moi poliglotte», — шутил он... Он говорил с ошибками и с сильным акцентом, но мы понимали друг друга. В 1973 году я была в Ленинграде, мы долго гуляли по городу, потом поехали на кладбище, он показывал мне могилы погибших во время войны, тех, кого знал лично. Он плакал тогда, где-то он был очень чувствительный...

Конечно, я знаю, кем он был до того, как стал во главе шахмат, но я видела его в другом качестве. Я думаю, что советские шахматисты ему многим обязаны. Конечно, не всё было так уж розово при его правлении, но такие уж были времена... Он чувствовал юмор, и, когда Эйве начинал острить, Батуринский всегда подхватывал шутку. Я понимала кое-что по-русски, немного, общий смысл; иногда смеялась, когда на переговорах они общались между собой по-русски, и они всегда чувствовали, если я понимаю. Порой у нас с Батуринским бывали очень жаркие беседы, у него была очень эмоциональная манера разговаривать, нередко ударяя кулаком по столу. Как-то я в ответ тоже пристукнула кулаком. Он опешил и удивленно взглянул на меня, явно не ожидая такой реакции».

Хотя он сам говорил, что в шахматах был не только администратором, но вряд ли был бы помянут сейчас только

потому, что имел такую замечательную библиотеку, составил несколько книг, написал воспоминания или когда-то побеждай гроссмейстеров и мастеров. На протяжении почти двух десятков лет он возглавлял советские шахматы, был советским администратором в том полном смысле этого понятия, которое сейчас уже трудно восстановить.

Его опыт написания речей, знание параграфов и законов очень пригодились ему на шахматной работе: Батуринский был настоящим докой в составлении отчетов, циркуляров, докладных, приказов или прошений. Все подаваемые ему бумаги тренеров, работавших в Клубе, он исчиркивал, поправлял лично; но мнению людей, знавших его, он был очень дельным и хорошим организатором.

Он был, конечно, типаж. Типаж, встречающийся в разных формациях и в разных странах, и его пример — колесика в огромной системе власти — вневременен, такие люди есть и всегда будут. Генрих в «Драконе» в свое оправдание заявляет: «Я ни в чем не виноват, меня так учили». В ответ Ланцелот говорит: «Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая?»

От определения Аррабаля, называвшего Батуринского черным полковником и поставщиком эшафота, до утверждений, что он был добрейшим человеком, поместилась значительная гамма тонов и полутонов. В конце концов подавляющее большинство людей не походит на человека, который, указывая на звездное небо, говорит: вот моя совесть.

Он делил всех на «своих» и «чужих», и те, кто знал его с какой-то одной стороны, твердо стоят за своего Батуринского. Безоглядная службистекая жесткость, ревностное исполнение любого приказа, даже самого аморального, уживались в нем с искренней любовью к шахматам, шахматной литературе, с эрудицией, где-то и с добродушием, юмором, умением держать слово.

Игорь Зайцев, проведший под началом Батуринского долгие годы, пишет, что «все воспоминания об этом более чем 20-летнем активном периоде окутаны в моей памяти самыми приятными и волнующими впечатлениями», утверждает, что «шефе-делегасьон», как тогда называли Батуринского, в действительности являлся очень отзывчивым и добрым человеком. И он, конечно, прав по-своему, так же как были правы секретарши главы Третьего рейха, когда называли его милейшим и корректнейшим человеком, никогда не забывавшим поздравить с днем рождения или справиться о здоровье ребенка.

Я спрашивал у многих, был ли он умным? И почти все — и

друзья, и недруги — отвечали: да, конечно, он обладал практическим умом. Быстро всё схватывал, обладал способностью лавировать, был прозорливым, умел видеть человека, его намерения и желания, понимал, что хочет начальство, не попал в немилость, наконец, в отличие от многих коллег не был репрессирован и умер в своей постели.

Философы Древней Греции или Рима пожали бы плечами, выслушав эти определения ума, но для Советского Союза такой ум пришелся как раз впору. В нем отсутствуют моральные категории, что само по себе правильно, если давать уму общее определение — как способности человека мыслить и оценивать поступки не с точки зрения добра и зла, а, как это делал Спиноза, с точки зрения полезного и вредного, того, что приносит удовольствие или, наоборот, печаль и горе.

У разных эпох разные представления об уме. В одних случаях умом считается политическая прозорливость, государственная мудрость, историческое предвидение. В других — сила, ложь, лицемерие, всесокрушающая наглость. И каждая эпоха пользуется тем умом, который ей более выгоден и доступен.

Аркадий Белинков, размышляя о том времени, утверждал, что вопрос заключается в том, что люди одних представлений об уме сталкиваются с людьми других представлений. «Одни восклицают: «Ах, какие они дураки, ах, какие они ничтожества. Ах, какие у них хари!» Обладатели упомянутых харь не дураки и не ничтожества. Они лучшие представители своего общества. Ничтожно их общество, а они часто хорошие, иногда даже замечательные исполнители гнусного дела своего ничтожного общества. И ума у них довольно. И хари у них замечательные. И у них именно такой ум и ровно такие хари, какие нужны их времени и системе.

Самый гнусный самодержавный режим никогда не бывает всегда во всем и для всех гнусен. И самый гнусный, на котором растут только шипы и колючки, может заставить своих ученых создавать замечательные теории, своих техников строить удивительные машины, своих спортсменов устанавливать поразительные рекорды».

Добавлю от себя: и создавать такие условия для появления и развития шахматистов, которых не было до того нигде в мире.

Чувство опасности, умение предугадать желание начальства, почувствовать, куда подует ветер, вовремя сориентироваться, а самое главное - не высовываться, не подставляться, выработанное во время работы в военной прокуратуре, очень пригодилось потом Батуринскому. Он любил повторять своим подчиненным: «Вы знаете, какой лозунг висел до войны в одесском трамвае?

Первые шесть мест не занимать и не высовываться. Вы всё поняли: не высовываться!»

В 1974 году на матче Карпов — Корчной появился министр внутренних дел Щёлоков. «Как же вы отдали корону американцу? — возмущался он. - Я бы всех, кто там, в Рейкьявике, был со Спасским, арестовал бы». Батуринский очень гордился своим ответом министру: «А я там не был!» Вспоминает Спасский: «Во время матча с Фишером он не мог помочь мне, разве что навредить. Батуринский отлично понимал, что я проиграю этот матч, потому он и не поехал в Рейкьявик, так же, впрочем, как и Бондаревский, который еще до матча ушел от меня».

«Когда я отказался подписать коллективное письмо гроссмейстеров, осуждающее бегство Корчного, - рассказывает Гулько, - Батуринский попросил меня написать объяснительную записку. Когда я сказал, что не подписываю коллективных писем, написанных к тому же не по моей инициативе, он попросил меня написать свое персональное письмо». Всё та же манера — не подставиться, иметь оправдательный документ, заранее отвести неприятный вопрос начальства.

Чиновник — не есть человек, не имеющий собственного мнения. Только вот руководствуется он не им, а логикой инстанций. На службе — сознательно, вне службы - сам того не замечая. Он не прячется за бюрократическую машину, просто становится ее частью. Платонов говорил, что не всякое угодливое слово нравится властям: надо, чтобы это лакейское слово было сказано вовремя. Не годится, если оно произнесено с опозданием, но оно часто вызывает и гнев, если высказано до срока, - власти терпеть не могут забегальщиков.

Виктор Давыдович Батуринский знал, когда и как надо сказать слово.

Он обладал искусством менять кожу, принимая окраску, необходимую в той или иной конкретной ситуации. Поэтому он не только избежал репрессий, не только оставался на плаву, но даже шел в гору в мрачное время конца 30-х, 40-х и начата 50-х годов. Он жил и работал в той добровольно выбранной структуре, где невыполнение приказа означало гибель, поэтому о приказе вообще не задумывались, и он всегда выглядел окончательным и бесспорным. Было бы неверно сказать, что все ощущают разрушительное давление приказа, власти. Некоторые (и их немало), как глубоководные рыбы, не могут жить без такого давления.

Его образ — это образ ушедшего прошлого, уходящего в еще более далекое прошлое, а может быть, и в саму природу человека. И так ли уж насовсем ушедшего? И так ли уж гуманен мир по

глубинному своему устройству?

Нет сомнения, что, занимаясь реабилитацией жертв террора, он работал с не меньшим рвением, чем в те времена, когда подписывал ордера на арест, — вполне возможно, тем же самым людям, которых сам потом и реабилитировал. Он поступал по законам, писавшимся для него государством, даже если они, вчерашние, противоречили позавчерашним, а сегодняшние — вчерашним. И, раз. вступив на этот путь, Виктор Батуринский не мог свернуть уже никуда. Попав в эту колею, он сам стал олицетворением жестоких законов того исчезнувшего государства.

По Канетти, после каждого приказа у получившего приказ остается жало, от которого он избавляется, отдавая приказ нижестоящим. Стрелами, попавшими в него, он жалит теперь других. Но он продолжает получать приказы и, избавляясь от старых жал, накапливает новые.

Известно, что люди, действующие по приказу, способны на самые ужасные поступки. Жизнь, которую они ведут потом, ничуть не окрашена этими прошлыми поступками. Они не чувствуют ни вины, не раскаяния; эти поступки не стали частью их существа. И они с отвращением прогнали бы мысль подвергнуть кого-то пытке. Они не лучше, но и не хуже тех, среди которых живут. Многие из тех, кто знает их в повседневной жизни, готовы поклясться, что обвинения против них несправедливы. Виновный винит не себя, а жало - приказ. И это жало является постоянным свидетелем того, что не он совершал эти поступки. Поэтому люди, действовавшие по приказу, считают себя полностью невиновными.

Я думаю, что, подписывая бумаги в своем ведомстве, Виктор Батуринский видел только параграфы и статьи законов. Требуя тюремного заключения на десять, пятнадцать лет, равно как и высшую меру, он лично не испытывал никаких угрызений совести, он просто выполнял порученную ему работу. По свидетельству людей, работавших с ним во второй половине его жизни, у него абсолютно не было эксцесса исполнителя.

Оберштурмбанфюрер Ганс Рёсснер возглавлял в Главном управлении имперской безопасности подразделение науки, культуры и искусства, специализируясь на вопросах национал-социалистского мировоззрения. Удачную карьеру разрушило поражение Третьего рейха. После войны, отбыв свой срок, он начал работать в известном либеральном издательстве «Piper Verlag», впоследствии став его директором. Он был неизменно ровен, доброжелателен и трудолюбив. Ни авторы, ни сотрудники не могли припомнить в его поведении ни единой «коричневой

ноты». Насколько искренен он был? Немецкий историк Михаэль Вильдт, автор недавно вышедшей книги «Поколение обязательных», утверждает, что в глубине души — Рёсснер умер в 1999 году - тот оставался «старым наци».

«Поколение обязательных» было и в Советском Союзе; Но Советский Союз выиграл войну. И этому поколению не надо было ничего скрывать и в чем-то раскаиваться. Батуринский искренне полагал тогда, что грядет возвращение к ленинским нормам, почитая их за высшую форму демократии, и уже много позже, в 1990 году, вспоминал о Крыленко как о «незаурядном ораторе, выдающемся революционере-ленинце, который выступал против псевдоюридических теорий Вышинского, служивших обоснованием массовых репрессий». Забывая при этом, что человек, сделавший для развития шахмат в стране больше, чем кто-либо другой, отправил на эшафот тысячи невинных людей.

Он был способный и многоопытный человек, но с опытом умирания организма он, как и все, столкнулся впервые. За два года до смерти сказал Карпову: «Я никак не предполагал, что доживу до таких лет, иначе не женился бы на такой молодой женщине; ведь между нами разница в тридцать шесть лет, и ей придется исполнять роль сиделки при мне. Если я совсем ослепну, я без колебаний всё прекращу».

Подобные мысли посещают на склоне лет многих людей, но лишь единицы решаются на такой шаг. Я думаю, слова Батуринского скорее говорили о его темпераменте, чем о продуманном желании. Постулат Честертона «всё прекрасно по сравнению с небытием» больше вписывался в его мировоззрение, ибо старость еще не так плоха, если учитывать альтернативу. По духу своему он принадлежал к той же категории людей, что и Ботвинник, говоривший о себе с гордостью: «Я материалист» - и жизнью своей, и смертью доказавший это на деле.

Множество людей к концу жизни резко меняют ее течение. Чаще всего впадают в религию, сожалеют о грехах молодости, ошибках, которые уже не исправишь, мучаются угрызениями совести... Примерам этим несть числа. Восьмидесятилетний Даниил Гранин, вспоминая двадцатитрехлетнего лейтенанта Гранина, пишет, что вряд ли нашел бы с ним общий язык, а если бы встретился с собой тридцатилетним, то возненавидел бы того человека. Это чувство, уверен, было совершенно незнакомо Батуринскому: он жил в ладу с самим собой.

Мне казалось, что в его биографии было множество фактов, которые нельзя изгнать из памяти, но которые были, были. Эти факты и события, казалось мне, должны были бы сейчас, в самом конце жизни, вызвать у него сожаление или даже раскаяние.

Ничуть не бывало. Он скрывался за формулой, годной на все времена — Юлия Цезаря, Людовика XIV, Сталина или Брежнева: такое было время, и в точности, как Ботвинник, отвечал на мой прямой вопрос: «Нет, ни о чем не жалею... Может, и допускал какие просчеты, но больше по мелочам».

Думаю, что слова Ивана Петровича Белкина: «Вникнем во всё это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием» — он бы просто не принял. Негодовать на него было, как он полагал, не за что, тем более он не понял бы, почему ему надо сострадать. Неизбежность смерти может испугать лишь человека, у которого нечиста совесть по отношению к собственной жизни. Я не заметил у него такого испуга.

В старости, в преддверии неумолимого и неизбежного, многие пытаются, подводя баланс, обдумать былое и попытаться с вершины возраста и опыта взглянуть на прожитую жизнь и совершенные поступки. Я не думаю, чтобы он сбивался со счета, ведя такую душевную бухгалтерию; свой баланс он обозначил раз и навсегда: я ни о чем не жалею и мне нечего стыдиться.

Медики меня засмеют, но я считаю, что это внутреннее согласие с самим собой, искреннее убеждение в правильности жизни способствует долголетию. Отсюда и его долголетие, как и долголетие Ботвинника, Кагановича или Молотова. Потому что не раздирают внутренние переживания, не занимаешься самоедством, не отравляешь негативными эмоциями оставшиеся крупицы жизни — разве что вздыхаешь о старых временах, наведя лупу на газетную строку.

В самом конце своей книги, изданной в 1990 году, Батуринский, размышляя о том, должен ли автор вносить изменения в то, что было написано давно, или вовсе убирать непопулярные ныне имена политических деятелей, сам ответил на этот вопрос отрицательно, защищая свое прошлое, огромную страну, вступившую в последние месяцы своего существования. Но не стал юлить, перестраиваться, отрекаться от себя, не вступил на путь Калугиных и гордиевских, остался самим собой, не скрылся за новыми модными лозунгами, как сделали многие, очень многие в постсоветское время. Он придерживался ложных концепций, но не лгал, и, пытаясь дать оценку его жизни, поневоле задумаешься над печальными словами: «Tout 1e mond a raison»[18].

Всё реже становились звонки, уже почти не осталось друзей, всё понимающих без слов. По праздникам он по-прежнему надевал все ордена и медали, которые получил от Родины, и они едва умещались на обоих бортах его пиджака. Он очень ревностно

относился к своим многочисленным титулам; в книгах, которые он выпустил, в юбилейных статьях, посвященных ему, немалое место занимает перечисление всех его регалий, званий, должностей — по сути, несколько лишних слов для некролога. За несколько месяцев до смерти Керенский сказал: «Мне уже почти девяносто, а я всё живу, живу. Что это — миссия? Или наказание? Наказание долголетием и всезнанием. Я знаю то, чего уже никто знать не может».

В самом конце уже почти ничего не видел: глаз его реагировал только на свет и тьму. Он, всю жизнь такой энергичный, деятельный — в работе, в писательстве, в собирании книг, в общении с людьми, — кричал в телефонную трубку, раздражаясь на собеседника, на свою немощность, на судьбу: «Не слышу, говорите громче, не слышу...» В последние месяцы, случалось, просил набрать чей-то еще оставшийся в памяти номер и говорил: «Я сейчас на учебнотренировочном сборе. Вы знаете, где меня найти. Записывайте мой телефон...» И дальше шел уже совсем непонятный набор слов, пока домашние не отнимали трубку и не извинялись.

Виктор Давыдович Батуринский умер в ночь на 22 декабря 2002 года.

Плохие люди выигрывают, когда их лучше узнаешь, а хорошие — теряют. Коллеги и сослуживцы Батуринского говорят о нем как о человеке суровом, но справедливом, вспыльчивом, но отходчивом, жестком, но принципиальном. Легким в повседневной жизни, в общении со «своими». Видно, и впрямь в серьезных делах люди проявляют себя такими, какими им подобает выглядеть, а в мелочах — такими, какие они есть на самом деле.

В нем, как и в каждом из нас, было много самых разных людей. Один — гневно распекающий гроссмейстера в своем кабинете. Другой — отстаивающий изо всех сил интересы государства в матче на первенство мира. Третий — рьяный собиратель и знаток шахматных книг. Четвертый — требующий в короткой речи высшую меру наказания. Пятый — благословляющий на идише Купермана, уезжающего навсегда в Америку. Шестой — с сигарой и рюмкой коньяка, пытающийся объяснить что-то по-французски Эйве в баре амстердамской гостиницы. Седьмой — корпящий над обвинительной речью для главного прокурора армии. Еще один — в задумчивости стоящий перед старым, обшарпанным одесским домом...

Умный и циничный, держащий слово и жестокий, щедрый и прагматичный, грубый и мягкий — это был всё один и тот же человек, смешной и страшный, остроумный и тупой. И долгими

раздумьями понял я, что всё, что бы ни сказал о нем, и каких бы умников и философов ни звал бы себе на подмогу, всё будет однобоко, неточно, расплывчато и мелко по сравнением с тем, что может вместить человеческая душа. А вместить она может — всё.

И зная очень хорошо, что о том, что нельзя высказать словами, лучше всего промолчать, попытался все же сказать то, что сказал.

Январь 2003

Фотографии



«Вторая жизнь» Генны Сосонко:на фоне типичного амстердамского пейзажа



В своей «первой жизни», еще в Советском Союзе. Геннадий Борисович Сосонко был тренером Корчного



Чемпион мира Михаил Моисеевич Ботвинник. 1960-е годы



Москва, 1960. Маэстро Кобленц наблюдает за совместным анализом Таля и Ботвинника



Николина Гора, 1951. Михаил Ботвинник со своим тренером Вячеславом Рагозиным готовится к матчу с Бронштейном



Автор книги с двумя легендарными чемпионами. С Михаилом Ботвинником (Брюссель. 1988)...



...и с Михаилом Талем (Брюссель. 1987)



Чемпион мира Михаил Нехемьевич Таль. 1960-е годы



В Клубе на Гоголевском. Ответственный секретарь журнала «Шахматы в СССР» Яков Нейштадт с чемпионами мира Петросяном и Талем



Репортаж с места событий ведет Александр Кобленц!



Лев Полугаенский — обаяние таланта



Чемпионат СССР. 1973. Виктор Корчной, Анатолий Карпом и Тигран Петросян — равнение на Полугаевского!



Лев Полугаевский еще не знает, что с годами Виктор Корчной станет его «злым гением»



Лев Полугаевский и Рафаэл Ваганян — печальный Пьеро и жизнерадостный Арлекин



Косе Рауль Капабланка со своей красавицей женой Ольгой Чаголаевой



Незабываемая первая встреча с Ольгой... Манхэттен. Нью-Йорк. 6 мая 1984 года



Ольга Капабланка: «Какой ом был? Он был король! И во всем держал себя как король»



Исторический матч в Буэнос-Айресе с Александром Алехиным (1927)



Григорий Яковлевич Левенфиш. Одна из трагических фигур советских шахмат. «Был всегда как одинокий одичалый волк», — говорил о нем Ботвинник



Москва/Ленинград, 1937. Матч С Ботвинником закончился вничью, и Левенфиш сохранил звание 11 го чемпиона СССР



В 20-30-е годы н Ленинграде было три признанных мэтра: Петр Романовский. Григорий Левемфиш и Илья Рабинович



Чемпионат СССР. 1948. Лсвенфиш экзаменует молодого гроссмейстера Давида Бронштейна



Владимир Зак.

В памяти остался очень строгий человек с яркими, я бы скатал, ассирийскими чертами лица и долгим взором немигающих черных глаз...



Ленинград, 1951 год. Боря Спасский со своим первым тренером — Владимиром Заком



Любимые ученики Зака — Борис Спасский и Виктор Корчной — под портретом Учителя. Шахматный клуб имени М. И. Чигорина. Санкт-Петербург. 1997



За острый, яркий, комбинационный стиль Алвиса Витолиньша называли вторым Талем



Семем Абрамович Фурман. Пол его отеческим оком Анатолий Карпов всегда чувствовал себя надежно и уверенно



Москва. 1951. Давид Бронштейн со своими тренерами Исааком Болеславским и Семеном Фурманом готовится к матчу с Ботвинником



Ефим Геллер и Семен Фурман — два верных помощника Анатолия Карпова



Семен Фурман.

Те, кто был знаком с ним близко, знали, что отличительной чертой его натуры была страсть!



Ефим Петрович Геллер — шахматный король Одессы



Ефим Геллер с женой Оксаной и сыном Сашей на даче в Переделкине



Владимира Багирова трудно было не заметить: даже в экзотическом амстердамском водовороте, он выделялся своим внешним видом



ЦШК, нюнь 1988 года. Михаил Ботвинник передает свой опыт юным Пикету и Широву.

Патриарху ассистируют Владимир Багиров и Генна Сосонко



Три великих «К»! Анатолий Карпов, Гарри Каспаров и Виктор Корчной на заседании Гроссмейстерской ассоциации (1987)



Виктор Корчной — «театр одного актера»



Матч с Карповым (1974) фактически подвел черту под «советским прошлым» Корчного



Корчной со своим ангелом-хранителем Петрой Лееверик



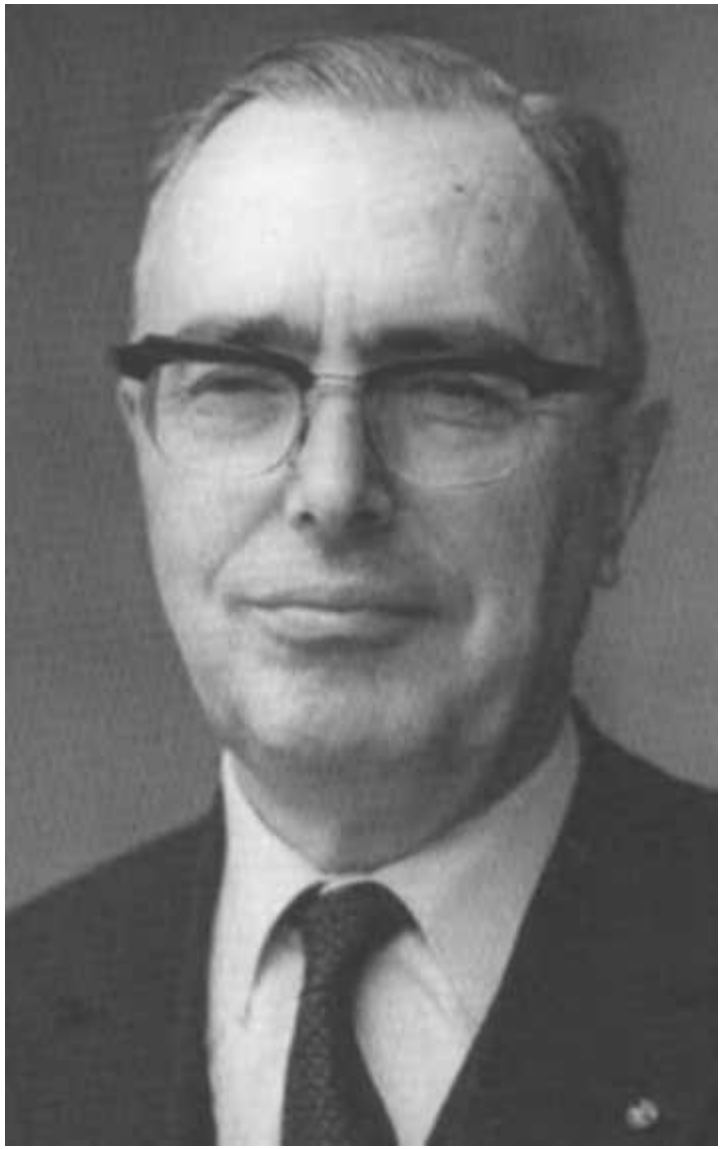
Кульминацией шахматной карьеры Макса Эйве стал выигрыш матча на первенство мира у Александра Алехина. Голландия. 1935



Элс Эйве: «Отси стал учиться вождению самолета, и мы. дети, замирали от восторга, когда он описывал круги, пролетая нал нашим домом»



Осенью 1975 года автор книги сыграл матч из двух партий с Максом Эйие. Была даже издана книга «Матч Эйве — Сосонко»



Когда смотришь на фотографии Макса Эйве разных лет. невольно приходит мысль: он родился старым и молодел с годами!



Макс Эйве обучает шахматам своих дочерей — Каролину и Элс



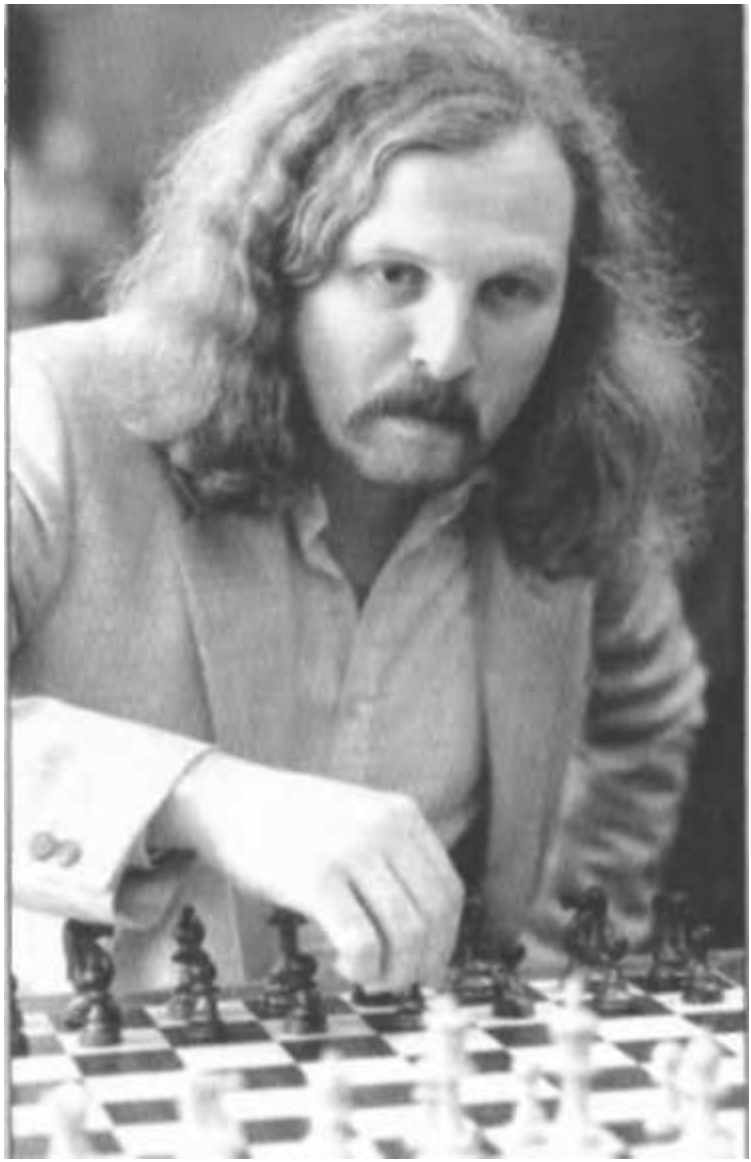
В 1932 году Сало Флор и Макс Эйве сыграли два небольших матча, которые закончились вничью. Рядом с Флором стоит



Пауль Керсс и Сало Флор. «Как молоды мы были...»



Гордость советских шахмат — венгр Ладрэ Лилиенталь и чех Сало Флор. Москва, Мосфильмовская улица, 1 мая 1958 года



Первый английский гроссмейстер Тони Майлс. С годами он стал походить на одного из мушкетеров — сначала на Арамиса, потом на Портоса



Тони Майлс никогда не считался с условностями.

На турнире в Тилбурге (1985) он «по требованию врачей» играл, лежа на массажном столе



В 70-80-с голы Ян Тимман сыграл ряд матчей с ведущими шахматистами мира. Проиграл только один — чемпиону чира Гарри Каспарову (1985)



Ян Тимман: «Конечно, докомпьютерные шахматы были и интереснее, и приносили больше удовольствия от анализа»



Рафаэл Ваганян и Анатолий Карпов — талантливые ровесники с разными судьбами



Если Тигран Петросян был королем Арменщ, то Рафик Ваганян стал ее кронпринцем



Самым памятным для Анатолия Лутикова стал... блицматч с Фишером. В 1958 году они сыграли в ЦШК около тридцати партий — Из них Лутиков выиграл почти две трети!



Анатолий Лутиков: «Жизнь шахматиста не кончается одним турниром, каким бы интересным он ни был. Все время надо думать о новых соревнованиях, готовиться к новым боям»



Эдуард Гуфельд со своей любимой фигурой — слоном g7. которого он сам же гордо именовал «слоном Гуфельда»



Эдик Гуфельд имел репутацию весельчака и остроумца, хотя ею юмор редко был добродушным



Президент ФИДЕ Фольке Рогард. вице-президенты Вячеслав Рагозин и Борис Берман на балконе Центрального шахматного клуба СССР



Михаил Ботвинник спускается по лестнице ЦШК после доигрывания партии матча-реванша с Талем (1961)



На этом блоке марок поместилась лишь малая толика дружеских шаржей Игоря Соколова, в былые годы украшавших стены Клуба на Гоголевском



Александр Котов наблюдает, как блицует легендарный директор ЦШК Борис Наглис



Виктор Батуринский два десятка лет стоял во главе советских шахмат. Умный и циничный, держащий слово и жестокий, щедрый и прагматичный, грубый и мягкий - это был всё один и тот же человек, смешной и страшный, остроумный и тупой



Директор ЦШК Виктор Батуринский провожает высоких гостей из ФИДЕ — президента Макса Эйве и генерального секретаря Инскс Баккср



Виктор Батуринский — руководитель советской делегации на матче в Мерано (1981)



Звездным часом Виктора Батуринского стал матч Карпова со «злодеем» Корчным в Багио (1978). Виктор Корчной: «Карпов обязан ему многим, очень многим. Батуринский был достойный зашитник его, всей системы, и роль свою выполнил блестяще»

СОДЕРЖАНИЕ

Г.Каспаров. Ода свободному человеку
Г.Сосонко. К российскому читателю
Часть 1. ПОДВОДЯ ИТОГИ
Две жизни
Мой Миша (М.Талъ)
Путь в бессмертие (М. Ботвинник)
«Работать, надо работать...» (Л.Полугаевский)
Шахматный король Одессы (Е.Геллер)
Я знал Капабланку
Учитель (В. Зак)
Страсть (С. Фурман)
Маэстро (А.Кобленц)
Прыжок (А.Витолиньш)
Подводя итоги (Г.Левенфиш)
Часть 2. ДОСТОВЕРНОЕ ПРОШЛОЕ
Docendo discimus (В.Багиров)
Одержимость (В. Корчной)
Профессор (М.Эйве)
Достоверное прошлое (Р.Ваганян)
Кот, гулявший сам по себе (Э.Майлс)
Тимоха (Я.Тимман)
Лука (А.Лутиков)
Эссиг флейш (С.Флор)
Улыбка Джоконды (Э .Гуфельд)
Клуб на Гоголевском
Мои показания (В.Батуринский)

Научно-популярное издание Серия «Искусство шахмат»

УДК 794 ББК 75.581 С66

Серия «Искусство шахмат» основана в 2001 году.

В оформлении использована работа швейцарского художника Мартина Лаша

В оформлении форзацев использованы работы художницы Г. И. Сатониной

Сосонко Г.

С66 Мои показания.— М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003.— 384 с: ил.— (Искусство шахмат).

ISBN 5-7905-2212-2

УДК 794 ББК 75.581

© Сосонко Г., 2003

© Издательский дом «РИПОЛ КЛАССИК», ISBN 5-7905-2212-2 оформление, 2003

Сосонко Генна

МОИ ПОКАЗАНИЯ

Генеральный директор издательства С. М. Макаренков

Ведущий редактор серии С. Б. Воронков Художественное оформление серии: Н. Ю. Дмитриева Компьютерная верстка: Е. А. Атаров Технический редактор Е. А. Крылова Корректор Е. В. Третьякова

Подписано в печать с готовых диапозитивов 07.07.2003 Формат 60x90/16. Печать офсетная Печ. л. 24,0. Тираж 3000 экз. Заказ № 3162

Адрес электронной почты: info@ripol.ru Сайт в Интернете: www.ripol.ru

ИД «РИПОЛ КЛАССИК»

107140, Москва, ул. Краснопрудная, д. 22а, стр. 1

Изд. лиц. № 04620 от 24.04.2001 г.

Отпечатано с готовых диапозитивов во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати» 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

notes

Примечания

1

Пожалуйста, господин. К вашим услугам (голл.).

2

Родина — там, где лучше (лат.).

3

Пока жизнь продолжается, всё хорошо (лат.).

4

Никогда не жалуйся, никогда не объясняй (англ.).

5

Смерть неминуема, час ее неизбежен, но неизвестен (лат.).

6

Уча, учимся (лат.).

Большое спасибо (галл.).

8

Что бы вы ни делали, мы будем бороться, бороться и бороться (англ.).

9

Кто говорит о победе? Выстоять - это всё (нем.).

10

Приличие (голл.).

11

Всегда работать *(франц.)*.

12

Делай, что должно, и будь, что будет *(*франц*.).*

13

Капитан английской команды в те годы.

14

Да здравствуют пустяки! *(*франц*.).*

15

Рассказчик *(*франц.*)*

16

О мертвых или хорошо, или ничего *(*лат*.)*.

17

О мертвых — правду *(лат.)*.

Все правы *(*франц*.)*.